АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА • 1964

Иоганн
Вольфганг

Гёте

Избранные
философские
произведения

Настоящее издание «Избранных философских произведений» И. В. Гете включает основные работы, характеризующие философские взгляды великого немецкого поэта и мыслителя.

Книга содержит произведения Гете, охватывающие как общие, так и социально-философские проблемы. В издание включены не только законченные произведения, но и многочисленные фрагменты из различных трудов Гете, представляющие исключительный интерес.

В книге, как правило, выдержан хронологический принцип, за некоторыми исключениями.

В виде приложения даны знаменитое стихотворение Гете «Прометей», полное гуманистического смысла, важнейшие философские фрагменты из обеих частей «Фауста» и философская лирика.

Издание включает как ранее переведенные произведения, так и работы, которые впервые переводятся на русский язык. Новые переводы выполнены И. А. Вереиной и А. А. Поповой по Веймарскому изданию сочинений И. В. Гете (Goethes Werke, herausgegeben im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen Weimar). В дальнейшем это издание дается в сокращении — W. Римская цифра указывает отдел, арабская — том. Все старые переводы сверены по этому же изданию. Новые переводы сверены Г. А. Гальпериным.

Редакция приносит благодарность научным сотрудникам Государственного исследовательского центра классической немецкой литературы в Веймаре, отдела Goethe-Wörterbuch Академии наук в Берлине, музея Геккеля в Иене за помощь при подготовке данного издания и за предоставление ценных материалов.

Под редакцией:

Г. А. КУРСАНОВА и А. В. ГУЛЫГИ

Вступительная статья и комментарии

Г. А. КУРСАНОВА

О мировоззрении гениального поэта и великого мыслителя

Im Anfang war die Tat! *

Мировоззрение Иоганна Вольфганга Гете — великого немецкого мыслителя, поэта и ученого представляет чрезвычайно большой интерес. В настоящее время идеологи различных классов пытаются оценить многогранное творчество Гете.

Представители реакционных сил общества органически не в состоянии раскрыть объективную роль Гете, историческое значение идей поэта и объяснить небывалый успех и влияние его творчества. В лучшем случае они могут ухватиться за ту или иную слабую сторону мировоззрения и творчества Гете, близкую их собственным политическим взглядам, чуждым идее прогресса и борьбы за светлое будущее человечества.

Богатое и многостороннее художественное, философское и естественнонаучное наследие Гете может быть объективно оценено только с позиций марксистско-ленинского мировоззрения. Путеводной нитью в оценке мировоззрения Гете, его философских взглядов для нас служит известная характеристика, которую Энгельс дал в ряде своих работ и которая раскрывает глубоко противоречивую сущность мировоззрения Гете как отражение противоречий его эпохи и всей его жизни в условиях Германии конца XVIII — накала XIX в. Квинтэссенцией этой характеристики являются слова Энгельса из его произведения «Немецкий социализм в стихах и прозе»: «...В нем постоянно происходит борьба между гениальным поэтом, которому убожество окружающей его среды внушало отвращение, и осмотрительным сыном франкфуртского патриция, достопочтенным веймарским тайным советником, который видит себя вынужденным заключать с этим убожеством перемирие и приспосабливаться к нему. Так, Гете то колоссально велик, то

мелок; то это непокорный, насмешливый, презирающий мир тений, то осторожный, всем довольный, узкий филистер» [1].

Закономерно, что для понимания всей сложности и противоречивости его мировоззрения необходимо остановиться вкратце на характеристике эпохи, которая породила этого гиганта мысли.

I

Эпоха Гете была эпохой грандиозных исторических событий, вызванных антифеодальной борьбой набиравшей жизненные силы молодой буржуазии, поддерживаемой народными массами в ее решительных действиях по свержению феодализма во Франции, буржуазии, которая укрепила свою власть в наполеоновских войнах, потрясших всю Европу. Сам Гете хорошо понимал историческое значение своей эпохи. 25 февраля 1824 г. он сказал Эккерману: «...Я родился в такую эпоху, когда имели место величайшие мировые события, и они не прекращались в течение всей моей длинной жизни, так что я живой свидетель Семилетней войны, отпадения Америки от Англии, затем Французской революции и, наконец, всей наполеоновской эпохи, вплоть до гибели героя и последующих событий» [2].

В этом Гете видел свое большое преимущество в сравнении с молодым поколением того времени. И хотя поэт порой враждебно относился к Французской революции, он признавал ее колоссальное историческое значение. Известны его слова, сказанные им после поражения объединенных армий при Вальми, разбитых революционной французской армией (20 сентября 1792 г.): «С этого места и с этого дня начинается новая эпоха Всемирной истории» [3].

Естественно, ни одна страна в Европе — да и не только в Европе — не могла остаться вне сферы влияния этих исторических событий. И в Германии медленно, но неуклонно развивались торговля, сельское хозяйство, мануфактурное производство, рос купеческий капитал. В стране существовали различные слои населения и группы буржуазной интеллигенции, которые не могли пройти мимо потрясавших мир исторических событий. Появились первые демократические движения, приведшие в 90-е годы к возникновению «немецкого якобинства». В 1792 г. появилось «Общество друзей свободы и революции», президентом которого стал революционный демократ, борец за свободу Георг Форстер. Высшим пунктом этих движений было создание Майнцской республики, провозгласившей на немецкой земле идеи Французской революции. Но о революции еще не могло идти и речи. Немецкая буржуазия была крайне слабой, инертной, неспособной

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 4, стр. 233.
[2] И. П. Эккерман. Разговоры с Гете. М.— Л., 1934, стр. 210.
[3] I. W. Goethe. Campagne in Frankreich. Den 20. Sept. 1792.

к решительным практическим действиям. Возможность совместного удара буржуазных классов и народа против феодального порядка в Германии исключалась, тем более, что в самом народе еще не созрели необходимые силы.

Двойственность и противоречивость немецкой буржуазии со всей ясностью раскрылась и в ее отношении к Французской революции. Когда раздались первые раскаты ее грома, передовые круги немецкой буржуазии восторженно приветствовали их, возлагая при этом свои надежды на всеобщее равенство и свободу, которые, как они думали, должны автоматически вводиться с этого момента. Но они приняли Жиронду, а не Якобинский клуб, и как только революция показала суровое лицо якобинской диктатуры, немецкие бюргеры и мещане со страхом и ужасом отпрянули от нее и заняли по отношению к ней враждебную позицию, боясь подобных же революционных действий против них самих.

К этому примешивались шовинистические чувства и настроения против революционного генерала и в дальнейшем диктатора, который разбил прусско-германские войска и навязал немцам свое господство. Этими обстоятельствами обусловлено в конце концов и двоякое отношение Гете, этого истинного сына германского третьего сословия, к Французской революции, великое значение которой он гениально увидел, называл ее — как и Гегель — «восходом солнца», но вместе с тем так часто осуждал ее «несправедливости», «кровь и ужасы» якобинской диктатуры.

Характерной чертой жизни и борьбы немецкой буржуазии была ее практическая беспомощность, ее неспособность применить реальные и решительные методы борьбы против феодальных порядков. Именно поэтому социальная активность ее прогрессивных групп и представителей была направлена в сферу идей, в философию, литературу, искусство, науку, она своеобразно проявлялась в сфере религии. Эта борьба молодой немецкой буржуазии с помощью духовного оружия против идей старых общественных классов означала создание и развитие новой буржуазной немецкой культуры, которая в то время распространялась в связи и под влиянием идей французских просветителей и энциклопедистов. Закономерно, что развитие прогрессивной национальной культуры в Германии имело большое влияние на пробуждение и формирование национального самосознания немецкого народа.

В области философии Германия той эпохи подарила миру Гегеля, который, как и Гете, был настоящим Зевсом — олимпийцем в своей области, восторженно приветствовавшим зарю Французской революции и одновременно ставшим официальным философом прусского государства, который полностью примирился с феодальными порядками монархии Фридриха-Вильгельма III. Имена Гердера, Фихте, Шеллинга точно так же выражают подъем философской мысли Германии тех лет, несмотря на всю противоречивость их воззрений.

В области литературы эта эпоха вызвала к жизни движение Sturm und Drang'a с его бурными выступлениями литературной молодежи против

псевдоклассицизма, за реализм и естественность в художественном творчестве, с гуманистическими и революционными идеями Лессинга, с шиллеровскими «Разбойниками», с «Гецом фон-Берлихингеном» юного Гете. Идеями демократизма и гуманизма была проникнута литература немецких якобинцев, где прежде всего следует назвать имена Кноблауха и Мовильона.

В области искусства немецкая культура того времени выдвинула могучую и смелую личность Бетховена, полную настоящего демократизма и гуманизма. Великий революционный дух его творчества далеко вышел за рамки буржуазных идей и буржуазного мировоззрения. Напомним, что первоначально Бетховен посвятил свою знаменитую «Героическую симфонию» революционному генералу, но снял свое посвящение как только *Бонапарт* превратился в *Наполеона*.

Исторический подъем немецкой национальной культуры нашел свое гениальное выражение в глубоко прогрессивных, бессмертных произведениях Гете, которые были пронизаны идеями истинного гуманизма и народности, идеями борьбы за счастье и совершенствование человека и человеческого общества.

Необходимо также специально отметить, что философское и научное мировоззрение Гете формировалось в полных противоречий условиях развития научной мысли и научных достижений своей эпохи. Вторая половина XVIII и начало XIX в. прошли под знаком развития материалистических идей и творческих успехов в области естествознания. К середине XVIII в. относятся материалистические идеи в понимании природы Канта, выдвинувшего первую научную гипотезу в космогонии, которая нанесла сильнейший удар по метафизическим представлениям в естествознании; к этому же времени относятся важнейшие работы Ломоносова — открытие им закона сохранения и превращения материи и движения как всеобщего закона природы, создание теории атомно-молекулярного строения материи, выдвижение идеи развития геологических слоев Земли. Значительные результаты были достигнуты в важных областях физики и химии, открыт электрический ток, исследуются его магнитные, тепловые и химические свойства; Френель и Гюйгенс предложили волновую теорию света. Лавуазье открыл кислород и опрокинул метафизическую теорию флогистона, экспериментально доказал закон сохранения вещества в химических реакциях. Дальтон высказал глубокие идеи в области атомистики. В первые десятилетия XIX в. значительно развилась и биология; возникают сравнительная анатомия, морфология, палеонтология. Все глубже и шире проникают в науку идеи эволюции, развитые в биологии Ламарком, Бэром и Рулье, в геологии — Лайэлем, создавшим историческую геологию.

Большую роль в развитии естественных наук сыграли такие немецкие ученые, как Александр и Вильгельм Гумбольдты. Великий ученый и гуманист Александр Гумбольдт своими трудами о связи климата, вегетации и ландшафта создал географию растительности и климатологию. Физиолог К. Вольф, позднее член Российской Академии наук, в 1759 г. защищавший

идеи эволюции, разработал основы эмбриологии; Велер в 1824 г. путем синтеза получил из неорганического вещества первое органическое вещество — мочевину; физики Ом, Фраунгофер и другие проводят важные экспериментальные исследования электрических, магнитных и оптических явлений. В это время основаны Баварская академия наук, Горная академия во Фрейбурге и новые университеты в разных городах. В 20-х годах XIX в. открыты технические высшие школы в Дрездене, Карлсруэ и Дармштадте.

Но в эту эпоху большое влияние на развитие естествознания имела религиозно-идеалистическая философия. В естествознании были еще распространены многочисленные теологические и схоластические концепции, натурфилософские и виталистические представления о явлениях природы. Более того, конец XVIII в. в Германии, как и во Франции, был своего рода «Ренессансом алхимии». В 1872 г. Британское Королевское общество получило от алхимика Прайса предложение о превращении металлов в золото. Подобное же предложение получила в 1787 г. и Берлинская академия от одного профессора из Галле. В Германии довольно широко были распространены произведения алхимиков Парацельза, Базилиуса Валентина, Ван Гельмонта, Георга Веллинга. Произведение последнего «Opus Mago-Cabbalisticum et Theosophicum» и книги других алхимиков Гете читал в свои юношеские годы, о чем он сообщает в «Поэзии и правде».

Феодальная монархия поддерживала и насаждала религиозные взгляды. Характерно, что в 1788 г. Фридрих-Вильгельм II издал специальный «Религиозный эдикт», закреплявший религиозную нетерпимость и выражавший единение государственной власти и церкви.

Все это неизбежно привело к тому, что религия и алхимия определенным образом повлияли на взгляды и представления великого поэта и наряду с вышеназванными историческими факторами предопределили слабые стороны его мировоззрения.

II

Но глубоко ошибочно было бы, как это делают многие современные реакционные философы и историки, возводить эти слабые стороны взглядов Гете в абсолют и превращать поэта чуть ли не в «теолога» и «алхимика». Все содержание творчества великого мыслителя, несмотря на его противоречивость, свидетельствует о громадной силе прогрессивных, в первую очередь — гуманистических и материалистических идей его мировоззрения. Именно эти идеи являются, по нашему глубокому убеждению, определяющими во всем его и научном и художественном творчестве.

Глубокий гуманизм Гете составляет суть его философского мировоззрения. Это — его убеждение, его вера в неисчерпаемые творческие силы и неограниченные возможности развития и совершенствования человека. Он убежден в реальности человеческого счастья в сфере активной и творческой

деятельности. Великий гуманист считает необходимым познать действительность и все силы природы поставить на службу человеку, на службу его интересам. Гуманизму Гете, невзирая на отдельные уступки теологии, несомненно свойствен атеистический характер, и Энгельс совершенно прав, когда говорит, что Гете лишь весьма неохотно имел дело с богом, что слово «бог» вызывало в нем чувство неловкости, так как «только в человеческом он чувствовал себя как дома».

Гуманизм Гете — истинный гуманизм, как справедливо сказано в Манифесте Социалистической Единой Партии Германии, выпущенном в связи с двухсотлетием со дня рождения поэта. Высокие гуманистические идеи, выдвинутые Гете, говорится в Манифесте, претворяются в жизнь социалистическим рабочим движением. Манифест особо подчеркивает живой, творческий, прогрессивный характер гуманизма Гете, его готовность к действию, его стремление к истине, к идеалу человеческого совершенства, к освобождению человечества от нужды, угнетения и убожества [4]. Эту мысль отчетливо выразил Иоганнес Р. Бехер в своем выступлении на юбилейном торжестве в Веймаре 28 августа 1949 г.: «Не назад к Гете, а вперед к Гете и вместе с Гете вперед» [5].

В своей речи во время юбилейных торжеств в связи с 200-летием со дня рождения поэта, обращенной к немецкой молодежи, Отто Гротеволь сказал, что альфой и омегой для Гете была вера «в совершенство человеческой натуры, в расцвет ее сил» [6]. Мысль эта глубоко справедлива. Действительно, Гете сам неоднократно подчеркивал именно общественный, коллективный характер человеческой деятельности, призывал к коллективной деятельности ради преобразования жизни и природы в интересах человека. В этой связи он сказал о себе: «Ведь в сущности и все мы коллективные существа, что бы мы о себе ни воображали... Я обязан своими произведениями отнюдь не одной только собственной мудрости, но тысяче вещей и лиц вне меня, которые доставили мне материал» [7].

Это бьет не в бровь, а в глаз современным буржуазным «интерпретаторам» Гете, утверждающим, будто его гуманизм носит «аристократический» характер, будто Гете защищает «идеал индивидуализма», ставит цель лишь полного развертывания сил самого себя, человека как индивида. Более того, поэту приписывается мысль, что чем больше человек чувствует себя человеком, тем ближе он «к божественному». Так именно пишет один из авторов большого юбилейного лондонского издания, посвященного «Goethe-Year» (1952)[8]. Бесспорно, Гете был выдающимся человеком, уни-

---

[4] Dokumente der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, Bd. II. Berlin, 1950, S. 311.

[5] J. R. Becher. Der Befreier. In: «Neues Deutschland» vom 30.8 1949.

[6] O. Grotewohl. Amboss oder Hammer. In: Deutsche Kulturpolitik. Dresden, 1952, S. 66.

[7] И. П. Эккерман. Разговоры с Гете, стр. 844—845.

[8] R. Faesi. Der gegenwärtige Goethe. «The Goethe-Year». 1749—1949. London, 1952, p.. 276—278.

версальной личностью, подлинным homo universale, но его громадная сила как раз и состояла в органической связи с эпохой, со всей мировой культурой, с другими людьми, без которых самый великий человек превращается в ничто.

Гуманизм находит свое отчетливое выражение уже в ранних произведениях поэта, которые, как образно выразился А. В. Луначарский, возникли «в дни его орлиной молодости». Его «Гец фон-Берлихинген», написанный в студенческие годы, пронизан революционными и патриотическими идеями, мятежным духом героя, который выступает борцом за идеалы гуманизма, за национальное единение немецкого народа, за право на лучшую жизнь для каждого человека, для простого крестьянина. Конечно, поэт идеализировал образ Геца. В действительности в крестьянской войне в Германии этот рыцарь предал революцию. Но очень характерно стремление автора найти героя в истории освободительного движения своей страны, героя, которого он может наделить высокими гуманистическими идеалами.

В 1774 г. Гете пишет знаменитое стихотворение «Прометей», в котором устами своего героя он вызывает на бой Зевса и всех богов. Прометей бичует богов, обвиняет их в равнодушии к людским страданиям, открыто высказывает свое презрение к богам и всеми силами утверждает на Земле права человека.

Обращаясь к Зевсу, Прометей говорит:

Ich dich ehren? Wofür?
Hast du die Schmerzen gelindert
Je des Beladenen?
Hast du die Tränen gestillet
Je des Geängsteten? [9]

Все высокое, все доброе, что достигнуто на Земле, заслуга не «бессмертных», не Зевса, а Прометея, самого человека:

Hast du nicht alles selbst vollendet,
Heilig glühend Herz? [10]

Прометей заканчивает свои разговор с Зевсом гордыми словами о том, что он создает и формирует людей по собственному подобию, чтобы они

---

[9] Мне тебя чтить? За что?
Разве смягчил ты мученья
Обремененного?
Разве утишил ты слезы
Страхом томимого?
(«Прометей»)

[10] Ты не само ли все свершило,
Священно пламенеющее сердце?
(«Прометей»)

любили, боролись, страдали и наслаждались ...«и тебя не уважали, как я». Все стихотворение — призыв к самостоятельной созидательной жизни человека, к борьбе за счастье здесь, на Земле, призыв к освобождению от власти богов, от оков религии. Именно так понимал смысл жизни и борьбы Прометея Маркс, называвший его «самым великим мучеником в философском календаре».

Такие же гуманистические идеи Гете развивает и в стихотворении «Божественное», которое было написано уже в Веймаре, когда поэт был на официальной государственной службе у веймарского герцога. Его центральная идея — идея о непрерывном развитии и совершенствовании человека, которого можно достигнуть только в процессе активной деятельности.

Nur allein der Mensch
Vermag das Unmögliche [11].

Человек в состоянии добиться истинного, доброго и возвышенного, в состоянии достичь высокого идеала совершенства. Хотя в этом стихотворении Гете придерживается особого стиля в обращении к «божественным» и к «неизвестным высшим существам», но он ясно говорит:

Und wir verehren
Die Unsterblichen,
Als wären sie Menschen [12]...

Самым важным для Гете является человеческое, человеческое везде и всюду, стремление к человеческому в высоком смысле слова, к борьбе за совершенное будущее, человеческое и в «божественном», а отнюдь не наоборот. Напомним читателю, что поэт опубликовал это стихотворение под заглавием «Божественное», прежде же оно называлось «Человек». Именно под таким заглавием оно было напечатано в 1786 г. в «Эфемеридах литературы в театре». Существо дела, естественно, не в этом, а в том, что в мировоззрении Гете вообще, как и в данном стихотворении, *человеческое* ставится *выше* божественного. Человек «может мгновение сделать вечным», победить время своей неустанной творческой деятельностью, своей борьбой за счастье и лучшее будущее. Божественное в произведениях Гете фактически везде и всегда выступает как внешнее, как форма, как неизбежная дань эпохе, времени, традициям жизни, но отнюдь не как внутренняя сущность его воззрений, его гуманизма.

---

11 Человек один
Может невозможное...
(«Божественное»)

12 И мы бессмертным
Творим поклоненье,
Как будто людям...
(«Божественное»)

В последующих произведениях Гете часто звучат мотивы успокоения и примирения с действительностью, проявляется его «олимпийское» спокойствие и безразличие ко многим политическим событиям того времени. Но его никогда не покидают глубоко гуманистические мысли о творчестве и борьбе человека за лучшее счастливое будущее и вера в неисчерпаемые силы человеческой натуры. Этой верой в животворные силы человека и в его лучшие чувства любви и радости пронизана баллада «Коринфская невеста», в которой сильная страстная любовь побеждает смерть, могилу и религию [13]; в героической драме «Эгмонт» Гете с большой симпатией рисует образ борца за свободу против национального угнетения голландского народа, восставшего против кровавой диктатуры герцога Альба. Не случайно, что мятежный гений Бетховена откликнулся могучими аккордами на героический пафос гетевской драмы. Даже в поэме «Герман и Доротея», в которой сильны патриархально-идиллические мотивы, поэт стал на сторону гуманистических идеалов свободы и равенства Великой французской революции и именно здесь он сравнивает революцию с восходом Солнца [14].

В этом же аспекте следует рассматривать и тот факт, что Гете тяготился окружавшей его филистерско-мещанской, духовно бедной атмосферой веймарского двора, чуждой его высоким гуманистическим идеалам. Он в буквальном смысле этого слова бежал в Италию, где посвятил себя изучению античного искусства и искусства Ренессанса; спасаясь в грезах далекого мира, поэт пишет «Ифигению в Тавриде». В художественном идеале античности, в греческом идеале красоты он ищет воплощения своего идеала, своего представления о совершенном человеке, гармонически сочетающем духовные и физические силы. Это не революционный бунтарский протест, а пассивное отрицание действительности, противоречащей высоким целям и идеалам великого гуманиста.

Гуманизм Гете наиболее полно выражен в бессмертном «Фаусте», над которым поэт работал шестьдесят лет и который завершил за несколько месяцев до смерти. В основе трагедии — немецкая народная легенда, определяющая целый ряд идей и многие сцены обеих частей «Фауста».

Буржуазные историки и литераторы ложно и тенденциозно интерпретируют истоки гетевской трагедии и ее главного героя. Так, западногерманский историк литературы Б. Визе в книге под характерным названием

---

[13] Анализ баллады с позиций идей гуманизма и народности дан в интересном докладе немецкого ученого Г. Тальгейма «Goethes Ballade „Die Braut von Korinth"», прочитанном 31 мая 1958 г. в Веймаре, в Goethes Gesellschaft.

[14] Интересен момент разговора Гете с Наполеоном, показывающий сочувствие и уважение поэта к французскому народу. Говоря о работе Шиллера «Тридцатилетняя война», Наполеон с презрением сказал, что она «может удовлетворить своим трагическим сюжетом лишь наши бульвары». На это Гете ответил: «...Мне незнакомы ваши бульвары, но я предполагаю, что на них ставят спектакли для народа; мне досадно, что вы так строго судите одно из лучших проявлений духа современной эпохи». (Цит. по кн.: Талейран. Мемуары. М., 1959, стр. 198.)

«Демоническое в мировоззрении и поэзии Гете» (1958) считает главными источниками «Фауста» мистико-религиозные идеи и представления XVI в. Мир этого века, утверждает автор, отмечен прежде всего господством «белой» и «черной» магии, чувством страха перед тайнами колдовства, ужасом перед звездами на небе, а также идеями христианской религии, немецкой реформации, «вечной святости души» и проч. И только после всего этого автор говорит о гуманизме Ренессанса и даже «линии Спинозы — Лейбница», но и здесь вершиной дум и чаяний эпохи считается «идея искупления» [15].

И магия и мистика, конечно, широко были распространены в Германии в XVI в., когда жил чернокнижник Иоанн (Георгий) Фауст и когда родилась легенда о нем. Это неизбежно получило отражение в различных сказаниях, а позднее и в многочисленных драмах и трагедиях о Фаусте. Но главным и определяющим является другое — глубинные народные истоки легенды и новые, прогрессивные тенденции эпохи. Исключительно верно говорит об этом известный советский ученый В. М. Жирмунский. «Легенда о Фаусте,— отмечает он,— сложилась вокруг исторической личности, поразившей народное воображение, личности, носившей отпечаток великих прогрессивных движений человеческой мысли своего времени, Возрождения и Реформации, отражавшей, однако, эти идейные движения во всей их реальной исторической противоречивости, в разной степени характерной даже для передовых людей той эпохи. Поэтому явления эти преломляются и в легендарном образе Фауста, сквозь искажающую призму средневекового миросозерцания» [16].

Лессинг, и в какой-то мере Мерло и Клингер, первыми подняли легенду до уровня общечеловеческих обобщений. В «Фаусте» Лессинга уже явственно звучат мотивы немецкого национального духа и прогрессивных идей немецкого просвещения. Но в гениальном творении Гете все это получает новое, поистине мировое человеческое значение. «Фауст» Гете — одно из величайших творений мировой философской мысли, наполненное непреходящим идейным содержанием целой исторической эпохи. Более того, в непрекращающемся конфликте Фауста с его окружением, в его неутомимых поисках и в упорной борьбе за истину, за счастье человека, за смысл человеческой жизни Гете, великий поэт и философ, увидел исторический путь всего человечества, которое вышло из тьмы прошлых веков на дорогу свободной и многогранной творческой деятельности. Этот путь человечества сложен и противоречив, тысячи препятствий и враждебных сил противодействуют человеку в его стремлении достичь великой цели.

Первая часть трагедии открывает читателю субъективную сторону деятельности человека как «пылкого», говоря словами поэта, «и пристрастного

---

[15] Benno v. Wiese. Das Dämonische in Goethes Weltbild und Dichtung, Düsseldorf, 1958, S. 95—99.

[16] «Легенда о докторе Фаусте». Издание подготовил В. М. Жирмунский. Изд-во АН СССР, 1958, стр. 6.

индивидуума». Но и он во власти идей гуманизма: Фауст продает свою душу дьяволу, чтобы совершенствовать знания и наслаждаться жизнью, земной человеческой жизнью со всеми ее сильными чувствами и глубокими разочарованиями; он презирает все мертвое, схоластическое, мистическое, средневековое, все то, что уничтожает в человеке истинно человеческое. Однако невозможность познать в субъективной сфере правду человеческой жизни, как это показывает Гете в первой части, приводит к необходимости жить и работать среди людей, к необходимости покинуть узкую индивидуалистическую сферу деятельности. Поэтому истинно человеческое дано во второй, основной части трагедии.

Вторая часть «Фауста» — гениальное решение вопроса о смысле и значении человеческой жизни. Гете говорит, что «...во второй части нет почти ничего субъективного. Здесь появляется более высокий, более обширный, ясный и лишенный страсти мир»[17]. Человечество, олицетворенное в Фаусте, преодолеет все препятствия и устоит против новых соблазнов, в том числе против соблазнов власти, богатства, карьеризма, войны, против возвращения к идеалам красоты классического времени, которые воплощены в образе Елены; оно создает искусственного человека — гомункула и Эвфориона,— и так как оно не удовлетворено, то продолжает свои поиски правды и счастья.

Чрезвычайно интересным и важным с точки зрения философской является эпизод создания гомункула. С помощью мистических манипуляций алхимику Вагнеру в конце концов удается в колбе получить гомункула. Характерно, что искусственный человек говорит, думает, соображает лишь тогда, когда он находится в колбе, под стеклом, т. е. в нереальном искусственном мире. Но как же сильна сама по себе идея жизни и человечности, если даже этот продукт мудрости алхимика и сухого «книжного червя» Вагнера охвачен горячим желанием вырваться на свободу и приобщиться к жизни человеческого мира.

Гете сам поясняет значение эпизода с гомункулом, подчеркивая жизненно важное, общечеловеческое значение своей идеи: «Вообще Вы заметите, что Мефистофель оказывается в невыгодном положении по сравнению с гомункулусом, который не уступает ему в ясности взгляда, но далеко превосходит его стремлением к красоте и плодотворной деятельности»[18].

Красивый образ Эвфориона имеет тот же смысл. Эвфорион — плод любви Фауста и Елены — быстро погибает, так как и он возникает искусственно, вне реального времени и реальных жизненных связей.

Конец жизненного пути Фауста имеет большой исторический смысл. Он глубоко гуманистичен: для Фауста и для человечества поиски истины завершаются апофеозом коллективного труда, активной практической

---

[17] Цит. по кн.: И. П. Эккерман. Разговоры с Гете, стр. 554.

[18] Там же, стр. 477.

деятельности во имя изменения жизни, создания нового светлого и истинно гуманного мира. В своем известном монологе Фауст говорит:

Eröffn' ich Räume vielen Millionen,
Nicht sicher zwar, doch tätig-frei zu wohnen [19].

А если гнилое болото — этот символ старого мира — мешает людям и портит им жизнь, то его надо устранить: прочь отвести гнилой воды застой... В повседневном труде человек завоевывает свободу, за нее он неустанно должен бороться, преодолевать все и всяческие препятствия. Фауст смотрит далеко в будущее своего народа, видит тернистую дорогу борьбы за свободную и счастливую жизнь:

Und so verbringt, umrungen von Gefahr,
Hier Kindheit, Mann und Greis sein tüchtig Jahr [20].

Именно в этот момент Фауст готов остановить время, удержать это великое историческое мгновение. Здесь совершенно очевидны элементы подлинной прогрессивной идеологии, выходящей за рамки буржуазных идей: коллективная творческая работа, создание нового светлого и свободного мира, освобождение народа, слияние человеческой личности с обществом.

Такие же идеи Гете развивает и в романе «Годы учений и странствий Вильгельма Мейстера». Во второй части романа он рисует утопическую картину трудового общества людей, строящих свободную и счастливую жизнь; человеческая личность в условиях совместного труда, труда в интересах всего общества претерпевает глубокую эволюцию, всесторонне и прогрессивно развивается. Это — завершение исторического пути человечества, олицетворением которого явилась страстная и противоречивая, пытливая творческая личность Фауста. В этом — *сущность* «Фауста», которая лишь внешне выступает в религиозно-мифологических образах.

Все истинно гуманистические идеи, принесшие бессмертие великому поэту и мыслителю, высоко оценены пролетариатом всего мира, всем прогрессивным человечеством, активно борющимся за свободное и счастливое будущее. Манифест Социалистической Единой Партии Германии подчеркивает, как уже было отмечено, что гуманистические идеи Гете могут быть осуществлены и уже осуществляются рабочим классом в процессе социалистического созидания. В этом величие идеалов творческого гума-

---

19 Я целый край создам обширный, новый,
И пусть мильоны здесь людей живут,
Всю жизнь ввиду опасности суровой,
Надеясь лишь на свой свободный труд.
(«Фауст»)

20 Всю жизнь в борьбе суровой, непрерывной
Дитя, и муж, и старец пусть ведет...
(«Фауст»)

низма Гете, бесспорно выходящего за пределы прогрессивной буржуазной идеологии.

Понятно также, что идеологи современной буржуазии трактуют гениальную трагедию Гете как выражение трагизма и безысходности человека и человечества, как его безнадежную борьбу со злом, безнадежную, если не искать спасения на небесах. Весьма характерным является в этом отношении ряд книг, вышедших за последние годы — в особенности в период юбилейных дат (1949 и 1957 гг.) — в Западной Германии. Так, изданная в 1957 г. во Фрейбурге книга о Фаусте О. Гартмана имеет характерный подзаголовок: «Современный человек во встрече со злом». Автор рисует весьма мрачную картину состояния человеческих отношений в современную эпоху. Это — время «потрясений старых жизненных устоев», время кризиса и смятений во всей духовной жизни людей, в искусстве, психологии, оккультизме, науке, в экономической сфере. Атмосфера смятения и низвержения старых ценностей привела к тому, что современный человек стал «неверующим, скептическим, неблагодарным, неблагочестивым». Именно поэтому он стал не только близок, но и родствен злу [21]. Мефистофель, Люцифер, Ариман — как воплощение злого начала грозят поглотить человека и все человечество. Более того, оказывается, человечество уже находится «на краю могилы»,— в чем, по мнению автора, повинны «материализм, дарвинизм, марксизм», механизация и технизация, превращающие человека в робота, атомная энергия, грозящая самому существованию человека.

Но эта мрачная перспектива, пишет О. Гартман, может и не привести к гибели, если человек обратится к «духовному, божественному миру». И именно гетевский Фауст, утверждает автор, открывает такой путь к спасению, дает «новые перспективы». Это путь в «высший, божественно-духовный мир», в «сферу Марии», где божественная любовь и мудрость дают спасение и вечную жизнь. Автор подчеркивает, что именно Гете во второй части трагедии открывает этот мир и указывает «истинный» путь человеку. Поэтому весь «Фауст» является драмой «надежды на будущее». Но для достижения этого сверкающего мира необходимо преодолеть «материалистический интеллект, стремление к земному, эгоистическую свободу» и стать подлинными «творениями бога» [22]. Следовательно, этот эфемерный мир достигается ценой отказа человека от всего человеческого, реального, земного, даже от своего интеллекта!

---

[21] O. J. Hartmann. Faust. Der moderne Mensch in der Begegnung mit dem Bösen. Frieburg im Breisgau, 1957, Vorwort, S. 12—13.

[22] Там же, стр. 13—20. Ничего нового и оригинального нет и в других богословских интерпретациях «Фауста». Вот еще типичный пример. В докладе «Гете и евангелие» западногерманский теолог Альтхаус утверждает, что якобы христианство для Гете представляет «высшую истину», а искупления Фауст достигает в «любви свыше», в «божественной милости», в царстве Марии и т. п. (P. Althaus. Goethe und Evangelium. München, 1951, S. 19—24). Никаких новых мыслей в подобных откровениях обнаружить невозможно.

Спрашивается, о каком же гуманизме может идти речь при таком богословском понимании смысла и целей человеческой жизни? «Христианский гуманизм» — это эфемерный, иллюзорный, мнимый гуманизм, не имеющий ничего общего с реальными интересами человека.

В том же духе трактуют современные «ученые»-теологи и смысл так называемой фаустовской души. Ее генезис и сущность, оказывается, определяются «платоновским эросом, метафизической тоской, иррациональным стремлением, неоплатоновской мистикой, сверхъестественными силами» и прочими мистико-потусторонними «признаками». Такая «фаустовская душа» вся пронизана божественным духом и именно такой она выступает у современных западных теологов, претендующих на выражение духа «истинно-западного» человека. В этом свете совершенно беспочвенными представляются утверждения Шпенглера и его современных последователей о «фаустовской душе», как выражении непрерывных стремлений «западного», «европейского» человека к самосовершенствованию, к истине и т. п.

Все это и претенциозно и ложно. Спрашивается, почему именно «западного» человека? Что это за критерий? И почему подлинно прогрессивные социальные силы других континентов, кроме Европы, не стремятся к истине, к прогрессу, к совершенствованию жизни? Это ложно и потому, что так называемая западная душа, как ее трактуют идеологи европейской и американской буржуазии, и есть христианско-богословская «душа», с платоновским эросом, иррациональной мистикой и пр. К этому можно добавить и ницшеанские идеи об иррациональной воле, имманентном стремлении к «действию» так называемых сверхчеловеков [23]. Кстати говоря, это отмечают и богословские исследователи «Фауста», утверждая даже, что Ницше более faustisch, чем Гете! Все это можно отдать западным буржуазным философам и теологам, ибо все мистическое, иррациональное, сверхъестественное, реакционное закономерно принадлежит исторически обреченным общественным классам [24].

Подлинное значение гуманизма Гете заключается в том, что он зовет к борьбе против всего отсталого, средневекового, схоластического, против заразы и миазмов «гнилого болота», против всего, что мешает человеку развить свои многосторонние способности, использовать свои возможности и применить их в практической жизни. Гуманистические идеи Гете — орудие социалистических и всех прогрессивных сил нашей эпохи в борьбе против антигуманистической реакционной идеологии империалистической бур-

---

[23] H. I. Schrimf. Das Weltbild des späten Goethe. Stuttg. 1956, S. 86, 318.

[24] Мы считаем необходимым в этой связи отметить, что в поэзии Гете концентрируется не только весь «западный» мир, но что она питалась и от корней восточной народной поэзии и сказки. Об этом уже ясно свидетельствует его лирический цикл «Западно-восточный диван». Исключительно интересным в этом отношении является исследование немецкого ученого К. Моммзен о влиянии культуры Востока на творчество Гете, в том числе и на его «Фауст». См. K. Mommsen. Goethe und 1001 Nacht. Akademie-Verlag, Berlin, 1960.

жуазии, которая уже давно превратила благородные и возвышенные идеалы и чувства человека в разменную монету и в интересах наживы топчет все права человека на свободную, независимую, нормальную человеческую жизнь.

Правда, часто буржуазия прикрывает свое лицо идеями «христианского гуманизма», «братства народов» и т. п., но по своей внутренней природе идеология современной буржуазии враждебна истинному гуманизму, интересам человека, великим идеям прогресса, разума и научного познания мира, идеям Леонардо и Вико, Вольтера и Руссо, Гете и Гегеля, Белинского и Чернышевского. Великие гуманисты и мыслители прошлого принадлежат прогрессивным классам, трудящимся народным массам, их идеи и труды являются обвинительным актом против буржуазии, давно сменившей когда-то светлое знамя свободы и равенства на знамя коричневой и черной реакции.

III

Действенный характер гуманизма Гете органически связан с его *материалистическим* восприятием природы и человека, как ее высшего продукта. Сразу же отметим, что в истории немецкой философии этой эпохи Гете с его материалистическими идеями отнюдь не представляет изолированное явление.

Вопреки буржуазным историкам философии, рассматривающим немецкую философию как сплошное господство идеализма, в ней имеется целый ряд материалистических идей и взглядов, высказанных различными мыслителями этого времени. Это первые немецкие спинозисты XVII и XVIII вв., включая и Лессинга, высоко чтившего великого голландского мыслителя; представители естественнонаучного материализма — П. Вольф, М. Вейкард, Г. Лихтенберг и в особенности А. Гумбольдт с его смелыми материалистическими идеями в понимании сущности органической жизни; близкие Гете — и в жизни и в мировоззрении — К. Кнебель и А. Эйнзидель.

Немецкий материализм упорно пробивал себе путь в борьбе с широко распространенными в это время идеалистическими течениями в Германии. Поэтому философское мировоззрение Гете неизбежно было тесно связано с материалистическими идеями передовых немецких мыслителей и ученых [25].

В мировоззрении Гете природа выступает как первая субстанция, как реальный мир во всем блеске и многообразии проявлений. Уже в юношеские

---

[25] Мы обращаем внимание читателя на работы советских и немецких ученых, анализирующих развитие материалистических идей в немецкой философии: М. П. Баскин. Философия немецкого просвещения. М., 1954. Н. Вильмонт. Гете. М., 1959; А. В. Гулыга. Из истории немецкого материализма. М., 1962. R. O. Gropp. Das nationale philosophische Erbe. Berlin, 1960.

годы поэт создает настоящий гимн природе, в котором выражает свои глубоко материалистические взгляды на действительный мир в ясной и даже несколько экзальтированной форме. Но это нисколько не ослабляет философского и научного значения его идей, которым он оставался верен в течение всей своей последующей долгой жизни. Оценивая знаменитый фрагмент Гете о природе, Герцен совершенно верно писал, что все его строки пронизывает трепет любовной радости, каждое слово дышит любовью к существованию и упоением жизнью [26].

Этот знаменитый фрагмент начинается следующими выразительными словами: «Природа! Мы ею окружены и объяты, не будучи в состоянии от нее вырваться или глубже в нее проникнуть. Незваная и непрошеная, вовлекает она нас в свой круговорот и увлекает вдаль до тех пор, пока мы не устанем и не выпадем из ее рук» [27].

Весь окружающий нас мир, все его богатство и многообразие, бесконечное множество отдельных явлений, организмов, растений, животных, людей и т. д. — все это только различные выражения единой и вечно существующей природы.

«Она все,— говорит Гете,— ее дети бесчисленны. Все всегда в ней. Все ее вина, все ее заслуга. Настоящее — ее вечность. Она прячется за тысячей имен и терминов, и всегда — одна и та же» [28].

Это одна из самых первых, четко сформулированных материалистических мыслей Гете. Она отличает его восприятие природы от механического толкования мира, имевшего в те времена еще довольно большое влияние. Природа, говорит поэт, находясь в процессе созидания, непрерывно преобразуется. «Она постоянно создает новые формы; того, что есть сейчас, никогда еще не было; то, что было, не повторится вновь — все новое и в то же время старое. Так как она творит, она может творить вечно» [29].

В небольшом фрагменте «Размышления и выводы» Гете в поэтической форме сравнивает природу с «вечной пряхой», которая в постоянном движении прядет бесконечную нить. Природа сама является источником всех происходящих в мире изменений, источником движения во всех его многообразных проявлениях, и потому не нуждается во внешних, неземных силах, приводящих природу в движение.

Прямо и энергично мыслитель выступает против теологического утверждения о первом толчке, который якобы был дан природе при ее

---

[26] А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. 3. Изд-во АН СССР, 1954, стр. 138. Современный немецкий ученый В. Гирнус в своем исследовании мировоззрения Гете отмечает последовательный материализм в понимании им природы и показывает значение такого понимания для формирования эстетических воззрений поэта (W. Girnus. Goethe. Der grösste Realist deutsche Sprache. «Goethe. Über Kunst und Literatur». Berlin, 1953).

[27] Goethes Naturwissenschaftliche Schriften, Bd. 11. Weimar, 1893, S. 5.

[28] Там же, стр. 7, 9.

[29] Там же, стр. 5, 9.

возникновении и создании. В «Кампании во Франции» он говорит о своей нетерпимости к такому образу мышления, который ставит символом веры мертвую, каким-либо способом приведенную в движение материю. Это ясное и неоспоримое доказательство его материалистического и атеистического восприятия природы, которая, в его представлении, является единой и всеобъемлющей субстанцией, вызывающей на основе своих собственных законов и без вмешательства каких бы то ни было божественных сил бесконечное многообразие явлений.

Жизнь и природа являют собою, по Гете, внутреннее совершенное Единство. Природа — не natura naturata, не созданная природа, а natura naturans — вечно творящая природа.

В этом свете представляются совершенно беспочвенными утверждения неокантианца Кассирера о «божественном в природе» у Гете, о якобы «телеологических» взглядах его на природу и даже о согласии Гете во всем этом с Кантом [30].

Глубоко философские, материалистические идеи пронизывают от начала и до конца величайшее гетевское творение — драму «Фауст». Вся первая часть трагедии противопоставляет живое и творческое мертвому, схоластическому, средневековому. Вспомним гимн весне, символизирующий освобождение всех сил живой природы от холодного зимнего покрова прошлых дней — от средневековой зимней спячки, когда почти все живое, яркое, солнечное было придавлено, сковано ночью мистического мрака. Вторая часть трагедии начинается новым гимном вечной жизни, обновляющей все духовные и физические силы Фауста и призывающей его к новым, более высоким и значительным подвигам. Его устами Гете говорит:

Des Lebens Pulse schlagen frisch lebendig,
Ätherische Dämmerung milde zu begrüssen! [31]

Апофеоз Фауста в последних строках трагедии выражает ту же мысль — гимн вечной жизни, вечному женскому началу, дающему жизнь и творящему ее новые формы. И пусть гетевский финал наполнен образами религиозного неба,— его жизненный мотив остается доминирующим.

В свете этих глубоко прогрессивных, научных, материалистических идей великого мыслителя и поэта все попытки идеалистов и теологов истолковать мировоззрение Гете в теологическом духе представляются совершенно несостоятельными.

---

[30] E. Cassirer. Rousseau Kant Goethe. Two essays. Princeton, 1945. Кассирер по целому ряду пунктов пытается буквально притянуть взгляды Гете к кантовским, не останавливаясь перед их прямым искажением. См. также его «Goethe und die Geschichtliche Welt» (Berlin, 1932), где Кассирер говорит даже о платонизме (!) Гете.

[31] Опять ты, жизнь, живой струею льешься,
Приветствуешь вновь утро золотое!
(*«Фауст»*)

Так, в 1955 г. в Тюбингене появилась книга Ф. Ринтелена о мировоззрении Гете, в которой автор открыто пытается представить взгляды поэта на природу в теологическом свете [32]. Автор цепляется за внешнюю оболочку многих образов, взятых Гете из античной и средневековой мифологии, за отдельные высказывания и формулировки, в действительности дающие к тому лишь внешние поводы. Понятно, что итальянский журнал «Rivista di Filosofia Neo-Scolastica» (орган философского факультета католического университета в Милане), опубликовавший восторженную рецензию на книгу Ринтелена, особо выделяет влияние идей Джордано Бруно и Спинозы на Гете с точки зрения теологического мировоззрения.

Все это очень знаменательно. И у Бруно, и у Спинозы, и у Гете мысли часто облекаются в теологическую и мифологическую форму, но главным и определяющим в содержании их идей, в их внутренней сущности является другое — научное, материалистическое понимание окружающего мира, рассмотрение природы как единой материальной субстанции, определяющей сущность всех явлений и не зависящей в своем существовании ни от каких потусторонних, «божественных» сил.

Именно поэтому все они подвергались жестоким преследованиям со стороны церкви. Церковь обрушивалась и на Гете как на «язычника» и «антихристианина». Но Гете, несмотря на все противоречия, на отдельные теологические отступления от главной линии своих идей, был и остается в целом на позициях глубоко верного, материалистического понимания природы, определяющего его и общефилософское и естественнонаучное мировоззрение.

Только с позиций материалистического мировоззрения, по Гете, возможно подойти к изучению природы, раскрыть ее тайны, выработать научный метод ее исследования. Наука, неоднократно говорил он, есть истинное преимущество человека, она должна изучать природу в ее высшем гармоническом единстве и отбросить всякий мистицизм, который стремится свою нищету спрятать за нарочито усложненной и непонятной формой. Во имя изучения природы необходимо вырваться из объятий схоластической премудрости, освободиться от пустых словесных упражнений, отбросить метод узкого и ограниченного педанта и схоласта Вагнера, идущего «от книжицы к книжице». Необходимо, призывал Гете, извлечь феномен природы «из мрачного эмпирико-механико-догматического застенка», т. е. из келий и лабораторий алхимиков, с их бесплодными поисками философского камня, жизненного эликсира, с их стремлениями в колбе и пробирке создать гомункулюса. Поэт требует изучения объектов сообразно их собственной природе; идея — это «закон всех явлений», все богатство и многообразие вещей всецело принадлежит ей, природе, познать которую непрерывно стремится человек.

На место схоластической мудрости и бесплодных словесных упражнений Гете ставит научный эксперимент как важнейшее средство познания

[32] F. I. Rintelen. Der Ring des Geistes. Goethes Weltverständnis, Tüb., 1955, S. 136.

природы, и сам ревностно отдается экспериментам, длительным и тщательным наблюдениям природных явлений. Об этом очень хорошо сказал в своих «Письмах об изучении природы» Герцен: «Гете... ученик в анатомическом театре, наблюдатель, рисовальщик; он работал, делал опыты, изучал практически целые годы остеологию; он знал, что без специальности общая теория все будет отзываться идеализмом; что собственный взгляд в естествоведении то же, что чтение источников в истории; оттого он вдруг, внезапно открывает целый мир, совершенно новую сторону своего предмета» [33].

А Кассирер упрямо твердит, что практика, по Гете, имеет какой-то характер «чистого творения».

Отметим также, что сам Гете чрезвычайно высоко ценил подлинно экспериментальный метод и практические наблюдения в творчестве выдающихся ученых, например, Галилея, который, идя именно по такому пути, как подчеркивает Гете, совершил в науке «ряд дивных, блестящих деяний».

Более того, Гете не ограничивается просто призывом к экспериментальному изучению природы, но стремится разработать методику эксперимента, показать роль и значение эксперимента с различных сторон в процессе исследования, установить связь, выработать систему ряда опытов, которую он рассматривает как «опыт высшего рода». Вместе с тем, он видит и недостатки эмпирического подхода к изучению природы и считает необходимым создавать различные гипотезы, делать необходимые обобщения, на основе аналитического изучения многочисленных фактов приходить к должному синтезу.

В связи с этим целесообразно напомнить читателю, что В. И. Ленин, глубоко знавший Гете, неоднократно использовал его критику узкого, ограниченного, плоского эмпиризма в борьбе против всех схоластов, метафизиков и догматиков. Так, разоблачая объективизм Струве и Бернштейна, В. И. Ленин сравнивает его с мнимой «объективностью» схоласта и педанта Вагнера. Он пишет в работе «Аграрный вопрос и „критики Маркса“»: «Объективный» ученый должен старательно собирать фактики, отмечать «с одной стороны» и «с другой стороны», «переходить (подобно гетевскому Вагнеру) от книги к книге, от листа к листу», отнюдь не посягая на то, чтобы составить себе последовательные взгляды, выработать общее представление о всем процессе в его целом» [34]. Здесь В. И. Ленин ясно противопоставляет диалектический подход к явлениям узкометафизическому.

Мы хотим здесь еще раз подчеркнуть роль именно диалектических идей Гете в решении им методологических проблем. Он всегда выступал и против «фантазеров-теористов», гипотезы которых темны и причудливы, и против педантичных наблюдателей, чьи эксперименты мелочны и искусственно сложны. Но во всех случаях пробным камнем всякой теории, по Гете, остается практика, что он неоднократно подчеркивал и из чего сам исходил в

[33] А. И. Герцен. Собр. соч., т. 3, стр. 115—116.
[34] В. И. Ленин. Сочинения, т. 5, стр. 175.

своих собственных естественнонаучных исследованиях. Классическим стало знаменитое выражение поэта, которое часто употреблял В. И. Ленин в своей полемике против всех, кто забывал решающую роль практики, жизни:

Grau, teurer Freund, ist alle Theorie,
Und grün des Lebens goldner Baum [35].

В этом знаменитом выражении — квинтэссенция гетевского подхода к изучению природы, суть его научного метода, опирающегося на жизнь, практику, эксперимент, наблюдения. С этих позиций Гете всегда подходил к исследованию природных явлений, стремясь познать объективные свойства предметов природы, раскрыть объективные закономерности ее развития. В исследовании природы он придавал большое значение связи теоретических и опытных методов, сочетанию анализа и синтеза, дедукции и индукции. Все это глубоко рационально и свидетельствует о верных методологических позициях Гете, тесно связанных с его материалистическим пониманием природы.

В свете этих фактов стремление современных буржуазных философов представить Гете алхимиком и теологом становится совершенно несостоятельным. К попыткам подобного рода принадлежит, например, книга доцента Кембриджского университета Р. Д. Грея «Гете — алхимик», появившаяся в Англии в 1952 г. Автор утверждает, что Гете всю свою долгую жизнь находился под сильным влиянием «религиозных и философских взглядов», обусловленных «его занятиями в ранние годы алхимией». Более того, автор считает, что Гете во всей повседневной жизни практически исходил из «мистических догматов и представлений», широко пользовался мистическими и алхимическими образами и терминами, но придавал всем «алхимическим идеям» логическую и рациональную форму. Этим, оказывается, Гете даже «развивал» алхимию — «по линии логической». Отсюда у него религия и наука вообще не противопоставлены одна другой, а находятся в полном единстве, дополняя друг друга [36].

Действительно, юный Гете читал книги алхимиков и, возможно, занимался в Страсбургском университете опытами по алхимии, причем все это происходило в то время, когда алхимия в Германии, как уже было отмечено выше, получила довольно значительное развитие. Разумеется, он читал и Библию много раз. Но подлинное величие Гете заключается именно в том, что он, несмотря на определенное влияние на его взгляды алхимии и теологии, уже в юные годы переходит к изучению объективных явлений природы путем наблюдений и экспериментов, путем тщательных исследований камней, трав, костей и черепов животных, оставляя без внимания ничего не говорящие и бесполезные поиски несуществующих «эликсира жизни»

---

[35] Суха, мой друг, теория везде,
А древо жизни пышно зеленеет!
(«Фауст»)

[36] R. D. Grey. Goethe the Alchemist. Cambridge, 1952, p. 55—59, 66

и «философского камня». На такое утверждение, что «Гете — алхимик», мы можем возразить, что именно Гете был крупнейшим ученым естествоиспытателем, стремившимся научным, объективным путем проникнуть в тайны природы. В этом заключается и в настоящее время большое значение идей и трудов Гете.

До сих пор в ряде капиталистических стран распространяется настоящая средневековая схоластика, хотя и в «подновленной» форме; до сих пор различными католическими философскими обществами издаются такие специальные журналы, как, например, «The Thomist», «The New Scholasticism», «Rivista di Filosofia Neo-Scolastica», десятки книг и брошюр, пропагандирующих «неосхоластическую» мудрость. На всех современных Международных философских конгрессах — и в Венеции (1958 г.) и в Мехико (1963 г.) — идеи католической философии, возрождающие схоластику средних веков, широко представлены десятками докладов и выступлений ученых-богословов. Подобной «мудрости» противостоит глубоко реалистическое — в подлинном смысле этого слова — мировоззрение великого мыслителя, не только бесконечно влюбленного в природу, но и глубоко верно понимавшего ее сущность. Внешняя оболочка религиозных образов и алхимических «красных роз» и «белых лилий» не может скрыть от нас глубокой, внутренней сущности гетевского реализма, его материалистического понимания явлений, его подлинной научности в подходе к природе — вечной и бесконечной в ее существовании и ее многообразных формах и проявлениях.

IV

К числу замечательных идей Гете как философа и ученого относятся его идеи диалектического развития природы, пронизывающие все его главные естественнонаучные работы. На закате дней, оценивая свои научные труды, Гете писал о своей статье «Природа»: «Неустанно прослеживал я изменчивость природы в царстве растений, и в 1787 г., в Сицилии, мне посчастливилось приобрести — относительно метаморфозы растений — как наглядное представление, так и отвлеченное понятие. Отсюда было недалеко и до метаморфозы животных, и в 1790 г., в Венеции, мне раскрылось происхождение черепа из позвонков...» [37]

Идея изменчивости, идея эволюции живой природы определяет главное в понимании Гете окружающего мира. Он развивает ее и в своей общей философской концепции природы и в специальных исследованиях в области ботаники, зоологии и геологии.

Весь фрагмент «Природа» пронизан диалектическими идеями; Гете рассматривает природу в ее вечном движении и обновлении, непрерывном

---

[37] Goethes Naturwissenschaftliche Schriften, Bd. 11, S. 11—12.

созидании все новых и новых форм и видов. «Она вечно творит и вечно разрушает,— говорит философ,— зрелище ее вечно ново, ибо она создает все новые и новые явления и новых созерцателей... Жизнь — ее лучшее изобретение, смерть для нее средство для большей жизни» [38].

Глубоко диалектической мыслью является идея Гете о единстве природы как бесконечного многообразия, к которой он так часто возвращается. «У каждого ее создания,— пишет он,— особенная сущность, у каждого явления отдельное понятие, а все едино» [39]. Это единство природы есть вместе с тем ее высшая гармония, результат ее длительного и сложного исторического развития. Именно эта идея и получает далее у Гете конкретизацию в его работах по морфологии растений и животных.

Понимание природы и природных явлений как единства противоположных сил, противоположных начал — исключительно ценная диалектическая идея Гете. Природа все творит как «противоположнейшие произведения», вся она сама — «самопротиворечивая сущность», которую можно воспринять лишь посредством полярных понятий, отражающих эту сущность. В одном из афоризмов Гете прямо говорит о диалектическом подходе к пониманию природы вещей: «Диалектика — развитие духа противоречия, который дан человеку, чтобы он учился познавать различие вещей». Он не раз подчеркивает, что речь идет именно о единстве противоположностей: «Противоположность крайностей, возникая в некотором единстве, тем самым создает возможность синтеза».

Все это исключительно глубокие, диалектические мысли Гете-философа, получившие и соответствующее отражение в творчестве Гете-поэта, и в научных исследованиях Гете-естествоиспытателя.

Эти идеи красной нитью проходят через всего «Фауста». Глубоко диалектичен прежде всего основной конфликт трагедии — конфликт между фаустовским, жизнеутверждающим, гуманистическим, позитивным началом, воплощенным в постоянном поиске истины, поиске нового, смысла жизни и бытия, и вечным отрицанием, скептицизмом и нигилизмом Мефистофеля, терпящим в финале трагедии полное поражение. Но диалектичным является и само мефистофелевское отрицание: вспомним его знаменитые слова: «Ich bin der Geist, der stets verneint!» Здесь несомненно налицо единство и, бесспорно, взаимное влияние диалектических идей Гегеля и Гете, этих двух титанов мысли своей эпохи [40].

«Великий принцип отрицательности», как его называл Маркс, имеет, как известно, центральное значение во всей диалектике Гегеля. Еще в

---

[38] Goethes Naturwissenschaftliche Schriften, Bd. 11, S. 7.

[39] Там же, стр. 6.

[40] Начиная с двадцатых годов, Гете все более и более становился внимательным к диалектическим идеям Гегеля. Это он не раз высказывал в своих письмах к нему. Вот характерное место из его письма к Гегелю от 7 октября 1820 г.: «Продолжайте принимать деятельное участие в моем способе рассмотрения естественных явлений, как Вы это делали до сих пор!» (Гете. Соч., т. XIII, Письма, ч. 2. М., 1949, стр. 456). Речь здесь именно о *методе* изучения явлений природы.

гениальной «Феноменологии духа», тайне и истоке его философии, Гегель последовательно проводит идею отрицания как движущий принцип духа, проходящего через все этапы своего развития — и в субъективной сфере, и во внешней ему сфере природы, и в сфере объективного духа. Этим Гегель показал объективную диалектику развития мира, хотя, разумеется, в мистифицированной форме.

Эти же идеи проводятся в «Фаусте». Принцип отрицательности выступает первоначально в субъективной сфере, в первой части трагедии, затем он раскрывается в широком объективном мире второй части, где перед Фаустом проходит весь общественный мир, исторические явления, государственная деятельность, война, торговля, сфера искусства и т. п. Характерно отметить, что творческая сторона принципа отрицательности представлена во второй части *фаустовским, а не мефистофелевским* началом. Последнее, как сказано, становится «чистым» и бесплодным нигилизмом. По Мефистофелю:

...Vorbei! ein dummes Wort.
Warum vorbei?
Vorbei und reines Nicht, vollkommnes Einerlei!
. . . . . .
Ich liebte mir dafür das Ewig-Leere[40a].

Это мефистофелевское ничто оказывается бессодержательным, бесплодным, бессильным перед лицом жизнеутверждающего фаустовского начала.

Интересно попутно отметить, что образ Мефистофеля во второй части трагедии, воплощающий пассивно-негативное начало, во многом уступает образу *лермонтовского Демона* с его мощной богоборческой натурой.

Диалектическое понимание природы является у Гете глубоким и многогранным. Непрерывное движение и изменение в природе, ее гармоническое единство в процессе этого движения он рассматривает как *закономерное*, происходящее согласно внутренним объективным законам. Эта закономерность не раз выражается им в поэтической форме, но наиболее характерно — в знаменитом «Прологе в небесах», где он говорит о «гармонии вселенной», о ее «торжественном ходе», «о беге сфер», о «грозной цепи сил природы», определяющих ее закономерный ход, ее закономерное развитие.

40a Прошло? Вот глупый звук пустой!
Зачем прошло? Что собственно случилось?
Прошло и не было — равны между собой!
Что предстоит всему творенью?
Все, все идет к уничтоженью!
Прошло,— что это значит? Все равно,
Как если б вовсе не было оно,—
Вертелось лишь в глазах, как будто было!
Нет, вечное Ничто одно мне мило!
(«Фауст»)

Известно, что здесь эта идея выражена внешне в теологической форме — она высказана устами трех архангелов, воспевающих и «первый день созданья» и «величие творений божества». Это характерно, как уже отмечено выше, для колебаний Гете и его уступок теологическим представлениям времени. Но, вместе с тем, и здесь теологические представления лишь внешняя оболочка, скрывающая живую, материалистическую мысль об объективной закономерности самой природы.

Блестящее выражение это получило в известных словах (многократно цитируемых), вложенных Гете в уста *Духа Земли*. «In Lebens-fluten, im Tatensturm...», показывающих вечное, сложное, противоречивое движение жизни, природы, Вселенной. Те же идеи раскрываются в стихотворении, носящем название «Божественное», но именно под этим *названием* скрывается внутреннее содержание закономерного и вечного движения *природы*. Вот знаменательные слова:

Nach ewigen, ehrrnen
Grossen Gesetzen
Müssen wir alle
Unseres Daseins
Kreise vollenden[41].

Еще Шиллер отмечал в переписке с Гете, что последний всегда направляет свой наблюдающий взор на сами вещи природы, на их «связи по объективным законам», на поиски «необходимого в природе». И это совершенно справедливо. Сам Гете очень ярко и сильно выразил ту же мысль в письме к Якоби, излагая концепцию Спинозы, которого он очень высоко ценил за его глубоко материалистическое понимание законов природы, несмотря на теологическую форму воззрений. Гете твердо и несколько иронически — что только усиливает его мысль — пишет, что божественное он познает только in rebus singuluribus и ищет его на горах и под горами, in herbis et lapidibus, т. е. в конкретных, единичных вещах, в травах и камнях! Глубоко верная, диалектико-материалистическая мысль, хотя и выраженная в полутеологической форме.

Наконец, мы считаем необходимым привести изумительное по своим диалектическим идеям стихотворение Гете, помещенное им в качестве эпиграфа к «Остеологии», что также весьма знаменательно:

Freudig war vor vielen Jahren
Eifrig so der Geist bestrebt,
Zu erforschen, zu erfahren,
Wie Natur im Schaffen lebt.

---

41 По вечным, железным,
Великим законам,
Все бытия мы
Должны невольно
Круги совершать
(*«Божественное»*)

Und es ist das ewig Eine,
Das sich vielfach offenbart;
Klein das Grosse, gross das Kleine,
Alles nach der eignen Art.
Immer wechselnd, fest sich haltend,
Nah und fern und fern und nah,
So gestaltend, umgestaltend —
Zum Erstauen bin ich da [42].

Все это показывает, что мысли Гете глубоко проникают в реальную диалектику природных явлений, которые он стремится конкретно и детально изучать, руководствуясь диалектическими идеями развития и изменения природы. На первое место здесь выдвигаются работы Гете по морфологии растений и далее — по морфологии животных, где его общее естественнонаучное мировоззрение проявляется в кристально ясной форме.

Вопросам морфологии растений Гете посвятил ряд работ: «Опыт о метаморфозе растений» (1790), стихотворение «Метаморфоза растений» (1798), «История моих ботанических занятий» (1817—1831), к которым надо добавить многочисленные замечания и афоризмы, разбросанные в различных источниках. Красной нитью через все эти работы проходит идея эволюции растений, выраженная исследователем в весьма конкретно разработанных положениях на основе многочисленных фактических наблюдений.

Гете начинает с внешней дани уважения Линнею, называя его «гениальнейшим», «проницательнейшим» и пр., но сразу же резко противопоставляет его взглядам на живую природу свои собственные, говоря о своем конфликте с Линнеем, у которого «роды были разделены и раздроблены» и который тем самым «насиловал природу».

Идея глубокого единства природы органически связана у Гете с идеей эволюции: ее многообразие — многообразие единства, результат непрерывных преобразований организмов, живущих в определенной среде. Эта мысль убедительно сформулирована им в «Истории моих ботанических занятий», написанной уже после основных исследований по морфологии растений. «Окружающие нас растительные формы,— пишет он,— не предопределены и не установлены изначально, но одарены, при упорной родовой и видовой устойчивости, счастливой подвижностью и гибкостью, благодаря чему

---

[42] Довелось в былые годы
Духу страстно возмечтать,
Зиждящий порыв природы
Проследить и опознать.
Ведь себя одно и то же
По-различному дарит,
Малое с великим схоже,
Хоть и разнится на вид;
В вечных сменах сохраняясь,
Было — в прошлом, будет — днесь.
Я, и сам, как мир меняясь,
К изумленью призван здесь.
(«Параболы»)

они в состоянии применяться к столь различным условиям, влияющим на них на земном шаре, и сообразно с ними оформляться и преобразовываться»[43].

В этой формулировке, которую смело можно назвать *классической*, Гете концентрирует целый ряд эволюционных идей, ясно свидетельствующих о его значительном месте в истории естественных наук, как одном из предшественников великого Дарвина, что справедливо было отмечено еще Энгельсом и признано крупнейшими учеными-специалистами.

В особенности важными нам представляются здесь оценки эволюционных идей Гете, данные крупнейшим немецким дарвинистом Эрнстом Геккелем в целом ряде его работ и выступлений. Так, в докладе в Обществе немецких врачей и естествоиспытателей на тему «Воззрение на природу Дарвина, Гете и Ламарка» он отмечает, что идея развития в понимании природы у немецких ученых и философов в особенности нашла свое место в трудах Гете, Лессинга, Гердера, Канта, позднее у Шеллинга, Окена, Тревирануса. Геккель специально отмечает работу Гете «Метаморфоза растений» как «первую попытку представить все бесконечное многообразие единичных растительных форм в их генетическом единстве», причем это единство определяется происхождением от общих первичных организмов, даже от одной исходной формы. В этом Геккель видит монизм естественнонаучного мировоззрения Гете[44].

В докладе о развитии эволюционных идей у Дарвина, Гете и Ламарка Геккель отмечает «гигантский шаг», сделанный Гете в этом вопросе, который не был достаточно понят его современниками-естествоиспытателями. Исключительно высоко оценивает Геккель само понятие метаморфозы как «преобразование вообще органических форм». Также важным моментом он отмечает идеи Гете в вопросе о генеалогическом единстве царства растений и царства животных[45]. Во всех других работах, посвященных Геккелем проблемам эволюционного учения, он всегда отмечает Гете, наряду с Дарвином и Ламарком, в качестве одного из основателей этого учения[46].

Действительно, Гете принадлежат глубокие научные идеи. В особенности показательным и важным в этом отношении является его трактат «Опыт о метаморфозе растений». Введя в науку термин «морфология», он придает ему широкий и отнюдь не формальный смысл: морфология должна содержать «учение о форме, образовании и преобразовании органических

---

[43] Goethes Werke, Bd. 6, 11, Abtl. Weimar, 1891, S. 120.

[44] E. Haeckel. Die Naturanschauung von Darwin. Goethe und Lamark «Gemeinverständliche Vorträge und Abhandungen aus dem Gebiete der Entwicklungslehre», Erster Band, Bonn, 1902, S. 249—262.

[45] E. Haeckel. Natürliche Schöpfungs-Geschichte. Vorträge über die Entwicklungs-Lehre im Allgemeinen und diejenige von Darwin, Goethe und Lamark im Besonderen. Berlin, 1889, S. 72—82.

[46] E. Haeckel. Allgemeine Entwicklungsgeschichte der Organismen, Bd. II. B., 1866, S. 157—160. См. также его знаменитые «Die Welträtsel», где в XVIII главе он специально говорит о гетевском монизме в понимании природы.

тел». Метаморфоза растений поэтому — одно из проявлений подобной общей закономерности в развитии природных организмов. Гете прослеживает сходство в устройстве различных органов растений и приходит на этом основании к выводу, что все они есть результат преобразования одного из них — листа. Листья, тычинки, пестики, семядоли, лепестки, чашелистики — все это родственные друг другу образования, имеющие общее происхождение.

В своем трактате Гете говорит, что в растениях природа производит «разнообразнейшие формы посредством видоизменения одного-единственного органа». И далее: «...различные части растения происходят из вполне сходного органа, который, оставаясь в основе всегда одним и тем же, модифицируется и изменяется путем прогрессивного развития» [47]. Это изменение, по Гете, происходит, как уже отмечено, под влиянием условий жизни растения — почвы, влаги, света, климата, а также и упражнения различных его органов.

Верный своей идее приведения к единству бесконечного разнообразия растительных форм, Гете, как правильно отмечает К. А. Тимирязев, приходит к выводу, что «все растения построены по общему плану какого-то первичного растения (Urpflanze) или — как он позднее более научно выражался — какого-то основного типа» [48]. Решение всех важнейших проблем развития организмов дал Дарвин, говорит К. А. Тимирязев, но Гете, «несомненно, был одним из его предвозвестников, ясно сознававшим предстоящую науке задачу» [49].

Такая высокая оценка работ Гете в области развития эволюционных идей вполне заслужена им и неслучайно здесь общим является мнение Энгельса и таких крупнейших ученых, как Тимирязев, Геккель и Гельмгольц [50].

Большое научное значение имеют работы Гете и по морфологии животных, проникнутые в целом теми же идеями единства животного мира и его непрерывного развития. Ему принадлежит, как известно, открытие межчелюстной кости у человека, отсутствие которой считалось одним из существенных отличий человека от животного и на чем долго спекулировали попы и богословы, пытаясь доказать «божественную» природу человека в отличие от животных. И здесь Гете руководствовался своей идеей единства всего животного царства, включая и человека. Многочисленные наблюдения над

---

[47] Metamorphose der Pflanzen. Zweiter Versuch. Einleitung. (W., II, 6, § 8).

[48] К. А. Тимирязев. Гете — естествоиспытатель. Энциклопедический словарь Гранат, изд. 7, т. XIV, стр. 451.

[49] Там же, стр. 452.

[50] См. специальные лекции Г. Гельмгольца о Гете, в которых он рассматривает различные естественнонаучные работы последнего: H. Helmholts. Über Goethes naturwissenschaftliche Arbeiten. In: Vorträge und Reden. Braunschweig, 1896. Из работ современных немецких ученых об идеях эволюции Гете отметим статью О. Шварца «Goethe und die Evolutionstheorie», «Urania», Jg. 20, Hf. 7, 1957, Jena.

черепами различных животных привели его к бесспорному выводу о наличии межчелюстной кости и у человека. В процессе этого открытия им замечательно были применены методы индукции и дедукции в их единстве.

Конечно, справедливо говорит Гете, между os intermaxillare черепахи и слона, а тем более — животного и человека, существует громадная разница, но она нисколько не отрицает главного: внутреннего единства строения всех животных организмов.

Другое важное положение Гете, высказанное им в той же области сравнительной анатомии, имело менее счастливую научную судьбу. Он считал, что черепная коробка млекопитающих явилась результатом разрастания и срастания шести позвонков. Это положение обсуждалось выдающимися анатомами XIX в. и было опровергнуто прежде всего работами Т. Гексли, показавшими, что у низших позвоночных нет еще сегментарного строения черепа, которое он приобрел только у высших позвоночных. Здесь, очевидно, сказалось несколько прямолинейное, а потому и механистическое стремление Гете во что бы то ни стало найти во всех явлениях природы некоторое первичное явление, так называемый Urphänomen.

Подобный механистический подход привел Гете к его ошибочной теории цветов, где в качестве первичного феномена он считал мутную среду, проходя через которую или падая на нее, белый цвет дает новые цвета. Механистический и созерцательный подход Гете к данной проблеме не позволил ему правильно оценить подлинно научные идеи Ньютона, восторжествовавшие в науке, но упорно отрицавшиеся Гете. Однако следует отметить, что многочисленные наблюдения Гете над различными цветовыми и световыми эффектами сохраняют известное значение и в настоящее время, например, его описание цветового контраста, возникающего при закате Солнца в ясный зимний день [51].

Наконец, о цельности эволюционных концепций Гете свидетельствуют его идеи о постепенных процессах развития Земли, его выступления против «теорий катастроф» — и в области геологии, и в области палеонтологии, и в биологии в целом. Все это нашло свое выражение и в специальных естественнонаучных выступлениях Гете-ученого и во второй части «Фауста», в частности, в словах Фалеса. В этом отношении Гете может рассматриваться продолжателем идей об эволюции «слоев земных» Леонардо да Винчи и Ломоносова.

Многообразен и значителен круг естественнонаучных исследований великого поэта и ученого. Его взор глубоко проникал во «внутренние чертоги

---

[51] См. об этом специальную статью советского ученого Н. Т. Федорова «Одновременный цветовой контраст» в журнале «Природа» (1954, № 12). Но, конечно, совсем беспредметными являются утверждения Кассирера о том, что якобы гетевский Urphänomen есть нечто «идеальное» и «логическое». Все подобные кантианские заявления просто находятся по ту сторону всякого научного исследования.

натуры». Единым взглядом он стремился охватить все разнообразие и богатство природных явлений. Материалистический и в основе стихийно-диалектический подход Гете к природе принес плодотворные научные результаты, а слабые стороны его творчества всегда оказываются связанными с отступлением от диалектики и от материализма.

V

Глубокое и многогранное творчество Гете необозримо. Это целая эпоха в культурном развитии человечества. Немецкий народ законно гордится своим великим сыном. С полным правом Гете можно назвать основоположником немецкой национальной литературы; он внес решающий вклад в создание и развитие немецкого литературного языка; все его богатейшее творчество уходит глубокими корнями в жизнь и деятельность немецкого народа. Как Гомер был величайшим греческим поэтом, Данте — итальянским, Шекспир — английским, Пушкин — русским, Цюй Юань — китайским, Калидаса — индийским, так и Гете был бесспорно величайшим немецким поэтом, наиболее ярким и глубоким выразителем немецкой национальной культуры. Думая о будущем своего народа и своей страны, Гете мечтал

Solch ein Gewimmel möcht ich sehn
Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn! [52]

Но вместе с тем — как подлинно великие деятели всех наций и всех народов — Гете принадлежит всем народам мира, всему прогрессивному и передовому человечеству. Его великие гуманистические идеи, его гениальная поэзия, его крупнейшие научные труды и открытия, основанные на глубоко диалектическом проникновении в законы природы, его борьба против средневековья и схоластики — все это создало Гете мировую славу, принесло ему безграничное уважение миллионов людей земного шара.

Закономерно поэтому, что все юбилейные и памятные даты Гете исключительно широко отмечались и отмечаются во многих странах мира, вызывают мировой резонанс. На протяжении полутора столетий были изданы сотни томов, посвященных его многогранному творчеству. Напомним читателю, что уже 1832 год — год смерти Гете — был отмечен специальными памятными собраниями в ряде европейских стран, в том числе и в России. Широко был отмечен передовой общественностью тех лет столетний юбилей

---

[52] Чтоб я увидел в блеске силы дивной
Свободный край, свободный мой народ!
(«Фауст»)

со дня рождения поэта. В начале XX в. специально отмечались 70-летие и 75-летие со дня смерти поэта. Громадный резонанс вызвал в мире — и в «Старом» и в «Новом Свете» — день 100-летия со дня смерти Гете в 1932 г. «Мир чествует Гете»,— так писал в те дни А. В. Луначарский. Академия наук СССР провела научные сессии, на которых с докладами выступили крупнейшие ученые страны. Был выпущен ряд изданий, с различных сторон характеризующих облик великого мыслителя и значение его творений.

200-летний юбилей Гете — в 1949 г.— вызвал новый отклик во всем мире. «Goethe-Year» был торжественно отмечен в «странах английского языка»; проведены научные сессии в ряде академий стран Европы и Америки; широко отмечались юбилейные гетевские дни во многих городах и Восточной и Западной Германии; в СССР и многих других социалистических странах эти дни были отмечены и научными сессиями, и многочисленными лекциями и докладами, и новыми изданиями работ, посвященных творчеству Гете. Точно так же и 125-летие со дня смерти поэта и ученого было отмечено в СССР в 1957 г. и, в частности, проведена сессия Института философии Академии наук в Москве.

Высоко чтит память Гете немецкий народ в своем социалистическом государстве — Германской Демократической Республике. Центральный Комитет Социалистической Единой партии Германии, как уже отмечалось, выпустил в связи с юбилеем Гете специальный «Manifest zur Goethe-Feier der deutschen Nation». В этом Манифесте отмечались великие прогрессивные, гуманистические идеи творчества Гете, подчеркивалась его непримиримость к шовинизму, национализму, всему консервативному и отсталому. На многочисленных сессиях и собраниях выступали крупнейшие общественные деятели, писатели, ученые. Напомним выступление Отто Гротеволя на празднике свободной немецкой молодежи, названное им «Молот или наковальня», в котором он призывал немецкую молодежь следовать великому завету Гете — идти вперед и действовать. Напомним также выступление Иоханнеса Роберта Бехера в национальном театре Веймара, в котором центральной мыслью является идея освобождения и борьбы за новое будущее, к чему призывал Гете.

Глубоким вниманием и безграничным уважением пользуется все богатейшее творчество Гете в Германской Демократической Республике. Достаточно сказать о систематической и многогранной деятельности Goethe-Gesellschaft и Национального центра исследований классической немецкой литературы в Веймаре, о многолетней и тщательной работе отделения Goethe-Wörterbuch Академии наук в Берлине, о подготовке различных новых изданий произведений Гете, в частности, нового берлинского издания сочинений поэта с богатыми и исчерпывающими комментариями. Все это говорит вместе с тем об огромном внимании к прогрессивному культурному наследству со стороны подлинно народного, социалистического немецкого государства.

В противоположность такому отношению и такому пониманию роли и значения творчества Гете определенные круги Западной Германии отрицают

национальный характер и национальное значение великого поэта. Очень показательным в этом отношении является следующий факт. На Международном научном конгрессе во Франкфурте-на-Майне в 1949 г. ректор Гете-Университета Франц Бём в своей вступительной речи говорил, что Гете не имеет отношения к «нашему национальному стилю жизни», что мы не можем считать себя «народом Гете», что вообще «не существует народа, специально отмеченного вниманием Гете», ибо последний признает и отмечает человека вообще. И далее Бём утверждал, будто все внимание Гете направлено на индивидуальную природу человека и поэтому Гете не может служить защитой против насилия, против опасности национал-социализма [53]. Все это глубоко ошибочно.

Выше уже было отмечено, что Гете сумел подняться до необходимости творческого коллективного труда человека как условия его освобождения. Его призывы к борьбе за свободу и счастье человека, его борьба против всего мрачного, средневекового, консервативного, против шовинизма и национализма направлены против реакционных социальных сил. Заявление же о том, что не существует народа, отмеченного специально вниманием Гете, есть не что иное, как космополитизм, отрицание национального смысла и значения его творчества, нигилизм в отношении великих, передовых идей немецкой национальной культуры. Глубоко прав был Отто Гротеволь, сказав, что для нас «не существует веймарского и франкфуртского Гете. Для нас существует только один Гете, и он принадлежит всему *немецкому народу*» [54].

Роль и значение Гете в современной жизни немецкого народа отрицает и К. Ясперс в книге «Наше будущее и Гете». Он утверждает, что мир Гете — это мир прошлого, его время кончилось, что Гете не является ни идеалом, ни примером. Ясперс игнорирует подлинные философские идеи Гете и говорит о его неоплатонизме, спинозизме, кантианстве и особенно об общности его идей с идеями Ницше. В итоге Ясперс пишет: «Нам нечего делать с гуманизмом Гете» [55].

Современным буржуазным философам, действительно, не по пути с прогрессивными силами нашей эпохи, высоко поднимающими значение идей подлинного гуманизма. Для современной буржуазной философии характерна проповедь социального пессимизма, обреченности и гибели человека и человечества. Отсюда и провозглашение Ясперсом «падения в пропасть» — все равно, с помощью атомной бомбы или без нее; отсюда и мрачные прозрения «космического плана разрушения» буржуазными социологами; отсюда и экзистенциалистская «проблема самоубийства» как единственная и подлинная

---

[53] «Goethe und die Wissenschaft». Vorträge gehalten anlässlich des Internationalen Gelehrtenkongresses zu F. a. M. im August 1949. F. a. M., 1951, S. 12—15.

[54] Otto Grotewohl. Amboss oder Hammer. Berlin, 1949, S. 79. (Курсив наш.— *Г. К.*)

[55] K. Jaspers. Unsere Zukunft und Goethe. Bremen, 1949, S. 11, 29, 32.

проблема философии. Это и есть фактически *философия смерти*, означающая вместе с тем *смерть философии*. Это и есть философия исторически обреченного, умирающего класса, которому нет дела до всего прогрессивного, разумного, гуманного.

В современную историческую эпоху истинным наследником всего передового в мировой истории и мировой культуре является рабочий класс и все трудовое, прогрессивное человечество. Перед человечеством открылась эпоха подлинного Ренессанса культуры — новой и величественной культуры социализма и коммунизма, которая впитывает в себя все самые великие и блистательные достижения человеческого гения. *В этих анналах мировой культуры имя Гете навсегда вписано золотыми буквами.*

Г. Курсанов

Природа[1]

Окруженные и охваченные ею, мы не можем ни выйти из нее, ни глубже в нее проникнуть. Непрошеная, нежданная, захватывает она нас в вихрь своей пляски, и несется с нами, пока, утомленные, мы не выпадем из рук ее.

Она творит вечно новые образы; что есть в ней, того еще не было; что было, не будет, все ново, — а все только старое. Мы живем посреди нее, но чужды ей. Она вечно говорит с нами, но тайн своих не открывает. Мы постоянно действуем на нее, но нет у нас над нею никакой власти.

Кажется, все основывает она на личности, но ей дела нет до лиц. Она вечно творит и вечно разрушает, но мастерская ее недоступна. Она вся в своих чадах, а сама мать, где же она? — Она единственный художник: из простейшего вещества творит она противоположнейшие произведения, без малейшего усилия, с величайшим совершенством и на все кладет какое-то нежное покрывало. У каждого ее создания особенная сущность, у каждого явления отдельное понятие, а все едино.

Она дает дивное зрелище; видит ли она его сама, не знаем, но она дает для нас, а мы, незамеченные, смотрим из-за угла. В ней все живет, совершается, движется, но вперед она не идет. Она вечно меняется, и нет ей ни на мгновение покоя. Что такое остановка — она не ведает, она положила проклятие на всякий покой. Она тверда, шаги ее измерены, уклонения редки, законы непреложны. Она беспрерывно думала и мыслит постоянно, но не как человек, а как природа. У ней свой собственный, всеобъемлющий смысл, но никто его не подметит.

Все люди в ней, и она во всех. Со всеми дружески ведет она игру, и чем больше у ней выигрывают, тем больше она радуется. Со многими так скрытно она играет, что незаметно для них кончается игра.

Даже внеестественном есть природа, на самом грубом филистерстве лежит печать ее гения. Кто не видит ее повсюду, тот нигде не видит ее лицом к лицу. Она любит себя бесчисленными сердцами и бесчисленными очами глядит на себя. Она расчленилась для того, чтобы наслаждаться собою. Ненасытимо стремясь передаться, осуществиться, она производит все новые и новые существа, способные к наслаждению.

Она радуется мечтам. Кто разбивает их в себе или в других, того наказывает она, как страшного злодея. Кто ей доверчиво следует, того она прижимает, как любимое дитя, к сердцу.

Нет числа ее детям. Ко всем она равно щедра, но у нее есть любимцы, которым много она расточает, много приносит в жертву. Великое она принимает под свой покров.

Из ничтожества выплескивает она свои создания и не говорит им, откуда они пришли и куда идут. Они должны идти: дорогу знает она.

У ней мало стремлений, но они вечно деятельны, вечно разнообразны.

Зрелище ее вечно ново, ибо она непрестанно творит новых созерцателей. Жизнь — ее лучшее изобретение; смерть для нее средство для большей жизни.

Она окружает человека мраком и гонит его вечно к свету. Она приковывает его к земле и отрывает его снова.

Она дает потребности, ибо любит движение, и с непонятною легкостью возбуждает его. Каждая потребность есть благодеяние, быстро удовлетворяется и быстро опять возникает. Много новых источников наслаждения в лишних потребностях, которые дает она; но все опять приходит в равновесие. Каждое мгновение она употребляет на достижение далекой цели, и каждую минуту она у церя. Она — само тщеславие, но не для нас — для нас она святыня.

Она позволяет всякому ребенку мудрить над собой; каждый глупец может судить о ней; тысячи проходят мимо нее и не видят; всеми она любуется и со всеми ведет свой расчет. Ее законам повинуются даже и тогда, когда им противоречат; даже и тогда действуют согласно с ней, когда хотят действовать против нее. Всякое ее деяние благо, ибо всякое необходимо; она медлит, чтобы к ней стремились; она спешит, чтобы ею не насытились.

У нее нет речей и языка, но она создает тысячи языков и сердец, которыми она говорит и чувствует.

Венец ее—любовь. Любовью только приближаются к ней. Бездны положила она между созданиями, и все создания жаждут слиться в общем объятии. Она разобщила их, чтобы опять соединить. Одним прикосновением уст к чаше любви искупает она целую жизнь страданий.

Она все. Она сама себя и награждает, и наказывает, и радует, и мучит. Она сурова и кротка, любит и ужасает, немощна и всемогуща. Все в ней непрестанно. Она не ведает прошедшего и будущего; настоящее ее—вечность. Она добра. Я славословлю ее со всеми ее делами. Она премудра и тиха. Не вырвешь у ней признания в любви, не выманишь у ней подарка, разве добровольно подарит она. Она хитра, но только для доброй цели, и всего лучше не замечать ее хитрости. Она целостна и вечно недокончена. Как она творит, так можно творить вечно.

Каждому является она в особенном виде. Она скрывается под тысячью имен я названий, и все одна и та же.

Она ввела меня в жизнь, она и уведет. Я доверяю ей. Пусть она делает со мной, что хочет. Она не возненавидит своего творения. Я ничего не сказал о ней. Она уже сказала, что истинно и что ложно. Все ее вина и ее заслуга.

(И. В. Гете. Избранные сочинения по естествознанию. Изд-во АН СССР, 1957. стр. 361—363)

Пояснение к афористической статье Природа

Недавно эта статья была передана мне из письменного наследия вечно чтимой герцогини Анны Амалии; она написана хорошо знакомой рукой, которой я обычно пользовался при работе в восьмидесятые годы.

Фактически я, правда, не могу вспомнить, чтобы я сочинил эти размышления, однако они вполне согласуются с теми представлениями, которых достиг в своем развитии мой дух в то время. Я хочу назвать уровень моих тогдашних воззрений сравнительной степенью, стремящейся проявиться в еще не достигнутой превосходной степени. Видна склонность к своего рода пантеизму, причем в основе мировых явлений предполагается непостижимое, безусловное, юмористическое, себе противоречащее существо, и все может сойти за игру, сугубо серьезную.

Однако завершение, ему недостающее, это—созерцание двух маховых колес всей природы: понятие о полярности и повышении; первое принадлежит материи, поскольку мы мыслим ее материальной, второе, напротив, ей же, поскольку мы мыслим ее духовной; первое состоит в непрестанном притяжении и отталкивании, второе—в вечно стремящемся подъеме. Но так как материя без духа, а дух без материи никогда не существует и не может действовать, то и материя способна возвышаться, так же как дух не в состоянии обойтись без притяжения и отталкивания; подобно тому, как и думать может только тот, кто достаточно разъединял, чтобы соединять, достаточно соединял, чтобы иметь возможность снова разъединять...

Веймар, 24 мая 1828 г.

(И. В. Гете. Избранные сочинения по естествознанию, ар. 364—365)

О межчелюстной кости человека и животных[3]

Некоторые опыты остеологических рисунков собраны здесь вместе с той целью, чтобы предложить вниманию знатоков и Друзей сравнительной анатомии маленькое открытие, которое, как мне кажется, я сделал.

На черепах животных легко можно заметить, что верхняя челюсть состоит более чем из одной пары костей. Ее передняя часть вполне явственно соединяется с помощью разного рода швов с задней и образует пару особых костей.

Этому переднему отделу верхней челюсти дано название os intermaxillare. Уже древние знали эту кость, а с недавней поры она приобрела особое значение, так как ее выдают за признак различия между обезьяной и человеком. Первому роду ее приписывают, а у второго ее наличие отрицают, и если бы при изучении предметов природы не убеждала очевидность, у меня не хватило бы смелости выступить и сказать, что этот костный отдел имеется и у человека...

II

В то время, когда я в начале восьмидесятых годов, под руководством гофрата Лодера, много занимался анатомией, идея метаморфоза растений передо мной еще не вставала; тем не менее моя ревностная работа направлялась поисками общего остеологического типа, и я должен был поэтому принять, что все части данного животного как взятые в отдельности, так и в целом

могут быть обнаружены у всех животных, ибо 'ведь на этой предпосылке покоится давно уже начавшая разрабатываться сравнительная анатомия. Тут-то и встретился я со странным явлением: различие между обезьяной и человеком хотели видеть в том, что первой приписывали os irtermaxillare, а у второго ее отрицали: но так как названная часть примечательна главным образом тем, что в ней сидят резцы, то было непонятно, как это человек, имея резцы, может тем не менее быть лишенным кости, в которой они помещаются. Поэтому я стал искать следы таковой и весьма легко нашел их: canales incisivi обозначает переднюю границу кости, а идущие от нее в стороны швы вполне ясно указывают на обособленность maxilla superior. Лодер отметил это наблюдение в своем руководстве по анатомии 1788 г., стр. 89, и мы немало гордились открытием. Были сделаны зарисовки, чтобы наглядно представить утверждаемое; к ним была написана вышеприведенная краткая статья, которая затем была переведена на латинский язык и послана Камперу. Формат и почерк были столь добропорядочны, что этот замечательный человек принял ее с некоторым приятным удивлением. Любезно похвалив нас за труд и усердие, он, однако же, продолжал, как и прежде, утверждать, что у человека нет os intermaxillare.

Когда непосвященный ученик осмеливается противоречить цеховым старшинам, или даже, что еще безрассуднее, надеется их переубедить, то это, разумеется, свидетельствует о ярко выраженном незнакомстве его с миром, о его юношеской самонадеянности. Однако непрерывный многолетний опыт научил меня и иному. Он открыл мне что постоянно повторяемые фразы переходят, в конце концов, в окостенелые убеждения, а органы восприятия совершенно притупляются. Тем не менее благотворно, что такие вещи 'познаются не слишком рано, потому что иначе юношеское чувство свободы и правды было бы парализовано унынием. Странным казалось мне, что не только мастера держались в этом вопросе ходячих мнений, но и лица, работавшие вместе со мной, также мирились с подобным кредо...

VIII

Мы обращаемся теперь к одному вопросу, который, если бы только нам удалось прийти здесь к чему-то решающему, оказал бы большое влияние на все ранее сказанное. Дело в том, что после всех пространных рассуждений об образовании и преобразовании возникает вопрос: действительно ли должно и можно выводить кости черепа из позвонков и, не взирая на столь большие

и решающие изменения, все еще признавать их первоначальную форму? И вот я охотно признаюсь, что уже тридцать лет убежден в этом тайном родстве и постоянно размышлял над этим. Однако подобное арегси, такое обнаружение, концепция, представление, понятие, идея, как это ни называй, сохраняет постоянно, что бы мы ни говорили, эзотерический характер; его можно высказать в общем виде, но нельзя доказать; его вполне возможно показать на отдельных частностях, но округлить и завершить доказательство невозможно. Два человека, проникшись этой мыслью, все же едва ли сошлись бы относительно применения ее в частностях; и, если уж быть последовательным, мы можем утверждать, что одинокий, молчаливый наблюдатель и друг природы не всегда остается ;в согласии с самим собой. В один день он видит проблематический предмет яснее, в другой — менее ясно, в зависимости от того, насколько чисто и совершенно способна проявиться его духовная сила.

Как-то раз — чтобы пояснить сказанное примером—я заинтересовался манускриптами пятнадцатого века, сплошь написанными аббревиатурами. И хотя такой расшифровкой я никогда прежде не занимался, я все же, возбужденный, страстно взялся за дело и, к своему удивлению, стал живо читать незнакомые письмена, которые, казалось бы, надолго могли оставаться для меня загадочными. Однако это удовольствие не было продолжительным, ибо, когда я через некоторое .время снова принялся за прерванное занятие, я заметил, что ошибочно стремлюсь обычным путем сосредоточенного внимания закончить работу, начатую в воодушевлении и с любовью, с просветленной и свободной душой, и что мне остается только в тиши надеяться, не возобновится ли тот момент счастливого наития.

Если мы встречаемся с таким различием при рассмотрении старых пергаментов, начертания которых лежат перед нами строго фиксированными, насколько должна возрасти трудность, когда мы намереваемся выведать что-нибудь у природы, которая, вечно подвижная, не хочет, чтобы жизнь, даруемая ею, была познана. То она стягивает вместе своими аббревиатурами вещи, которые в ясном развитии были бы вполне понятны, то наводит невыносимую скуку перечислениями, растянутыми в ряд размашистым беглым готическим почерком; она раскрывает то, что раньше скрывала, и скрывает то, что только что показывала. И кто может похвалиться такой любовной настойчивостью, такой скромной дерзостью, благодаря которой природа отдавалась бы ему в любом месте, в каждый момент?

Однако, если такая проблема, решительно противящаяся всякой экзотерической обработке, преподносится вниманию непостоянного, занятого лишь самим собою общества, то, независимо

от того, будет ли это сделано постепенно и скромно или гениально смелым путем, сообщенное весьма часто встречает холодный или даже неприязненный прием, так что такое нежное духовное существо оказывается совсем не на месте. И если даже новая или обновленная, простая и благородная мысль сумеет произвести некоторое впечатление, то все-таки никогда она не подхватывается и не развивается дальше в ее чистом виде, как это было бы желательно. Исследователи и сочувствующие, учителя и ученики, ученики между собой, не говоря уже о противниках, оспаривают, запутывают, расходятся между собой при многообразно расщепляющейся обработке, и все это именно потому, что каждый в отдельности хочет целое приспособить к своему уму и чувству и, что гораздо легче, быть в своих ошибках оригинальным, чем, признав истину, подчиниться более высокому способу представления.

Кто в течение своей долгой жизни наблюдал этот ход вещей в обществе и в науке как в истории, так и вокруг себя, вплоть до сегодняшнего дня, тому хорошо известны эти затруднения, тот знает, как и почему так трудно развить и распространить глубокую истину; поэтому да простится ему, если он не чувствует охоты снова рисковать попасть в кучу неприятностей.

Вот почему я лишь кратко повторю свое много лет лелеянное убеждение, что череп млекопитающего надлежит выводить из шести позвонков. Три относятся к затылочной части, как содержащие сокровище мозга и рассылающие нежные ветви жизни, тонко разветвленные внутрь и по всему целому, а также одновременно наружу; три, с другой стороны, образуют лицевую часть черепа, раскрываясь навстречу внешнему миру, воспринимая его, схватывая, постигая.

Три первые признаны: затылочная кость, задняя клиновидная кость и

передняя клиновидная кость; но три последние еще должны быть признаны: нёбная кость, верхняя челюсть и межчелюстная кость.

Если кто-либо из выдающихся ученых, которые уже усердно занимались этим предметом, воспользуется изложенным воззрением, хотя бы в качестве проблемы, и применит несколько рисунков, чтобы пояснить посредством немногих чисел и знаков каждое доступное взаимоотношение и тайную связь, то уже и без

того неминуемая гласность вопроса приобретет решающее направление, и мы, возможно, отважимся тогда также еще кое-что высказать о способах рассмотрения и разработки таких природных тайн, чтобы в конце концов направить их, вероятно в общепонятном изложении, на достижение практических результатов. Ведь только таким образом ценность и достоинство какой-нибудь мысли может, наконец, получить всеобщий почет и признание.

Иена. 1784 г.

(И. В. Гете. Избранные сочинения по естествознанию, стр. 114. 130—131. 140—143)

Философский этюд'

Понятие бытия и совершенства одно и то же. Когда мы прослеживаем это понятие настолько далеко, насколько это для нас возможно, то мы говорим, что мыслим бесконечное.

Однако бесконечное или всецелое существование мы не в состоянии мыслить.

Мы можем мыслить только вещи, которые либо сами ограничены, либо ограничиваются нашей душой. Таким образом, у нас есть понятие о бесконечном, поскольку мы можем мыслить, что существует всецелое бытие, превышающее способность разумения органического духа.

Нельзя сказать, что у бесконечного есть части.

Все ограниченные существования заключаются в бесконечном, но не составляют его частей, вернее сказать, они причастны бесконечности.

Мы не можем представить себе, чтобы что-либо ограниченное существовало само через себя. И, однако, все действительно существует через себя, хотя все состояния так связаны, что одно должно развиваться из другого, и поэтому кажется, будто одна вещь производит другую. На деле же этого нет. Одно живое существо дает другому повод к существованию и вынуждает его существовать в определенном состоянии...

Каждая существующая вещь имеет, следовательно, свое бытие в самой себе, равным образом и гармонию, в силу которой она существует.

Измерение какой-либо вещи есть грубое действие, которое к живым телам может быть применено только весьма несовершенно.

Живая вещь не может быть измерена ничем вне ее находящимся. И если уж необходимо измерение, то масштаб должна дать сама эта вещь; масштаб же этот чрезвычайно идеален (geistig) и не может быть найден чувствами. Уже в круге мера поперечника не приложима к окружности. Так хотели измерить человека механически; живописцы приняли голову как самую важную часть за единицу измерения; и все же эта единица не приложима к остальным членам без очень маленьких (иррациональных), точно не выразимых дробей.

Во 'всяком живом существе то, что мы называем частями, настолько неотделимо от целого, что может быть понятно только в нем и с ним, и ни части не могут быть взяты за меру целого, ни целое—за меру частей; таким образом, ограниченное живое существо причастно, как мы сказали выше, бесконечности, или, вернее, в нем есть нечто бесконечное. Лучше же всего сказать, что мы не можем вполне охватить понятие существования и совершенства ограниченнейшего живого существа и должны поэтому объявить его бесконечным, как и то колоссальное целое, которое охватывает все бытие.

Вещей, которые мы воспринимаем, существует огромное множество. Их отношения, которые может охватить наша душа, чрезвычайно многообразны. Душа, обладающая внутренней силой расширения, стремится упорядочивать. Чтобы облегчить себе познание и дойти до наслаждения, она стремится связывать и соединять.

Итак, мы должны настолько ограничить в нашей душе всякое существование и совершенство, чтобы они пришли в соответствие с нашей природой и нашим образом мышления и ощущения. Только тогда мы можем сказать, что понимаем какую-либо вещь или наслаждаемся ею.

Когда душа воспринимает какое-либо отношение как бы в зародыше, а гармонию этого отношения в ее вполне развернутом виде не в силах сразу вполне обозреть или почувствовать, то мы называем такое впечатление возвышенным. Из всех впечатлений, какие могут выпасть на долю человеческой души, это самое дивное.

Когда мы видим отношение, обозреть или охватить которое во всем его развитии нашей душе как раз по силам, мы называем впечатление большим.

Выше мы сказали, что все живые вещи носят свои соотношения в самих себе. Поэтому впечатление, которое они производят на нас, как по одиночке, так и в связи с другими вещами, если только оно вытекает из всецелого их бытия, мы называем правдивым. Если это бытие отчасти ограничено таким образом, что мы легко можем охватить его, и при этом находится в таком

отношении к нашей природе, что мы охотно завладели бы им, то мы называем предмет прекрасным.

Нечто подобное происходит, когда люди сообразно своим силам составили себе цельную картину, все равно—богатую или бедную, связи вещей и затем замкнули круг. То, что им удобнее всего мыслить, в чем они могут найти наслаждение, они будут считать самым верным и надежным. При этом большею частью можно даже заметить, что на других, не так легко успокаивающихся и пытающихся отыскать и познать больше отношений божественных и человеческих вещей, они взирают с самодовольным сожалением и при всяком удобном случае со скромным упрямством дают понять, что в истине они нашли уверенность, стоящую выше всякого доказательства и рассудка. Указывая каждому на это блаженство как на последнюю цель, они не могут. вдосталь нахвалиться своим внутренним завидным спокойствием и радостью. Но так как они не в состоянии ясно обнаружить ни того, каким путем дошли они до этого убеждения, ни того, что собственно служит ему основой, а говорят только об уверенности как уверенности, то любознательный найдет у них мало утешительного. Он все время вынужден слушать, что душа должна становиться все более простою и ограниченною, направляться только на одну точку, избавляться от всех многообразных запутанных отношений и только тогда можно найти, но уже тем надежнее, свое счастье в состоянии, представляющем свободный дар и выражение особой милости бога.

По нашему же разумению мм не назовем, правда. этого ограничения даром, так как на недостаток нельзя смотреть как на дар. Но мы согласны видеть милость природы в том, что человеку, большею частью способному доходить только до несовершенных понятий, она все-таки дала такое самоудовлетворение в его узости.

(В. О. Лихтенштадт. Гете. Пг., Госиздат, 7920, стр. 475—477)

Кристаллизация и произрастание

...Вы превозносите, дорогой друг, красоту ваших замерзших оконных стекол и не можете нахвалиться, как эти преходящие явления, если держится хороший мороз и происходят различные испарения, складываются в листья, ветки, усики и даже розы. Вы посылаете мне несколько рисунков, которые напоминают мне самые красивые, какие я видел, вещи в этом роде и повергают в изумление особенным изяществом форм. Мне кажется только, что вы придаете этим действиям природы слишком большую ценность. Вам хотелось бы возвысить эту кристаллизацию до ранга растений. То, что вы высказываете как свое мнение, довольно остроумно, и кто станет отрицать, что все существующие вещи имеют отношение друг к другу!

Но позвольте мне заметить, что такой способ рассматривать вещи и делать выводы представляет для нас, людей, некоторую опасность.

Нам нужно было бы, как мне думается, подмечать в вещах, познания которых мы добиваемся, больше то, в чем они отличаются друг от друга, чем то, в чем они сходны. Различение труднее, кропотливее, чем отыскание сходства, а раз приобретено правильное различение, предметы сравниваются сами собою. Когда же начинаешь с отыскания подобия или сходства между вещами в угоду своей гипотезе или своему способу представления, легко подвергаешься опасности проглядеть такие признаки, в силу которых вещи очень различаются между собою.

Простите за то, что впадаю в догматический тон и не посетуйте на серьезнее отношение к серьезному вопросу.

Жизнь, действующую во всех существующих вещах, мы не можем охватить сразу мыслью ни во всем ее объеме, ни во всех способах ее проявления.

Направленному на эти вопросы уму, таким образом, не остается ничего, как возможно точнее знакомиться с этими способами. Он видит, правда, что он должен подчинить все их одному-единственному понятию, понятию жизни в самом широком смысле. Но тем тщательнее будет он отделять друг от друга предметы, в которых различно обнаруживается способ бытия и жизни. Со строгостью, вплоть до педантизма, он будет настаивать на том, чтобы не сдвигались великие межевые столбы, которые, даже если они были вколочены произвольно, все же должны помочь ему измерить и в точности изучить страну. Он никогда не будет пытаться сблизить три великие, бросающиеся в глаза вершины — кристаллизацию, растительную жизнь и животную организацию. Он будет только стараться в точности познакомиться с промежутками между ними и с большим интересом остановится на тех пунктах, где различные царства встречаются и переходят, по-видимому, одно в другое.

Последнее и составляет, пожалуй, ваш случай, и я не мог упрекать вас в этом, так как сам я часто посещал эти области и теперь еще охотно останавливаюсь на них. Я не могу только согласиться, чтобы две горы, связанные долиной, принимали и выдавали за одну. Так ведь всегда бывает в вещах природы: вершины ее царств решительно отделены друг от друга и должны быть самым отчетливым образом различаемы. Соль — не дерево, дерево — не животное. Здесь мы можем воткнуть столбы, здесь сама природа указала нам место. После этого с этих высот мы можем надежнее спускаться и тщательно исследовать также и их общие долины.

Итак, я ничего не имею против того, друг мой, чтобы вы продолжали и развивали эти наблюдения, на которые натолкнул вас зимний убор ваших окон. Проследите, где кристаллизация приближается к древоразветвлению, и вы найдете, что это бывает обыкновенно тогда, когда к солям примешивается флогистон. С помощью небольших химических опытов вы соберете затем многие интересные наблюдения. От явлений замерзания вы перейдете к искусственному приготовлению дендритов, и было бы неожиданным и весьма поучительным для меня самого, если бы вы в точности указали мне тот пункт, где вы имели бы счастье поймать на этом пути и родственный мох.

Впрочем, будем питать одинаковое почтение ко всем искусственным словам! Каждое из них свидетельствует об усилиях человеческого ума понять нечто непонятное. Будем пользоваться, как нам удобнее, словами: агрегация, кристаллизация,

эпигенезис, эволюция, смотря по тому, которое из них лучше подходит к нашему наблюдению.

Так как мы не можем сделать много с помощью малого, то мы не должны огорчаться, делая мало с помощью многого. Если человек и не может сразу охватить всю природу одним смутным чувством, то все же он может многое исследовать и познать в ней.

Наука — вот истинное преимущество человека. И если она все снова и снова ведет его к великому понятию того, что все составляет гармоническое единство, и сам он, в свою очередь, представляет гармоническое единство, то это великое понятие утвердится в нем гораздо богаче и полнее, если он не захочет жить в спокойном мистицизме, который охотно прячет свою нищету в претендующую на уважение непонятность.

Неаполь, /О января 1789 г.

(В. О. Л и х т е н ш т а л т. Гете. стр. 299—301)

Из ((Анналов))

(1790)

Я тотчас поспешил вновь завязать прежние отношения с иенским университетом, которые способствовали моим научным занятиям и оживили их. Расширять в будущем экспозицию, приводить в порядок и содержать местные музеи при содействии сведущих людей — было настолько приятным, как и имеющим познавательную ценность занятием, что я при рассмотрении природы, при изучении всеобъемлющей науки чувствовал себя в какой-то мере вознагражденным за оторванность от сферы искусства. «Метаморфоза растений» писалась для души. Отдавая ее в печать, я надеялся представить знатокам Specimen pro loco *. Был подготовлен ботанический сад.

В то время в поле моего зрения был цветовой колорит, и когда я вернулся к начальным природным элементам этого учения, то к моему великому удивлению открыл, что гипотеза Ньютона не верна и ее не следует придерживаться. Более точное исследование только подтвердило мое убеждение, и вновь я заболел идеей развития, которая должна была иметь большое влияние на мою жизнь и деятельность.

...Напротив в Бреслау, где блистал солдатский двор, а также дворянство одной из первых провинций государства, где можно было видеть беспрерывно марширующими и маневрирующими прекраснейшие полки, меня беспрестанно занимала, как бы это странно ни звучало, сравнительная анатомия, почему я среди всеобщего оживления и жил замкнуто, как отшельник. Эта часть изучения природы была удивительно волнующей. Однажды, когда я, как это часто бывало, прогуливался по дюнам Лидо, кото-

рые отделяют венецианские лагуны от Адриатического моря, я нашел счастливым образом растрескавшийся череп овцы, который доказал мне не только великую известную мне еще прежде истину: все кости черепа возникли из видоизмененных позвонков, но и сделал очевидным превращение путем выявления высшего образования и развития подлежащих совершенствованию внутренне бесформенных органических масс в превосходные органы чувств и в то же время освежил мою старую, подкрепленную опытом веру, которая основывалась на том, что у природы нет тайн, не ставших бы со временем известными внимательному наблюдателю.

Так как я среди окружающего меня оживления вернулся к строению кости, то моя предварительная работа которую я ранее использовал для промежуточных костей, как бы ожила. Лодер *, неутомимое участие и влияние которого я не устаю восхвалять, высказывает то же мнение в своем анатомическом руководстве 1788 года. Но так как среди моих бумаг лежит относящаяся к этой же теме небольшая статья на немецком и латинском языках, то я и упоминаю только вышесказанное. Я был вполне убежден, что общий тип, развивающийся благодаря метаморфозам, проходит через все органические существа что можно наблюдать во всех его частях на определенных средних ступенях, и должен быть признан даже и тогда, когда на высшей ступени человечества он скромно отступает.

На это были направлены все мои работы, включая и бреславские; задача была настолько велика, что она не могла быть решена в течение одной жизни, целиком этому не посвященной.

Предпринятая увеселительная прогулка в солеварни Велички и продолжительная верховая поездка по горам и равнине через Адерсбах, Глатц и т. д. обогатили меня опытом и знаниями. Кое-что из этого описано.

(Coefhes Sdmtliche Werke. /ubilaums-Ausgabe in 40 Banden Stuttgart und Berlin, Bd. 30. S. 9—12)

Счастливое событие[7]

(1794)

Если я наслаждался прекраснейшими мгновениями моей жизни в то время, когда исследовал метаморфоз растений, когда мне стала ясной его постепенность; если это представление одухотворяло мое пребывание в Неаполе и Сицилии, если этот способ рассмотрения растительного царства мне становился все милее, и я в нем упражнялся на всех путях и перепутьях, то эти приятные усилия должны были стать для меня бесценными тем. что они дали повод для одной из самых высших дружеских связей, дарованной мне счастьем в более поздние годы моей жизни. Именно этим отрадным явлениям я и обязан дружбой с Шиллером, они устранили то недружелюбное отношение, которое долгое время отдаляло меня от него.

После моего возвращения из Италии, где я старался выработать в себе большую отчетливость и ясность во всех областях искусства, безразличный к тому, что в то время происходило в Германии, я обнаружил большой успех и широкое влияние некоторых прежних и более новых поэтических сочинений, к сожалению, таких, которые мне были крайне противны: назову только «Ардингелло» Хейнзе и '«Разбойников» Шиллера. Первый был мне ненавистен потому, что чувственность и темные мысли он затеял облагородить и укрепить посредством образов искусства, второй—тем, что его могучий, но незрелый талант широким увлекающим потоком залил отечество именно теми этическими и театральными парадоксами, от которых я стремился очиститься.

Обоим этим талантливым людям я не вменял в вину того, что они предприняли и сделали, ибо человек не может отказать себе хотеть и действовать по-своему; он пытается делать это сначала

бессознательно, неорганизованно, затем на каждой ступени развития все сознательнее, поэтому-то по свету распространяется столько отличного и нелепого, и путаница возникает из путаницы.

Однако разговоры, возбужденные 'ими в отечестве, успех, который имели эти странные порождения всюду, от неистовых студентов до образованной придворной дамы — это пугало меня, ибо я ожидал полной гибели всех моих трудов; предметы, коих я достиг, и способы, какими я развивался, казались мне отстраненными и заторможенными. И что меня больше всего огорчало: все друзья, связанные со мной, Генрих Мейер и Мориц, как и работавшие в том же духе художники Тишбейн и Бури, казались мне тоже находящимися в опасности; я был очень смущен. Я готов был вовсе отказаться от созерцания изобразительного искусства, от поэтической работы, если бы это было возможно; ибо какая могла быть надежда преодолеть эти гениальные по значимости и дикие по форме произведения? Можно себе представить мое состояние! Я стремился лелеять и передавать другим чистейшие созерцания, и вот я оказался зажатым между Ардингелло и Францом Моором.

Мориц, также вернувшийся из Италии и некоторое время живший у меня, со страстной настойчивостью разделял со мной эти мысли; я избегал Шиллера, который, находясь в Веймаре, жил по соседству от меня. Появление «Дона Карлоса» не могло способствовать моему приближению к нему; все попытки лиц, одинаково близких ему и мне, я отклонял, и так мы продолжали жить некоторое время друг около друга.

Его статья «О грации и достоинстве» также не могла служить средством моего примирения с ним. С радостью воспринял он философию Канта, столь высоко поднимающую субъекта при кажущемся ограничении его; она развивала то исключительное, что природа вложила в его существо, и он в высоком чувстве свободы и самоопределения оказался неблагодарным в отношении своей великой матери, которая, конечно, обращалась с ним не как мачеха. Вместо того, чтобы рассматривать ее как нечто самостоятельное, в живом творчестве закономерно производящей все от низшего до высшего, он брал ее со стороны некоторых эмпирических человеческих природных свойств. Отдельные резкие места я даже мог прямо принять на свой счет, они показывали мои убеждения в ложном свете; хуже еще было бы, казалось мне, если бы эти слова не имели ко мне отношения; тем резче зияла бы безмерная пропасть между нашими образами мысли.

Ни о каком сближении нельзя было и думать. Даже кроткие увещания такого человека, как Дальберг, умевшего по достоинству ценить Шиллера, остались бесплодны; да и трудно было

опровергнуть те доводы, которые я противопоставлял всякому сближению. Никто не мог отрицать, что двух духовных антиподов разделяет расстояние, превышающее земной диаметр, и если их можно считать противоположными полюсами, то потому-то они и не могут совпасть воедино. Что, однако, соприкосновение между ними оказалось возможно, ясно из следующего. Шиллер переехал в Иену, где я его также не видел. В то время Батшу, благодаря его необычайной активности, удалось организовать общество естествоиспытателей, базирующееся на прекрасных коллекциях и значительном техническом оборудовании. Я обычно присутствовал на их периодических заседаниях; однажды там оказался Шиллер *, мы случайно вышли вместе, завязался разговор; он, казалось, заинтересовался докладом, однако заметил весьма разумно и проницательно, и вполне в моем духе, что такая дробная манера рассмотрения природы никак не может привлечь профана, хотя и способного заняться ею.

Я ответил на это, что такой способ даже посвященным, вероятно, не по душе, и что ведь возможен другой: не брать природу разрозненно и по частям, а представлять ее действующей и живой, стремящейся от целого к частям. Он пожелал разъяснений этой мысли, однако не скрыл своих сомнений: он не мог согласиться, что это вытекает уже из опыта, как я утверждал.

Мы дошли до его дома, разговор завлек меня к нему: тут я с увлечением изложил ему метаморфоз растений и немногими характеристичными штрихами пером воссоздал перед его глазами символическое растение. Он слушал все это и смотрел с большим интересом, с несомненным пониманием; но когда я кончил, покачал головой и сказал: «Это не опыт, это идея». Я смутился, несколько раздосадованный, ибо пункт, разделявший нас, был самым точным образом обозначен этим. Снова вспомнилось утверждение из статьи «О грации и достоинстве», старый гнев собирался вскипеть; однако я сдержался и ответил: «Мне может быть только приятно, что я имею идеи, не зная этого, и даже вижу их глазами».

Шиллер, обладавший намного большим запасом житейской мудрости и такта, чем я, и хотевший ради «Ор», которые он собирался издавать, скорее привлечь меня, чем оттолкнуть, возразил на это как образованный кантианец, и когда мой упрямый реализм дал не один повод для самых оживленных возражений, то пришлось много сражаться, а затем было объявлено перемирие; ни один из нас не мог считать себя победителем, оба считали себя непобедимыми. Положения вроде следующего делали меня совершенно несчастным: «Как может быть когда-либо дан опыт, адекватный идее? В том именно и состоит своеобразие последней, что с ней никогда не может совпасть опыт». Если он

принимал за идею то, что я считал опытом, то должно же было между ними иметься нечто посредствующее, связующее! Все же первый шаг был сделан. Притягательная сила Шиллера была велика, он удерживал всех, кто к нему приближался. Я принял участие в его планах и обещал дать для «Ор» * кое-что, лежавшее у меня под замком. Его супруга, которую я привык с детства любить и ценить, со своей стороны способствовала упрочению взаимного понимания; все друзья с той и другой стороны были рады, и таким образом, через посредство величайшего, быть может, никогда вполне не разрешимого единоборства между объектом и субъектом, скрепили мы союз, продолжавшийся затем непрерывно и принесший немало хорошего нам и другим.

После этого счастливого начала, в течение десятилетних общений мало-помалу развивались те философские задатки, какие имелись в моей натуре; об этом я собираюсь по возможности дать отчет, хотя каждому знатоку сразу же должны бросаться в глаза неизбежные трудности. Ибо те, кто с более высокой точки зрения охватывают взором благодушную самоуверенность человеческого рассудка, того прирожденного здоровому человеку рассудка, который не сомневается ни в предметах и их отношениях, ни в собственной власти их познавать, понимать, обсуждать, оценивать, использовать,— такие люди наверно легко согласятся, что будет почти невозможным предприятием начать описывать переходы к более проясненному, свободному, самосознательному состоянию, переходы, каковых должно быть тысячи и тысячи. О ступенях развития здесь не может быть и речи, а только о блужданиях и поисках и затем непреднамеренном скачке и оживленном взлете к более высокой культуре.

И кто же, наконец, может сказать, что он в науке всегда движется в высших областях сознания, где внешнее рассматривается с величайшей осмотрительностью и со столь же проницательным, как и спокойным вниманием, где в то же время с умной оглядкой, со скромной осторожностью предоставляют действовать своему собственному внутреннему миру, в терпеливой надежде на истинно чистое, гармоническое созерцание? Не омрачает ли нам мир, не омрачаем ли мы сами такие моменты? Все же мы можем лелеять благие желания, и попытка любовно приблизиться к недостижимому не запрещена.

То, что нам удалось сейчас рассказать, мы посвящаем старым уважаемым друзьям, а также немецкой молодежи, стремящейся к добру и правде.

Да удастся нам из их числа привлечь и завербовать бодрых соучастников и будущих сподвижников!

(И. В. Гете. Избранные сочинения по естествознанию, стр. 95—99)

Из «Анналов»

(1803)

Фихте в своем «Философском журнале» отважился высказаться о боге и божественном таким образом, который, казалось, противоречил традиционным выражениям о подобных таинствах. О нем заговорили. Его защита не улучшила положения, так как он страстно взялся за дело, не предполагая, как хорошо о нем думали, как верно истолковывали его мысли, его слова; о чем, разумеется, не могли в нескольких словах прямо дать ему понять, так же как и о наиболее тактичном способе, каким думали его выручить. Доводы за и против, предположения и утверждения, подтверждения и решения — сменяли друг друга в многочисленных и путаных речах в Академии, шли разговоры о выговоре министра или по меньшей мере о замечании, которого должен был ожидать Фихте. Вне себя из-за этого, он счел себя вправе послать в министерство резкое письмо, где он, полагая эти мероприятия неизбежными, горячо и гневно разъяснял: он никогда не потерпит подобного, лучше он просто уйдет из Академии, и в этом случае не один, так как некоторые видные учителя, его единомышленники, также намерены покинуть ее стены.

Тем самым сразу же были испорчены, более того, парализованы добрые по отношению к нему намерения: не было иного выхода, никакой возможности примирения, и самой мягкой мерой была его немедленная отставка. И лишь тогда, когда ничего уже нельзя было изменить, он понял, как хотели повернуть дело, и пожалел о поспешном шаге, о котором и мы сожалели.

Никто не хотел признаться в согласии вместе с ним покинуть Академию, все оставались пока на своих местах, однако скрытое

недовольство охватило все умы, кое-кто тайно справлялся о возможности перевода, и наконец юрист Хуфеланд переехал в Ингольштадт, а Паулюс и Шеллинг—в Вюрцбург.

После всего этого в августе до нас дошли слухи, что столь высоко ценимая литературная газета, должно быть, переведена из Иены в Галле. План был разработан довольно умно: хотели обычным путем завершить текущий год и затем, как если бы ничего не случилось, начать новый, но одновременно с этим к пасхе изменить местонахождение типографии, и .подобным маневром с удобствами и прилично перевести навсегда из Иены это важное учреждение.

Это было очень значительным делом, и не будет преувеличением сказать: это тихое начало ив тот момент угрожало Академии полным распадом. С этой стороны, действительно, были затруднения: если б и можно было сразу опросить предпринимателей, имеет ли основание этот распространившийся слух, то все же не хотелось бы в этом чрезвычайно неприятном деле поступить опрометчиво и жестоко; отсюда—поначалу колебания, которые день ото дня становились все опаснее. Прошла первая половина августа, и все зависело от того, что предпримут как противодействие в последующие шесть недель до Михайлова дня.

И вдруг приходит помощь с той стороны, с какой ее меньше всего ожидали. Коцебу, бывший после сцены прошлого года ярым противником всей веймарской деятельности, не смог отпраздновать свой триумф в тишине, и заносчиво заявил во «Фреймютигер»: «С Академией Иены, которая потерпела большой урон, потеряв многих маститых профессоров, полностью покончено, в то время как .«Альгемейне литературцейтунг» {«'Всеобщая литературная газета»} переводится вследствие протекции редактору в Галле».

С нашей стороны сомнения рассеялись: мы имели повод спросить предпринимателей, таково ли их намерение. И так как его нельзя было опровергнуть, то они объявили недействительным их намерение оставить учреждение до пасхи в Иене и одновременно заверили, что с нового года продолжат в Иене выпуск «Альгемейне литературцейтунг».

Это объяснение было довольно смелым, так как мы почти не верили в возможность заглянуть вперед; однако успех оправдал это смелое решение. Документы тех дней хранятся в наилучшем порядке; быть может, наши потомки насладятся ходом этих весьма, по крайней мере для нас, значительных событий.

После того, как упрочилось положение литературной газеты, стали искать людей, которые заняли бы освободившиеся должности преподавателей. Из многих предложенных анатомов был приглашен Аккерман, основавший давно задуманный постоянный

анатомический музей, который должен был остаться за Академией. Был привлечен также и Шелвер, возглавивший ботаническую часть. На него, существо очень хрупкое и глубоко мыслящее, были возложены большие надежды в области естествознания.

Основанный Ленцем минералогический кабинет (Sozietat) вызвал большое доверие: все друзья этой науки желали быть принятыми, и очень многие старались расширить основанный кабинет значительными подарками.

Среди последних выделился князь Голицын, который, подарив свой богатый кабинет, старался утвердиться в чести предоставленного ему президентского поста, и так как благодаря подобному росту учреждение стало значительным, то в конце года герцог утвердил устав общества и тем самым возвел его в определенный ранг среди публичных учреждений.

Несмотря на утрату стольких значительных личностей, мы все же могли радоваться новым сотрудникам. Из Рима приехал Фернов с тем, чтобы в будущем остаться в Германии. Мы его удерживали: герцогиня Амалия предоставила ему освободившееся после смерти Ягеманна место библиотекаря в своей библиотеке; основательное знание им итальянской литературы, изысканная в этой области библиотека, его приятная общительность сделали это приглашение особенно ценным. Наряду с этим он привез с собой большую ценность: рисунки, оставшиеся после его друга Гарстена, которому он в течение всего творческого пути до его преждевременной смерти верно помогал советом, критикой и делом.

Доктор Ример, ездивший с господином фон-Гумбольдтом в Италию и там некоторое время находившийся в кругу его семьи, выехал в обществе Фернова и был нами весьма хорошо принят как большой знаток древних языков. Он присоединился к моей семье, снимал у меня квартиру и обращал свои заботы на моего сына.

С Цельтером * также завязались близкие отношения: за четырнадцать дней его пребывания мы намного ближе сошлись в вопросах искусства и морали. Он находился под удивительным нажимом с одной стороны унаследованного, с юности изученного, доведенного им до мастерства ремесла, которое ему материально обеспечивало существование бюргера, с другой—врожденного, сильного, стойкого стремления к искусству, которое рождало в нем удивительно богатый мир звуков. Занимаясь одним, он тянулся к другому, обладая навыками в одном, он стремился приобрести необходимое умение в другом, он не стоял как Геркулес на распутьи, не зная, за что взяться и что отклонить, его тянули в разные стороны две равноценные музы, одна из которых ов-

ладела им, другою, напротив, он желал бы овладеть сам. При его добросовестности (честности) и деловито-буржуазной серьезности для него очень важно было нравственное образование, столь родственное эстетическому, более того— воплощенное в последнем и не мыслимое в своем совершенстве одно без другого.

Это двоякое стремление не могло быть внешним, так как веймарские поклонники искусства находились в таком же положении: они занимались тем, для чего не были созданы, а то, для чего они были рождены, оставалось неиспробованным.

Здания библиотеки около замка были снесены, чтобы получить более свободную перспективу; вместо них стало необходимым новое здание, и господа Генц и Рабе любезно взяли на себя представление чертежей. Было создано все, что обычно в них размещается: парадная лестница, просторные экспедиции и гостиные, а на втором этаже не только место для стеллажей, но и отдельные помещения для древностей, произведений искусства и всего, что к этому относится; особо хранилась и не менее богатой была коллекция медалей, в которой имелись саксонские медальоны, талеры и более мелкие иностранные монеты, а также памятные медали, и среди них — римские и греческие.

(Coelhes Samtliche Werke, Bd. 30, S. 1П—122)

Из ((Анналов))

(1811)

Книга Якоби «О божественном»* была мне не по душе. Как могла мне понравиться книга горячо любимого друга, в которой я увидел проведенным тезис: в природе скрыт бог! При моем чистом, глубоком, врожденном, устойчивом мировоззрении, которое неизменно учило видеть бога в природе и природу в боге и сделало это основой моего существования, не должно ли было такое странное одностороннее и ограниченное высказывание навеки духовно отдалить меня от благороднейшего человека, сердце которого я любил и уважал? Однако я не поддался болезненному чувству досады и более того—спасся в своем старом убежище—и на несколько недель нашел себе поддержку в «Этике» Спинозы; тем самым пополнилось мое образование, и я обнаружил к своему удивлению в уже известном мне нечто, проявившееся заново и по-другому и подействовавшее на меня освежающе.

Уваровский проект азиатской академии увлек меня в те места, куда я уже и без того расположен был отправиться на продолжительное время. Новые алеманские стихи Гебеля произвели на меня приятное впечатление, которое всегда сопутствует сближению с соплеменниками. Не то с «Книгой героев» Гагена: сыграло свою роль все изменяющее время. Точно так же рассмотренное само по себе в высшей степени достойное уважения стихотворение Бюшинга «Бедный Генрих» причинило мне физическую и эстетическую боль. С трудом можно освободиться от чувства гадливости к прокаженному, для которого жертвует собой очень славная девушка; какое же отвращение вызывает у нас столетие, когда мерзкая болезнь постоянно вдохновляет на страстные любовные и рыцарские подвиги.

(Coethes Samtliche Werke. Bd. 30. S. 265)

Из ((Анналов))

(1817)

...Сочинение Леонардо да Винчи о причине голубой окрашенности дальних гор и предметов доставило мне большую радость. Как художник, воспринимающий природу, непосредственно ее наблюдая, и осмысливающий явления, он прямо угадал истину. Не менее порадовало меня и участие внимательных и вдумчивых мужей. Государственный советник Шульц передал мне в Берлине второе сочинение о физиологических цветах, где я увидел претворенными в жизнь свои основные идеи. Точно так же мне доставило удовольствие согласие со мной профессора Гегеля *. Со дня смерти Шиллера я внутренне отошел от всякой философии и только пытался довести до большего мастерства и большей надежности присущую мне методику, применяя ее к природе, искусству и жизни. Поэтому для меня было важно увидеть и понять, как философ по-своему знакомится с тем, что излагалось мною по моему методу, и соответственно с этим ведет себя. Тем самым мне было дозволено рассмотреть таинственно ясный свет как высшую энергию, вечную, единую и неделимую.

(Coethes Samtliche Werke, Bd. 30, S. 305)

Гипотеза

(около 1790 г.)

Для того, чтобы какая-нибудь наука сдвинулась с места, чтобы расширение ее стало совершеннее, гипотезы необходимы так же, как показания опыта и наблюдения. То, что наблюдатель с точностью и тщательностью собрал, а сравнение в уме кое-как упорядочило, все это философ объединяет одной точкой зрения, связывает в одно целое и создает таким путем возможность все обозреть и использовать. Пусть такая теория, такая гипотеза будет только вымыслом, но она приносит, тем не менее, достаточно пользы. Она учит нас видеть отдельные вещи в связи, отдаленные вещи в соседстве. Только таким путем становятся явственными пробелы знания. Обнаруживаются известные отношения, которые ими не объясняются. Именно это и привлекает внимание, заставляет прослеживать те пункты, которые являются самыми интересными как раз потому, что они раскрывают совершенно новые стороны. Но важнее всего то, что гипотеза возвышает душу и возвращает ей эластичность, как бы похищенную у нее отдельными разрозненными данными опыта. Гипотезы в учении о природе то же, что в морали вера в бога, во всем— бессмертие души. Эти возвышенные чувства соединяют в себе все, что есть вообще хорошего в человеке, возвышают его над самим собою и ведут его дальше пункта, к которому он пришел бы без этих чувств.

Несправедливо поэтому жаловаться на изобилие теорий и гипотез. Напротив, чем больше их создается, тем лучше. Это ступени, на которых надо давать публике лишь самый короткий отдых, чтобы вести ее затем все выше и дальше. В этом смысле я

считаю совсем не лишним отважиться еще на одну теорию относительно возникновения земли, теорию, которая, правда, не нова, но все же приводит кое-что в новую связь... В теории электричества я склонился в пользу учения о двух материях не для того, чтобы принять чью-либо сторону, а исключительно с философской целью обратить на эту теорию внимание читателя. Мне очень хотелось бы не быть превратно понятым. Я рассматриваю такие гипотезы в физике исключительно как удобные образы, облегчающие представление целого. Тот способ представления является наилучшим, которым достигается наибольшее облегчение, как бы он ни был далек от истины, к которой мы с его помощью пытаемся приблизиться. Посвященные пусть решают, связаны ли такие преимущества с моей гипотезой.

(В. О. Лихтенштадт. Гете, стр. 304—305)

Второй опыт

6

Здесь, пожалуй, будет уместно вспомнить о других сравнениях, так как предметы царства природы сравниваются не столько между собой, сколько с предметами прочего мира, и благодаря такому игривому уклонению физиологии трех царств приносится большой ущерб; так, например, Линней называет лепестки цветка пологом брачной постели — милое сравнение, могущее сделать честь поэту. Однако открытие настоящих физиологических отношений лепестков совершенно устраняется этим, как и привлечением столь же удобных, сколь и ложных внешних целей.

Главное понятие, которое, как мне кажется, должно лежать в основе при каждом рассмотрении живого существа, и от которого нельзя отступить, состоит в том, что оно всегда остается самим собой, что части его находятся в необходимом взаимном отношении друг с другом, что в нем ничего механически, словно извне, не строится и не производится, хотя части его действуют вовне и изменяются под воздействием извне...

7

Это понятие лежит в основе первого «Опыта» объяснения метаморфоза растений, и в настоящем трактате я также нигде не буду терять его из виду, как и при любом рассмотрении какого-нибудь живого существа. Ведь я по другому поводу уже говорил,

что вопрос здесь не в том, является ли удобной для некоторых людей, даже необходимой, манера представления с помощью конечной цели, и не будет ли она иметь добрые и полезные воздействия в применении к морали, а в том, содействует ли она исследователям органических тел или препятствует им? Я решаюсь утверждать последнее, и посему считаю долгом самому избегать ее и предостерегать от этого других, ибо, как говорит Эпиктет, надо браться за предмет не там, где у него нет ручки, а, наоборот, там, где ручка облегчает нам это. Естествоиспытатель может здесь успокоиться и тем невозмутимее продолжать свой путь, что новейшая философская школа согласно предписанию своего учителя (смотри Кантову «Критику телеологической способности суждения», особенно §) * будет вменять себе ,в обязанность распространять этот способ представления, почему и естествоиспытатель в дальнейшем не должен упускать возможности прибавить также и свое слово.

(И. В. Гете. Избранные сочинения по естествознанию, стр. 102—103)

Оправдание замысла

Когда человек, побуждаемый к самому непосредственному наблюдению природы, вступает в борьбу с ней, то сначала он испытывает чрезвычайно сильное желание подчинить себе предметы. Однако это продолжается недолго; предметы так властно теснят его, что он ясно начинает чувствовать, как много у него оснований признать их мощь и чтить их воздействие. Едва он убедится в этом взаимном влиянии, как замечает двоякую бесконечность: в предметах — многообразие бытия и становления и живо перекрещивающихся отношений, а в самом себе — возможность бесконечного совершенствования, выражающегося в том, что свою восприимчивость и свое суждение он постоянно приспосабливает к новым формам восприятия и противодействия...

К сожалению, однако, и у тех, кто посвятил себя познанию, науке, редко можно встретить желаемое участие. Рассудочному человеку, подмечающему частности, точно наблюдающему, анализирующему, до известной степени в тягость то, что вытекает из идеи и ведет к ней обратно. В своем лабиринте он на свой лад чувствует себя как дома, без заботы о нити, которая скорее вывела бы из него; и такому человеку невычеканенный в монету металл, не могущий быть сосчитанным, кажется обременительным имуществом; напротив, тот, кто находится на более возвышенной точке зрения, легко пренебрегает единичным, и все то, что живет лишь обособленно, он насильственно стаскивает вместе в мертвящую всеобщность.

Иена, 7807 г.

(И В Гете. Набранные сочинения по естествознанию, стр. 9—10)

Пояснение намерения

Когда мы рассматриваем предметы природы, особенно живые, таким образом, чтобы уразуметь взаимосвязь их сущности и деятельности, то нам кажется, что мы лучше всего достигнем такого познания путем разъединения частей; и действительно, этот путь может вести нас очень далеко. Что внесли химия и анатомия для понимания и обозрения природы—об этом друзьям науки достаточно напомнить лишь немногими словами.

Однако эти разделяющие усилия, продолжаемые все дальше и дальше, имеют и свои недостатки. Живое, правда, разложено на элементы, но вновь составить его из таковых и оживить оказывается невозможным. Это относится даже ко многим неорганическим телам, не говоря уже об органических.

Вот почему у людей науки во все времена обнаруживалось влечение познавать живые образования как таковые, схватывать внешние видимые, осязаемые части в их взаимосвязи, воспринимать их как проявления внутренней природы и таким образом путем созерцания овладевать целым. В какой мере эта научная потребность находится в близкой связи с художественным и подражательным влечением, нет, конечно, надобности излагать здесь подробно.

В процессе развития искусства, знания и науки можно поэтому найти много попыток основать и разработать учение, которое мы склонны назвать морфологией. В сколь различных формах такие попытки проявляются, об этом будет речь в исторической части.

У немца для комплекса проявлений бытия какого-нибудь реального существа имеется слово Gestalt. Употребляя его, он отвлекается от всего подвижного и принимает, что все частности, входящие в состав целого, прочно установлены, закончены и закреплены в своем своеобразии.

Однако, если мы будем рассматривать все формы, особенно органические, то найдем, что нигде нет ничего устойчивого, ничего покоящегося, законченного; что все, напротив, скорее зыблется в постоянном движении. Поэтому наш язык достаточно обоснованно употребляет слово «образование» как в отношении к чему-либо возникшему, так и к еще возникающему.

Таким образом, если мы хотим дать введение в морфологию, то мы, собственно, не можем говорить о форме; а употребляя это слово, во всяком случае должны иметь при этом в виду только идею, понятие или нечто, лишь на мгновение схваченное в опыте.

Все образовавшееся сейчас же снова преобразуется, и мы сами, если хотим достигнуть хоть сколько-нибудь .живого созерцания природы, должны, следуя ее примеру, сохранять такую же подвижность и пластичность, Когда мы анатомическим путем разлагаем тело на части, а эти части на то, на что они могут делиться, то в конце концов мы приходим к таким началам, которые названы подобными частями. Не о них здесь речь; напротив, мы обращаем внимание на более высокий принцип организма, который выражаем следующим образом.

Всякое живое существо не есть нечто единичное, а является известной множественностью; даже. в той мере, в какой оно нам кажется индивидуумом, оно все же остается собранием живых самостоятельных существ, которые по идее, по существу одинаковы, в явлении же, однако, могут оказаться одинаковыми или похожими, неодинаковыми или непохожими. Эти существа частично являются уже первоначально соединенными, частично же они находят друг друга и соединяются. Они расходятся и снова ищут друг друга, осуществляя таким образом бесконечное созидание на все лады и во всех направлениях.

Чем менее совершенно существо, тем более эти части одинаковы или похожи друг на друга, и тем более подобны целому. Чем совершеннее становится существо, тем менее похожими друг на друга становятся его части. В первом случае целое более или менее подобно частям, во втором целое не похоже на части. Чем больше части похожи друг на друга, тем меньше подчинены они друг другу. Соподчинение частей свидетельствует о более совершенном существе.

Иена. 1807 г.

(И. В. Гете. Избранные сочинения по естествознанию, стр. 11—13)

Другие заметки

«Так решительно не понималось тогда то, что мне хотелось и желалось, ибо оно лежало совершенно вне кругозора эпохи.

Изолированно обходились с каждой деятельностью; наука и искусства, ведение дел, ремесло и все, что угодно, каждое двигалось iВ замкнутом круге. Занятие каждого всерьез бралось только им самим, поэтому-то он и работал только для себя и по-своему, сосед оставался ему совершенно чуждым, и они оба взаимно чуждались друг друга. Искусство и поэзия едва соприкасались, о живом взаимоотношении нельзя было и думать; поэзия и наука казались в величайшем противоречии.

Тем самым, что каждый круг деятельности замыкался, в каждом из них обособлялась, расщеплялась манера действовать. Даже малейшее дуновение теории уже вызывало страх, ибо более столетия бежали ее, как привидения, и при любом фрагментарном опыте в конце концов бросались в объятия самым пошлым представлениям. Никто яе хотел признать, что в основе наблюдения может лежать идея, понятие, способное стимулировать опыт и даже помогать обретению и изобретению».

СИЛ, II, 6. S. 164—167)

Автор сообщает историю своих ботанических занятий

A ia

Voir venir les chases est Ie meilleur moyen de les expliqaer.

Turptn.

...В связи с этим мы можем заметить, что надо считать большим преимуществом, если, вступая в новую для нас научную, область, мы застаем ее в состоянии кризиса и находим какого-нибудь выдающегося человека, который старается добиться ее усовершенствования. Мы тогда молоды с молодым методом, и наши первые шаги принадлежат уже к новой эпохе; и толпа стремящихся захватывает нас, как стихия, несет нас и двигает вперед.

Итак, я, вместе с другими современниками *, узнал Линнея, оценил его кругозор, его все увлекающую за собой деятельность. Я отдался ему и его учению с полным доверием, тем не менее мне пришлось мало-помалу почувствовать, что кое-что на этом принятом мною пути, если и не дезориентировало меня, то все же задерживало.

Чтобы вполне осознать сложившееся положение вещей, надо понять, что я, рожденный поэтом, всегда стремился свои слова, свои выражения создавать под непосредственным впечатлением от воздействующих на меня в настоящий момент предметов, чтобы хоть до некоторой степени согласоваться с ними. И вот такому человеку предстояло воспринять в свою память вполне установившуюся терминологию, иметь наготове известное число существительных и прилагательных, чтобы при встрече с какой-нибудь формой он мог, делая подходящий выбор, применять и сочетать их для характеризующего ее обозначения. Такой способ всегда казался мне своего рода мозаикой, где один приготовленный камешек всаживают рядом с другим, чтобы, в конце концов, из тысячи отдельных кусочков создать видимость картины; и потому такое требование было мне до некоторой степени противно.

Но хотя я и сознавал необходимость этого приема, целью которого было сделать возможным объясняться с помощью выбранных по всеобщему соглашению слов относительно известных внешних особенностей растений и обходиться без трудно выполнимых и ненадежных изображений растений— при попытке точного применения метода, я все же видел главное затруднение в изменчивости органов. Когда на одном и том же стебле я обнаруживал сначала округлые, затем выемчатые и, наконец, почти перистые листья, которые в дальнейшем снова стягивались, упрощались, превращались в чешуйки и, наконец, совсем исчезали, то я уже не решался вколотить где-либо межевой столб или, тем более, провести пограничную черту.

Невыполнимой казалась мне задача с достоверностью обозначить роды, подчинить им виды. Я хорошо знал, как это предписывалось делать, однако мог ли я надеяться на удачное определение, когда уже при жизни Линнея некоторые роды были разделены и раздроблены, и даже упразднены целые классы; из чего, казалось, вытекает одно: даже гениальнейший проницательнейший человек мог овладеть природой и господствовать над ней только en gros *. И несмотря на то, что мое глубокое уважение к Линнею при этом нисколько не пострадало, отсюда должен был возникнуть весьма своеобразный конфликт, и можно себе представить то замешательство, из которого пришлось выпутываться и выбиваться нашему Тирону-самоучке **.

Между тем в остальных отношениях я должен был непрерывно следовать своим жизненным путем, обязанности и развлечения 'которого, к счастью, преимущественно были связаны с вольной природой. И вот здесь при непосредственном наблюдении резко бросалось в глаза, что каждое растение ищет нужные ему условия, требует такого положения, где оно могло бы проявиться во всей полноте и свободе. Выси гор, глубины долин, свет,. тень, сухость, сырость, жара, тепло, холод, мороз — и как бы все условия ни назывались! — роды и виды требуют их, чтобы иметь возможность произрастать с полной силой и в изобилии. Правда, в известных местах, при некоторых условиях, они уступают природе и, подчиняясь ей, изменяются в разновидности, однако не отрекаются полностью от приобретенного права на свой облик и свои свойства. Такие предчувствия навевал на меня вольный мир и, казалось, новая заря восходила для меня над садами и книгами.

...Изменчивость растительных форм, за которой я уже давно следил в ее своеобразном ходе, все больше будила теперь во мне такое представление: окружающие нас растительные формы не детерминированы и не установлены изначально, но скорее при упрямой родовой и видовой устойчивости одарены счастливой

-подвижностью и гибкостью, что позволяет им подчиниться многообразнейшим условиям, влияющим на них на земном шаре, и сообразно с ними образовываться и преобразовываться. -

Здесь должны быть приняты во внимание различия почвы; ,род, обильно питаемый влагой долин или хиреющий от сухости высот, защищенный от мороза и жары в любой степени или отданный обоим в полную власть, может изменяться в вид, вид— в разновидность, а последняя снова, под действием других условий может изменяться до бесконечности; и тем не менее растение держится замкнуто в своем царстве, хотя оно и приспособляется по-соседски тут к твердой каменистой почве, там к более подвижной жизни. Однако и самые несходные между собой формы имеют явное родство и без натяжки допускают сравнение между собой

Мало-помалу мне становилось все яснее и яснее, что подобно тому, как растения можно подвести под одно понятие, так и созерцание может быть поднято на еще более высокую ступень; требование, представлявшееся мне тогда в чувственной форме сверхчувственного прарастения. Я прослеживал все встречающиеся мне формы .в и'х изменчивости, и .вот, в Оицилии, конечной цели моего путешествия, мне вполне уяснилась первоначальная идентичность всех частей растения, и отныне я стремился повсюду подмечать и все вновь и вновь наблюдать ее.

...Более полувека я известен на 'родине И за границей как поэт, и во всяком случае меня признают за такового; но что я с большим вниманием и усердием трудился над изучением общих физических и органических феноменов природы и втихомолку, с постоянством и страстью, развивал серьезно поставленные наблюдения—это не так общеизвестно, а еще менее внимательно обдумывалось.

Вот почему, когда мой «Опыт», напечатанный на немецком языке уже сорок лет тому назад,— опыт о том, как следует осмысленно представлять себе законы образования растении,— теперь стал более известным, особенно в Швейцарии и Франции, многие не могут достаточно надивиться, как это поэт, обычно занимающийся только нравственными феноменами, относящимися к области чувства и фантазии, мог, на мгновение свернув со своего пути, вскользь и мимоходом сделать такое значительное открытие.

Против этого предубеждения и написана, собственно, эта статья; она должна наглядно показать, как я находил возможным с интересом и страстью потратить большую часть своей жизни на изучение природы.

(И. В. Гете. Избранные сочинения по естествознанию, стр. 70-72, 73—74. 77)

О спиральной тенденции в росте растений

Если при наблюдении природы встречается случай, который сбивает нас с толку, и мы находим наш обычный способ представления и мышления недостаточным, чтобы постичь его, то мы, разумеется, оглядываемся назад, не имело ли уже место нечто подобное в истории мышления и понимания.

На этот раз мы 'вспомнили лишь о гомеомериях Анаксагора, хотя такой человек в свое время должен был довольствоваться объяснением того же тем же. Мы же, опираясь на опыт, уже можем рискнуть думать о чем-то подобном. Оставим в стороне то, что именно эти гомеомерии скорее всего могут быть использованы при толковании элементарнейших явлений; только теперь на высокой ступени мы действительно открыли, что спиральные органы пронизывают все растение до мельчайших частиц, мы убедились в спиральной тенденции, благодаря которой растение отправляет все жизненные процессы и достигает, наконец, завершения и совершенства.

Итак, не будем отвергать полностью то представление, как

неудовлетворительное, и при этом примем во внимание: за тем, что мог думать выдающийся человек, всегда кроется нечто, хотя мы и не в силах сразу освоить и использовать высказанное.

Выразив это мнение, рискнем заявить следующее: если понятие метаморфозы полностью усвоено, то далее, для того чтобы лучше уяснить себе развитие растения, обращают внимание прежде всего на вертикальную тенденцию. Ее следует рассматри-

вать как духовный стержень, на котором основывается бытие и который способен поддерживать это существование в течение долгого времени. Этот жизненный принцип воплощается в продольных волокнах, которые мы используем в виде гибких нитей самым различным образом; это как раз то, что в деревьях образует древесину, что сохраняет однолетние и двулетние в вертикальном положении и даже во вьющихся стелющихся растениях влияет на рост от почки к почке.

Теперь мы должны рассмотреть направление спирали, которая вокруг него обвивается.

Восходящая вертикально система способствует в вегетационный период устойчивости, прочности, образованию волокон в недолговечных растениях и большей части древесины в многолетних.

Спиральная система — это нечто совершенствующее, образующее, питающее; как таковая, она преходяща и обособлена от вертикальной. Действуя в избытке, она очень скоро теряет силу и подвергается разрушению; обе системы вместе дают стойкое единство в виде древесины или иной массы.

Ни одна из систем не мыслится отдельно; всегда и вечно они вместе; в полном равновесии они создают самое совершенное в вегетации.

Так как спиральная система, собственно говоря, является питающей, и глазок за глазком развиваются в ней, то, следовательно, чрезмерное питание даст ей перевес над вертикальной системой, благодаря чему целое, лишенное своей опоры, своего костяка, слишком торопится с непомерным развитием глазков и те. ряет равновесие.

Так например, я никогда не видел на высоких взрослых деревьях ясеня распластанные изогнутые ветви, которые в их крайнем отклонении от нормы можно назвать епископскими посохами, однако находил их на деревьях со срубленными верхушками, где к новым ветвям от старого корня поступало излишнее питание; И другие чудеса, которых мы подробнее коснемся ниже, возникают в результате того, что стремящаяся вверх жизнь, сталкиваясь со спиральной системой, выходит из равновесия, последняя превосходит вертикальную систему, в результате чего в растении ослабляется вертикальная конструкция, будь то волокнистая или образующая древесину система, и, находясь в без-

выходном положении, как бы уничтожается, тогда как спиральная система, от которой зависят глазки и почки, ускоряет свое развитие, ветка дерева сплющивается, а при недостатке древесины стебель растения набухает, и его середина уничтожается; при этом постоянно проявляется спиральная тенденция, находя свое выражение в изгибах и ответвлениях. Если обратиться к примерам, то найдется основательный материал для изложения.

Итак, спиральные сосуды, которые давно известны и существование которых получило полное признание, следует рассматривать, собственно говоря, только как отдельные органы, подчиненные спиральной тенденции; их находят почти повсюду, особенно в заболони, где они даже подают признаки жизни; ничто так не угодно природе, как выявление в частном того, что направляется ею в целом.

Эта спиральная тенденция, как основной закон жизни, должна

выявляться прежде всего при развитии из семени. Сначала понаблюдаем, как она проявляется в двудольных, где первые семядоли встречаются попарно; и хотя в этих растениях вслед за первой парой снова располагается крест-накрест парочка более развитых листьев и такое расположение может, пожалуй, сохраняться определенное время, все же ясно, что у многих из них тянущийся кверху листок стебля и скрытый за ним в потенции или в действительности глазок не переносят подобного сообщества, и напротив стараются перегнать друг друга, в результате чего возникают самые удивительные положения, и в конце концов благодаря быстрому сближению всех частей подобного ряда должно последовать цветение и, наконец, развитие плода.

У Calla жилки листа скоро превращаются в черешки листа, •свертываются постепенно и до тех пор, пока, наконец, не выступят в виде стебля цветка. Цветок—это явное завершение листа, который потерял зеленую окраску, причем его сосуды, не разветвляясь, идут от основания к периферии, обвиваются вокруг початка и проникают внутрь, последний как соцветие сохраняет вертикальное положение.

Вертикальная тенденция проявляется с момента прорастания; это то, благодаря чему растение пускает в землю корни и в

.

то же время тянется вверх. В какой мере она отстаивает свои права во время роста, следует, пожалуй, проследить; мы приписываем ей расположение пары листьев двудольных под прямым углом, что однако может казаться спорным, так как нельзя отрицать в росте определенного влияния спирального характера. Вовсяком случае, как бы она ни хотела остаться незаметной, она выступает в соцветии, так как образует ось каждого цветка, на всего отчетливее она воплощается в початке и в Spatha.

Спиральные сосуды, всецело пронизывающие организм растения, а также отклонения от их формы были благодаря анатомическим исследованиям постепенно изучены. О них, как о таковых, сейчас не стоит говорить, поскольку даже новички в ботанике знакомы с ними по учебникам, а люди знающие могут пополнить свои сведения изучением основных трудов, а также наблюдением природы.

Уже давно предполагали, что эти сосуды оживляют организм растения, хотя и не могли в достаточной мере объяснить само их действие.

В последнее время серьезно настаивают на признании и изображении их живыми, свидетельством чего может быть следующее сочинение.

(W., II, 5. 7, 37—42)

Ж.Воше

Физиологическая история европейских растений
1814

Женева, 1830

(1831)

Об этом значительном произведении, из которого мы с самого его появления извлекли уже немалую выгоду, нам собственно не следовало совсем и упоминать здесь. Автор его, осторожный ботаник, объясняет физиологические явления с телеологической точки зрения, на которой мы не стоим и не можем стоять, хотя мы и не спорим ни с кем, кто пользуется этим методом.

Но так как автор в конце своего введения объявляет себя противником того метода, согласно которому господин Декандоль пытается в своих дидактических сочинениях развернуть ботаническую организацию, и тем самым отвергает и наше воззрение, почти совпадающее с этим методом,— мы пользуемся случаем коснуться этого, правда, очень тонкого вопроса.

Заслуживает, конечно, всякой благодарности тот факт, что такой значительный ученый, как Декандоль, признает тожество всех частей растения, и на разнообразнейших примерах показывает их живую подвижность, их способность прогрессивно или регрессивно оформляться и, благодаря этому, представать перед нашим взором в бесконечно различных формах. Однако мы не можем одобрить пути, который он выбирает, чтобы привести любителей царства растений к той основной идее, от правильного понимания которой все зависит. По нашему мнению, ему не следовало исходить из симметрии, да еще обозначать этим словом само учение.

Достойный ученый предполагает известную, намеченную природой правильность, и все то, что не совпадает с ней, называет

наростом или недорастанием, которые путем прирожденного уродства, чрезмерного развития или слияния затемняют или скрывают правило.

Как раз этот способ выражения и оттолкнул господина Воше, и мы не можем всецело поставить ему это в упрек. Ведь согласно такому воззрению в растительном мире настоящее намерение природы окажется очень редко осуществленным; от одного исключения нас посылают к другому, и мы не можем нигде стать твердой ногой.

Метаморфоз — более широкое понятие, которое возвышается над правильным и неправильным и по которому образуется как простая, так и махровая роза и возникает как правильный тюльпан, так и самая причудливая из орхидей.

На этом пути адепту выясняется -образование как удачных, так и неудачных продуктов природы. Ему наглядно рисуется вечно колеблющаяся жизнь, благодаря которой растения могут развиваться как при благоприятных, так и при неблагоприятных условиях, и по всем поясам могут распространяться виды и разновидности.

Если растение по внутренним законам или под влиянием внешних причин изменяет форму, соотношение своих частей, то это нужно считать безусловно законосообразным, и ни одно из этих отклонений нельзя рассматривать как уродливый или регрессивный рост.

Пусть орган удлиняется или укорачивается, расширяется или сужается, сливается или расщепляется, медлит или торопится, развертывается или прячется — все происходит согласно простому закону метаморфоза, который своей деятельностью осуществляет симметричное и причудливое, плодовитое и бесплодное, понятное и непонятное.

Если бы можно было последовательно, методически, предъявляя доказательные примеры, побеседовать об этом с господином Воше, то изложение такого рода, быть может, пришлось бы ему более по душе, так как телеологическое воззрение им не упраздняется, а, напротив, получает от него поддержку.

Исследователь может все больше убеждаться в том, каким незначительным и простым должно быть то, что приведенное в движение первосуществом в состоянии произвести самое великое многообразие.

Внимательный наблюдатель может даже внешними чувствами обнаружить то, что кажется невозможным,—тот результат, который, назвать ли его предвиденной целью или необходимым следствием, решительно повелевает нам молитвенно преклониться перед таинственной первоосновой всех вещей.

(В. О. Л и х т е н ш т а д т. Гете, стр. 188—190)

Опыт всеобщего сравнительного учения

Если наука начинает запинаться и, несмотря на старания многих деятельных людей, как будто не двигается с места, то можно заметить, что виной тому часто является известный способ рассмотрения предметов в духе установившейся традиции, а также косная терминология, которой большинство безоговорочно подчиняется и держится и от коей даже мыслящие люди отходят робко, поодиночке, и то в редких случаях.

От этих общих соображений я тут же перехожу к занимающему нас предмету, дабы сразу быть как можно лучше понятым и не отклониться от цели: тот способ представления, что живое существо произведено на свет ради известных внешних целей и его форма соответственно определена сознательной первичной силой, уже много столетий задерживал нас в философском рассмотрении природных вещей, и до сих пор еще задерживает, несмотря на то, что отдельные люди горячо оспаривали этот способ представления и показывали те препятствия, которые он ставит на пути.

Пусть этот способ представления сам по себе благочестив, приятен для некоторых душ, для некоторых умов необходим,— я не считаю ни целесообразным, ни возможным оспаривать его в целом. Если можно так выразиться, это тривиальный способ представления, который, как и все подобные вещи, именно тем тривиален, что он в целом удобен и достаточен для человеческой природы.

Человек привык лишь в той мере ценить вещи, в какой они ему полезны, а так как по своей природе и положению он должен считать себя венцом творения, то почему бы ему не думать, что он также конечная цель его? Почему его тщеславие не может

себе позволить этот маленький софизм? Раз он нуждается в вещах и может пользоваться ими, то отсюда следует: они для того и созданы, чтобы он ими пользовался. Не удобнее ли ему устранить каким-нибудь фантастическим способом противоречия, которые он видит, чем отказаться от притязаний, с которыми oh уже свыкся. Почему ему не назвать сорной травой ту траву, которую он не может использовать, поскольку она действительно не должна бы была для него существовать в данном месте? Он скорее припишет возникновение чертополоха, так вредящего его труду на поле, проклятию разгневанного доброго существа или коварству злорадного демона, чем сочтет именно этот чертополох. одним из чад великой общей природы, столь же близким ее сердцу, как старательно взращиваемая и весьма ценная для него пшеница. Да, можно заметить, что даже самые скромные люди, которые считают себя наиболее смиренными, доходят только лишь. до того представления, что все должно, по меньшей мере косвенно, иметь отношение к человеку, что хотя бы в будущем должна обнаружиться какая-либо скрытая сила того или иного произведения природы, благодаря которой оно сможет быть использовано в качестве лекарства или иным образом. А так как, далее, человек в самом себе и в других справедливо больше всего ценит те поступки и дела, которые совершаются с определенным намерением и целесообразны, то из этого следует, что и природе о которой он никак не может составить себе более высокого понятия, чем о самом себе, он будет приписывать намерения и цели. Если, далее, он верит, что все существующее создано ради него, только как орудие и подсобное средство его существования, то отсюда, естественно, следует, что природа, доставляя ему орудия, поступала так же с намерением и целесообразно, как действует он сам, добывая таковые. Так охотник, заказывая себе ружье, чтобы стрелять дичь, не нахвалится материнской заботой природы, которая изначала дала ему собаку для того, чтобы с ее помощью добывать дичь. Находятся и другие причины, в силу коих человеку вообще невозможно расстаться с этим способом представления. Мы можем хотя бы на простом примере из ботаники видеть,, в какой степени естествоиспытатель, желающий глубже вникнуть в общие вопросы, должен избегать этого способа представления. Для ботаники как науки самые пестрые и махровые цветы, самые съедобные и прекрасные плоды не более, в известном смысле даже менее, важны, чем презираемый сорняк в естественном состоянии, чем ненужная сухая семенная коробочка.

Таким образом, естествоиспытателю рано или поздно уже придется подняться выше этого тривиального понятия: и если даже он как человек не в силах отделаться от этого способа пред-

ставления, то, по крайней мере, в той степени, в какой является естествоиспытателем, он должен как можно больше отрешиться от него.

Это рассуждение, касающееся естествоиспытателя вообще, имеет и для нас здесь лишь общее значение. Однако другое касается нас уже ближе, хотя оно непосредственно вытекает из предыдущего. Человек, относя все вещи к самому себе, тем самым вынужден приписывать им внешнюю целесообразность, и это ему тем удобнее делать, что каждая вещь, чтобы жить, должна обладать совершенной организацией, без которой она не может даже быть мыслима. Поскольку эта совершенная организация в высшей степени ясно определена и обусловлена внутри, то и вовне она должна найти такие же ясные отношения, так как вовне она может существовать только при известных условиях и в известных отношениях. Так, на земле, в воде, в воздухе мы видим движение самых разнообразных форм животных, и согласно самым обычным понятиям этим существам приданы органы, чтобы они могли производить различные движения и каждое по-своему поддерживать собственное существование. Не возвысится ли в наших глазах уже первичная сила природы, мудрость мыслящего существа, которую мы обычно ей приписываем, если мы уже эту силу сочтем обусловленной и научимся усматривать, что она так же хорошо творит снаружи, как и наружу, изнутри, как и внутрь? Мне кажется, гораздо менее говорит: рыба существует для воды, чем: рыба существует в воде и благодаря воде; ибо это последнее положение гораздо яснее выражает то, что в первом темно и скрыто, именно, что существование создания, именуемого «рыба», возможно только при условии того элемента, который мы называем водой, притом не только для того, чтобы в нем существовать, но также, чтобы в нем возникнуть. То же самое относится ко всем другим существам. Итак, таково первое и самое общее рассмотрение изнутри наружу и извне внутрь. Определенная форма является как бы внутренним ядром, которое различно образуется под детерминирующим воздействием внешней стихии. Именно потому животное и приобретает свою целесообразность вовне, что оно сформировано извне в такой же мере, как и изнутри; тем более, и это вполне естественно, что внешний элемент скорее может изменить в соответствии с собой внешнюю форму, чем внутреннюю. Мы это лучше всего можем видеть на тюленях, внешность которых так похожа на рыб, тогда как их скелет еще вполне представляет четвероногое животное.

Таким образом, мы не умаляем ни первичной силы природы, ни мудрости и могущества творца, если допустим, что первая действует косвенно с помощью определенных средств, второй же действовал так в начале 'вещей. Разве не подобает этой великой

силе, чтобы она простое производила просто, сложное сложно? Неужели мы умаляем ее могущество, когда утверждаем: она не могла бы произвести рыб без воды, птиц без воздуха, прочих животных без земли, что это так же немыслимо, как существование таких созданий без наличия этих стихий? Разве мы таким образом не лучше вникнем в полный тайн созидательный строй природы, производящей, как теперь все больше признается, по одному-единственному образцу, если, после того как мы точнее изучили и познали этот единственный образец, мы спросим теперь и исследуем: как действует общая стихия в различных ее проявлениях на эту общую форму? Как отвечает на эти воздействия детерминируемая и детерминирующая форма? Что за форма возникает благодаря этому воздействию в твердых частях, в мягких, в наиболее внутренних и наиболее наружных? Что, как говорилось, могут произвести все эти элементы во всех их модификациях благодаря высоте и глубине, странам света и зонам?

Как много уже сделано здесь раньше! Как много остается только взять и применить всецело только на этих путях!

И как это соответствует высокому достоинству природы, что она всегда должна пользоваться одними и теми же средствами, чтобы производить какое-либо существо и его питать! Так будут и дальше продвигаться по этим же самым путям, и как раньше неорганизованные, недетерминированные элементы считали материалом неорганизованных предметов, так теперь, поднявшись на более высокую точку зрения, будут считать и органический мир тоже взаимосвязью многих элементов. Все царство растений, например, вновь предстанет перед нами как необъятное море, которое так же необходимо для обусловленного существования насекомых, как моря и реки для обусловленного существования рыб, и мы увидим,, какое невероятное число живых существ рождается и питается в этом растительном океане; больше того, мы в конце концов будем рассматривать и весь животный мир также лишь как одну великую стихию, где один род на Другом и через другой, если и не возникает, то все же поддерживается. Мы привыкнем рассматривать отношения и зависимости не как назначения и цели, и уже только благодаря этому уйдем вперед в познании того, как творящая природа обнаруживается со всех сторон и во все стороны. И мы на опыте убедимся, как это уже доказал поступательный ход науки, что самая реальная и широкая польза для людей является лишь результатом великих и бескорыстных стараний, которые не могут претендовать на оплату, как труд поденщика, в конце недели, но зато и не обязаны предъявить полезный для человечества результат ни в конце года, ни десятилетия, ни столетия.

(И. В. Гете. Избранные сочинения по естествознанию, стр. 109—113)

Лекции по первым трем главам наброска общего введения в сравнительную анатомию, исходя из остеологии [16]

(1796)

I. О преимуществах сравнительной анатомии и о препятствиях, которые стоят на ее пути

Благодаря точному рассмотрению внешнего вида органических существ наши познания в области естественной истории чрезвычайно расширились и упорядочились, и теперь всякий интересующийся, при достаточном внимании и старании, имеет возможность охватить предмет в целом или изучать какие-нибудь частности.

Такое удачное развитие науки, однако, не было бы возможным, если бы естествоиспытатели не стремились располагать наружные признаки организмов рядами, согласно их различным классам и отрядам, родам и видам.

Так, Линней образцово разработал и представил в упорядоченном виде ботаническую терминологию в такой форме, что она, благодаря последующим открытиям и трудам, могла становиться все более совершенной. Так, оба Форстера наметили нам отличительные признаки птиц, рыб и насекомых и этим облегчили более точные и согласованные описания.

Однако нельзя долго заниматься определениями внешних отношений и признаков, не почувствовав потребности путем расчленения основательнее познакомиться с органическими телами. Ибо, как бы ни было похвально, на первый взгляд, определять и классифицировать минералы по их наружным признакам,— все же для более глубокого познания должна быть привлечена химия.

Однако обе эти науки, анатомия и химия, имеют для тех, кто с ними 'не освоился, скорее противный, чем привлекательный вид. Относительно последней представляют себе только огонь и угли, насильственное разделение и смешивание веществ; относительно первой — только ножи, кромсанье на части, гниль и отвратительный вид навсегда расторгнутых органических частей. Но это, конечно. ошибочное понимание обоих научных занятий. Обе науки многообразно упражняют дух, и если одна из них, после того как сделано разделение, действительно снова соединяет, и даже посредством этого соединения может вызвать некий род новой жизни, что, например, происходит при брожении,—то другая, правда, может только разделять, но она дает человеческому духу возможность сравнивать мертвое с живым, отделенное с соединенным, разрушенное со становящимся и открывает нам глубины природы больше, чем всякое другое старание и рассмотрение.

Насколько нужно было расчленять человеческое тело, чтобы научиться лучше знать его, это мало-помалу хорошо поняли врачи, и все время рядом с расчленением человека продолжалось расчленение животных, хотя уже не равным шагом. Частично были сделаны отдельные замечания, сравнивали известные части различных животных, однако видеть согласованное целое все еще оставалось только смиренным желанием, и, вероятно, еще долго останется таковым.'

Но разве мы не чувствуем потребности пойти навстречу этим желаниям, этим надеждам естествоиспытателей, когда мы сами, если 'не теряем из глаз целое, на каждом шагу можем ожидать столько удовлетворения и даже преимуществ для науки

Кому не известно, какими открытиями в строении тела человеческого мы обязаны зоотомии? Так, может быть, еще долго оставались бы неизвестными млечные и лимфатические сосуды, равно как и кровообращение, если бы исследователь сначала не заметил их на животных. И как много важного еще откроется на этом пути будущим наблюдателям. Ибо животное оказывается как бы правофланговым, причем простота и ограниченность его строения яснее выражают характер, отдельные же части легче и заметнее бросаются в глаза.

С другой стороны, почти что невозможно познавать человеческое строение само по себе, потому что части его стоят в тесном взаимоотношении, потому что многое, что у животных очень ясно видно, взаимно стеснено и скрыто, потому что тот или иной орган, очень простой у животных, оказывается у человека бесконечно сложным и подразделенным, так что никто не в состоянии сказать, закончатся ли когда-либо отдельные открытия и наблюдения.

Надо, однако, еще пожелать, чтобы для скорейшего успеха физиологии в целом никогда не терялось из виду взаимодействие всех частей живого тела; ибо, только понимая, что в органическом теле все части действуют на одну часть, и обратно, каждая •оказывает влияние на все, мы можем надеяться мало-помалу восполнить пробелы физиологии.

Познание органических существ вообще, познание более совершенных, которых мы в настоящем смысле слова называем животными, особенно млекопитающих, понимание того, как общие законы действенны у различных ограниченных натур; усмотрение, наконец, как человек построен таким образом, что он объединяет в себе много свойств и натур и уже в силу этого физически существует в качестве маленького мира, как представитель прочих животных родов,— все это может быть только тогда яснее и лучше всего постигнуто, если мы свои наблюдения поведем не так, как это, к сожалению, слишком часто до сих пор случалось, именно сверху вниз, и будем искать человека в животном, а если мы начнем снизу вверх и более простое животное, наконец, снова обнаружим в сложном человеке.

В этой области уже чрезвычайно много сделано; однако все это так рассеяно, так много ложных замечаний и заключений омрачают истинные и настоящие; ежедневно к этому хаосу добавляется новая правда и ложь, так что не хватит ни сил человеческих, ни жизни все разобрать и привести в порядок, если мы и при расчленении не последуем по пути, который нам предначертали естествоиспытатели, и не сделаем возможным познавать единичное в известном обозримом порядке, чтобы воссоединить целое, согласно законам, доступным для нашего духа.

То, что нам надлежит делать, будет облегчено, если мы рассмотрим препятствия, которые до сих пор стояли на пути сравнительной анатомии.

Так как другу природы уже при определении внешних признаков органических существ приходится действовать на беспредельном поприще и преодолевать много трудностей; так как уже внешнее изучение совершенных животных, распространенных по поверхности земли, требует так много трудных наблюдений, и постоянно теснящееся новое отвлекает и пугает нас, то стремление проникнуть также во внутреннее познание существ не могло стать всеобщим до того времени, пока внешнее сравнение не продвинулось достаточно вперед. Между тем накопились отдельные наблюдения, причем частью исследование делалось нарочно, частью же схватывали явления так, как они подвертывались случайно; но так как все это происходило бессвязно, без общего охвата вопроса, то в работу должно было закрасться немало заблуждений.

Но наблюдения еще больше запутывались тем, что они часто делались односторонне, и терминология неосмотрительно применялась как к одинаково, так и к похоже построенным животным. Так, из-за коневодов, охотников и мясников произошло разногласие в названии внешних и внутренних частей животных, преследующее нас еще и в науке, лучше систематизирующей, чем эти люди.

Как сильно недоставало объединяющего пункта, вокруг которого можно было бы собрать большое количество наблюдений. станет в ближайшее время понятнее.

Философ весьма скоро заметит, что наблюдатели редко поднимаются до такой точки зрения, с которой они могли бы обозревать столь многочисленные сюда относящиеся значительные предметы.

Здесь так же, как и в других науках, применяются недостаточно точно выясненные способы представления. Если одна партия принимала вещи совершенно обыденно и без размышления придерживалась простой видимости, то другая спешила найти помощь в затруднении путем признания конечных целей; и так как этим способом никогда нельзя было прийти к понятию живого существа, то именно таким путем удалялись от понятия, к которому предполагали приблизиться.

В такой же мере и подобным же образом мешал благочестивый способ представления, когда явления органического мира хотели толковать и применять непосредственно во славу божью. Далее, вместо того, чтобы оставаться при опыте, обеспечиваемом нашими чувствами, терялись в пустых умозрениях, как, например, о душе животных и прочем тому подобном.

Если теперь вспомнить, учитывая краткость нашей жизни, что анатомия человека требует бесконечной работы; что памяти едва хватает схватить и удержать все известное; что сверх того необходимо затратить много усилий, чтобы познакомиться с отдельными новыми открытиями в этой области, а также самому при старании и удаче делать новые открытия,—то ясно видно, что этому делу отдельные люди должны посвятить всю свою жизнь.

П. О типе, который должен быть установлен для облегчения сравнительной анатомии

Сходство животных, особенно более совершенных, между собой бросается в глаза и вообще молчаливо признается всеми. Поэтому уже по одной внешности четвероногие животные легко были отнесены в один класс.

При сходстве человека с обезьяной, при том употреблении. которое некоторые ловкие животные делают из своих членов по естественному побуждению или научаются делать после предшествующего искусственного упражнения, весьма просто было подметить сходство совершеннейшего существа с менее совершенными братьями, и с давних пор такие сравнения встречались у естествоиспытателей и анатомов. Возможность превращения человека в птиц и зверей, представлявшаяся поэтической фантазии, была также показана нашему рассудку остроумными естествоиспытателями после полного рассмотрения отдельных частей. Так,. Кампер деятельно взялся проследить соответствие облика животных еще дальше, до царства рыб.

Итак, вот чего мы добились: мы можем безбоязненно утверждать, что все более совершенные органические существа, среди которых мы видим рыб, амфибий, птиц, млекопитающих и во главе последних человека, все они сформированы по одному прообразу, который в своих весьма постоянных частях лишь более или менее уклоняется туда и сюда и все еще посредством размножения ежедневно совершенствуется и преобразуется.

Охваченный этой идеей, Кампер отважился превращать мелом на черной доске собаку в лошадь, лошадь в человека, корову в птицу. Он настаивал на том, что в мозге рыбы надо увидеть мозг человека, и достиг этими остроумными, смелыми скачкообразными сравнениями своей цели: раскрыть внутреннее чувство наблюдателя, которое слишком часто оказывается в плену у внешности. Теперь каждый член какого-нибудь органического тела стали рассматривать не только сам по себе и для себя, но приучились, если не видеть, то все же прозревать в нем образ похожего члена родственной органической натуры, и стали жить •надеждой, что можно было бы собрать как более старые, так и новейшие наблюдения этого рода, дополнить их благодаря вновь оживившемуся усердию и построить из них нечто целое.

И если, однако, согласуясь в общем, работали, казалось, для достижения одной цели, то все же в частностях была неизбежна некоторая путаница, ибо как ни сходны между собой животные в целом, все же известные отдельные части у различных существ оказываются весьма различными по форме; и потому должно было случиться, что одну часть многократно принимали за другую, искали не на том месте или вовсе отрицали. Специальное изложение покажет немало примеров этого и ту путаницу, которая нас окружала в прежние времена и окружает еще теперь.

В этой путанице, кажется, особенно повинен метод, которым обычно пользовались, так как опыт и привычка ничего другого в руки не давали. Сравнивали, например, отдельных животных между собой, причем целое от этого почти ничего или вовсе не

выигрывало. Допустим, довольно хорошо сравнивали волка со львом, но из-за этого еще нельзя было их сопоставлять со слоном. И кому не бросается в глаза, что таким способом пришлось бы сравнивать всех животных с каждым и каждое животное со всеми. Работа бесконечная, невозможная и, если бы она была чудом выполнена, необозримая и бесплодная.

(Здесь надо привести примеры из Бюффона и обсудить предприятие Иозефи.)

Неужели невозможно, раз мы уже признали, что созидающая сила производит и развивает более совершенные органические существа по одной общей схеме, начертать этот прообраз если не для чувств, то для ума, и по нему, как по норме, разрабатывать наши описания и, так как эта схема отвлечена от формы различных животных, вновь свести к ней самые различные формы?

Но если схвачена идея этого типа, то уже становится вполне очевидным, сколь невозможно выставить в качестве канона какой-нибудь отдельный род. Единичное не может быть образцом целого и потому мы не можем искать образец для всех в единичном. Классы, роды, виды и индивиды относятся к нему, как частные случаи к закону; они содержатся в нем, но не содержат и не .дают его.

Меньше всего человек, при его высоком органическом совершенстве, именно в силу этого совершенства, может служить масштабом прочих менее совершенных животных. Нельзя исследовать и описывать всех животных ни таким способом, ни в таком порядке, ни с учетом того, как надо рассматривать и трактовать человека, когда принимают в соображение только его одного.

Все замечания сравнительной анатомии, которые делаются по поводу анатомии человека, могут, взятые отдельно, быть полезными и заслуживающими благодарности, в целом же они остаются несовершенными и, при ближайшем рассмотрении, скорее путающими и противными цели.

Как, однако, найти такой тип — это показывает нам уже само понятие такового: опыт должен научить нас, какие части являются общими всем животным и в чем разница этих частей у различных животных; затем вступает в дело абстракция, чтобы упорядочить их и построить общий образ.

Что мы при этом поступаем не чисто гипотетически, за это нам ручается сущность самого дела. Ибо в поисках законов, по которым образуются живые, из самих себя действующие, обособленные существа, мы не расплываемся вширь, а поучаемся в глубинах жизни. Что природа, желая произвести такое существо, должна свое величайшее многообразие замкнуть в абсолютное единство, это видно из понятия живого существа, решительно от всех других обособленного и действующего с известной спонтанно-

стью. Таким образом, мы уверенно придерживаемся единства, многообразия, целе- и законосообразности нашего объекта. И вот, если мы достаточно рассудительны и сильны, чтобы с простым, но широкообъемлющим, с закономерно свободным, живым, но урегулированным способом представления подойти к нашему предмету, рассматривать и изучать его; если мы в состоянии с тем комплексом духовных сил который принято называть гением, часто, однако, вызывающим весьма двусмысленные действия, устремиться навстречу известному недвусмысленному гению производящей природы; если бы многие стали в одном смысле разрабатывать этот грандиозный предмет, то тогда во всяком случае должно было бы возникнуть нечто такое, чему мы, люди, могли бы порадоваться.

И хотя мы считаем наш труд только анатомическим, тем не менее он должен, чтобы быть плодотворным, даже вообще в нашем случае быть возможным, всегда вестись с ориентацией на физиологию. Надо, следовательно, не просто смотреть на существование одних частей рядом с другими, но на их живое взаимное влияние, на их зависимость и действие.

Ибо как все части в здоровом и живом состоянии охватывают друг друга во взаимном непрестанном воздействии, и поддержание уже сформированных частей возможно только посредством сформированных же, то и само формирование как в его основном предназначении, так и в его уклонениях, должно производиться и определяться их взаимным влиянием, что нам, однако, может раскрыть и осветить лишь тщательное исследование.

В нашей предварительной работе для конструкции типа мы прежде всего будем изучать, испытывать и применять различные способы сравнения, которыми пользуются; произведенными же сравнениями мы будем пользоваться лишь с большой осторожностью из-за часто встречающихся там ошибок, и притом больше после завершения построения типа, чем для построения такового.

Способы же сравнения, которыми пользуются с большей или меньшей удачей, следующие: Сравнения животных между собой и притом либо целиком, либо по частям.

(Привести различных авторов и оценить их. Бюффон, Добантон, Дюверни, Унцер, Кампер, Зёммеринг, Блуменбах, Шнейдер.)

Так же сравнивались животные с человеком, правда никогда в целом и нарочно, но по частям и случайно.

(Здесь снова ученые и замечания.)

Далее усердствовали во внимательном сравнении человеческих рас между собой и с помощью этого пролили яркий свет на естественную историю человека...

III. О законах организации вообще, поскольку мы должны иметь их перед глазами при конструкции типа

...И стоило ли нам пробираться вверх путем наблюдений метаморфоза растений и насекомых, если бы мы не могли надеяться пролить таким образом также .некоторый свет на форму высших животных?

Мы видели там, что в основе всякого размышления относительно растений и насекомых должно лежать представление о последовательном превращении идентичных частей подле или после друг друга; и теперь, при исследовании тела животного, нам будет чрезвычайно полезно, если мы окажемся в состоянии усвоить понятие одновременного, уже с зачатия установленного метаморфоза.

Так, например, бросается в глаза, что все позвонки одного животного — одинаковые органы, и, однако, если бы кто-нибудь непосредственно сравнил первый шейный позвонок с хвостовым,. то не нашел бы и следа сходства в их форме.

Так как здесь мы имеем перед глазами идентичные и все же столь различные части и не можем отрицать их родство, то, рассматривая их органическую связь, исследуя их соприкосновение и их взаимное воздействие, мы должны ожидать ценных открытий.

Ведь именно потому становится возможной гармония органического целого, что оно состоит из идентичных частей, которые модифицируются путем очень тонких уклонений. Родственные по своей глубочайшей природе, они кажутся по форме, назначению и действию расходящимися крайне далеко, даже до противоположности; и это дает природе возможность видоизменением сходных органов создавать и вплетать друг в друга самые различные и все же близко родственные системы.

Метаморфоз же у более совершенных животных проявляется двояко: во-первых, как выше мы видели на позвонках, в том, что идентичные части, по известной схеме, с большим постоянством преобразуются созидательной силой различным образом, благодаря чему тип становится в общем возможным; во-вторых, в том, что принадлежащие к типу отдельные части постоянно изменяются через все роды и виды животных, не будучи, однако, в состоянии когда-либо утратить свой характер.

В качестве примера первого мы повторяем сказанное здесь о» позвонках, из которых каждый, от шейного до хвостового, имеет

свой собственный характер. Примером второго служит то различие, которое имеется между первым и вторым позвонками у всех животных, несмотря на значительные уклонения; справиться с разнообразием изменений на этом пути и является целью внимательного и прилежного наблюдателя.

Итак, мы повторяем, что ограниченность, определенность и всеобщность одновременного метаморфоза, устанавливаемого уже размножением, делает возможным тип, и что, однако, из изменчивости этого типа, в пределах которого природа может двигаться с большей свободой, не теряя все же основного характера частей, должно выводить все без исключения многочисленные известные нам роды и виды более совершенных животных.

(И. В. Гете. Избранные сочинения по естествознанию, стр. 187—195. 201—202)

Размышление о морфологии вообще

Морфологию можно рассматривать как самостоятельное учение и как вспомогательную для физиологии науку; в целом она покоится на естественной истории, из которой извлекает потребные ей феномены, равным образбм на анатомии всех органических тел и особенно на зоотомии.

Так как она хочет только изображать, а не объяснять, то из остальных вспомогательных наук физиологии она использует минимум, хотя и не упускает из виду как силовых и пространственных отношений физики, так и отношений веществ и смесей химии; благодаря своей ограниченности она становится, собственно, лишь специальным учением, смотрит на себя всегда, как на служанку физиологии, координированную с прочими подсобными науками.

Намереваясь установить в лице морфологии новую науку, правда не по предмету, так как таковой известен, но по точке зрения и методу, который должен придать самому учению свой самостоятельный облик и указать ему место .среди других наук, мы прежде всего обратимся к последнему вопросу и покажем отношение морфологии к остальным родственным ей наукам, а затем ее содержание и способ ее изложения.

Морфология должна содержать учение о форме, об образовании и преобразовании органических тел; она поэтому относится к тем естественным наукам, особые цели которых мы сейчас рассмотрим.

Естественная история хорошо знает многообразие формы органических существ. От нее не ускользает, что это великое мно-

гообразие все же обнаруживает некоторые совпадения, частью в. общем, частью в особенностях, и она не только описывает известные ей тела, но располагает их то по группам, то рядами, согласно видимым формам, согласно находимым и познаваемым свойствам; этим создается возможность обозревать огромную массу объектов. Работа ее двояка: с одной стороны, непрестанно отыскивать все новые предметы, с другой — все более совершенно группировать предметы в соответствии с природой и свойствами их и по возможности изгонять при этом всякий произвол.

В то время как естественная история, следовательно, держится внешнего проявления форм и рассматривает форму в целом, анатомия стремится к познанию внутренней" структуры, к расчленению человеческого тела, как самого достойного предмета и нуждающегося в разных видах помощи, которая не может быть ему оказана без точного познания его организации. В анатомии остальных органических существ сделано много, но все это так не связано между собой, по большей части основано на столь неполных, а иногда и неверных наблюдениях, что для естествоиспытателя эта масса данных остается почти непригодной.

Отчасти для того, чтобы расширить и развить, отчасти чтобы объединить и использовать тот опыт, который дают нам' естественная история и анатомия, обращались иногда к помощи посторонних наук, привлекали для этого родственные, устанавливали также собственные точки зрения,— все с целью удовлетворить потребность в общем физиологическом обзоре; и хотя, как свойственно людям, при этом большей частью поступали и поступают слишком односторонне, все же этим путем была произведена отменная подготовительная работа для физиологов грядущего.

У физика, в самом строгом смысле слова, учение об органической природе смогло взять только общие отношения сил и их положение в наличном мировом пространстве. Применение механических принципов к органическим существам было полезно только тем, что еще больше усилило наше внимание к совершенству живых существ, и можно утверждать, что органические существа кажутся тем совершеннее, чем меньше применимы к ним принципы механики.

Химику, который уничтожает форму и структуру и обращает внимание только на свойства веществ и условия их смешения, эта область также обязана многим, и в дальнейшем будет еще более обязана, так как новейшие открытия позволяют производить тончайшие разъединения и соединения, и, следовательно, можно надеяться с помощью их подойти еще ближе к бесконечно тонкой работе живого органического тела. И вот, как уже теперь путем точного наблюдения структур мы получили анатомическую

-физиологию, так мы можем со временем ожидать и появления физико-химической физиологии; и было бы желательно, чтобы обе науки всегда так подвигались вперед, как будто каждая в отдельности желает завершить 'все дело.

Но так как обе являются только разделяющими, и химические соединения, в сущности, тоже основаны только на разделениях, то естественно, что эти способы познавать и представлять себе органические тела не могут удовлетворить всех людей, из которых некоторые имеют тенденцию исходить из единства, из него развивать части и снова непосредственно сводить их к нему. Природа органических тел дает нам превосходный повод к этому, ибо самые совершенные из них являются нам как обособленное от всех других существ единство; а так как мы сами себя осознаем таким единством, поскольку мы замечаем совершенное состояние здоровья только потому, что чувствуем не части нашего целого, но только само целое; так как все это может существовать лишь в той мере, в какой существа организованы, а они могут быть организованы и поддерживать свою деятельность только благодаря состоянию, которое мы называем жизнью,—то нет ничего естественнее попыток установить зоономию и стремиться проследить те законы, которыми определяется жизнь органического существа. С полным правом ради удобства изложения предположили силу, ее могли, даже должны были допустить, потому что жизнь в своем единстве обнаруживается как сила, которая не содержится в отдельности ни в одной из частей.

Мы не можем какой-нибудь организм долго рассматривать как единство, даже самих себя мы долго не можем мыслить как единство, таким образом мы видим себя вынужденными принять две точки зрения: с одной стороны, мы рассматриваем себя как существо, воспринимаемое чувствами извне, а с другой

— как существо, которое может быть познано только внутренним чувством или обнаружено по своим действиям.

Зоономия распадается поэтому на две не легко отделимые друг от друга части, именно на телесную и духовную. Правда. они не поддаются отделению одна от другой, но исследователь .этого предмета может исходить как от одной, так и от другой стороны и потому заниматься преимущественно той 'или другой.

Однако не только те науки, которые здесь были названы, требуют каждая всего человека, но даже отдельные части их способны занять собою целую человеческую жизнь; еще большее затруднение возникает оттого, что все эти науки разрабатывают почти исключительно врачи. Они ради практического использования научных данных обычно очень скоро забрасывают дальнейшую разработку науки, несмотря на то, что практика

со своей стороны оказывается полезной для расширения их познаний.

Из этого ясно видно, что требуется проделать еще много подготовительной работы, чтобы мог появиться физиолог, которому предстоит охватить все эти наблюдения, свести их к единству и, насколько это доступно человеческому уму, познать их сообразно достоинству великого предмета. Для этого необходима целесообразная деятельность с разных сторон, в чем не было и нет недостатка, при которой каждый скорее и вернее продвигался бы вперед, если бы он изучал хотя бы и одну сторону, но не изучал бы ее односторонне, и с радостью признавал бы заслуги всех остальных соработников, вместо того чтобы ставить, как это обычно происходит, свой собственный способ представления выше всех других.

Итак, после того как мы представили различные науки, которые работают в помощь физиологу, и показали их взаимоотношения, пора теперь узаконить морфологию как особую науку.

За таковую ее и принимают; и прежде всего она еще тем должна оправдать законность своего существования как особая наука, что сделает своим главным предметом то, что в других науках трактуется попутно и случайно, собирая рассеянное там и устанавливая новую точку зрения, с которой естественные вещи могут рассматриваться легко и удобно. Она имеет то большое преимущество, что состоит из общепризнанных элементов, что она не находится в противоречии ни с каким учением; что ей нечего устранять, чтобы очистить себе место; что феномены, которыми она занимается, весьма значительны, и что те умственные операции, посредством которых она сопоставляет феномены, сообразны человеческой природе и приятны ей, так что в этой области даже какой-либо неудавшийся опыт мог бы соединить в себе пользу с удовольствием.

(И. В. Гете. Избранные сочинения по естествознанию, стр. J04—W8)

Введение в морфологию

1819

«Упорядочить предпринятое — большое и трудное дело.

«Порядок в знании требует точных сведений относительно отдельных предметов.

«Внимания к их особенностям, следовательно, отличиям и сходству.

«Для этого нужно уже много большее, чем чувственный взгляд и чем память.

«Вникание в характерное и суждение о нем.

«Стремление человеческого ума образовать целое из того, с чем он обращается.

«Нетерпение человека мешает достаточной подготовке.

«Постепенность в завершении.

«Не всегда может быть порицаема.

«Опыт различных эпох.

«Более ранних менее совершенен.

«Никто, собираясь приобрести научное знание, не предчувствует с самого начала необходимости все время повышать напряженность своего образа мышления и представления.

«Тот, кто занимается науками, лишь мало-помалу начинает чувствовать эту потребность.

«В наше время, когда заводят речь о стольких общих вопросах, ботанический садовник, почти только ремесленник, постепенно доходит до самых трудных вопросов, но, ничего не зная о тех точках зрения, с которых на них можно было бы ответить, он либо принужден довольствоваться словами, либо приходит в состояние какого-то удивленного недоумения.

«Поэтому следует с самого начала готовиться к серьезным вопросам и серьезным ответам на них.

« Если хотеть до известной степени успокоиться .на счет этого и бодро смотреть вперед, то можно себе сказать, что никто не ставит природе такого вопроса, на который он не мог бы ответить а ибо в вопросе уже лежит ответ, чувство, что о таком предмете можно что-то думать, что-то прозревать.
« Правда, согласно различному складу людей и вопросы бывают весьма различны.
« Чтобы сколько-нибудь ориентироваться в этих различных родах, разделим их на: пользующихся, познающих, созерцающих и объемлющих.

«1. Пользующиеся, ищущие пользу, требующие ее являются первыми, которые как бы охватывают область науки, берутся за практическое; сознание, основанное на опыте, дает им уверенность, потребность — известную широту.
«2. Любознательные нуждаются в спокойном, бескорыстном взгляде, в неутолимой жажде нового знания, в ясном рассудке; они всегда стоят в связи с первыми. Обрабатывают же они в научном смысле также лишь то, что им встречается.
«3. Созерцающие проявляют уже продуктивность, и знание, само себя повышая, требует, незаметно для себя, созерцания и переходит в него; и как бы знающие ни открещивались и ни зарекались от фантазии, они все же вынуждены, не успев спохватиться, прибегнуть к помощи продуктивного воображения.
«4. Объемлющие, которых можно было бы назвать в более гордом смысле созидающими, проявляются в высшей степени продуктивно; тем именно, что они исходят из идеи, они уже высказывают единство целого, и до известной степени делом природы является подчиниться в дальнейшем этой идее.

«Привлечь сравнение с дорогой.
«Пример акведука для различения фантастического от идеального.
«Пример драматического поэта.
«Производящая способность воображения в сочетании с возможной реальностью.
«При всякой научной деятельности нужно ясно понять, что придется находиться во всех этих четырех областях.

«Надо сознавать, в какой из них сейчас находишься.

«И склонность так же свободно и приятно двигаться в любой из них.

«Объективное и субъективное сообщения здесь, следовательно, будут заранее известны и разграничены, благодаря чему можно надеяться 'вызвать по крайней мере известное доверие...

« Легко заметить, что в наших сообщениях мы обычно будем держаться у границ второй и третьей областей; мы сознательно будем переходить из одной в другую.
« Обычно познающие инстинктивно 'прибегают к созерцающим, хотя они столь же часто в теоретических случаях и возвращаются по ложному телеологическому пути к пользующимся, которых относят к естествоиспытателям во славу божью.
« Моментом, в котором близость обеих областей может быть сделана наглядной и использована, является генетическое понимание.
« Если я вижу перед собой возникший предмет, спрашиваю об его происхождении и обращаюсь к пройденному им пути, насколько я могу проследить его, то я обнаруживаю ряд ступеней, которые я, правда, не могу видеть рядом друг с другом, однако в воспоминании должен представить себе как некое идеальное целое.

'«Сначала я склонен 'мыслить только о некоторых определенных ступенях, но так как природа не делает скачков, то я в конце концов должен созерцать последовательность непрерывной деятельности как некое целое, причем я могу устранить частности, не нарушая этого впечатления.

« Деление на более крупные этапы.
'« Попытка на более мелкие.
'« Попытка еще нескольких промежуточных пунктов.
« Если представить себе результаты таких попыток, то обнаруживается, что в конце концов опыт должен прекратиться, должно наступить созерцание чего-то становящегося, и, наконец, должна быть высказана идея.
« Пример города как человеческого произведения. , «Пример метаморфоза насекомых как природного произведения.
« Учение о метаморфозе растений во всем его значении...
«Покоится на убеждении, что все существующее должно также обнаруживаться и показываться. Это основное положение имеет для нас значимость, начиная от первых физических и химических элементов до самого духовного проявления человека.
« Мы сейчас же 'обращаемся к тому, что имеет образ (Gestalt). Неорганическое, растительное, животное, человеческое— все само обнаруживается, оно является тем, что оно есть, нашему внешнему, нашему внутреннему чувству (Sinn), «Образ есть 'нечто подвижное, становящееся, исчезающее. Учение об образах (Gestaltenlehre) есть учение об изменениях (Verwandlungslehre). Учение о метаморфозе—ключ ко всем обнаружениям (Zeichen) природы».

(И. В. Гете. Избранные сочинения по естествознанию, стр. 511—515)

Опыт как посредник между объектом и субъектом

(1793)

Как только человек начинает различать вокруг себя какие-нибудь предметы, он рассматривает их в отношении к самому себе, и справедливо. Ибо вся его судьба зависит от того, нравятся ли они ему или нет, привлекают .ли они его или отталкивают, полезны ли они ему или вредны. Этот естественный способ смотреть на вещи и судить о них кажется столь же легким, как и необходимым, и все же человек при этом подвержен тысяче заблуждений, которые часто посрамляют его и вносят горечь в его жизнь.

Гораздо более тяжелое бремя берут на себя те, живая склонность которых к познанию побуждает их к наблюдению предметов природы самих по себе и их взаимоотношений между собою, ибо они вскоре начинают чувствовать отсутствие масштаба, помогавшего им, когда они с человеческой точки зрения рассматривали вещи в отношении к себе. Им не хватает масштаба удовольствия и неудовольствия, влечения и отталкивания, пользы и вреда; от этого они должны вовсе отказаться. Они должны, в качестве безразличных и как бы божественных существ, искать и исследовать то, что есть, а не то, что нравится. Так, настоящего ботаника не должны трогать ни красота, ни польза растений, он должен изучать их образование, их отношение к остальному растительному царству; и подобно тому, как солнце одинаково всех их вызывает к жизни и светит всем, так и он должен спокойным взором рассматривать и обозревать их всех, и масштаб для такого познания, данные для суждения он должен брать не из себя, а из круга наблюдаемых предметов.

Как только мы станем рассматривать предмет сам по себе и его отношения к другим предметам, не питая непосредственно к нему ни вожделения, ни отвращения, мы вскоре же, при спокойном внимании сможем составить себе довольно ясное понятие о нем, его частях и его отношениях. Чем дальше мы продолжаем такое рассмотрение, чем больше предметов мы соединяем между собой, тем больше мы упражняем свойственную нам способность к наблюдению. Если мы умеем эти познания использовать в .своих поступках применительно к себе, то мы достойны называться умными. Для всякого нормального человека, от природы склонного к умеренности или ставшего таким под влиянием обстоятельств, быть умным не является трудным делом, ибо жизнь поправляет нас на каждом шагу. Однако, если наблюдатель применит эту острую способность суждения для проверки тайных природных отношений, если он, оказавшись как бы одиноким в мире, должен следить за каждым своим шагом, опасаясь излишней поспешности, постоянно имея в виду свою цель, не пропуская на своем пути ни одного полезного или вредного обстоятельства; если и там, где его не легко может кто-нибудь проверить, он обязан быть своим самым строгим наблюдателем и при самом ревностном старании всегда с недоверием относиться к самому себе, то всякому очевидно, как строги эти требования и. как мало имеется надежды на их полное выполнение, безразлично, предъявлять ли их к другим или к себе. Но эти трудности, скажем, даже эта гипотетическая невозможность, не должны удерживать нас сделать все, что возможно; и 'мы во всяком случае успешнее продвинемся вперед, если постараемся представить себе в общем виде те средства, с помощью которых выдающиеся люди смогли расширить науку, если мы точно обозначим те отклонения от верного пути, по которым иногда в течение столетия следовали за ними многочисленные ученики, пока более поздний опыт снова не выводил наблюдателей на правильный путь.

Что опыт имеет и должен иметь величайшее влияние на все, что человек предпринимает, так же и в естествознании, о котором я здесь преимущественно говорю, этого никто не будет отрицать, равно как и того, что 'надо признать высокую и как бы творчески независимую силу душевных способностей, которыми этот опыт воспринимается, собирается, упорядочивается и разрабатывается. Однако каким образом приобрести этот опыт и его использовать, как наши способности изощрить и применить,— это далеко не столь общеизвестно и общепризнано, Лишь только внимание людей с острыми и свежими чувствами оказывается обращенным к каким-нибудь предметам, у них обнаруживается склонность к наблюдениям вместе со способ-

ностью к ним. Я имел возможность часто замечать это с тех пор, как с усердием занимаюсь учением о свете и красках и, по моему обыкновению, беседую с лицами, вообще чуждыми этим вопросам, о том, что меня в данное время очень интересует. Как только внимание их возбуждалось, они замечали явления, частично мне не известные, частично не замеченные мною, и таким образом весьма часто 'исправляли слишком поспешно выдвинутую идею и даже давали мне повод делать более быстрые шаги и выходить из ограничений, в плену которых нас часто держит трудное исследование.

Следовательно, и здесь, как и во многих других человеческих начинаниях, имеет значение, что только интерес многих, обращенный на один и тот же пункт, в состоянии произвести нечто выдающееся. Здесь становится очевидным, что зависть, которая так охотно хотела бы отстранить других от чести какого-нибудь открытия, что непомерное желание трактовать и разрабатывать что-либо вновь открытое исключительно на свой лад,— все это является величайшей помехой для самого исследователя.

До сих пор меня настолько удовлетворял метод совместной работы с другими людьми, что я не могу не продолжать этого. Я точно знаю, кому я обязан на своем пути тем или другим, и буду рад в дальнейшем публично сообщить об этом.

Если нам так много могут помочь люди, просто по природе внимательные, то насколько обширнее должна быть польза, когда сведущие люди помогают друг другу! Уже сама по себе любая наука является чем-то столь огромным, что она способна нести многих людей, тогда как ее не способен поднять ни один человек. Можно заметить, что знания, подобно замкнутой, но живой >воде, мало-помалу поднимаются до определенного уровня, что самые замечательные открытия делаются не столько людьми, сколько временем; вот почему весьма важные дела часто совершались одновременно двумя или даже большим числом опытных мыслителей. Таким образом, если мы в первом случае столь многим обязаны обществу и друзьям, то во втором мы еще большим обязаны миру и .веку, и невозможно в обоих случаях переоценить значение общения, поддержки, напоминания и возражения для того, чтобы поддержать нас на правильном пути и продвинуть вперед.

Поэтому в научных делах надлежит поступать как раз обратно тому, что рекомендовал бы сделать художник; ибо он прав, не показывая публично свое произведение, пока оно не закончено, потому что вряд ли ему кто-нибудь может посоветовать или помочь; наоборот, когда оно закончено, тогда ему следует обдумать и принять к сердцу хулу и похвалу, сочетать их

со своим опытом, совершенствуясь благодаря этому и подготовляясь к новому творению. В научных делах, напротив, полезно сообщать публично о каждом отдельном наблюдении и даже о каждом предположении; и весьма рекомендуется не возводить научное здание до тех пор, пока план его и материалы не будут рассмотрены, обсуждены и одобрены всеми.

Если мы намеренно повторяем наблюдения, сделанные до нас, нами самими или другими одновременно с нами, и снова воспроизводим феномены, возникшие частично случайно, частично искусственно, то мы называем это экспериментом.

Ценность, эксперимента состоит преимущественно в том, что, будь он простым или сложным, он может всегда быть снова воспроизведен при известных условиях с определенным аппаратом и при надлежащей умелости, коль скоро все необходимые условия могут оказаться вновь соединенными. Мы справедливо дивимся человеческому рассудку, даже когда поверхностно знакомимся с комбинациями, которые он создал для этой конечной цели, и рассматриваем машины, которые для этого были изобретены и, можно сказать, ежедневно изобретаются.

Но как ни ценен каждый отдельный эксперимент, он все же приобретает настоящее значение только благодаря соединению и связи с другими. Однако именно для соединения и связи двух опытов, имеющих некоторое сходство между собой, требуется больше строгости и внимания, чем даже требовали от себя многие проницательные наблюдатели. Два феномена могут быть родственными, но при этом находиться далеко не в той степени родства, как мы предполагаем. Два опыта могут казаться вытекающими друг из друга, тогда как на самом деле между ними должен был бы стоять длинный ряд, для того чтобы привести их в подлинно естественную связь.

Поэтому требуется большая осторожность, чтобы не делать из экспериментов слишком поспешных выводов: ибо при переходе от опыта к суждению, от познания к применению как раз и подстерегают человека, словно в ущелье, все его внутренние враги: воображение, нетерпение, поспешность, самодовольство, косность, формализм мысли, предвзятое мнение, лень, легкомыслие, непостоянство мысли, и как бы вся эта толпа с ее свитой ни называлась,— все они лежат в засаде и, неожиданно нападая, одолевают как активного практика, так и тихого, кажущегося застрахованным от всех страстей наблюдателя.

Чтобы предостеречь от этой опасности, которая больше и ближе, чем обычно думают, я хочу здесь предложить своего рода парадокс, дабы возбудить внимание к этому вопросу; я решаюсь утверждать, что один-единственный эксперимент, даже несколько опытов в связи между собой, еще ничего не

доказывают; что ничего нет опаснее, как хотеть доказать какое-нибудь положение непосредственно экспериментом, и что величайшие заблуждения возникли именно оттого, что не понимали опасность и недостаточность этого метода. Придется мне объясниться подробнее, чтобы меня не заподозрили в том, что я только стремлюсь сказать нечто необычайное.

Каждое наблюдение, которое мы делаем, каждый опыт, посредством 'которого мы его повторяем, есть, собственно, только изолированная часть нашего познания; частым повторением мы доводим это изолированное знание до достоверности. Нам могут стать известны два наблюдения в той же области, они могут быть в близком родстве, но казаться еще более близкими,— ведь мы обычно склонны считать их более родственными, чем они суть на самом деле. Это свойственно природе человека, история человеческого ума показывает нам тысячу примеров этого, и я на себе заметил, что часто делаю эту ошибку.

Эта ошибка весьма сродни другой, из которой она большей частью возникает. Дело в том, что человек больше радуется представлению о вещи, чем ей самой, или, лучше сказать, человек постольку лишь наслаждается вещью, поскольку он представляет ее себе — она должна подойти к его манере мыслить; и как бы его образ мысли ни возвышался над обыденным, как бы ни очищался, все же он остается обычно лишь попыткой поставить много предметов в известную понятную связь между собой, каковой они, строго говоря, не имеют; отсюда склонность к гипотезам, к теориям, терминологиям и к системам, которые мы не можем осуждать, так как они неизбежно возникают из организации нашей природы.

Если, с одной стороны, каждое наблюдение, каждый эксперимент согласно их природе могут рассматриваться как нечто отдельное, а с другой стороны, человеческий дух с огромной мощностью стремится соединить все, что вне него, и все, что ему становится известным,— то легко понять ту опасность, которой мы подвергаемся, когда с предвзятой идеей хотим соединить одиночные наблюдения или отдельными опытами доказать наличие какого-нибудь отношения, не вполне чувственно воспринятого, но которое образующая сила духа уже высказала.

Из таких стараний возникают большей частью теории и системы, делающие честь остроте ума их творцов, которые, однако, если они встречают больший, чем заслуживают, успех, если сохраняются дольше, чем следует, то сейчас же начинают уже мешать и вредить прогрессу человеческого духа, которому они до известной степени способствовали.

Можно заметить, что человек с хорошей головой тем больше применяет искусства, чем меньшими данными он располагает:

что он, как бы желая показать свою власть, даже из наличных данных выбирает лишь немногих фаворитов, льстящих ему; что остальные он умеет так скомпоновать, чтобы они прямо ему не противоречили; враждебные же, наконец, он умеет так связать, опутать и устранить, что целое теперь действительно походит не на свободно действующую республику, а на двор деспота.

У человека, имеющего такие многообразные заслуги, не может быть недостатка в почитателях и учениках, которые исторически изучают и восхваляют подобную ткань и по мере возможности усваивают способ представления своего учителя. Часто подобное учение приобретает такую власть, что тот, кто осмелится усомниться в нем, будет принят за наглеца и дерзновенного. Только лишь позднейшие века могли бы посягнуть на такую святыню и снова вернуть предмет рассмотрения обычному человеческому уму. Они смогут попроще отнестись к делу и повторить об основателе секты то, что сказал какой-то остряк об одном великом натуралисте: он был бы великим человеком, если бы меньше изобретал.

Однако, пожалуй, еще недостаточно указать на опасность и предостеречь от нее. Следует, по крайней мере, высказать свое мнение и показать, как сам думаешь избежать такого заблуждения или как его избег кто-нибудь другой до нас, если это известно.

Я выше сказал, что непосредственное применение эксперимента для доказательства какой-нибудь гипотезы я считаю вредным, и этим дал понять, что опосредованное его применение я признаю полезным, и так как все сводится к этому пункту, то его надо отчетливо выяснить.

В живой природе ничего не происходит, что не стояло бы в тесной связи с целым, и если отдельные наблюдения кажутся нам изолированными, если на эксперименты нам приходится смотреть как на изолированные факты, то этим еще не сказано, что они и существуют изолированно, и вопрос только в том, как найти связь этих феноменов, этих событий?

Выше мы видели, что первыми заблуждаются те, кто изолированный факт стремится непосредственно связать со своей манерой думать и судить. Наоборот, мы найдем, что больше всего сделали те, которые по мере возможности не переставали исследовать и разрабатывать все стороны и все модификации одного-единственного наблюдения, одного-единственного опыта.

Так как в природе все, особенно же более общие силы и элементы, находится в вечном действии и противодействии, то о каждом феномене можно сказать, что он стоит в связи с бесчисленными другими, как мы говорим о свободно парящей све-

тящейся точке, что она рассылает свои лучи во все стороны. И вот, если мы произвели такой опыт, сделали такое наблюдение, то необходимо с величайшей тщательностью исследовать, что непосредственно с ним граничит, что сразу за ним следует? На это нам надо обратить больше внимания, чем на то, что к нему имеет отношение. Разнообразить каждый отдельный опыт является, таким образом, главной обязанностью естествоиспытателя. Она прямо противоположна обязанности писателя, который хочет быть занимательным. Последний вызовет скуку, если он не оставит на долю читателя чего-нибудь, о чем тот сам должен подумать; первый же должен неустанно работать, как будто бы он своим преемникам не хочет оставить никакого дела, хотя вместе с тем диспропорция нашего рассудка с природой вещей достаточно своевременно напоминает ему, что ни у одного человека не хватит способностей для завершения чего бы то ни было.

В первых двух статьях о моих оптических исследованиях я старался поставить ряд таких опытов, которые тесно граничат друг с другом и непосредственно соприкасаются, и даже если их точно знать и понимать в совокупности, они как бы образуют только один эксперимент, представляют только один опыт с самых различных точек зрения.

Такой опыт, который состоит из многих других, является, очевидно, опытом более высокого рода. Он представляет из себя формулу, посредством которой выражается бесчисленное количество единичных числовых примеров. Направлять свою работу на такие опыты более высокого рода я считаю наивысшей обязанностью естествоиспытателя, и на это указывает нам пример самых выдающихся людей, работавших в данной области.

Этой осмотрительности — сочетанию только ближайшего с ближайшим или, вернее, выведению ближайшего из ближайшего — нам надо научиться у математиков, и даже там, где мы не пользуемся счетом, мы всегда должны приступать к делу так, как будто бы мы обязаны дать отчет самому строгому геометру.

Ибо в сущности как раз математический метод благодаря своей осмотрительности и чистоте сразу обнаруживает каждый скачок в утверждении; и доказательства его являются только обстоятельным развитием того, что в сжатой форме уже целиком было налицо, во всех своих частях и во всей своей последовательности, во всем объеме и при всех условиях правильно и неопровержимо установлено. Поэтому его демонстрации всегда являются скорее изложениями, рекапитуляциями, чем аргументами. Делая здесь это различие, я позволю себе возвратиться к сказанному раньше.

Очевидна большая разница между математической демонстрацией, проводящей основные элементы через столько разных связей, 'и доказательством, которые мог бы вести с помощью аргументов умный оратор. Аргументы могут содержать совершенно изолированные отношения, и тем не менее благодаря остроумию и воображению они могут быть сведены к одному пункту, так что видимость законности или беззакония, истины или лжи возникнет весьма неожиданно. Точно так же можно подобрать отдельные опыты, говорящие в пользу какой-нибудь гипотезы или теории подобно аргументам, и построить более или менее ослепляющее доказательство.

Кто, наоборот, озабочен тем, чтобы 'оставаться честным перед самим собой и другими, тот будет самым тщательным образом разрабатывать отдельные эксперименты и, следовательно, стремиться выработать опыты высшего порядка. Они могут быть высказаны в коротких 'и ясных выражениях и сопоставлены друг с другом, и по мере их выработки они могут быть приведены в порядок и в такое соотношение, что поодиночке или вместе они будут стоять непоколебимо, не хуже, чем математические положения.

Элементы таких опытов более высокого рода, представляющие собой многочисленные отдельные эксперименты, могут затем быть исследованы и испытаны каждым человеком, и нетрудно будет определить, может ли все множество отдельных частей быть выражено одним общим положением. Ибо здесь нет места произволу.

При другом же методе, когда что-нибудь, что мы утверждаем, мы хотим доказать посредством изолированных экспериментов, использованных как аргументы, мы получаем искусственно натянутое суждение, если оно вообще не окажется сомнительным. Если же собран ряд опытов высшего рода, то пусть себе над ними упражняются как только могут рассудок, фантазия, остроумие,—это не повредит, это даже будет полезно. В той работе первого рода никакая тщательность, старательность, строгость, даже педантичность не будут излишни, ибо она делается для мира и для будущих поколений. Но эти материалы должны быть упорядочены и расположены •в ряды, а не сопоставлены гипотетическим образом, не использованы для создания системы. Тогда каждому предоставляется возможность соединять их на свой лад и составлять из них целое, являющееся более или менее удобным и приятным для человеческой манеры представления вообще. Таким способом будет различаться то, что надлежит различать, и собрание опытных данных будет чище и увеличено значительно скорее, чем если более поздние опыты • придется откладывать неиспользо-

ванными в сторону, как камни, привезенные после окончания постройки.

Мнение многих достойнейших мужей и их пример позволяют мне надеяться, что я нахожусь на верном пути, и мне хочется, чтобы этим объяснением остались бы довольны мои друзья, порой спрашивающие меня: чего я, собственно, хочу достигнуть моими оптическими работами? Мое намерение: собрать весь опыт в этой области, все эксперименты поставить своими руками и провести их через величайшее их многообразие, благодаря чему они легко могут быть снова воспроизведены и не исчезнут из кругозора многих людей. Затем выставить положения, в которых высказываются опыты более высокого порядка, и выждать, в какой мере также и они могут быть подведены под более общий принцип. А если между тем воображение и остроумие будут порой нетерпеливо забегать вперед, то сама манера работать укажет им то направление, куда они снова должны будут вернуться.

(И. В. Гете. Избранные сочинения по естествознанию, стр. 366—375)

Из романа

Годы учения Вильгельма Мейстера
1821

(1794-1796)

— К сожалению, вот уже второй раз я слышу слово «судьба» из уст молодого человека, находящегося как раз в том возрасте, когда обычно свои живые влечения выдают за волю высших существ.

— Вы, значит, не верите в судьбу? Не верите в силу, господствующую над нами и все для нас устраивающую к лучшему?

— Дело вовсе не в том, верю ли я, да и не место здесь излагать, как я пытаюсь представлять себе вещи, для всех нас непостижимые; вопрос лишь в том, какой образ мыслей для нас лучше. Наш мир соткан из необходимости и случайностей. Разум человека становится между тем и другим и умеет над ними торжествовать. Он признает необходимость основой своего бытия; случайности же он умеет отклонять, направлять и использовать. И человек заслуживает титула земного бога лишь тогда, когда разум его стоит крепко и .незыблемо. Горе тому, кто смолоду привыкает отыскивать в необходимости какой-то произвол, кто хотел бы приписать случаю какую-то разумность, и создает себе из этого даже религию. Не значит ли это отказаться от своего собственного разума и открыть безграничный простор своим влечениям? Мы воображаем себя благочестивыми, когда бродим в жизни без обдуманного плана, по воле приятных случайностей, и результату столь неустойчивой жизни даем название божественного руководства.

—- Неужели вы никогда не бывали в таком положении, что какое-нибудь мелочное обстоятельство заставляло нас избрать

тот или иной .путь, на котором вам приходила на помощь приятная случайность, и целый ряд непредвиденных событий приводил вас наконец к цели, которой вы даже не представляли себе отчетливо? И неужели это не внушало вам покорности судьбе и доверия к ее руководству?

— С такими взглядами ни одна девушка не могла бы уберечь своей добродетели, и ни один человек—своего кошелька; поводов потерять то и другое всегда найдется довольно. Меня радует лишь тот человек, который знает, что полезно ему и Другим, и .старается ограничивать свой произвол. У каждого под руками его счастье, как под руками художника грубый материал, из которого он создает свои образы. Но и с этим искусством дело обстоит, как с прочими: мы рождаемся только с дарованием к нему, а его надо изучать, надо прилежно упражняться в нем *.

...Величайшей заслугой человека остается, конечно, то, что он как можно больше определяет обстоятельства и как можно меньше дает им определять себя. Весь мир лежит перед нами, как огромная каменоломня перед архитектором, который заслуживает этого звания только тогда, когда из случайных глыб мертвой природы воссоздает прообраз, возникший в его душе, с величайшей экономией, целесообразностью и уверенностью. Все, что вне нас, и я сказал бы, что внутри нас, это лишь стихия, но глубоко в нас заложена та творческая сила, которая способна создавать то, что быть должно, и которая не дает нам отдыха и покоя, пока мы вне или внутри себя тем или иным образом ее не 'выявим. Вы, милая племянница, пожалуй, избрали благую часть, вы постарались согласовать свою нравственную натуру, свое глубоко любящее сердце с собой и с высшим существом; но и мы не можем себя упрекнуть за то, что стараемся познать во всем его объеме чувственного человека и деятельно придать ему единство.

...Я уважаю человека, который отчетливо сознает, чего он хочет, безостановочно идет вперед, знает средства, нужные для достижения его цели, умеет их отыскивать и .ими пользоваться. Лишь после этого меня интересует вопрос, в какой мере его цель велика или мала, и заслуживает ли похвалы или порицания. Поверьте мне, милая, большая часть бед и того, что в мире называют злом, происходит от того, что люди слишком беспечны, они ,не любят обдумывать как следует свои цели и, даже зная их, серьезно к ним стремиться. Они вроде людей, которые имеют понятие о том, что можно и должно построить башню,

И. В. Гете. Собрание сочинений в 13 томах. ГМХЛ, 1932—1949, т. VII, кн. 1, гл. 17, стр. 81—82. В дальнейшем при ссылках на данное издание будут указываться только том и страницы.

а для фундамента расходуют не больше камня и труда, чем сколько требуется для возведения хижины. Если бы вы, друг мой, поставившая высшей своей целью внутреннее устроение своей нравственной натуры, если бы вы вместо великих и смелых жертв приноравливались в кругу своей семьи к жениху или, быть может, к супругу, вы, в вечном противоречии с собою, никогда не знали бы минуты удовлетворения.

— Вы употребили,— прервала я его,— слово «жертва», и мне часто приходило в голову, что мы приносим в жертву высшей цели, как некоему божеству, все маловажное, хотя бы оно близко было нашему сердцу,— наподобие того, как человек охотно и радостно повел бы к жертвеннику любимую овечку для исцеления чтимого отца.

— Что бы ни повелевало нам,— возразил он,— рассудок ли, чувство ли, приносить в жертву одно другому, предпочитать одно другому, но, по-моему, в человеке наиболее достойны уважения решимость и последовательность. Нельзя иметь одновременно товар и деньги. И одинаково достоин сожаления как тот, кто ластится на товар, не имея решимости отдать деньги, так и тот, кто раскаивается в покупке, уже получив товар. Но я далек от того, чтобы осуждать за это людей. Ведь не они в сущности виноваты, а запутанное положение, в котором они находятся, и их плохое уменье собою управлять. Так вы, например, в среднем найдете в деревне меньше плохих хозяев, чем в городе, а в городке опять-таки меньше, чем в больших городах. Почему так? Человек рождается для органической сферы, ему понятны простые, близкие, определенные цели, и он привыкает пользоваться средствами, находящимися под руками, но как только он выбивается на широкое поприще, он уже не знает, ни чего он хочет, ни что должен делать, и решительно все равно, развлекает ли его разнообразие предметов или лишает самообладания их величие и достоинство. Для него всегда несчастье, когда он вынужден стремиться к чему-то такому, с чем его не связывает планомерная самодеятельность.

Поистине,— продолжал он,— без серьезного отношения ничто в мире не достижимо, и среди тех, кого мы называем образованными людьми, мы в сущности мало найдем серьезности; я сказал бы, что они берутся за работу и дела, за искусство и даже развлечения с каким-то чувством самосохранения; они живут, точно прочитывают пачку газет, лишь бы сбыть их с плеч, и мне всегда при этом вспоминается тот молодой англичанин в Риме, который вечером в компании с самодовольством рассказывал, что в этот день он сбыл с плеч шесть храмов и две галереи. Человек хочет разное узнать и изучить, и именно то, что меньше всего его касается, не замечая, что голода не утолишь, глотая воздух.

Знакомясь с человеком, я первым делом спрашиваю: чем он занимается? и как? и в какой последовательности? И ответ на этот вопрос определяет мой интерес к нему на 'всю жизнь.

(т. VII. кн. 6, стр. 405—407)

— Вы совершенно правы, и отсюда следует, что нехорошо человеку замыкаться в себя, занимаясь исключительно своим нравственным совершенствованием. Скорей мы видим, что человек, дух которого стремится к моральной культуре, имеет все причины развивать в себе и утонченность чувств, чтобы не подвергнуться опасности соскользнуть со своей моральной высоты и, поддавшись приманкам необузданной фантазии, не унизить своей благородной натуры пристрастием к безвкусным пустякам, если не к чему-либо худшему.

Гг. VII, кн. 6. стр. 409)

...Все, что приключается с нами, оставляет след, все незаметно способствует нашему развитию, но желание давать себе в этом отчет опасно. Либо мы начинаем чваниться и лениться, либо предаемся унынию и малодушию, а второе имеет столь же вредные последствия, как и первое. Всего надежнее — делать ближайшее дело, какое нам предстоит...

(т. VII, кн. 7, гл. 1. стр. 422)

...Говорилось о том, как несправедливы к нашему полу мужчины, желающие удержать за собою всю высшую культуру; нас не хотят допускать к науке, требуют, чтобы мы служили им только куклами для забавы или хозяйками. Лотарио мало говорил по этому поводу, но когда общество поредело, он открыто высказал свое мнение на этот счет.

— Не странно ли,— воскликнул он,— упрекать мужчину, когда он желает предоставить женщине самое высокое место, какое она может занимать по своим дарованиям! Что может быть выше управления домом? В то время как мужчина озабочен внешними отношениями, в то время как он вынужден создавать и обеспечивать состояние, в то время как он принимает даже участие в государственном управлении, он всецело зависит от обстоятельств и, воображая себя правителем, ничем, я бы сказал, не правит, всегда должен вести политику там, где хотел бы

действовать согласно своему разумению, вынужден быть скрытным, где ему хочется быть откровенным, фальшивым, где ему хочется быть честным; в то время как он ради цели, которой не достигает, ежеминутно должен отказываться от прекраснейшей цели,— от гармонии с самим собой,—разумная женщина деятельно царит в доме своем и целому семейству облегчает возможность всякой деятельности и всякого довольства. Не в том ли величайшее счастье человека, чтобы исполнять все то, что ему кажется справедливым и хорошим, чтобы быть господином средств, направленных к нашим целям? И где же должны, где могут лежать наши ближайшие цели, как не в пределах нашего дома? Где мы ожидаем, где требуем мы удовлетворения неизбежно и вечно повторяющимся потребностям, как не здесь, где мы встаем и ложимся, где погреб, кухня и всякого рода запасы всегда готовы к услугам нашим и наших близких? Сколько планомерной деятельности требуется, чтобы проводить в непрерывной живой последовательности этот вечно возвращающийся порядок! И сколь немногим мужчинам даровано, подобно небесному светилу, возвращаться через правильные промежутки, светить днем, как и ночью, обзаводиться домашними орудиями, сеять и пожинать, хранить и расходовать и проходить свой круг с неизменной любовью, спокойствием и целесообразностью! Захватив это внутреннее господство, женщина только тем самым и делает господином мужчину, которого любит, ее внимательность помогает ей набраться знаний, и деятельный ум ее умеет ими воспользоваться. Благодаря этому она ни от кого не зависит, и мужу своему создает истинную независимость, домашнюю, внутреннюю независимость; то, чем он обладает, он видит упроченным, то, что он добывает, расходуется мудро, и душа его может обратиться к высоким предметам, если же ему посчастливится, он может в государстве быть тем, чем так пристало быть в доме его жене.

(т. VII, кн. 7. гл. 6, стр. 452—453)

...Воспитание должно сообразоваться только с наклонностями. Какого он ныне мнения, я не могу сказать. Он утверждал: первое и последнее для человека — деятельность, и ничего нельзя делать, не имея к тому расположения, не имея инстинкта, влекущего нас к делу. Принято думать,— говорил он,— что поэты рождаются, то же принято думать обо всех искусствах, ибо это неизбежно и таким проявлениям человеческой природы едва ли можно подражать, но если хорошенько вдуматься, то всякая, даже ничтожная способность нам врождена, неопределенных спо-

собностей не существует. Только наше двусмысленное, рассеянное воспитание делает человека неуверенным в себе, оно возбуждает желания, вместо того, чтобы оживотворять влечения, и вместо того, чтобы развивать подлинные задатки, направляет наше стремление на предметы, столь часто не согласующиеся с нашей природой, которая стремится к ним. Ребенок, юноша, плутающий на своем собственном пути, мне милее людей, уверенно идущих по чужому пути. Если первые самостоятельно или под чьим-нибудь руководством найдут истинный, то есть согласный с их природою путь, они уже никогда не сойдут с него, вторые же ежеминутно находятся в опасности стряхнуть чужое иго и предаться необузданному своеволию...

Мне кажется — кто не помогает в 'нужную минуту, тот совсем не помогает, и кто не дает совета в нужную минуту, тот вовсе не дает его. Столь же необходимым мне представляется высказывать и внушать детям известные законы, которые давали бы жизни некоторую опору. Я готова даже утверждать, что лучше заблуждаться по правилам, чем заблуждаться по прихоти нашей природы, бросающей нас из стороны в сторону. Насколько я наблюдаю людей, в их природе всегда остается пробел, который можно заполнить только определенно выраженным законом.

(т. VII. кн. 8, гл. 3, стр. 520—521, 527)

...Большинство людей, даже лучшие из них — ограниченные создания: каждый ценит лишь известные качества в себе и других, только их он поощряет, только об их развитии заботится. Совсем иначе действует аббат: он все понимает, он жаждет все узнать, готов всему содействовать. Но тут я должен опять заглянуть в свиток!—продолжал Ярно.—Только все люди составляют человечество, и только все силы в своей совокупности — мир. Силы эти часто приходят между собой в столкновение, стремясь друг друга уничтожить, но природа сдерживает их и вновь воссоздает. От самого ничтожного, животного влечения к ремеслу до высших проявлений самого духовного искусства, от лепета и радостных криков младенца до законченного искусства оратора и певца, от первых мальчишеских драк до чудовищных средств обороны и завоевания стран, от поверхностной благожелательности и мимолетной любви до сильнейшей страсти и священнейшего союза, от простейшего ощущения чувственного бытия до самых тонких предчувствий и чаяний духовного существования в далеком будущем,—'все это и многое другое заложено в человеке и должно получить развитие, но только не в одном, а во многих. Каждый задаток важен и должен получить развитие.

Если один служит только красоте, а другой только пользе, то лишь оба вместе они составляют человека. Полезное содействует само себе, ибо его творит толпа, и без него никто не обходится, но прекрасное надлежит 'поощрять, ибо немногие его творят, ;а многие в нем 'нуждаются...

— Размышлять спокойно и разумно не вредно во всякую пору, и мы, привыкая думать о преимуществах других людей, незаметно ставим свои собственные преимущества на подобающее им место, и после этого уж нам нетрудно оставить всякую ложную деятельность, к которой нас манит фантазия.

(г. VII, кн. 8. гл. 5. стр. 552—553, 554)

Характеристика

(1797)

Всегда деятельное, обращенное внутрь и наружу поэтическое оформляющее влечение образует центр и базис его существования. Раз последний охвачен, разрешаются и все остальные кажущиеся противоречия. Так как это влечение проявляется без отдыха, оно должно, чтобы беспредметно не пожирать само себя, обращаться наружу; а так как оно не созерцательно, а только действенно, оно должно реагировать на внешний мир: отсюда многократные ложные устремления к изобразительному искусству, для которого у него нет органа, к деятельной жизни, для которой у него .не хватает гибкости, к 'наукам, для которых у него недостает выдержки. Но так как во всех трех он оформляет, так как везде он должен добиваться реальности материи и содержания, единства и соответствия формы, то даже эти ложные тенденции не остаются бесплодными и наружу и внутрь. В изобразительных искусствах он работает до тех пор, пока не усвоит себе понятие как предметов, так и методов, пока не • достигнет позиции, откуда он может в одно время и обозреть их, и убедиться в своей неспособности создавать их. Только таким путем его сочувственное созерцание становится чистым. В практических задачах он может быть полезен, если они нуждаются в некоторой последовательности; и в конце концов из этой деятельности вырастает, так или иначе, нечто непреходящее или, по крайней мере, попутно возникает нечто оформленное. При столкновении с препятствиями у него нет гибкости; он либо уступает, либо ожесточенно сопротивляется, удерживает позицию до конца или отказывается от нее, смотря по тому, что велит ему в данный момент его убеждение или его настроение. Он сочувственно

принимает все, что создается, порожденное потребностью, искусством и ремеслом; отвращение в нем вызывают лишь те случаи, когда люди поступают по инстинкту, а приписывают себе деятельность согласно целям. С тех пор, как он понял, .что в науках все сводится больше к развитию ума, который их разрабатывает, чем к самим предметам, он не только не отрекся от этой духовной деятельности, но еще больше упорядочил ее и пристрастился к ней; равным образом и двух других упомянутых тенденций, которые отчасти вошли у него в привычку, отчасти стали необходимы в силу обстоятельств, он не совсем устраняет, а следует им при случае, только с большей сознательностью и с заранее установленным ограничением; тем более, что все, умеренно развивающее одну духовную силу, идет на пользу также и всякой другой. Особый характер своего поэтического оформляющего влечения он предоставляет определять другим. К сожалению, его природа, как по содержанию, так и по форме, развилась в борьбе со многими помехами и затруднениями и научилась действовать с некоторою сознательностью лишь поздно, когда время высшей энергии уже миновало. Особенность, всегда характеризующая его и как художника и как человека, это — возбудимость и подвижность, которая тотчас воспринимает настроение от наличного в данную минуту предмета, и потому должна сразу устремляться либо от него, либо к нему. Так бывает с книгами, людьми и обществами: он не может читать, не настраиваясь книгой известным образом; а раз это произошло, то как бы ни было чуждо ему данное направление, он не может не пытаться деятельно реагировать ,на него и произвести нечто подобное.

(В. О. Лихтенштадт. Гете, стр. 438—439)

Опыт и наука"

(1798)

Феномены, которые обыденно мы называем также фактами, по своей природе несомненны и определенны, но поскольку они представляют собой лишь явления, то часто бывают неопределенными и колеблющимися. Естествоиспытатель стремится схватить и зафиксировать определенное в явлениях. В отдельных случаях он обращает внимание не только на то, как феномены проявляются, но и на то, как они должны бы проявляться. Как я часто мог заметить особенно в разрабатываемой мною области, существует 'много эмпирических дробей, которые нужно откинуть, чтобы получить чистый постоянный феномен. Но как только я позволил себе это, я уже предлагаю своего рода идеал.

Тем не менее имеется большая разница в том, разбивать ли в угоду какой-либо гипотезе, как это делают «теористы», целые числа на дроби, или жертвовать эмпирической дробью ради идеи чистого феномена.

Наблюдатель ведь никогда не видит чистого феномена воочию. Многое зависит от настроения его духа, от состояния .воспринимающего органа в данную минуту, от света, воздуха, погоды, окружающих тел, метода действия тысячи иных обстоятельств. Поэтому 'пришлось бы вычерпать море, если бы всецело придерживаться индивидуальности феномена, наблюдать ее, измерять, взвешивать и описывать.

В своем наблюдении и рассмотрении природы я оставался, особенно в последнее время, по возможности верен следующему методу.

До известной степени убедившись из опыта в постоянстве и последовательности феноменов, я извлекаю отсюда эмпириче-

ский закон и предписываю его будущим явлениям. Если закон и явления в дальнейшем вполне подходят друг к другу, то я считаю, что добился своего. Если я не вполне удовлетворен этим, то мое внимание привлекается к особым обстоятельствам отдельных случаев, и я вынужден искать новых условий, при которых я смогу яснее представить противоречащие эксперименты. Если же иной раз при одинаковых обстоятельствах обнаруживается случай, противоречащий моему закону, то я вижу, что мне нужно со всей моей работой двинуться вперед и искать более высокой точки зрения.

Таков, согласно моему опыту, тот пункт, где человеческий ум ближе всего может подойти к предметам в их всеобщности, поднять их до себя, как бы амальгамироваться с ними рациональным образом, что мы вообще и делаем в обыденной эмпирии.

Итак, вот что мы могли установить в нашей работе: 1. Эмпирический феномен, .который подмечает в природе каждый человек и который затем возвышается экспериментами до

2..Научного феномен а, когда его представляют при иных обстоятельствах и условиях и в более или менее удачной последовательности, чем он был известен вначале.

3. Чисты и феномен выступает в качестве результата всех данных опыта и экспериментов. Он никогда не может существовать изолированно и обнаруживается в постоянной последовательности явлений. Чтобы изобразить его, человеческий ум определяет все эмпирически колеблющееся, .исключает случайное, отделяет нечистое, развертывает спутанное, даже открывает незнакомое.

Если бы человек умел смиряться,, то здесь нужно бы признать последнюю цель наших усилий. Ибо здесь спрашивается не о причинах, а об условиях, при которых проявляются феномены. Здесь созерцается и принимается их строгая последовательность, их вечное возвращение при тысяче различных обстоятельств, их однообразие и изменчивость, признается их определенность и вновь определяется человеческим умом.

Эту работу, собственно, нельзя назвать умозрительной.* В конце концов, это те же, как мне думается, практические и сами себя исправляющие операции обыденного человеческого рассудка, который дерзает проявиться в более высокой сфере.

(В. О. Лихтенштадт. Гете, стр. 316—318)

Наблюдение и обобщение

(1798-1799)

Ошибки наблюдателей вытекают из свойств человеческого духа. Человек не может и не должен отрешаться и отрекаться от своих свойств. Но он может образовывать их и давать им направление. Человек хочет быть всегда деятельным. Одно явление, взятое само по себе, не представляется ему достаточно важным. Если оно прямо на него не действует, то он, хотя и остается наблюдателем, но быстро начинает трактовать это явление как меньшую посылку. Он поспешно подыскивает к ней большую посылку, чтобы возможно скорее сделать заключение. При этом он выигрывает в двух отношениях: он проявил деятельность и присвоил себе объект, поглотил его в свой мир или же отстранил побуждение слабого интереса. Наблюдатель должен обладать природными задатками и целенаправленным образованием. Наблюдатель должен предпочитать упорядочивание соединению и связыванию. Кто склонен добиваться (истинного порядка, тот, встретив что-либо неподходящее к его распорядку, лучше изменит все расположение, чем выпустит или заведомо ложно установит этот единичный факт. Кто склонен к связыванию, тот неохотно распустит свой синтез. Он предпочтет игнорирование чего-либо нового или попытается искусственно связать его со старым. Классификация более объективна. Синтез более субъективен. Мы любим не столько объект, сколько наше мнение о нем. Мы меньше носимся с ним и охотнее отказываемся от него. Первое из всех качеств — это наблюдательность, благодаря которой предмет становится достоверным. Превращение явления в эксперимент. Возможность включить благодаря этому

много явлений в одну рубрику. Порядок этих рубрик. Субъективное в этом порядке. Метод этого порядка. Особенно в области неорганических предметов. Отличие в трактовании определенных и особенно органических тел. Лучший порядок тот, благодаря которому явления становятся как бы одним великим явлением, части которого взаимно связаны. Терминология. Остальные теоретические приемы. Гипотезы. Основательность в -наблюдении. Изменчивость в способе представления.

(В. О. Лихтенштадт. Гете, стр. 31S—319)

Полярность' (1805)

При рассмотрении явлений природы возникают два требования: в совершенстве познакомиться с самими явлениями и путем раздумий овладеть ими. К совершенству ведет 'порядок, порядок требует метода, а метод облегчает представления. Если мы можем охватить взглядом объект во всех его деталях, правильно понять и мысленно его воспроизвести, то 'мы имеем право сказать, что рассматриваем его в собственном и в более высоком смысле, что он нам принадлежит, что мы приобретаем некое господство над ним. И так частное всегда ведет нас к общему, общее — к частному. Оба взаимодействуют при любом рассмотрении, при любом изложении.

Здесь следует предпослать некоторые общие положения. Двойственность явления как противоположность: Мы и предметы, Свет и тьма, Тело и душа, Две души, Дух и материя, Бог и мир, Мысль и протяженность,

Идеальное и реальное, Чувственность и рассудок, Фантазия и разум, Бытие и стремление, Две половины тела, Правое и левое.

Дыхание. Физический опыт: Магнит.

Наши предки любовались экономностью природы. Ее представляли себе разумной личностью, которая склонна с малым совершать многое, в то время как другие многим производят немногое. Мы больше восхищаемся ее — если выразиться по-человечески — искусством, с которым она умеет создавать разнообразие, хотя и ограничена немногими основными принципами.

К тому же она пользуется жизненным принципом — возможностью разнообразить простейшие начала явлений возвышением в бесконечное и в самое непохожее.

То, что появляется, должно разделяться для того лишь, чтобы являться. Разделившееся в свою очередь ищет соединения, и оно может вновь найти себя и соединиться; в более низком смысле, смешиваясь только со своим противопоставлением, оно сходится с ним, причем явление превращается в нуль или по меньшей мере становится равнозначным. Но объединение может также произойти и в более высоком смысле, когда разделившееся сперва усиливается и путем соединения усилившихся частей создает третье, новое, более высокое, неожиданное.

(W, II, 11, S. 164—166)

К учению о цвете

(1810)

Предисловие

Когда собираешься говорить о цветах, естественно возникает вопрос, не следует ли прежде всего упомянуть о свете; на это мы, однако, даем короткий и откровенный ответ: так как до сих пор о свете было высказано множество различных мнений, то представляется излишним повторять сказанное или распространяться о нем.

Ибо, собственно, все наши попытки выразить сущность какого-нибудь предмета остаются тщетными. Действия — вот что мы обнаруживаем, и полная история этих действий охватила бы, несомненно, сущность каждой вещи. Напрасно стараемся мы определить характер какого-нибудь человека; но сопоставьте его поступки, его дела, и вы получите представление о его характере.

Цвета — деяния света, деяния и страдания. В этом смысле мы можем ожидать от них раскрытия природы света. Цвета и свет стоят, правда, в самом точном взаимоотношении друг с другом, однако мы должны представлять их себе как свойственные всей природе, ибо посредством них вся она готова целиком открыться чувству зрения.

Точно так же раскрывается вся природа и другому чувству. Закройте глаза, освободите уши, напрягите слух, и от нежнейшего дуновения до самого дикого шума, от простейшего звука до высочайшей гармонии, от самого мощного страстного крика до самых кротких слов разума — все это речь природы, которая обнаруживает свое бытие, свою силу, свою жизнь и свои отношения, так что слепой, которому закрыт бесконечный видимый

мир, может в слышимом улавливать мир беспредельной жизни.

Так говорит природа, обращаясь и к другим чувствам, к знакомым, непризнанным, 'незнакомым чувствам; так говорит она сама с собой и с нами 'посредством тысячи явлений. Для внимательного она нигде не мертва, не нема; и даже 'косному земному телу она дала наперсника, металл, на мельчайших частях которого мы можем увидеть то, что совершается во всей массе.

Каким бы разноречивым, запутанным и непонятным нам .ни казался часто этот язык, 'все же элементы его остаются всегда одни и те же. Как бы тихо склоняя то одну, то другую чашу весов, колеблется природа туда и сюда, и так возникает некое здесь и там, верх и низ, прежде и 'после, чем обусловливаются все явления, встречающиеся нам в 'пространстве и во времени.

Эти общие движения и действия 'мы замечаем самым различным образом, то как простое отталкивание и притяжение, то как вспыхивающий 'и исчезающий свет, как движение воздуха, как сотрясение тела, как окисление и раскисление; однако всегда как соединение и разделение, вносящее движение в бытие, побуждающее что-либо к жизни.

Поскольку, однако, эти противоречивые явления казались неуравновешенными между собой, то старались и это отношение как-нибудь обозначить. Повсюду подмечали и называли нечто большее и меньшее, воздействие и сопротивление, активность и пассивность, наступательное и сдерживающее начало, страстное и умеряющее, мужское и женское; и так возникает язык "!, род символики, которой можно пользоваться, применяя в сходных случаях в качестве уподобления, близкого выражения, непосредственно подходящего слова.

Применить эти всеобщие обозначения, этот язык природы также и к учению о цвете, обогатить, расширить этот язык посредством учения о цвете, опираясь на многообразие изучаемых здесь явлений, и тем облегчить друзьям природы возможность общения на основе более высоких 'воззрений — в этом заключается главная задача настоящего сочинения.

Сама работа распадается 'на три части. Первая дает набросок учения о цвете. Бесчисленные частные явления подведены здесь под известные основные феномены, расположенные в определенном порядке, оправдать который предстоит введению. Однако здесь надлежит заметить, что хотя мы везде держались опыта, везде клали его в основу, тем не менее нельзя обойти молчанием то теоретическое воззрение, которое легло в основу вышеупомянутой расстановки и упорядочения явлений.

Ведь надо признать очень странным требование, которое

иногда выставляется, хотя его не исполняют даже те, кто его предъявляет: излагать данные опыта без 'всякой теоретической связи, предоставлял читателю, ученику самому составить себе убеждение по своему вкусу. Ибо только беглый "взгляд на предмет мало что дает. Всякое же смотрение переходит в рассматривание, всякое рассматривание—в размышление, всякое размышление — в 'связывание, и поэтому можно сказать, что при»» каждом внимательном 'взгляде, брошенном на мир, мы уже теоретизируем. Но надо научиться теоретизировать сознательно, учитывая свои особенности, свободно и, если воспользоваться смелым выражением,— с иронией; такое умение необходимо для того, чтобы абстрактность, которой мы опасаемся, оказалась бы безвредной, а результат опыта, .который мы ожидаем,— достаточно живым и полезным.

Во второй части мы занимаемся разоблачением Ньютоновой теории, которая до сих пор 'властно и влиятельно противостояла свободному воззрению на цветовые явления; мы оспариваем гипотезу, которая, хотя и признана уже непригодной, все еще по традиции пользуется уважением среди людей. Чтобы учение о цвете не отставало, как до сих пор, от многих других лучше разработанных частей естествознания, необходимо 'выяснить истинное значение этой гипотезы и убрать старые заблуждения...

Третья часть посвящена поэтому историческим исследованиям и подготовительным работам. Если выше мы сказали, что история человека раскрывает нам самого человека, то здесь, пожалуй, можно утверждать, что история науки 'есть сама наука. Нельзя ясно познать то, чем обладаешь, пока не сможешь познать то, чем владели до нас другие. Невозможно по-настоящему и чистосердечно радоваться преимуществам своей эпохи, не умея ценить преимуществ минувших времен.

Но написать историю учения о цвете или хотя бы подготовить материалы для нее .было невозможно, пока держалось учение Ньютона. Ибо никогда никакое аристократическое самомнение не смотрело с таким невыносимым высокомерием на всех, не принадлежащих к его гильдии, с каким школа Ньютона всегда отвергала все, что было создано до нее и рядом с ней. С досадой и недовольством приходится видеть, как Пристли в своей истории оптики 'и столь многие до и после него датируют начало расцвета мира цветов со времени мнимого расщепления света и в 'высокомерном самомнении взирают свысока на древних и более поздних исследователей, которые спокойно шли своим правильным путем и оставили нам отдельные наблюдения и мысли, которые и мы не смогли бы лучше произвести и правильнее сформулировать.

От того, кто хочет 'сообщить нам историю знаний в какой-либо области, мы вправе требовать, чтобы он изложил, как мало-помалу 'стали известны феномены, какие фантазии, заблуждения, мнения и мысли возникали по их поводу. Изложить все это связно представляет большую трудность, а написать историю какого-нибудь вопроса всегда является делом рискованным. Ибо при самых честных намерениях опасаешься оказаться нечестным; больше того, кто берется за такое предприятие, должен заранее объявить, что он кое-что 'выдвигает на свет, а кое-что оставляет в тени.

И тем не менее автор заранее радовался этой работе. Но так как обыкновенно только замысел 'предстоит как нечто целое духовному взору, выполнение же, обычно, удается лишь частично, то нам приходится примириться 'с тем, чтобы представить здесь вместо истории науки лишь материалы к «ей. Они состоят из переводов, извлечений, собственных и чужих суждений, указаний и намеков, и этому труду, хотя и не отвечающему всем требованиям, все же нельзя отказать в том, что он делался серьезно и любовно. Впрочем, для мыслящего читателя такие материалы, хотя и не вовсе необработанные, но зато и не переработанные, окажутся, быть может, тем приятнее, что он сможет по-своему построить из них нечто целое.

Однако упомянутой третьей, исторической частью весь труд еще не заканчивается. Предполагается еще добавочная четвертая часть. Она будет содержать поправки «о всему сочинению. Преимущественно ради этого параграфы текста и были снабжены номерами. При составлении такой книги, как эта, всегда о чем-то забывают, кое-что устраняют, чтобы не отвлекать внимание, иное выясняется только под конец работы, а кое-что требует уточнения и исправления; поэтому неизбежны прибавления, дополнения и улучшения. Мы воспользуемся этой возможностью и для пополнения цитат. Кроме того, в этот том войдут еще несколько мелких статей, например об атмосферических красках, о 'которых в книге говорится в разных местах; теперь же все будет собрано и предстанет перед воображением читателя как целое.

Если только что указанная статья ведет читателя в мир вольной природы, то другая, содержащая обстоятельное описание аппарата, который в дальнейшем понадобится учению о цвете, имеет целью усовершенствование познания с помощью искусственно вызванных явлений.

В заключение нам остается еще упомянуть о таблицах, приложенных к настоящему сочинению. И здесь, конечно, мы вынуждены вспомнить о той неполноте и несовершенстве, которыми страдает как наш труд, так и все сочинения этого 'рода.

Ибо, если хорошая театральная пьеса, собственно, едва лишь наполовину может быть изложена на бумаге, большая же часть ее отдана во власть блеска сцены, личности актера, силы его голоса, своеобразия его движений, даже духа 'и настроения публики, то еще в большей мере это относится к книге, трактующей о природных явлениях. Чтобы ею насладиться, чтобы извлечь пользу из нее, читатель должен иметь перед собой природу в действительности или в своем живом воображении. Ибо пишущий, в сущности, должен был бы своим слушателям прежде всего вместо текста дать наглядные феномены, частью как они естественно встречаются нам, частью же как они могут быть вызваны с определенной целью и по желанию с помощью специальных приспособлений; только после этого- всякое комментирование, объяснение и толкование может иметь свое живое воздействие.

Весьма несовершенным суррогатом служат для этого таблицы, обыкновенно прилагаемые 'к сочинениям такого рода. Свободное физическое явление, действующее во 'все стороны, невозможно вместить в линии и изобразить в разрезе на плоскости. Никому не приходит в голову иллюстрировать химические опыты рисунками; при описании же родственных им физических опытов к этому принято прибегать, ибо кое-что таким путем достигается. Но очень часто подобные рисунки представляют только понятия; это символические вспомогательные средства, иероглифический способ выражения, который мало-помалу начинает подменять подлинное явление, становится на место природы и мешает настоящему познанию, вместо того, чтобы помогать ему. Совсем обойтись без таблиц мы тоже не могли; но мы стремились так сделать их, чтобы ими можно было спокойно пользоваться для дидактических и полемических целей, а некоторые из них рассматривать даже как часть необходимого аппарата.

И вот нам остается только отослать читателя к самой работе, но перед этим хочется повторить еще одну просьбу, к которой тщетно прибегал уже не один автор и которую особенно редко выполняет немецкий читатель нового времени: Si quid novisti rectius istis Candidus imperti; si non, his utere mecum *.

.

Очерк учения о цвете

Si vera nostra sunt aut falsa, eruni talia, licet nostra per vitam defendimus. Post fata nostra pucri qui nunc lu.a.unt nostri judices erunt *.

Радость знания впервые пробуждается у человека благодаря тому, что он обнаруживает значительные явления, привлекающие его внимание. Чтобы оно сохранилось, необходим более глубокий интерес, благодаря которому мы постепенно все больше узнаем предметы. Тогда лишь замечаем мы огромное многообразие явлений, толпой встающих перед нами. Мы вынуждены разделять, различать и .снова соединять; благодаря этому возникает наконец известный порядок, позволяющий нам более или менее удовлетворительно обозревать целое.

Чтобы осуществить это в любой области хотя бы в какой-нибудь степени, необходима длительная усидчивая работа. Вот почему мы видим, что люди предпочитают отстранить феномены с помощью какого-нибудь общего теоретического воззрения, какого-нибудь способа объяснения, вместо того чтобы дать себе труд изучить единичное и построить нечто целое.

Попытка собрать и сопоставить цветовые явления делалась только дважды, первый раз Феофрастом, вторично — Бойлем. Настоящей попытке не откажут в третьем месте.

Подробности расскажет нам история. Здесь же мы только заметим, что в истекшем столетии о таком сопоставлении нельзя было и думать, так как Ньютон в основу своей гипотезы положил сложный и производный эксперимент, к которому искусственно сводили все прочие стекающиеся явления, боязливо расставляя их вокруг, если их не удавалось замолчать и устранить; так, примерно, поступил бы астроном, которому пришла бы в голову затея поместить Луну в центр нашей системы. Ему пришлось

бы заставить Землю и Солнце со всеми прочими планетами двигаться вокруг второстепенного тела и путем искусственных вычислений и представлений закрывать и украшать ошибочность своего первого допущения.

Пойдем теперь дальше, не забывая сказанного в предисловии. Там мы приняли свет как ранее известное, здесь мы так же поступаем с глазом. Мы сказали: вся природа открывается чувству зрения 'посредством цвета. Теперь мы утверждаем, хотя это и может звучать несколько странно, что глаз не видит формы, а только свет, темнота и цвет вместе являются тем, чем отличается для глаза предмет от предмета и части предмета друг от друга. Так, из этих трех строим мы видимый мир и вместе с тем делаем возможной живопись, которая способна вызвать на полотне видимый мир, гораздо более совершенный, чем им бывает действительный.

Глаз обязан своим существованием свету. Из безразличных вспомогательных органов животного свет вызывает к жизни орган, который должен стать ему подобным; так, глаз образуется на свету для света, дабы внутренний свет выступил навстречу внешнему.

При этом мы вспоминаем древнюю ионийскую школу, которая так многозначительно всегда повторяла: только подобным познается подобное; а также слова одного древнего мистика, которые мы передаем в немецких рифмах следующим образом: War" nicht das Auge sonnenhaft, Wie konnten wir das Licht erblicken? Lebt" nicht in uns des Gottes eigne Kraft, Wie konnt' uns Gottliches entzucken? *

Это непосредственное родство света и глаза никто не будет отрицать; но мыслить их оба как одно и то же уже труднее. Однако будет понятнее, если считать, что в глазу пребывает покоящийся свет, который возбуждается при малейшем поводе изнутри или снаружи. Силой воображения мы можем вызывать в темноте самые яркие образы. Во сне предметы являются нам в полном дневном освещении. Наяву мы замечаем малейшее внешнее воздействие света; и даже при механическом толчке в этом органе возникают свет и цвета.

Но, быть может, те, кто привык придерживаться известного порядка, заметят здесь, что мы ведь до сих пор еще не сказали ясно, что же такое самый цвет? От этого вопроса нам хотелось бы вновь уклониться и сослаться на наше изложение, где мы обстоятельно показали, как цвет является нам. Здесь нам ничего не остается, как повторить: цвет есть закономерная природа в

отношении к чувству зрения. И здесь мы должны допустить, что у человека есть это чувство, что он знает воздействие природы на это чувство: со слепым нечего говорить о цветах.

Но чтобы не показалось, что мы уж очень трусливо уклоняемся от объяснения, мы следующим описательным образом изложим сказанное: цвет есть элементарное явление природы, которое раскрывается чувству зрения, обнаруживается, подобно всем прочим, в разделении и противоположении, смешении и соединении, передаче и распределении, и т. д. ив этих общих формулах природы лучше всего может быть созерцаемо и понято.

Этот способ представлять себе предмет мы никому не можем навязать. Кто найдет его удобным, каким он является для нас, охотно примет его. Так же мало у нас желания отстаивать его в будущем путем борьбы и спора. Ведь с давних пор было даже настолько небезопасно говорить о цвете, что один из наших предшественников решился между прочим заметить: когда быку показывают красный платок, он приходит в ярость; философ же начинает бесноваться, как только заговоришь с ним о цвете вообще.

Если же теперь мы в конце концов должны дать некоторый отчет о трактате, за который взялись, то прежде всего мы должны указать, как мы различаем те разнообразные условия, при которых обнаруживается цвет. Мы нашли три рода условий появления цвета, или, если угодно, три аспекта, различия которых можно выразить словами.

Итак, мы прежде всего рассматриваем цвета, поскольку они принадлежат глазу и основаны на его действии и противодействии; далее они привлекли наше внимание тем, что мы обнаружили их в бесцветных средах или с помощью них; наконец, они заинтересовали нас тем, что мы могли рассматривать их как свойственные самим предметам. Первые мы назвали физиологическими цветами, вторые—физическими, третьи— химическими. Первые неуловимо мимолетны, вторые преходящи, но все же временно наблюдаемы, последние длительно сохраняются.

Разделив и разграничив цвета в таком естественном порядке ради дидактических целей, мы вместе с тем достигли того, что представили их в 'виде .непрерывного ряда, соединяя мимолетные цвета с временными, а последние с постоянными, и тщательно проводимое сначала разграничение сняли в целях более высокого созерцания.

Далее, в четвертом отделе нашей работы, мы в общем высказали то, что до того отмечалось относительно цветов в связи с различными особыми условиями; этим нами набросан абрис будущего учения о цвете. Здесь, забегая вперед, мы лишь скажем,

что для возникновения цвета необходимы свет и мрак, светлое и темное, или, пользуясь более общей формулой, свет и не свет. Непосредственно близ света возникает цвет, который мы называем желтым, ближайший к темноте — другой, который мы обозначаем сини м. Эти два цвета, если их взять в самом чистом виде и смешать между собою так, чтобы они оказались в полном равновесии, образуют третий цвет, который мы называем зеленым. Но и каждый из первых двух цветов в отдельности может вызвать новое явление тем, что он сгущается или затемняется. Он приобретает тогда красноватый оттенок, который может достичь такой высокой степени, что в нем едва уже можно признать первоначально синий или желтый цвет. Однако самый яркий и чистый красный цвет можно получить преимущественно в группе физических цветов тем, что оба конца желто-красного и сине-красного соединяются. Вот это — живое воззрение на явление и возникновение цветов. Но можно также наравне со специфическим готовым синим и желтым цветом принять готовый красный и получить регрессивно путем смешения то, чего мы достигли прогрессивно посредством интенсификации. С этими тремя или шестью цветами, которые удобно располагаются в виде круга, единственно и имеет дело элементарное учение о цвете. Все остальные, до бесконечности меняющиеся оттенки относятся уже скорее к прикладной области, относятся к технике художника, маляра и вообще к жизни.

Можно высказать еще одно общее свойство: все цвета надо непременно рассматривать как полусвет, полутень, и поэтому они, смешавшись, взаимно погашают свои специфические особенности и получается что-то теневое, серое.

В пятом отделе должны быть представлены те соседские отношения, в которых наше учение о цвете желало бы находиться с остальными областями знания и деятельности.

Этот отдел очень важен, и, может быть, как раз потому он не вполне удался. Но если учесть, что настоящие соседские отношения могут быть описаны не раньше, чем они создадутся, то этим как-то можно утешиться при неудаче первого опыта. Ведь надо же сначала выждать, как те, которым мы хотели служить, которым мы полагали предложить нечто приятное и полезное, воспримут наш посильный труд, усвоят ли они его, используют и разовьют ли дальше, или же они его отвергнут, изгонят и предоставят самому себе. Тем временем, однако, мы можем сказать, что мы думаем и на что надеемся.

Мы верим, что со стороны философа мы заслужили благодарность за попытку проследить явления до их первоисточника, до того момента, где они просто являются и существуют и где они не поддаются больше никакому объяснению. Далее, ему

должно нравиться, что мы расположили явления в легко обозримом порядке, даже если он не вполне одобряет этот порядок.

В особенности надеемся мы расположить к себе врача, преимущественно того, призвание которого — наблюдать и поддерживать орган зрения, устранять его недостатки и лечить его недуги. В отделе о физиологических цветах, в добавлении, где говорится о патологических цветах, он окажется вполне в своей области. И мы, несомненно, увидим, как усилиями медиков, которые в наше время с успехом трудятся в этой области, этот первый, заброшенный и, можно сказать, важнейший отдел учения о цвете будет детально разработан.

Любезнее всех должен был бы принять нас физик, так как мы создаем для него возможность .излагать учение о цвете в ряду всех остальных элементарных явлений, пользуясь при этом единообразным языком, даже почти теми же словами и знаками, как и в других разделах. Правда, мы доставляем ему как учителю некоторые лишние хлопоты, ибо в будущем нельзя уже будет в главе о цвете отделаться, как принято до сих пор, лишь немногими параграфами и опытами; и ученик не так легко удовлетворит свой аппетит, как это было раньше. Зато позже обнаружится другое преимущество. Ибо если ньютоновское учение легко усваивалось, то при применении его обнаруживались непреодолимые трудности. Наше учение, быть может, труднее схватить, но понявший его сделал все, так как в самом учении уже заключается его применение.

Химик, который обращает внимание на цвета как критерии, обнаруживающие более скрытые свойства тел, до сих пор встречал немало затруднений при назывании и обозначении цветов; при более же детальном и тонком исследовании появилось даже намерение смотреть на цвет как на ненадежный и обманчивый признак при химических операциях. Однако мы надеемся нашим изложением предмета и предложенной номенклатурой восстановить репутацию цвета и пробудить убеждение, что нечто становящееся, растущее, подвижное, способное к превращению не обманчиво, а наоборот, в состоянии обнаружить самые тонкие проявления природы.

Озираясь, однако, шире, мы начинаем опасаться, что не понравимся математику. По странному стечению обстоятельств учение о цвете оказалось вовлеченным в царство математика, представлено его суду, тогда как оно туда не относится. Это произошло вследствие родства учения о цвете с прочими законами зрения, разрабатывать которые, собственно, и был призван математик. Это произошло, далее, еще потому, что великий математик взялся за обработку учения о цвете, и так как он ошибся как физик, он напряг всю силу своего таланта, чтобы укрепить это

заблуждение. Как только будет понято то и другое, всякое недоразумение будет вскоре после этого снято, и математик охотно станет помогать в обработке, особенно физического отдела, учения о цвете.

Технику, красильщику, наоборот, наша работа должна быть особенно желанной. Ибо как раз те, кто размышлял о явлениях окраски, менее всего были удовлетворены доселе существующей теорией. Они первые заметили недостаточность учения Ньютона. Ибо очень велика разница в том, с какой стороны приближаться к какой-нибудь отрасли знания, к какой-нибудь науке, через какие ворота вступить в нее. Настоящий практик, фабрикант, который ежедневно сталкивается с явлениями действительности, который испытывает пользу или вред от применения своих убеждений, для которого потеря времени и денег не безразлична, который хочет идти вперед, достигнуть сделанного другими, перегнать их,—такой человек гораздо скорее почувствует пустоту, ложность какой-нибудь теории, чем ученый, для которого традиционные слова сходят за чистую монету, чем математик, для которого формула остается правильной и тогда, когда материал, к которому она применяется, вовсе к ней не подходит. А так как и мы подошли к учению о цвете со стороны живописи, со стороны эстетической окраски поверхности, то больше всего мы сделали для живописца тем, что в шестом отделе старались выяснить чувственное и нравственное влияние цвета и приблизить его таким образом к художественной практике. Если здесь, как и в ином, многое осталось только в виде наброска, то ведь все теоретическое должно, в сущности, только наметить те основные черты, в соответствии с которыми затем уже, стремясь к закономерному созиданию, проявится живое дело.

(И. В. Гете. Избранные сочинения по естествознанию, стр. 268—274)

Отношения к смежным областям

Отношение к философии

От физика нельзя требовать, чтобы он был философом; но можно ожидать от него философского образования, достаточного для того, чтобы основательно отличать себя от мира и снова соединяться с ним в высшем смысле. Он должен образовать себе метод, согласный с наглядным представлением; он должен остерегаться превращать наглядное представление в понятия, понятие в слова и обходиться с этими словами так, словно это предметы; он должен быть знаком с работой философа, чтобы доводить феномены вплоть до философской области.

От философа нельзя требовать, чтобы он был физиком, и тем не менее его воздействие на область физики и необходимо, и желательно. Для этого ему не нужны частности, нужно лишь понимание тех конечных пунктов, где эти частности сходятся.

Худшее, что только может постигнуть физику, как и некоторые иные науки, получается тогда, когда производное считают за первоначальное, и так как второе не могут вывести из первого, то пытаются объяснить его первым. Благодаря этому возникает бесконечная путаница, суесловие и постоянные усилия искать и находить лазейки, как только покажется где-нибудь истина, грозя приобрести власть.

Между тем как наблюдатель, естествоиспытатель бьется, таким образом, с явлениями, которые всегда противоречат мнению, философ может оперировать в своей сфере и с ложным результатом, так как нет столь ложного результата, чтобы его нельзя было, как форму без всякого содержания, так или иначе пустить в ход.

Но если физик в состоянии дойти до познания того, что мы назвали первичным феноменом,— он обеспечен, а с ним и философ. Физик—так как он убеждается, что достиг границы своей науки, что он находится на той эмпирической высоте, откуда он, оглядываясь назад, может обозревать опыт на всех его ступенях, а оборачиваясь вперед, если не вступать, то заглядывать в царство теории. Философ обеспечен потому, что из рук физика он принимает то последнее, что у него становится первым. Теперь он имеет право не заботиться о явлении, если понимать под последним все производное, как его можно найти в научно сопоставленном материале, или как оно в рассеянном и спутанном виде предстает перед нашими чувствами в эмпирических случаях. Если же он хочет пробежать и этот путь ,и не отказывается кинуть взгляд на единичное, он сделает это с удобством, тогда как при иной обработке он либо чересчур долго задерживается в Промежуточных областях, либо слишком долго заглядывает туда, не получая о них точного знания.

Сделать близким в этом смысле философу учение о цветах было желанием автора, и если при изложении это по многим причинам не удалось осуществить, то при пересмотре работы... он еще вернется к этому вопросу.

(В. О. Лихтенштадт. Гете, стр. 2/5—216)

Отношение к математике

От физика, который хочет заниматься естествознанием во всем его объеме, можно требовать, чтобы он был математиком. В средние века математика была замечательнейшим из аппаратов, с помощью которого надеялись овладеть тайнами природы; и теперь еще, как и следует, в определенных разделах естествознания математика является господствующей.

С этой стороны автор не может похвалиться никакой культурой и поэтому пребывает лишь в независимых от математики областях, которые повсюду были открыты в новейшее время.

Кто станет отрицать, что математика, 'как один из прекраснейших человеческих аппаратов, во многом была полезна физике? Однако,— и этого, пожалуй, нельзя отрицать,— она нанесла неверным использованием метода изложения этой науке вред, с чем поневоле то тут, то там начинают соглашаться.

Особенно пострадало учение о цвете, развитие которого крайне затруднялось тем, что его путали с прочей оптикой; последняя не может обойтись без математики, в то время как учение о цвете, по сути дела, может рассматриваться обособленно.

К .несчастью один крупный математик составил себе ложное представление о физическом происхождении цвета и в силу своих выдающихся заслуг математика надолго санкционировал перед миром, постоянно объятым предрассудками, ошибки, допущенные им как естествоиспытателем.

Автор этих строк пытался удержать учение о цвете вдали от математики, хотя определенные моменты довольно ясно указывали, где была бы желательна ее помощь. Если бы свободных от предрассудков математиков, с которыми он имел счастье общаться раньше и теперь, ничто не отвлекало от занятий общим с ним делом, то рассмотрение с этой стороны только выиграло бы. Но и этот недостаток может превратиться в преимущество, если остроумный математик станет допытываться, где же учению о цвете нужна его помощь и каким образом он сможет внести свой вклад в завершение этого раздела естествознания.

Вообще можно было бы пожелать, чтобы немцы, которые сделали так много хорошего и в свою очередь усвоили лучшее чужих наций, привыкали мало-помалу работать в обществе. Мы, правда, живем в эпоху, прямо противоположную этому пожеланию. Каждый хочет если не быть оригинальным, независимым от усилий других в своих взглядах, а также в ходе своей жизни и деятельности, то хотя бы убедить себя в этом. Очень часто можно наблюдать, что люди, которые достигли, правда, многого, цитируют только самих себя, свои собственные сочинения, журналы и учебники, вместо того чтобы быть призванными к совместной работе, что было бы полезней как для отдельных людей, так и для всего света. Поведение наших соседей французов в этом отношении является образцовым, как это, например, с удовольствием можно усмотреть в предисловии Кювье к его «Элементарной таблице естественной истории животного 'мира».

Тот, кто пристально наблюдал за науками и их развитием, спросит, выгодно ли объединять некоторые, хоть и родственные, занятия и усилия в одном лице и не целесообразнее ли при ограниченности человеческой натуры отличать людей ищущих и находящих от людей трактующих и использующих. Отделились

же в некоторой степени за последнее время астрономы, наблюдающие небо и отыскивающие звезды, от тех, кто рассчитывает орбиты, охватывает и оценивает целое. История учения о цвете еще не раз вернет нас к этим соображениям.

(IV., II. 1, S. 28S—291)

Отношение к общей физике

...Верные наблюдатели природы, как бы разно они вообще ни мыслили, безусловно сойдутся в том, что все являющееся нам, представляющееся в виде феноменов, должно обнаруживать либо первоначальное раздвоение, способное к соединению, либо первоначальное единство, которое может стать раздвоением, и что с помощью этих понятий можно все изобразить. Разъединять соединенное, соединять разъединенное — в этом смысл жизни природы; это вечная систола и диастола, сжимание и расширение, вдыхание и выдыхание мира, в котором протекает наша жизнь, деятельность и бытие.

Что выраженное нами здесь в виде числа, в виде единого и раздвоенного, есть на деле нечто более высокое, это само собою разумеется, равным образом и то, что появление третьего, четвертого, развивающегося далее, нужно брать всегда в высшем смысле, но прежде всего полагать в основу всех этих выражений подлинное наглядное представление.

Железо мы знаем как особое, отличное от всех остальных, тело; но тело это индифферентно и только для нас оно замечательно во многих отношениях и для практических целей. Как мало, однако, нужно для того, чтобы индифферентность эта исчезла! Происходит раздвоение, которое, стремясь в поисках самого себя снова соединиться, приобретает как бы магическое отношение 'к себе подобным, распространяет это раздвоение, являющееся уже новым соединением, на .весь свой род. Мы знаем железо, как такое индифферентное существо. Мы видим, как возникает в нем раздвоение, как оно распространяется и исчезает и легко снова возбуждается. Здесь наблюдается, по нашему мнению, первичный феномен, который граничит непосредственно с идеей и выше которого нет ничего земного.

С электричеством дело обстоит тоже довольно своеобразно. Индифферентного электричества мы не знаем. Это для нас ничто, ноль, точка безразличия, лежащая, однако, во всех являющихся нам существах и представляющая собою в то же время источник, из которого при малейшем поводе возникает двоякое явление. Однако является оно нам лишь постольку, поскольку оно исче-

зает. Условия, при которых оно проявляется, сообразно со свойствами разных тел бесконечно различны. Всевозможные случаи, начиная от самого грубого механического трения весьма различных тел и кончая самым беззвучным соседством двух совершенно одинаковых тел, детерминация которых отличается меньше, чем на волосок, способны пробудить это явление в такой резкой, могучей, определенной и специфической форме, что мы легко и естественно можем применять к нему формулы полярности, плюса и минуса, севера и юга, стекла и смолы.

Это явление, хотя и протекающее больше на поверхности тел, отнюдь не поверхностно. Оно действует на определение телесных свойств и примыкает в непосредственном воздействии к тому великому двоякому явлению, которое господствует в химии: к окислению и раскислению.

Целью наших усилий было включить в этот ряд, в этот круг, в этот венок явлений также и явления цвета. Что нам не удалось, сделают другие. Мы нашли огромную изначальную противоположность света и тьмы, которую общее можно выразить словами свет и несвет. Мы пытались связать оба конца и построить таким образом видимый мир из света, тени и цвета, причем для раскрытия явлений мы пользовались различными формулами, которые предлагают нам учения о магнетизме, электричестве, химии. Но мы должны были пойти и дальше, так как мы находились в более высокой области. Нам предстояло выразить более многообразные отношения.

Если электричество и гальванизм своей всеобщностью и отделяются от специфического характера магнитных явлений, возвышаясь ,над ними, то цвет, хотя и подчиненный тем же законам, поднимается, можно сказать, гораздо выше и, действуя на благородное чувство зрения, раскрывает свою природу с выгодной для себя стороны. Стоит только сравнить то разнообразие, которое возникает из интенсификации желтого и синего до красного, из слияния этих обоих высших концов в пурпур, из смешения обоих низших концов в зеленый цвет. Насколько разнообразнее вытекающая отсюда схема, чем та, с помощью которой можно понять магнетизм и электричество! Да и вообще эти последние явления стоят на более низкой ступени, так что, проникая и оживляя весь мир до человека, они все же не могут подняться в более высоком смысле, чтобы он мог эстетически использовать их. Чтобы служить высшим целям, всеобщая простая физическая схема должна еще быть сама в себе поднята и усложнена...

(В. О. Лихтенштадт. Гете, стр. 217—219)

Заключительное замечание относительно языка и терминологии

Никогда в достаточной мере не вдумываются в то, что язык в сущности только символичен, только образен и никогда не выражает предметы непосредственно, а только в отражении (im Wiederschein). Это особенно относится к тем случаям, когда речь идет о таких сущностях, которые только приближаются к опыту и которые можно скорее назвать деятельностями, чем вещами, каковые в царстве природы находятся постоянно в движении. Их нельзя удержать, и тем не менее о них надо говорить; поэтому разыскивают всякого рода формулы, чтобы хоть с помощью уподобления до них добраться.

Метафизические формулы обладают большой шириной и глубиной, но чтобы их достойным образом наполнить, требуется богатое содержание, иначе они остаются пустыми. Математические формулы можно во многих случаях применять очень удобно и удачно; но в них всегда остается что-то негибкое и неповоротливое, и мы вскоре чувствуем их недостаточность, потому что даже в элементарных случаях очень рано замечаем нечто несоизмеримое; кроме того, они понятны только определенному кругу особо к тому подготовленных людей. Механические формулы больше говорят обыденному уму, но зато они сами вульгарнее, и в них всегда есть что-то грубое. Они превращают живое в мертвое; они убивают внутреннюю жизнь, чтобы недостаточную привнести извне. Корпускулярные формулы им близко родственны; подвижное благодаря им становится косным, представление и выражение—аляповатым. Моральные же формулы, которые, правда, выражают более тонкие отношения, кажутся лишь просто сравнениями и в конце концов теряются в игре остроумия.

Однако если бы можно было сознательно пользоваться всеми этими видами представления и выражения и многообразным языком передавать свои воззрения на явления природы, если бы быть свободным от односторонности и схватывать живой смысл в живом выражении, то удалось бы сообщить немало хорошего.

И все же как трудно не ставить знак на место вещи, все время иметь перед собой живую сущность и не убивать ее словами. Притом в новые времена нам грозит еще большая опасность тем, что мы позаимствовали выражения и термины из всех 'познаваемых областей для того, чтобы выражать наши воззрения на простые природные явления. На помощь призываются астрономия, космология, геология, естествознание, даже религия и мистика; и как часто общее через частное, элементарное через

производное скорее закрывается и затемняется, вместо того чтобы выявляться и познаваться. Мы достаточно хорошо знаем потребность, ради которой такой язык возник и распространился; мы знаем также, что он в известном смысле становится необходимым: однако лишь умеренное, непритязательное употребление его, с уверенностью и сознанием, может принести пользу.

Но желательнее всего было бы, однако, чтобы язык, которым хотят обозначать частности определенного круга явлений, брали бы из этого же круга, простейшее явление употребляли бы как основную формулу и отсюда бы выводили и развивали более сложные.

Необходимость и удобство такого языка знаков, где основной знак выражает само явление, довольно хорошо почувствовали, перенося формулу полярности, заимствованную у магнита, на электричество и т. д. Плюс и минус, которые могут быть поставлены на место полярности, нашли удачное применение для столь многих феноменов; даже музыкант, вероятно никогда не думавший о других областях, побуждаемый природой, выразил основное различие тональностей словами majeur и mineur.

Мы тоже уже давно желали ввести понятие полярности в учение о цвете: с каким правом и в каком смысле—путь покажет .настоящий труд. Быть может в будущем мы найдем возможность посредством такой трактовки и символики, которая всегда должна бы была нести с собой и созерцание предмета, соединить между 'собой элементарные природные явления и этим сделать яснее то, что здесь было высказано лишь в общих чертах и, быть может, недостаточно определенно.

(В. О. Лихтенштадт. Гете, стр. 219)

Из ((Материалов для истории учения о цветах))

(1810)

Замечания относительно учения о цветах и методах древних

Мнение человека по данному вопросу можно правильно понять лишь тогда, когда знаешь его образ мыслей. Это относится и к тому случаю, когда мы хотим проникнуть в сущность идей о научных предметах, будут ли то идеи отдельных людей или целых школ и эпох. Вот почему история наук тесно связана с историей философии и точно так же с историей жизни и характеров как индивидов, так и народов...

Греки, перешедшие к своим размышлениям о природе от поэзии, сохранили еще при этом поэтические свойства. Они практично и с живым чувством смотрели на вещи и ощущали потребность так же живо выражать действительность. Когда же они пытаются затем избавиться от нее с помощью рефлексии, они, желая обработать явления для рассудка, попадают, как и всякий человек, в затруднительное положение. Чувственное объясняется чувственным, то же самое тем же самым. Они заключены в своего рода круге, в котором все время гоняют перед собою необъяснимое.

Отношение сходства — первое вспомогательное средство, за которое они хватаются. Оно удобно и полезно, так как таким путем возникают символы, и наблюдатель находит нейтральное место вне предмета. Но оно в то же время и вредно, так как вещи, которые хочешь схватить, сейчас же ускользают и все разделенное снова сливается вместе.

Эти усилия скоро показали необходимость выразить, что происходит в субъекте, какое состояние возникает в созерцающем

и наблюдающем человеке. Вслед за этим возникло влечение мысленно связывать внешнее с внутренним, что делалось подчас таким способом, который должен 'казаться нам странным, темным и непонятным. Но справедливость не позволяет ставить им это в укор, так как приходится признаться, что и с нами, их поздними потомками, бывает часто не лучше.

Из того, что дошло до нас от пифагорейцев, мало чему можно научиться. Если цвет и поверхность они обозначают одним словом, то это указывает на хорошее в чувственном отношении, но и вульгарное восприятие, закрывающее для нас более глубокое понимание способности краски проникать вглубь. Если они не называют синего, то это снова напоминает нам, что синий цвет так близок к темному, теневому, что долгое время можно было причислять его к последнему.

Мысли и утверждения Демокрита вытекают из потребностей повышенной обостренной чувственности и склоняются к поверхностному. Признается ненадежность показаний чувств. Это вынуждает искать способа проверки, но такового не находится. Ибо вместо того, чтобы при родстве чувств обратиться к одному идеальному чувству, в котором все они объединяются, вместо этого виденное превращается в осязаемое. Самое острое чувство должно раствориться в самом тупом и благодаря последнему стать понятным. Отсюда вместо уверенности получается недостоверность. Цвета не существует, так как его нельзя осязать, или он существует лишь постольку, поскольку его можно было бы осязать. Поэтому и символы заимствуются у осязания. Как поверх ности бывают гладкие, шероховатые, угольные и заостренные, так и цвета возникают из этих различных состояний. Но каким образом согласовать с этим утверждение, что цвет есть нечто совершенно усланное, этого мы не беремся разрешить: ведь если известное свойство поверхности сопровождается известным цветом, то здесь не может не быть какого-либо определенного отношения.

Рассматривая Эпикура и Лукреция, мы вспоминаем то общее положение, согласно которому оригинальные учителя всегда еще чувствуют всю неразрешимость задачи и пытаются приблизиться к «ей наивным и каким только возможно простейшим и ближайшим способом. Последователи становятся уже дидактичными, а в дальнейшем догматизм доходит до нетерпимости.

В таком отношении и стоят друг к другу Демокрит, Эпикур и Лукреций. У последнего мы находим образ мыслей первых, но уже застывший в качестве исповедания веры и проповедуемый со страстной приверженностью.

Та недостоверность, которую мы отметили уже выше в этом учении, в результате такой страстности проповеди дает нам возможность перейти к учению пирроников. Для них все было недо-

стоверно, как и для всякого, кто главное свое внимание направляет на случайные отношения земных вещей друг к другу; и уж меньше всего приходится вменять им в вину то, что колеблющийся, мимолетный, едва уловимый цвет они считают ненадежным, ничтожным метеором; но и в этом пункте можно научиться у них только одному: чего нужно избегать.

Зато к Эмпедоклу мы подходим с доверием. Он признает нечто внешнее, материю; нечто внутреннее, организацию. Он принимает различные действия первой, многообразную сложность второй. Его не могут смутить нас. Правда, они вытекают из вульгарно-чувственного способа представления. Принимается определенное движение чего-то жидкого; значит, оно должно быть замкнуто; вот вам и готовый канал. И все-таки можно заметить, что этот мыслитель древности, как иные из новых, отнюдь не понимал этого представления так грубо и материально, что в нем он нашел только удобный, понятный символ. Ибо тот способ, каким внешнее и внутреннее существует одно для другого, совпадает одно с другим, показывает сразу более высокое воззрение, которое представляется еще более духовным благодаря тому общему принципу, что подобное познается только подобным.

Что Зенон как стоик займет в какой-то области прочную позицию, это нужно ожидать. Его утверждение, что цвета это первые схематизмы материи, очень нам импонирует. Если эти слова в античном смысле и не содержат в себе того, что мы могли бы вложить я них, 'все 'же они и так достаточно значительны. Материя превращается в явление; она образуется, оформляется. Форма указывает на закон и только :в цвете, в его сохранении и изменении, раскрывается для глаза закон природы, трудно различимый другими чувствами.

Этот образ мышления в еще более лаконичной форме, очищенный и 'возвышенный, встречаем мы у Платона. Он классифицирует то, что ощущается. Цвет у него—четвертый ощутимый элемент. Здесь мы находим поры и 'внутреннее, соответствующее внешнему, только в более духовной и ярко выраженной форме. Особенно надо отметить то, что он знает основу учения о цветах и о светотени. Он говорит, что белый цвет способствует прозрению, а черный же покрывает его мраком.

Какими бы выражениями мы ни заменяли греческие слова γύψχριύεν и διαχριύειύ на любом языке: стягивать, расширять, собирать, распускать, fessein и losen, retrecir и developper,— мы не 'найдем столь духовно-физического .выражения для этой поляризации, в которой раскрывается жизнь ощущение. Да и вообще греческие 'слова—это художественные выражения, встречающиеся в различных случаях, благодаря чему их значительность все более возрастает.

В этом случае, как и в остальных, нас восхищает в Платоне тот священный трепет, с которым он подходит к природе, та осторожность, с которой он как бы только нащупывает вокруг нее и при более близком знакомстве сейчас же снова отступает, то изумление, которое, как он сам говорит, так свойственно философу.

Дальнейшее содержание этого короткого, извлеченного из Тимея места мы приведем ниже, так как под именем Аристотеля мы можем собрать все, что было известно древним по этому предмету.

Древние верили в покоящийся свет в глазу. Как люди сильные и энергичные они чувствовали деятельность самого этого органа и его реагирование 'на все внешнее, видимое. Только они выражали это чувство слишком грубыми сравнениями. Например, как чувство хватания предметов глазом. Воздействие глаза не только на глаз, но и на другие предметы казалось им до такой степени удивительным, что они видели в нем какое-то колдовство и волшебство.

Собирание и реагирование зрения посредством света и темноты, а также длительность впечатления были им знакомы. Мы находим у них следы указаний на 'цветной отзвук и на своего рода противоположность. Вообще Аристотель знал цену и достоинство противоположностей для исследования. Но как единство само разлагается на двойственность, это было древним неизвестно. Магнит, янтарь они знали только как притяжение. Полярность они еще не понимали. Да разве вплоть до новейших времен не обращали всего внимания только на притяжение, а сопряженное с ним отталкивание не рассматривали лишь как последствие первой, творческой силы?

В учении о цветах древние противопоставляли друг другу свет и тьму, белое и черное. Они замечали также, что между последними и возникают цвета. Однако способ этого возникновения они выражали .недостаточно тонко, хотя Аристотель и говорит совершенно ясно, что здесь не может быть речи о смеси в обычном смысле.

Аристотель придает большую ценность изучению прозрачного как среды и знает, как и Платон, влияние мутной среды на возникновение синего цвета. Но во всех своих исследованиях он сбивается с толку черным и белым цветом, которые он трактует то материально, то символически или, вернее, рационалистически.

Древние знали желтый цвет, возникающий из смягченного света; синий 'цвет—при содействии мрака; красный—путем сгущения, затемнения; хотя колебание между атомистическим и динамическим способами представления и здесь часто вызывает неясность и путаницу.

Они очень близко подошли к подразделению, которое и мы сочли самым удобным. Некоторые цвета они приписывали только свету, другие — свету и средам, третьи они рассматривали как присущие телам, причем и в последних знали как поверхность краски, так и ее проникание вглубь, высказывая правильные взгляды также относительно превращения химических красок. По крайней мере, они хорошо подмечали различные случаи и обращали достаточное внимание на органическое переливание цвета.

Таким образом, можно сказать, что они знали здесь все самое существенное, но им не удавалось упорядочить и сопоставить эти показания опыта. И как у кладокопателя, который властными формулами поднял наполненный золотом и драгоценными камнями блестящий котел уже до краев ямы, но упустил какую-то мелочь в заклинании, и столь близкое счастье с шумом и треском и при дьявольском хохоте снова катится вниз, чтобы опять оставаться под спудом до позднейших времен,—так и эти незаконченные усилия были вновь утеряны на целые века. Чем мы должны, однако, утешиться, заключается в том, что от иной, даже и законченной работы едва остаются следы.

Бросив взгляд на те общие теории, которыми они связывают воспринятое, мы находим представление, что элементы сопровождаются цветами. Разделение первоначальных сил природы на четыре элемента понятно и удобно детскому уму, хотя оно и имеет только поверхностное значение. Но непосредственная связь элементов с цветами это мысль, которую мы не можем порицать, ибо мы тоже признаем в цветах элементарное, повсюду распространенное явление.

Наука вообще возникала у греков из жизни. Когда внимательно присмотришься к книге (Теофраста) о цветах, какой содержательной находишь ее! Как внимательно подмечено каждое условие, при котором наблюдается явление! Какая чистота, какое спокойствие по сравнению с позднейшими временами, когда у теорий, казалось, была лишь одна цель: устранить явления, не обращать на них внимания, больше того, по возможности изгнать их из природы…

Если же мы станем искать причины, которые собственно мешали древним идти вперед, мы обнаружим их в том, что у древних нет искусства проводить эксперименты, нет даже понимания их. Эксперименты, это —посредники между природой и понятием, между природой и идеей, между понятием и идеей. Рассеянный опыт слишком принижает нас и мешает достигнуть хотя бы понятия. Каждый же эксперимент уже теоретизирует. Он вытекает из понятия или тотчас же устанавливает его. Много единичных случаев подводятся под один феномен. Опыт вводится в рамки, и можно двигаться дальше.

Трудность понимания Аристотеля вытекает из чуждого нам античного метода. Из обыденной эмпирии он вырывает рассеянные случаи, довольно удачно сопоставляет их и сопровождает подходящими и остроумными рассуждениями. Но понятие присоединяется к ним без посредника, рассуждения переходят в тонкости и хитросплетения. Понятое снова обрабатывается понятиями вместо того, чтобы оставить его в покое, приумножать поодиночке, сопоставлять в больших количествах и затем ожидать, не возникнет ли отсюда идея, если она не присоединилась к этим данным с самого начала.

Если в постановке научных изысканий, как они велись греками, мы и нашли немало недостатков, то, рассматривая их искусство, мы вступаем в совершенный круг, который, хотя и замыкаясь в самом себе, в то же время входит в качестве звена в научную работу и там, где знание оказывается недостаточным, удовлетворяет нас действием.

Людям искусство вообще более по плечу, чем наука. Первое принадлежит больше чем наполовину им самим, вторая — больше чем наполовину миру. Развитие первого можно представить себе в чистой последовательности, развитие второй немыслимо без бесконечного накопления. Но определяет разницу между ними преимущественно то, что искусство завершается в своих единичных созданиях, наука же представляется нам беспредельной.

Счастливая судьба греческого развития уже не раз превосходно излагалась. Вспомним только о их изобразительном искусстве и тесно связанном с ним театре. В преимуществах их пластики никто не сомневается. Что их живопись, их светотень, их колорит стояли так же высоко, этого мы не можем показать наглядно на совершенных образцах. Мы должны призвать на помощь немногочисленные остатки старины, исторические известия, аналогию, естественный ход развития, и тогда у нас не останется сомнения, что и в этой области они превзошли всех своих потомков.

В числе этих счастливых обстоятельств греческой жизни нужно прежде всего назвать то, что людей не сбивало с толку никакое внешнее влияние,—благоприятная судьба, в новейшее время редко выпадающая на долю индивидов и никогда—на долю народов; ибо даже совершенные образцы обивают с толку, побуждая нас перескакивать через необходимые ступени развития, благодаря чему мы обыкновенно проходим мимо цели и впадаем в безграничное заблуждение.

Возвращаясь к сравнению искусства и науки, мы придем к мысли, что как в знании, так и в размышлении невозможно до. стигнуть цельности, потому что первому не хватает внутренней связи, второму—внешних данных. Ввиду этого мы обязательно

должны представлять себе науку как искусство, если мы ждем от нее какой-либо цельности. И последнюю мы не должны искать при этом в самом общем, в трансцендентном. Нет, как искусство в целом всегда проявляется в каждом отдельном художественном произведении, так и наука должна была бы всегда проявляться в своей цельности 'в каждом отдельном рассматриваемом предмете.

Чтобы приблизиться, однако, к осуществлению такого требования, не следовало бы исключать из участия в научной деятельности ни одной человеческой способности. Дар прозрения, правильное наблюдение действительности, математическая глубина, физическая точность, глубина разума, острота рассудка, подвижная, рвущаяся вперед фантазия, радостная любовь ко всему чувственному — все это нужно для того, чтобы живо и плодотворно охватить данный момент, благодаря чему только и может возникнуть художественное произведение, каково бы ни было его содержание.

Если эти требуемые элементы и появляются часто в такой противоположности, а то и противоречии друг к другу, что даже самые выдающиеся умы, казалось бы, не могут надеяться на их соединение, то все же в человечестве, взятом как целое, они имеются налицо и могут проявиться каждое мгновение, если только в это мгновение, когда они единственно и могли бы стать действенными, их не оттеснят предрассудки, упрямство отдельных обладателей или как там ни зовутся все эти проходящие мимо, отпугивающие и убивающие отрицания, которыми все явление уничтожается 'в зародыше.

Быть может, это покажется смелым, но в настоящее время нужно сказать, что, пожалуй, ни у одной нации совокупность этих элементов не лежит до такой степени наготове, как у немцев, хотя во всем, что относится к науке и искусству, мы живем в самой удивительной анархии, которая как будто все больше удаляет нас от всякой желанной цели. Но все-таки эта самая анархия мало-помалу должна будет ввести эту широту в некоторые рамки, привести нас из рассеяния к единению.

Никогда, быть может, ,не уединялись и не распылялись индивиды больше, чем в настоящее время. Каждый хочет представлять собою и развертывать из себя вселенную. Но страстно вбирая в себя природу, человек вынужден брать вместе с ней и традицию — все то, что создано другими. Если он не делает этого сознательно, это навяжется ему бессознательно. Если он не принимает чужих трудов открыто и добросовестно, ему придется брать их тайно и бессовестно. Если он не признает их с благодарностью, их влияние будет выслежено у него другими. Нужно только, чтобы свое и чужое, полученное непосредственно или

косвенно 'из рук природы или от предшественников, он сумел дельно обработать 'и ассимилировать значительной индивидуальностью. А так как это происходит быстро, напряженно и в одно время, то отсюда должно возникнуть единогласие, то, что в искусстве называют стилем и благодаря чему индивиды будут все теснее сплачиваться в правом и хорошем, а в силу этого и больше выдаваться, пользоваться более благоприятными условиями, чем при карикатурном стремлении удалиться друг от друга в своем диковинном своеобразии.

...Несмотря на мировое владычество римлян, изучение природы осталось у них на очень низкой ступени развития. Собственно говоря, их интересовал человек, поскольку можно было извлечь из него что-нибудь насилием или убеждением. Ради последнего все их занятия были рассчитаны на достижение ораторских целей. Вообще же они пользовались предметами природы только для необходимого или вызываемого прихотью употребления, прилагая для этого то искусство, какое им удалось достигнуть.

Промежуточная эпоха. Пробел

Платон стоит в таком отношении к миру, как блаженный дух, которому угодно погостить на нем некоторое время. Для него важно не столько ознакомиться с миром,—что он уже предполагает,— сколько дружелюбно поделиться с миром тем, что он принес с собою и что нужно для мира. Он проникает в глубину больше для того, чтобы заполнить ее своим существом, чем для того, чтобы исследовать ее. Он двигается ввысь, в стремлении стать снова причастным к своему происхождению. Вое, что он высказывает, направлено на вечно цельное, благое, истинное, прекрасное, постулат которого он стремится и пробудить в каждой груди. Все частности земного знания, которые он усваивает себе, распускаются, можно даже сказать, испаряются в его методе, в его изложении.

Аристотель же стоит перед миром как деятель, как зодчий. Здесь стоит он, и .здесь предстоит ему действовать и творить. Он обращает внимание на почву, но лишь в тех пределах, в каких он находит прочный фундамент. С этого пункта и до центра Земли все остальное ему безразлично. Он 'проводит огромный основной круг для своего здания, добывает отовсюду материалы, приводит их в порядок, наслаивает их друг на друга и поднимается таким образом вверх, в виде правильной пирамиды, тогда как

Платон взмывает в небо наподобие обелиска, наподобие заостренного пламени.

Ранние географы, изготовляя карту Африки, имели привычку рисовать там, где отсутствовали горы, реки и города, какого-нибудь слона, льва, или иное чудовище пустыни, за что их нисколько не порицали. Я думаю, нам поэтому тоже не поставят в упрек, если в великий пробел, где покидает нас радующая, живая, прогрессирующая наука, мы вставим несколько замечаний, на которые мы впредь сможем сослаться.

Культивированные знания на основе внутреннего влечения, ради самого дела, чистый интерес к предмету представляют, конечно, всегда самый лучший и надежный путь к цели. Однако, начиная с самых ранних времен, проникновение людей в предметы природы менее стимулировалось этими мотивами, чем ближайшей потребностью, случаем, который могла использовать внимательность, и различного рода приспособлениями для определенных целей.

Существуют два момента всемирной истории, которые то следуют друг за другом, то выступают одновременно в жизни личностей и народов, частью порознь, частью переплетаясь друг с другом.

Первый — это тот, когда индивиды свободно развиваются друг подле друга; это эпоха становления... искусств, наук, душевности, разума. Все действует здесь внутрь и в лучшие времена стремится к счастливому домашнему строительству. Но это состояние в конце концов разрушается стремлением к анархии.

Вторая эпоха — это эпоха использования, добывания войной, потребления, техники, знания, рассудка. Действия направлены наружу. В своем прекраснейшем и высшем выражении эта эпоха дает досуг и наслаждение на известных условиях. Но такое состояние легко вырождается в эгоизм и тиранию, причем тирана вовсе не нужно представлять себе в виде единичного лица; бывает тирания масс, в высшей степени насильственная и неудержимая.

Содержание без метода ведет к фантазерству, метод без содержания — к пустому умствованию; материя без формы — к обременительному знанию, форма без материи — к пустым химерам.

Эпохи естествознания вообще и учения о цветах в особенности обнаружат нам различного рода колебания. Мы увидим, как нагроможденное в нем прошлое становится в высшей степени тягостным для человеческого духа, когда новое, современное, начинает, в свою очередь, властно внедряться в него: как он в силу смущения, по инстинкту, даже из принципа выбрасывает старые сокровища; как он думает, что предметом нового можно завладеть путем одного только опыта. Однако вскоре снова бывают вынуждены призвать на помощь рефлексию и метод, гипотезу и теорию. В результате этого снова впадают в хаос, противоречия и изменения мнений и рано или поздно из воображаемой свободы снова переходят под скипетр навязанного авторитета.

Роджер Бэкон (1216~1294)

Созданная в Британии римским владычеством, а также введенная туда христианством культура слишком скоро заглохла, уничтоженная натиском диких соседей-островитян и пиратских шаек. По восстановлении хотя и часто нарушаемого спокойствия религия снова оправилась и стала оказывать значительное и весьма благодетельное влияние. Превосходные люди стали апостолами своей родины и даже чужих стран. Основывались монастыри, строились школы, и все виды культурных начинаний, казалось, бежали в эту отрезанную от материка страну, чтобы там сохраняться и развиваться.

Роджер Бэкон родился в самую счастливую для такого ума эпоху, которую мы назвали эпохой становления, свободного развития индивидов. Подлинный год его рождения неизвестен, но когда он появился на свет, Magna charta — эта великая грамота вольностей, которая путем добавления последующих времен стала истинной основой английской национальной свободы, была уже подписана (1215)...

Влияние такой эпохи проникает сквозь все стены, и хотя Роджер был только монахом и держался 'в пределах своего монастыря, именно этим национальным движениям обязан он, вне сомнения, тем, что ум его смог возвыситься над мрачными предрассудками времени и предвосхитить будущее. Он обладал от природы характером, который руководится известными правилами, который и для себя и для других хочет, ищет и находит надеж-

ное. Его сочинения свидетельствуют о необыкновенном спокойствии, рассудительности и ясности. Он ценит авторитет, но видит все спутанное и колеблющееся в традиции. Он убежден в возможности постичь чувственное и сверхчувственное, мирское и божественное.

Прежде всего он умеет должным образом ценить показания чувств. Он сознает, однако, что от человека только чувственного природа многое скрывает. Он желает поэтому проникнуть глубже и замечает, что силы и средства для этого он должен искать в собственном духе. Здесь его детский ум наталкивается на математику, как на простое, врожденное, из него самого проистекающее орудие, за которое он тем охотнее хватается, что все самобытное уже давно было в пренебрежении, а передаваемое по традиции причудливым образом нагромождалось одно на другое, благодаря чему до известной степени само в себе разрушалось...

Это орудие он пускает в ход против природы и против своих предшественников и, удовлетворенный полученными результатами, утверждает, что математика дает нам ключ, с помощью которого мы можем проникнуть во все тайны науки.

Но если этот орган оказал ему нужные услуги в применении ко всему измеримому, то его тонкое чутье скоро обнаруживает, что есть области, где он недостаточен. Бэкон ясно высказывает, что в этих случаях математикой нужно пользоваться как особого рода символикой. На практике он смешивает, однако, реальные услуги, которые она ему оказывает, с символическими. Он так тесно связывает оба вида, что приписывает им одинаковую степень достоверности, несмотря на то, что его символизация иногда сводится просто к игре остроумия. В этом все его достоинства и все недостатки...

Бэкон Веруламский (XVI век)

...Наследие Бэкона можно разделить на две части. Первая — историческая, преимущественно отвергающая, вскрывающая прежние недостатки, указывающая на пробелы, порицающая образ действия предшественников. Вторую мы назвали бы поучающей, дидактично-догматической, обнадеживающей, зовущей и побуждающей к новым делам.

Обе части обладают для нас приятной и неприятной стороной. В исторической нас радует понимание того, что было раньше, особенно большая ясность, с которой излагаются задержки

и регресс науки; радует вскрытие тех предрассудков. Которые мешают человеку в целом и частностях идти вперед. Зато чрезвычайно отталкивает нечувствительность к заслугам предшественников, к значению древности. Можно ли спокойно слушать, когда сочинения Аристотеля и Платона он сравнивает с легкими дощечками, которые именно потому, что материал их не -является доброкачественной массой, могли доплыть до нас, поддерживаемые потоком времени?

Во второй части отталкивают его требования, которые только расползаются в ширину, его метод, который не конструктивен, не замыкается сам в себе, даже не намечает никакой цели, а побуждает к разъединению. Зато чрезвычайно отрадно его постоянное стимулирование, подбадривание и обнадеживание.

Положительные стороны создали ему славу, да и кто не любит расписывать недостатки прошедших времен? Кто не полагается на самого себя, кто не надеется на грядущие поколения? Отталкивающие же стороны, хотя и замечаются более проницательными, 'но, как 'и следует, щадятся и прощаются.

Опираясь на это соображение, мы позволяем себе решить загадку, почему Бэкон мог вызвать столько разговоров о себе, не оказывая никакого действия или оказывая скорее вредное, чем полезное. Дело в том, что его метод, поскольку можно приписать ему таковой, в высшей степени мелочно-педантичен и поэтому ни вокруг него, ни вокруг его наследия не образовалось школы. Вот почему снова могли и должны были выступить выдающиеся люди, которым удалось поднять свой век до более последовательных воззрений на природу и собрать вокруг себя всех жаждущих знания и понимания.

Так как Бэкон направлял людей на опыт, то они, предоставленные самим себе, попадали в безграничную, расползающуюся вширь эмпирию; они испытывали при этом такой страх перед методом, что в беспорядке и хаосе видели ту истинную стихию, в которой только и может процветать знание. Позволим себе повторить сказанное в виде сравнения.

Бэкон похож на человека, который отлично видит неправильность, недостаточность, ветхость старого здания и умеет показать это его обитателям. Он советует им покинуть это. здание, бросить землю, материал и все принадлежности, поискать другое место и построить на нем новое здание. Он великолепный оратор и диалектик; он сотрясает несколько стен: они падают, а часть жителей вынуждены покинуть кров. Он указывает новые места, которые жители начинают выравнивать, но все-таки везде тесно. Он предлагает новые чертежи: они не ясны, не привлекательны. Но особенно много он говорит о новых, незнакомых материалах, и весь свет хватается за эту мысль. Масса рассеивается

по всем странам света и приносит с собой обратно бесконечное множество единичных предметов, между тем как дома уже новые планы, новые виды деятельности, новые поселения занимают граждан и поглощают их внимание.

Благодаря всему этому сочинения Бэкона остаются великим вкладом для потомства, особенно когда он станет действовать на нас уже не непосредственно, а исторически, что будет скоро возможно, так как между ним и нами легло уже несколько веков...

...Не часто два мнения так резко противостоят друг другу, как мнение Бодлея мнению Бэкона, но ни к одному из них мы не склонимся всецело. Если последний ведет нас в беспредельную ширь, то первый хочет чересчур ограничить нас. Ведь если, с одной стороны, опыт безграничен, потому что всегда может быпь открыто нечто новое, то так же безграничны и принципы, которые не должны застывать, терять способность расширения, чтобы суметь охватить многое и даже раствориться, затеряться в высшем воззрении.

Надо думать, что Бодлей имеет здесь в виду не субъективные аксиомы, которые меньше изменяются бегущим вперед временем, а те, которые вытекают из рассмотрения природы и к ней непосредственно относятся. Нельзя, однако, отрицать, что такого рода принципы прежних школ, особенно в связи с религиозными убеждениями, были очень неудобной помехой на пути развития истинных воззрений на природу. Интересно также отметить, что именно казалось особенной помехой такому человеку, как Бэкон, который сам получил хорошее образование и был воспитан по старой традиции, помехой столь важной, что он почувствовал себя вынужденным поступить так разрушительно и, как говорит пословица, с водой выплеснуть и ребенка. Революционные помыслы возникают у отдельных людей больше по поводу единичных случаев, чем в связи с общим состоянием. Так и в сочинениях Бэкона нам встретились некоторые аксиомы, как, например, в высшей степени ему ненавистное учение о конечных причинах, которые он с особенным ожесточением все снова разыскивает и преследует.

В образе мышления Бэкона, впрочем, есть кое-что, указывающее и на политика. Как раз это требование безграничного опыта, непризнавание, даже отрицание заслуг современников, стремление к кипучей деятельности роднят его с теми, кто проводит жизнь в воздействии на значительные массы, в обуздании и использовании их противодействия.

Если Бэкон был несправедлив к прошлому, то и относительно настоящего его вечно стремящийся вперед ум тоже не допускал спокойной оценки. Назовем здесь только Гильберта, работы которого относительно магнита могли быть и были известны канцлеру Бэкону. Сам он с похвалой называет Гильберта в своих сочинениях. Но насколько важны эти предметы,—электричество и магнетизм,—этого Бэкон, по-видимому, не понял. В широкой плоскости явлений все было для него равноценно. Ибо хотя и сам он все время указывает, что частности надо собирать только для того, чтобы можно было сделать из них выбор, привести их в порядок и, наконец, добраться до общих положений, все же единичные случаи сохраняют у него слишком большие права, и прежде, чем доберешься с помощью индукции,— хотя бы и с помощью той, какую он превозносит,— до упрощения и завершения, уйдет вся жизнь и иссякнут силы. Кто не может увидеть, что один случай стоит часто тысячи и всю эту тысячу в себе заключает, кто не в состоянии понять и оценить то, что мы назвали первичным феноменом, тот никогда не сможет продвинуть что-либо вперед, себе и другим на радость и пользу. Стоит присмотреться к вопросам, которые ставит Бэкон, и к его проектам отдельных исследований, стоит рассмотреть в этом смысле его трактат о ветрах и спросить себя, можно ли надеяться достигнуть на этом пути какой-либо цели?

Мы считаем также большим заблуждением Бэкона то, что он слишком презирал механические работы ремесленников и фабрикантов. Ремесленники и художники, которые всю жизнь разрабатывают один ограниченный круг, существование которых зависит от удачи того или иного замысла, гораздо скорее дойдут от частного к общему, чем философ на бэконовском пути. От кропанья они перейдут к опытам, от опытов—к правилу и, что еще важнее,— к известному практическому приему. Они будут не только говорить, но и делать и деятельностью создавать возможное, больше того, они будут вынуждены создавать его, хотя бы они отрицали его, как это было в замечательном случае открытия ахроматических телескопов.

Науки обязаны техническим и артистическим замкнутым кругам деятельности больше, чем это обыкновенно принимают, часто взирая на этих тружеников лишь как на ремесленников. Но если бы в конце шестнадцатого столетия кто-нибудь заглянул в мастерские красильщиков и живописцев, а затем правдиво и последовательно записал только то, что он там нашел, мы получили бы для нашей цели гораздо более ценный вклад, чем ответы на тысячу вопросов Бэкона.

В подтверждение этого мы приведем пример с нашим соотечественником Георгом Агриколой, который уже в первую половину шестнадцатого века сделал в области горного дела то, что можно было бы лишь желать и для нашей области науки. Правда, он счастливо вступил в замкнутую, уже давно обрабатываемую, чрезвычайно многообразную и все же направленную к одной цели область природы и искусства. Горы, раскрытые горноделием, значительные продукты природы, отыскиваемые в сыром виде, добываемые, обрабатываемые, отделяемые, очищаемые и подчиняемые человеческим целям: вот что в высшей степени интересовало его как постороннего зрителя. А он жил в горах в качестве врача, он был дельной и наблюдательной натурой, к тому же знатоком древности, прошедшим школу древних языков, на которых он свободно и приятно изъяснялся. И теперь еще мы изумляемся его сочинениям, охватывающим весь круг древнего и нового горноделия, древней и новой металлургии и минералогии. Это и для нас является драгоценным подарком. Он родился в 1494 и умер в 1555, т. е. жил, стало быть, в высочайшую и прекраснейшую эпоху вновь зародившегося, но тотчас же достигшего кульминационной точки искусства и литературы. Мы не можем припомнить, чтобы Бэкон упоминал Агриколу, да и в других людях он не умел ценить того, что мы так высоко ставим в последнем.

Сопоставляя условия, при которых жили эти два человека, мы невольно сравниваем их. Континентальный немец видит себя в замкнутом кругу горного дела, он вынужден сосредоточиться и научно разработать ограниченную область. Бэкона, как окруженного морем островитянина, члена нации, стоявшей в сношениях со всем миром, внешние обстоятельства побуждают идти вширь и в бесконечную даль, сосредоточивать свое главное внимание на самом ненадежном из всех явлений природы, на ветрах, потому что именно ветры обладают таким огромным значением для мореходов.

Галилео Галилей (1564~1642)

Мы называем это имя больше для того, чтобы украсить им наши страницы. Нашей специальностью этот выдающийся человек собственно не занимался.

Если благодаря методу распыления Бэкона Веруламского естествознание, казалось, навеки было расщеплено, то Галилей тотчас же снова собрал его воедино. Он снова привел естествозна-

ние « человеку и уже в ранней юности показал, что для гения один случай замещает тысячу: из качающихся церковных люстр он развил учение о маятнике и о падении тел. В науке йсе сводится к тому, что называют apercu, т. е. к подмечанию того, что собственно лежит в основе явлений. И такое подмечание бесконечно плодотворно.

Галилей развивался при благоприятных обстоятельствах и пользовался в течение первого периода своей жизни завидным счастьем. Как дельный жнец, он направился к богатейшей жатве и не ленился в своей работе. Телескопы раскрыли новое небо. Было открыто много новых свойств вещей природы, более или менее видимо и осязаемо окружающих нас, и ясный могучий дух мог во все стороны делать завоевания. Так большая часть его жизни—это ряд дивных, блестящих деяний.

К сожалению, небо омрачается в конце его жизни. Он становится жертвой того благородного стремления, которое заставляет человека сообщать другим свои убеждения. Говорят, что воля человека—его царство небесное. Но еще больше находит он радости в собственных рассуждениях, в познанном и признанном им. Проникнутый великим духом коперниканской системы, Галилей не колеблется хотя бы косвенно подтверждать и распространять это отвергнутое церковью и ученым миром учение и кончает жизнь в печальном полумученичестве...

Что касается света, то он склонен рассматривать его как нечто до известной степени материальное, переносимое,— воззрение,. вызванное у него наблюдениями над болонским камнем. Высказаться относительно цвета он отказывается, да и нет ничего естественнее того, что человек, созданный для погружения в глубины природы, человек, чей прирожденный проникающий вглубь гений был до невероятности изощрен математическим образованием, мог иметь мало склонности к поверхностному, легко исчезающему цвету.

Декарт (1596~1650)

Жизнь этого выдающегося человека, как и его учение, едва ли будут понятны, если не представить его себе французским дворянином. Преимущества его рождения с юности облегчают ему путь, начиная со школы, где он получает первые уроки в латинском, греческом и математике. Как только он вступает в жизнь, способность к математическим комбинациям сразу сказывается в нем теоретически и научно... Если его поиски бесконечной эмпи-

рии можно назвать веруламскими, то в постоянно повторяемых попытках вернуться к себе, в развитии его оригинальности и продуктивности обнаруживается счастливый им противовес. Ему надоедает задавать и решать математические проблемы, так как он видит, что при этом ничего не получается. Он обращается к природе и много работает над отдельными вещами, но как естествоиспытатель он встречает много помех. Можно сказать, что он не останавливается спокойно и с любовью на предметах, чтобы кое-что от них заполучить. Он с какой-то поспешностью накидывается на них как на разрешимые проблемы и подходит к вещи большею частью со стороны самого сложного явления.

К тому же ему не хватало, по-видимому, воображения и пафоса. Он не находит духовных, живых символов, чтобы приблизить. к себе и к другим трудно выразимые явления. Чтобы объяснить ускользающее от понимания, даже совсем непонятное, он пользуется самыми грубыми чувственными сравнениями. Так, его. различные материи, его вихри, его винты, крючки и зубцы давят ум, и если подобные представления принимались, то это показывает, что именно самое грубое и малопонятное оказывается иногда самым приемлемым для масс...

Исаак Ньютон

(1642-1727)

Среди тех, кто разрабатывает естественные науки, можно отметить преимущественно два рода людей.

Первые — люди гения, творчества и насилия, создают из себя целый мир, не очень беспокоясь о том, согласуется ли он с миром действительным. Если то, что развивается в них, совпадет с идеями мирового духа,— возникают истины, которым изумляется человечество и за которые оно в течение веков должно быть благодарно. Но если в такой дельной, гениальной голове родится химера, которой нет прообраза в универсальном мире, то подобное заблуждение может не менее властно распространиться и на столетия пленить и обмануть людей.

Люди второго рода—даровитые, проницательные, осмотрительные — проявляют себя хорошими наблюдателями, тщательными экспериментаторами, осторожными собирателями данных опыта. Но истины, которые они добывают, как и заблуждения, в которые они впадают, довольно ничтожны. Их правда часго незаметно присоединяется к общепризнанному или пропадает; их ложь не принимается, а если это и случится, то легко меркнет.

К первому из этих классов принадлежит Ньютон, ко второму— лучшие из его противников. Он заблуждается и притом самым решительным образом. Сначала он находит свою теорию удобной, затем с чрезмерной поспешностью убеждается в ней, прежде чем ему становится ясно, какие вымученные приемы нужны, чтобы провести на опыте применение его гипотетического apercu. Но он уже высказался публично и пускает в ход всю ловкость своего ума, чтобы провести свой тезис, причем совершенный абсурд он отстаивает пред лицом всего света как окончательную истину.

•Мы имеем в новой истории наук подобный случай в лице Тихо де Браге. Он тоже впал в ошибку, приняв в своей мировой системе производное за первоначальное, подчиненное за господствующее.

...Уже iВ письме Ньютона (к секретарю Лондонского Королевского Общества), как и во 'всех его ответах противникам, можно обнаружить указанный нами в полемической части способ трактования предмета, который унаследовали и его ученики. Это беспрерывное утверждение и отрицание, безусловное суждение и моментальное ограничение, так что верно и все, и ничего. Этот способ, по существу, просто диалектический и достойный софиста, который хочет водить людей за нос, проявляется, насколько мне известно, со времен схоластики впервые у Ньютона. Его предшественники, начиная с возрождения наук, были если нередко и ограничены, то наивно догматичны, если и близоруки, то честно дидактичны. Изложение же Ньютона состоит из постоянного переворачивания вещей на голову, из самых безумных перемещений, повторений и ограничений, из превращенных в догматы и дидактику противоречий, которые тщетно пытаешься схватить, но под конец выучиваешь наизусть и воображаешь, что этим действительно что-то приобрел.

И разве мы не замечаем в различных случаях жизни следующее: если мы страстно хватаемся за неверное apercu— свое или чужое, то мало-помалу оно может превратиться в навязчивую идею и под конец выродиться в настоящее частичное безумие, проявляющееся в том, что мы не только страстно держимся за все, что благоприятствует этому воззрению, и без всяких околичностей устраняем то, что мягко ему противоречит, но и решительно противоположное этому воззрению толкуем в его 'пользу.

Переходя от технического к внутреннему и духовному, мы сделаем следующие замечания. Когда при возрождении наук стали искать показаний опыта и стремились повторять их с по-

мощью экспериментов, последними пользовались для совершенно различных целей.

Самой прекрасной целью было и остается познание явлений природы, раскрывающееся нам с различных сторон, во всей его цельности. Гильберт достаточно далеко подвинул на этом пути учение о магните; другие также многое делали для того, чтобы изучить упругость воздуха и его физические свойства. Некоторые естествоиспытатели, однако, работали не в этом духе: они пытались объяснить явления из самых общих теорий. Например, для объяснения цветов Декарт пользовался шариками своей матери, а Бойль своими «гранями тел». Другие также хотели в свою очередь подтвердить явлениями какой-нибудь общий принцип. Гримальди доказывал бесчисленными экспериментами, что свет есть некая субстанция. Метод же Ньютона был совсем особого, неслыханного рода. Чтобы вызвать наружу глубоко скрытое свойство природы, он пользуется всего только тремя экспериментами, в которых раскрываются отнюдь не первичные, но в высшей степени производные явления. Настаивать только на этих трех, лежащих в основе письма к Обществу, экспериментах: со спектром через простую призму, с двумя призмами (experimentum crucis) и с чечевидной линзой и отвергать все остальное,— в этом состоит весь его маневр против первых противников...

Личность Ньютона

Время рождения Ньютона относится к самому характерному периоду в английской и даже во всемирной истории. Ему было четыре года, когда был обезглавлен Карл I, и он был еще свидетелем восшествия на престол Георга I. Грандиозные конфликты потрясали государство и церковь, сталкивали их друг с другом самыми разнообразными и изменчивыми способами. Был казнен король, враждующие народные и военные партии устремлялись друг на друга, в быстрой смене следовали друг за другом правительства, министерства, парламенты; восстановленная, блестяще проявлявшая себя королевская власть была вновь потрясена: король изгоняется, престол достается иноземцу, и снова не наследуется, а уступается чужаку.

Как должно каждого возбуждать, толкать такое время! И какой это должен быть особенный человек, которому и рождение, и способности открывают так много путей и который все отклоняет и спокойно следует своему прирожденному призванию исследователя!

Ньютон был здоровый человек со счастливой организацией и ровным темпераментом, без страстей, без желаний. У него был

конструктивный ум, притом в самом абстрактном смысле. Высшая математика была для него поэтому настоящим органом, с помощью которого он стремился построить свой внутренний мир и осилить внешний. Мы не дерзаем давать оценку этой его главной заслуги и охотно признаемся, что его истинный талант лежит вне нашего кругозора. Но если мы признаем, что созданное его предшественниками он легко познал и сделал изумительные дальнейшие шаги, что средние умы его времени уважали и почитали его, а лучшие признавали его своим братом, то и без дальнейших доказательств он должен быть признан человеком исключительным.

Зато с практической, опытной стороны он уже к нам ближе. Здесь он вступает в мир, который мы знаем, в котором мы можем оценить его методы и успехи, не опуская при этом из виду следующую неоспоримую истину: как чисто и надежно ни может быть обработана математика сама в себе, на почве опыта она н;' каждом шагу спотыкается и, подобно всякому иному разработанному принципу, может привести к заблуждению и даже довести его до чудовищных размеров...

Как доходит Ньютон до своего учения, как опрометчиво действует он при первом его испытании, это мы обстоятельно показали выше. Затем он последовательно строит свою теорию, он пытается даже придать-своему способу объяснения характер факта. Он удаляет все, что ему вредит, а то, чего нельзя отрицать, он просто игнорирует. Собственно, он вовсе не защищается, а только повторяет своим противникам: «подойдите к предмету, как я это сделал; следуйте моему пути; устройте все, как я устроил; смотрите по-моему, заключайте по-моему, и вы найдете то, что я нашел; все остальное от лукавого. К чему сотни экспериментов, если два или три из них наилучшим образом обосновывают мою теорию?»

Этому способу трактования, этому непреклонному характеру его учение собственно и обязано всей своей удачей. Раз уж произнесено слово характер, позвольте уделить здесь место нескольким напрашивающимся замечаниям.

Каждое существо, ощущающее себя как некоторое единство, стремится нераздельно и неизменно сохраняться в своем состоянии. Это вечный, необходимый дар природы, и можно поэтому сказать, что каждое единичное существо обладает характером, вплоть до червяка, который извивается, когда на него наступают. В этом смысле мы можем приписать характер и слабому человеку, и даже трусу; он ведь отрекается от того, что для других людей представляет наивысшую ценность, но что чуждо его природе,— от чести, от славы,— только для того, чтобы сохранить свою личность. Обыкновенно словом характер, однако, пользуют-

ся в более высоком смысле: в тех случаях, когда личность, обладающая значительными .качествами, упорно стоит на своем, и ничто не в силах свернуть ее с пути.

Сильным характером называют такой, который стойко противостоит всем внешним преградам и стремится проявить свою самобытность, хотя бы с опасностью потерять свою личность. Великим называют характер, когда его сила связана с великими, необозримыми, бесконечными качествами и способностями и когда. благодаря ему появляются на свет совершенно оригинальные, неожиданные замыслы, планы и дела.

Хотя каждый прекрасно понимает, что величие составляет здесь, как и везде, именно сверхмерное, однако было бы заблуждением думать, что речь идет здесь о нравственном моменте. Главный фундамент нравственного есть добрая воля, которая по своей природе может быть направлена только на правое. Главным фундаментом характера является решительное желание безотносительно к правому и неправому, к добру и злу, к истине или заблуждению. Это то, что так высоко ценит в своих членах каждая партия. Воля принадлежит свободе, она направлена на внутреннего человека, на цель. Желание принадлежит природе и направлено на внешний мир, на действие, а так как земное желание может быть всегда лишь ограниченным, то можно почти заранее предположить, что на практике согласное с высшим правом никогда не может стать, разве только случайно, предметом желания.

Заметим при этом, что найдено еще далеко недостаточно прилагательных для выражения различных характеров. Для опыта мы символически воспользуемся различиями, которые употребляются в физическом учении о плотности тел. Мы скажем, что бывают характеры крепкие, твердые, плотные, упругие, гибкие, мягкие, тягучие, упорные, вязкие, жидкие, и кто знает, какие там еще. Характер Ньютона мы причислили бы к упорным. Точно так же и его теорию цветов следует считать окостенелым apercu.

В данный момент нас касается только отношение характера к истине и заблуждению. Характер остается одинаковым, отдается ли он во власть первой или второго. Потому мы нисколько не умаляем того высокого уважения, которое мы питаем к Ньютону, утверждая, что как человек, как наблюдатель он впал в заблуждение; как человек характера, как глава секты он именно тем и проявил сильнее всего свое упорство, что это заблуждение, вопреки всем внешним и внутренним предостережениям, он твердо отстаивал до своего конца, мало того, все больше разрабатывал и пытался распространить, укрепить его и вооружить против всех нападений.

Однако этим разрешена еще не вся загадка. За этим кроется нечто еще более таинственное. Дело в том, что в человеке может проявиться высшее сознание так, что он приобретает возможность до известной степени обозреть необходимую, присущую ему природу, в которой он, однако, ничего не может изменить, несмотря на всю 'свою свободу. Достигнуть здесь полной ясности почти невозможно. Бранить себя в отдельные моменты, правда, удается, но никому не дано все время порицать себя. Если не хвататься за обычное средство сваливать свои недостатки на обстоятельства, на других людей, то, в конце концов, из конфликта разумно судящего сознания с натурой, которая хотя и модифицируема, но неизменна, возникает особого рода ирония по отношению к .самому себе. К своим ошибкам и заблуждениям мы относимся с шуткой, как к 'невоспитанным детям, которые без своих шалостей, быть может, не были бы нам так дороги.
Эта ирония, это сознание, снисходящее к собственным недостаткам, играющее своими заблуждениями и предоставляющее им тем самым больше простора, это надежда на то, что, в конце концов, оно справится с ними, может проявляться у разных субъектов в различной степени, и мы охотно взялись 'бы, не будь это слишком рискованным, установить такую галерею характеров на основании живых и отошедших образцов. Если затем это положение вполне выяснилось бы на примерах, то никто не обратился бы к нам с упреком, найдя в этом ряду и Ньютона, у которого, несомненно, было смутное чувство своей неправоты.

Как иначе возможно было бы для одного из первых математиков пользоваться такой пародией на метод, когда уже в лекциях по оптике, желая установить различную преломляемость, он проводит лишь в самом конце опыт с параллельными средами, относящийся к самому началу? Как мог человек, для которого важно было в полном объеме познакомить своих учеников с явлениями для построения на их основе приемлемой теории, как мог такой человек трактовать субъективные явления лишь в конце, а отнюдь не в известном параллелизме с объективными данными? Как мог он объявить их неудобными, тогда как они без сомнения самые удобные, если только не стремиться уйти от природы и застраховать от нее свое предвзятое мнение? Природа не высказывает ничего, что было бы ей самой неудобно. Если она становится неудобной какому-нибудь теоретику, тем хуже для самого этого теоретика.
Так как этические проблемы могут решаться весьма различными способами, то после всего сказанного мы приведем еще такую догадку: быть может, Ньютону потому именно так нравилась его теория, что при каждом эмпирическом шаге она ставила перед ним новые трудности. Так, один математик говорит: «Гео-

метрам вообще свойственно возвышаться над трудностями и даже постоянно создавать их для самих себя для того, чтобы иметь удовольствие их преодолевать».

...Всякое заблуждение, непосредственно вытекающее из человека и из окружающих его условий, простительно, часто даже почтенно, но не все последователи этого заблуждения заслуживают такого снисходительного отношения. Повторенная чужими устами истина уже теряет свою прелесть. Повторенное чужими устами заблуждение кажется пошлым и смешным. Отделаться от собственного заблуждения трудно, часто невозможно даже при большом уме и больших талантах, но кто воспринимает чужое заблуждение и упрямо держится за него, тот обнаруживает весьма не великие способности. Упорство оригинально заблуждающегося может рассердить нас. Упрямство человека, копирующего заблуждение, вызывает досаду и раздражение. И если в споре против ньютонова учения мы иногда выходили из границ сдержанности, то всю вину мы возлагаем на школу, у которой некомпетентность и самомнение, лень и самодовольство, злоба и жажда преследования стоят в полном соответствии и равновесия друг с другом.

(В. О. Л и хт еншт а дт. Гете, стр. 254—281)

Из ((Поэзии и правды))

...По мере того как я пытался удовлетворить хорошо обдуманное пожелание моего друга, стараясь изобразить по порядку внутренние побуждения и внешние влияния, а также теоретически и практически пройденные мною ступени, я из своей частной жизни невольно передвинулся в обширный мир; выступили образы сотни замечательных людей, имевших на меня большее или меньшее влияние; необходимо было также особо принять во внимание громадные движения общей политической жизни, которые имели величайшее влияние на меня, как и на всю массу современников. Главная задача биографии в том именно, по-видимому, и состоит, чтобы обрисовать человека в его отношениях к своему времени и показать, насколько целое было враждебно ему, насколько оно ему благоприятствовало, как он составил себе взгляд на мир и людей и как он отразил его вовне в качестве художника, поэта, писателя. Но для этого требуется нечто почти недостижимое, именно, чтобы индивидуум знал себя и свой век: себя, насколько он при всех обстоятельствах остался одним и тем же, а век — как то, что волей или неволей увлекает за собой всякого и настолько определяет и образует его, что каждый родившийся всего на десять лет раньше или позже сделался бы, можно сказать, совершенно другим человеком по своему развитию и влиянию на окружающее.

(т. IX, ч. 1, Предисловие, стр. 23—24)

...Органические системы, составляющие человека, возникают одна из другой, следуют друг за другом, превращаются друг в друга, вытесняют одна другую, даже пожирают друг друга, так что от многие способностей, от многих проявлений силы через некоторое время не остается почти и следа. Хотя человеческие задатки и следуют в общем известному направлению, все-таки даже величайшему и опытнейшему знатоку трудно заранее предсказать это направление с достоверностью; но впоследствии иногда можно заметить признаки, которые указывали на будущее.

(т. IX, ч. 1, кн. 2, стр. 87)

История основывается преимущественно на закономерном размножении человеческого рода. Наиболее значительные мировые события необходимо бывает проследить вплоть до семейных тайн.

Гг. /X, ч. 1, кн. 4, стр. 148)

Если где-нибудь могла возникнуть естественная всеобщая религия и из нее развиться особое откровение, то страны, среди которых обитало до сих пор наше воображение, населявшие их люди и образ их жизни были наиболее подходящими для этого; по крайней мере мы не видим, чтобы где-нибудь в мире была для этого столь счастливая и благоприятная обстановка. Уже для естественной религии—если допустить, что она прежде всего возникла в человеческой душе—нужна большая мягкость в душевном настроении, потому что религия эта основывается на убеждении во всеобщем промысле, который руководит мировым порядком. Особая религия, сообщенная богами через откровение тому или другому народу, влечет за собою веру в особое провидение, которое, как божественное существо, благоприятствует определенным людям, семействам, племенам и народам. Трудно представить себе развитие этой веры в провидение из души самого человека,—она требует предания, традиции, поручительства с древнейших времен.

Прекрасно поэтому, что еврейское предание изображает уже самых первых людей, верящих в это особое провидение, героями веры, слепо исполняющими все веления высшего существа, от которого они признают свою зависимость, не переставая в то же время ожидать, без всяких сомнений, позднего исполнения его обещаний.

Если в основе религии особого откровения лежит понятие о том, что боги могут более благоприятствовать одному человеку. чем другому, то в значительной степени она возникает также из

различия положений между людьми. Первые люди казались близко родственными между собою, но их занятия вскоре разделили их. Свободнее всех был охотник. Из него выработался воин и властелин. Та часть людей, которая возделывала нивы, была прикована к земле, строила жилища и амбары для хранения приобретенного, могла быть довольно высокого мнения о себе потому, что ее состояние обещало прочность и безопасность. С другой стороны, уделом пастуха было, по-видимому, наименее стесненное состояние и неограниченное владение. Размножение стад было безгранично, а питавшее их пространство распространялось во все стороны. Эти три состояния сначала, по-видимому, смотрели друг на друга с раздражением и презрением: как для пастуха горожанин был чудовищем, так и горожанин сторонился пастуха. Охотники скрываются от наших глаз в горы и снова появляются лишь в виде завоевателей.

Прародители принадлежали к пастушескому состоянию. Их образ жизни в море пустынь и лугов сообщал их уму широту и свободу; небесный свод со своими ночными звездами, под которым они жили, внушал чувствам их возвышенность и в большей степени, нежели деятельный, подвижной охотник или живущий в безопасности, в прочном доме, заботливый земледелец, нуждались они в непоколебимой вере, что бог стоит на их стороне, посещает их, принимает в них участие, ведет и спасает их.

Переходя к исторической последовательности, мы должны выдвинуть еще одно соображение. Как ни человечна, прекрасна и светла кажется нам религия праотцев, все же через нее проходят черты дикости и жестокости, из которой выходит человек и в которую он может снова погружаться.

(т. IX, ч. 1, кн. 4, стр. 149—150)

Общая, естественная религия, собственно говоря, не нуждается в вере, ибо убеждение, что великое, творящее, упорядочивающее и руководящее существо как бы скрывается за природою, чтобы сделаться нам более понятным,— это убеждение само собою напрашивается каждому, и если человек иногда может потерять нить этого убеждения, ведущего его через всю жизнь, то он сейчас же и везде найдет ее снова. Совершенно иначе обстоит дело с особой религией, которая возвещает нам, что это великое существо определенно и преимущественно заботится об отдельном человеке, племени, народе, отдельной стране. Такая религия основывается на вере, которая должна быть непоколебима, если не хотят, чтобы она тотчас же разрушилась до основания. Всякое сомнение для такой религии убийственно. К убеждению мож-

но вернуться, но не к вере. Отсюда происходят бесконечные испытания, та медленность в исполнении повторных обетований, которыми яснее всего освещается твердость веры праотцев.

(т. IX. ч. 1. кн. 4. стр. 15Э)

Именно, мой друг начал знакомить меня с тайнами философии. Он учился у Дариса * в Иене; как человек неглупый, он хорошо усвоил себе его учение и хотел передать его мне. Но, к сожалению, эти вещи не связывались подобным образом в моем мозгу. Я задавал вопросы, на которые он обещал ответить позднее; я ставил требования, которые он также откладывал на будущее, но главное наше разногласие было в следующем: я утверждал **, что особая философия не нужна, что она вся уже содержится в религии и в поэзии. Этого он никак не хотел признать, но старался доказать мне, что религия и поэзия должны быть сперва обоснованы философией, я же упорно отрицал это и в дальнейших наших разговорах на каждом шагу находил аргументы в свою пользу. Именно, так как в поэзии содержится некоторая вера в невозможное, а в религии такая же вера, в неисповедимое, то мне казалось, что философы находятся в очень невыгодном положении, желая обосновать и объяснить то и другое в своей области, а из истории философии очень легко можно было показать, 'что каждый из них искал при этом других оснований, чем все остальные, тогда как скептик в конце концов находил все лишенным основания и беспочвенным.

Между тем меня занимала именно история философии, и друг мой должен был перейти со мной именно к этому предмету, потому что догматическое изложение я совершенно 'не усваивал; но при этом одно мнение казалось мне ничуть не хуже другого, насколько я мог их усвоить. У философов и в философских школах древности мне нравилось то, что у них поэзия, религия и философия совпадали; и я тем живее отстаивал свое вышеприведенное мнение, 'что Песнь песней и изречения Соломона, книга Иова, песни Орфея *** и Гезиода, на мой взгляд, достаточно подтверждали его. Мой друг положил в основу своего преподавания «Маленького Брукера» ****, и чем дальше мы шли, тем менее я находил в нем пользы. Чего хотели первые греческие философы, этого я не мог себе хорошенько уяснить. Сократа я считал превосходным мудрым человеком, которого по его жизни и смерти можно было бы сравнить с Христом. Ученики же его казались мне похожими на апостолов, которые тотчас по смерти учителя разошлись и, очевидно, каждый понимал истину только в своем, ограниченном смысле. Ни острота мысли Аристотеля, ни глубина Платона нисколько не удовлетворяли меня. Зато к стоикам я уже

ранее почувствовал некоторую склонность и обратился к Эпиктету, которого стал изучать с большим интересом. Моему другу не нравилась эта односторонность, от которой ему не удавалось меня отвлечь, потому что, несмотря на свою ученость, он не умел поставить правильно главного вопроса. Ему следовало бы просто сказать мне, что в жизни главное — действовать, а наслаждение и страдание придут сами собой. Впрочем, надо предоставить молодости идти своими путями; не долго будет она держаться ложных правил: жизнь оторвет 'или отвлечет ее от них.

(т. IX. ч. 2. кн. 6. стр. 238—240)

Если дело вкуса находилось в весьма сомнительном положении, то никак 'нельзя не признать, 'что в эту эпоху в протестантской части Германии и в Швейцарии уже начало пробуждаться к жизни то, что называется человеческим рассудком.

Школьная философия *, которая всегда ставит себе в заслугу распределение по определенным рубрикам всего, чем только может интересоваться человек, сделалась чуждой массе людей, неудобоваримой и, наконец, совершенно ненужной вследствие темноты и видимой бесполезности своего содержания, вследствие несвоевременного применения по существу 'вполне почтенного метода и чрезмерного распространения на множество предметов. Многие пришли к убеждению, что природа достаточно снабдила их простым здравым смыслом, насколько это им приблизительно нужно, чтобы составить себе достаточно ясное понятие о предметах и уметь обходиться с ними к пользе для себя и других, не заботясь с таким напряжением о самых общих вопросах и не входя в исследование того, какую связь могут иметь между собою 'отдаленнейшие 'вещи, не особенно касающиеся нас. Сделали опыт, раскрыли глаза, стали смотреть прямо перед собой, проявлять внимание, прилежание, деятельность и нашли, что, если правильно судить и действовать в своем кругу, можно осмелиться сказать свое слово и о других, более далеких предметах.

Согласно такому взгляду, каждый имел право не только философствовать, но мало-помалу счесть и себя за философа. Философия представляла поэтому не что иное, как более или менее здравый и вышколенный человеческий рассудок, который отваживался вступить в область общего и высказаться о внутреннем и внешнем опыте. Острота и ясность мысли и особая умеренность, при которой средний путь и терпимость ко всем мнениям считались за правильное поведение, доставляли таким сочинениям и устным высказываниям уважение и доверие, и таким образом философы в конце концов оказались во всех факультетах и даже во всех сословиях и ремеслах.

На этом пути богословы должны были склониться к так называемой естественной религии, и если заходила речь о том, в какой мере свет природы достаточен, чтобы подвинуть нас в познании бога, в улучшении и облагорожении самих себя, то обыкновенно без большого колебания решали вопрос в положительном смысле. Но по принципу умеренности такие же права отводились и всем положительным религиям, вследствие чего все они становились одинаково безразличными и непрочными. Впрочем, все при этом оставалось на своем месте, и так как Библия столь богата содержанием, что более всякой другой книги доставляет материала для размышлений и предметов для суждений о делах человеческих, то ее вполне можно было класть, как прежде, в основу всех речей, произносимых с церковной кафедры, и прочих бесед на религиозные темы.

Но и этой книге, как и всем светским сочинениям, предстояла еще особая судьба, которая с течением времени сделалась неотвратимой. Именно, до сих пор принималось чистосердечно на веру, что эта книга книг составлена в одном духе, даже что она вдохновлена божеством и как бы продиктована им. Но уже давно и верующие и неверующие то осуждали, то оправдывали разноречие отдельных частей ее. Англичане, французы, немцы с большею или меньшею страстностью, с остроумием, дерзостью, насмешкой нападали на Библию, и точно так же защищали ее серьезные благомыслящие люди всех наций. Я лично любил и ценил ее потому, что почти ей одной я обязан был своим нравственным воспитанием. Ее учение, символы, сравнения — все это глубоко запечатлелось во мне и так или иначе имело на меня влияние. Поэтому мне не нравились несправедливые, насмешливые и искажающие дело нападки; но в то время дошли уже до того, что частично допускали как главный довод для защиты, что бог действовал сообразно образу мышления и силе понимания людей и что даже боговдохновенные люди не теряли благодаря этому вдохновленности своего характера, своей индивидуальности, и что Амос, как простой пастух, не мог говорить тем же языком, как Исаия, который будто бы был князем.

(т. IX, ч. 2. кн. 7, стр. 291—293)

...В протестантском богослужении слишком мало полноты и последовательности, чтобы оно могло связывать паству, поэтому члены ее легко отделяются и образуют маленькие общины или живут спокойно своей гражданской жизнью, без церковной опеки. Таким образом, давно уже слышатся жалобы, что число посетителей церкви с каждым годом уменьшается и что в той же мере падает число причащающихся. Причина того и другого, осо-

бенно последнего, вполне понятна, но кто отважится высказать ее? Мы попытаемся это сделать.

В нравственных и религиозных вопросах, как и в физических и гражданских делах, человек редко делает что-нибудь без подготовки: ему нужна последовательность, из которой возникает привычка; то, что он должен любить и делать, он не может представить себе изолированным, оторванным от всего прочего, я чтобы он охотно повторял что-либо, оно не должно быть ему чуждым. Протестантскому культу недостает полноты; исследуйте его в частностях, и вы увидите, что у протестанта слишком мало таинств,—собственно, только одно, в котором он является деятельным,—причащение; крещение же он видит лишь, когда оно совершается над другими, и не ощущает на себе его благодетельного влияния. Таинства — это самое высшее в религии, чувственный символ чрезвычайной божественной благости и милости. При причащении земные уста воспринимают воплощение божественного существа и под видом земной пищи делаются участниками пищи небесной. Этот смысл—один и тот же во всех христианских церквах, разница лишь в том, что таинство совершается с большею или меньшею преданностью тайне, с большим или меньшим приспособлением к тому, что 'понятно; во всяком случае оно остается священным, великим действием, которое в действительности заменяет собой возможное или невозможное — вообще то, чего человек не может достигнуть, но без чего он не может обойтись. Но такое таинство не должно оставаться обособленным; сии один 'христианин не может вкусить его с истинной радостью, для которой оно дается, если в нем не воспитывается при этом символический или сакраментальный дух. Он должен иметь привычку смотреть на внутреннюю религию сердца и на внешнюю религию церкви как на нечто вполне единое, как на великое всеобщее таинство, которое в свою очередь расчленяется на много других таинств и сообщает этим частям свою святость, нерушимость и вечность.

Вот молодая чета подает друг другу руки не для преходящего привета или танца; священник произносит над ними свое благословение, и .союз становится нерасторжимым. Через некоторое время эти супруги приносят к порогу алтаря свое подобие; оно очищается святою водою и так прочно связывается с церковью, что может утратить эту связь только чудовищным отпадением. Ребенок в жизни упражняется в земных делах сам, в небесных же он должен быть наставляем. Если при испытании оказывается, что воспитание закончено, то его принимают в лоно церкви как действительного гражданина, как истинного и добровольного исповедника, с некоторыми внешними знаками важности этого акта. Теперь он — настоящий христианин, только те-

перь постигает он свои преимущества и обязанности. Но за это время он испытал как человек много странных вещей: учение и наказания показали ему, как сомнительно его внутреннее состояние, и впереди предстоит еще учение, предстоят проступки, но наказаний уже более не будет.

Здесь, среди бесконечной путаницы, в которую он попадает вследствие противоречивых требований природы и религии, ему дается превосходный выход: он может поверить свои хорошие и дурные дела, свои недостатки и сомнения достойному, нарочно для этого поставленному мужу, который сумеет его успокоить, предостеречь, укрепить, покарать символическими наказаниями и, наконец, осчастливить совершенным погашением его греха и вновь вручить ему чистую, омытую скрижаль, его человечности. Таким образом, подготовленный, очищенный и успокоенный несколькими таинственными действиями, которые при ближайшем рассмотрении в свою очередь разветвляются на более мелкие таинства, он преклоняет колена, чтобы принять причастие, и, чтобы тайна этого высокого акта казалась еще выше, он видит чашу только издали: это не обыкновенная еда и питье, которые насыщают нас,— это небесная пища, которая заставляет жаждать небесного напитка.

Но пусть не думает юноша, что дело этим кончается, даже муж пусть этого не думает! Правда, в земных делах мы в конце концов привыкаем стоять на своих ногах, хотя и здесь наши знания, рассудок и характер бывают недостаточны; но в делах небесных мы никогда не научаемся до конца. Живущее в нас высшее чувство, которое не всегда себя осознает, испытывает, кроме того, давление столь многих внешних обстоятельств, что едва ли наши внутренние силы доставляют нам все, что нужно для понимания, утешения и помощи. Для этого нам и дано вышеупомянутое целебное средство на всю жизнь, и все время нас ожидает проницательный и благочестивый муж, готовый направить заблуждающегося на верный путь и облегчить его мучение.

То, что было испробовано в течение всей жизни, должно иметь в десять раз более действительную целебную силу на пороге смерти. По доверчивой привычке, приобретенной с юных лет, умирающий с благоговением принимает эти символические, многозначительные уверения, и там, где исчезает всякая земная гарантия, ему обеспечивается блаженство на вечные времена гарантиею небесною: он чувствует себя решительно убежденным, что никакой враждебный элемент, ни злобный дух не могут помешать ему окружиться просветленною плотью, чтобы в непосредственном соприкосновении с божеством сподобиться проистекающего из него бесконечного блаженства.

В заключение, чтобы весь человек был освящен, помазываются и благословляются также его ноги. Если даже он выздоровеет, ноги его должны чувствовать отвращение от прикосновения к этой земной, жестокой, непроницаемой почве, им должна сообщиться дивная упругость, отталкивающая от земли, которая прежде притягивала их. И, таким образом, в этом блестящем цикле одинаково достойных священных действий, красота которых нами лишь вкратце намечена, колыбель и могила, как бы далеко они ни отстояли одна от другой, связываются между собой прочным кольцом.

Но все эти духовные чудеса не произрастают, как другие плоды, на естественной почве, а потому не могут быть ни посеяны, ни посажены, ни возделаны. Их нужно вымолить из другой области, что удается не каждому и не во всякое время. Здесь мы встречаемся с высшим из этих символов древнего, благочестивого предания. Мы узнаем, что один человек предпочтительно перед другими может быть осенен благоволением свыше, благословлен и освящен. Но чтобы все это не казалось естественным даром, нужно, чтобы эта великая милость, сопряженная с тяжелым долгом, передавалась от одного правомочного другому и чтобы 'величайшее благо, которое может получить человек, не имея возможности своими силами приобрести или захватить его, поддерживалось и увековечивалось на земле путем духовного унаследования. В посвящении священнослужителя собрано все, что нужно, чтобы действенно воспринять все те священные акты, которыми благодетельствуется толпа, не имея при этом надобности ни в чем ином, кроме веры и безусловного доверия. И, таким образом, священник выступает в ряду своих предшественников и преемников, в кругу таких же, как он, помазанников, представляя высшее благословляющее существо, выступает тем величественнее, что мы чтим не его, но его сан, не по его знаку склоняем колена, но перед тем благословением, которое он дает и которое тем более кажется нам священным, нисходящим непосредственно с небес, что земное орудие не могло ослабить или обессилить его даже своим грешным и порочным существом.

Как раздроблена в протестантизме эта истинная духовная связь! Часто упомянутых символов объявлена апокрифическими, и лишь немногие из них признаны каноническими. Как же можно желать, чтобы мы равнодушием к одним из них подготовились к великаму достоинству других?

В свое время я был отдан для обучения закону божию доброму, старому, слабому пастору, который много лет уже состоял духовником нашего дома. Катехизис, его парафразу и порядок божественной службы я знал, как свои пять пальцев, не было у меня 'недостатка и в знании веско доказательных библейских из-

речений, но из всего этого я не извлек никакой пользы. Когда мне сказали, что добрейший старик производит свой главнейший экзамен по старой формуле, то я потерял всякий интерес и охоту к делу, предался в последние восемь дней разным развлечениям, положил себе в шляпу добытые у пастора записки, взяв их на время у одного из моих старших приятелей, и читал по ним без чувства и смысла то, что я должен был бы уметь выразить от души и с убеждением.

Еще более моя добрая воля и мои высокие стремления в этом важном случае жизни были парализованы сухой, бездушной рутиной, когда мне пришлось готовиться к исповеди. Я сознавал за собой много проступков, но ни одного большого греха, кроме того, проступки мои казались мне еще более незначительными вследствие сознания моей нравственной силы, которая при твердости намерений и настойчивости в конце концов одолела бы ветхого Адама. Нас учили, что мы именно тем гораздо лучше католиков, что на исповеди нам не нужно признаваться в отдельных грехах и что даже не хорошо было бы, если бы мы этого захотели. С последним я никак не мог согласиться, потому что у меня были очень странные религиозные сомнения, которые я при таком случае охотно бы исправил. Так как этому не суждено было совершиться, то я сочинил для себя исповедь, которая, выражая состояние моей души, могла бы в общих чертах открыть разумному человеку то, что мне запрещено было говорить в частностях. Но когда я вошел в старинные хоры церкви босоногих монахов и подошел к украшенным замысловатой решеткой клеткам, в ко. торых обыкновенно сидели исповедывающие священники, когда звонарь отворил мне .дверь, и я очутился запертым ,в тесном пространстве с моим духовным дедом, и он приветствовал меня своим слабым гнусавым голосом, то разом погас весь свет моего духа и сердца, выученная наизусть исповедь замерла на губах, я раскрыл в смущении бывшую у меня в руках книгу и прочел первую попавшуюся короткую формулу, настолько общую, что ее спокойно мог бы выговорить каждый. Я получил отпущение грехов и ушел ни теплым, ни холодным, пошел на другой день со своими родителями к причастию и вел себя дня два так, как это было прилично после такого священного акта.

Но затем меня постигла беда, которая случается с вдумчивыми людьми благодаря нашей религии, усложненной различными догматами и основанной на библейских текстах, допускающих различные толкования, и которая достигает иногда такой силы, что влечет за собой ипохондрию, в своем высшем развитии доходящую до навязчивых идей. Я знал нескольких людей весьма разумного образа мыслей 'и жизни, которые не могли отделаться от размышлений о грехе против святого духа и от

страха, что они совершили этот грех. Такое несчастье грозило и мне по отношению к причастию. На меня уже очень рано произвели громадное впечатление слова, что тот, кто недостойно вкушает святые тайны, сам вкушает и выпивает свое осуждение. Все ужасное, что я читал в истории средних веков о божьем суде, о странных испытаниях каленым железом, пылающим огнем, кипящею водою, даже то, что рассказывается в Библии об источнике, целительном для невинных, а грешников заставляющем разбухать и лопаться,— все это представлялось моему воображению и увеличивало мои страхи, так как на человеке недостойном, казалось, тяготели грехи лжесвидетельства, лицемерия, клятвопреступления, богохульства, совершенные во время святого таинства *. Это было тем страшнее, что никто не мог с уверенностью считать себя достойным, а прощение грехов, которое могло бы все загладить, было обставлено столь различными условиями, что нельзя было быть уверенным, насколько можно на него надеяться.

r. X, ч. 2, кн. 7. стр. 306—312

Христианская религия колебалась между свойственной ей положительной исторической доктриной и чистым деизмом, основанным на нравственности и долженствующем, в свою очередь, служить основой морали. Различие характеров 'и образа мыслей выражалось здесь в бесчисленных переходах, причем особенное значение имело главное различие, т. е. вопрос — насколько в таких убеждениях должен участвовать разум и насколько чувство. (т. IX, ч. 2, кн. 8, стр. 352)

Большое влияние оказала на меня при этом одна важная книга, попавшая мне в руки: это была «История церкви и еретиков» Арнольда **. Автор этой книги — не только мыслящий историк, но в то же время благочестивый и чувствительный человек. Его мнения во многом совпадали с моими, что мне особенно понравилось в его сочинении; на основании его я получил более выгодное понятие о многих еретиках, которых до сих пор описывали как сумасшедших или безбожников. Дух противоречия и любовь к парадоксам заложены во всех нас. Я прилежно изучал различные мнения, и так как мне довольно часто приходилось слышать, что у каждого человека в конце концов своя собственная религия, то мне представлялось совершенно естественным, что я могу и сам составить себе религию, и это я сделал с большим удовольствием. В основу был положен неоплатонизм, добавлены были элементы герметизма ***, мистицизма и

-

каббалистики, и таким образом я построил себе довольно странный новый мир.

Я представлял себе божество, которое от вечности производит само себя; но так как воспроизведение немыслимо без разнообразия, то божество необходимо должно было явиться в виде чего-то второго, что мы признаем под именем сына божьего. Оба должны были продолжать акт воспроизведения и явились сами себе в виде третьего лица, которое было так же действительно, живо и вечно, как и целое. Этим круг божества был замкнут, и им самим не было бы возможно еще раз создать что-либо вполне равное себе. Но так как стремление к воспроизведению все продолжалось, то они создали четвертое, которое, однако, уже заключало в себе самом противоречие, так как оно должно было быть безусловно, как они, и в то же время содержаться в них и ограничиваться ими. Это был Люцифер, на которого теперь была перенесена вся творческая сила и от которого должно было исходить все прочее бытие. Он тотчас же проявил безграничную деятельность, создав всех ангелов по своему подобию, но самостоятельных, хотя они и содержались в нем и были им ограничены. Окруженный такою славою, он забыл о своем высшем происхождении и думал найти его в самом себе, и из этой первой неблагодарности произошло все, что, по-видимому, Яе согласуется с духом и намерением божества. Чем более он Сосредоточивался в самом себе, тем недовольнее он становился, как и все духи, у которых он отнял радостный подъем к источнику их происхождения. Так произошло то, что мы обозначаем как отпадение ангелов. Часть их сосредоточилась вокруг Люцифера, а другая снова обратилась к своему источнику. Из этой концентрации всего творения (потому что оно исходило от Люцифера и должно было ему следовать) возникло все, что мы воспринимаем под видом материи и что представляем себе тяжелым, твердым и мрачным. Все это хотя и не непосредственно, но преемственно происходит от божественного существа и так же безусловно могущественно и вечно, как отец и прародители. Но Так как все несчастие (если мы можем его так назвать) произошло от одностороннего направления Люцифера, то все же этому творению недоставало лучшей половины, ибо оно обладало всем, что приобретается концентрацией, но было лишено всего, что обусловливается лишь экспансией. Таким образом, все творение должно было само устранить себя постоянной концентрацией, уничтожиться вместе с отцом своим Люцифером и утратить все Притязания на равную с божеством вечность. Элогимы смотрели некоторое время на это положение и могли, если бы хотели, ожидать пришествия тех эонов, в течение которых поле снова бы очистилось и образовалось пространство для нового творения,

но они могли вмешаться 'в настоящее и .посредством своей бесконечности помочь этому недостатку. Они избрали второе и я одно мгновение устранили одной своей волей весь недостаток, причиненный успехом Люцифера. Они дали бесконечному бытию способность распространяться и стремиться к ним; пульс жизни был снова восстановлен, и сам Люцифер не мог избежать этого влияния. Это была эпоха, когда возникло то, что мы называем светом, и началось то, что обыкновенно обозначается словом «творение». Сколько это последнее ни разнообразилось постепенно, вследствие неизменного действия жизненной силы элогимов, недоставало все-таки существа, которое могло бы восстановить первоначальную связь с божеством. Таким образом был создан человек, который должен был быть во всем подобен и даже равен божеству, но опять-таки находился в том же положении, как и Люцифер, т. е. был одновременно безусловен и ограниен, и так как это противоречие должно было обнаружиться у него во всех категориях существования, а полнота сознания и решительная воля должны были сопровождать все его состояния, то можно было предвидеть, что он будет одновременно самым совершенным и самым несовершенным, самым счастливым и самым несчастным созданием. Прошло немного времени, и он вполне повторил роль Люцифера. Отделение от своего благодетеля есть уже неблагодарность, и таким образом это отпадение вторично приобрело выдающееся значение, хотя все творение есть и было не что иное, как отпадение от своего первоисточника и возвращение к нему.

" Легко видеть, что при этом искупление предполагается не только предрешенным от вечности, но и вечно необходимым, чго оно даже должно постоянно возобновляться во все время своего возникновения и бытия. В этом отношении нет ничего естественнее, как то, что само божество принимает человеческий образ. который оно уже подготовило себе как оболочку, и на короткое время разделяет судьбы человека, чтобы через это уподобление возвысить радостное и смягчить горестное. История всех религий и философий учит нас, что эта великая необходимая для человека истина различным образом передавалась разными нациями я разные времена, хотя и соответственно их ограниченности, в форме странных сказаний и обрядов. Достаточно, однако, признать, что мы находимся в таком состоянии, которое, как будто подавляя и угнетая нас, все-таки дает нам возможность и даже делает нашим долгом возвыситься и исполнить намерения божества, с одной стороны — утверждая свою самостоятельность, с другой — через правильные промежутки времени отказываясь от нее.

(т. IX, ". 2, кн. 8. стр. 368—371)

Нетрудно в жизни сделать наблюдение, что человек чувствует себя вполне свободным и наиболее отрешившимся от своих недостатков, когда он представляет себе недостатки других людей и с удовольствием распространяется о них в тоне порицания. Мы испытываем уже довольно приятное ощущение, когда осуждением и злоречием возвышаемся над равными, и хорошее общество, состоит ли оно из многих или немногих лиц, всего охотнее занимается именно этим. Но ничто не может сравниться с тем приятным самодовольством, с которым мы делаемся судьями высших и начальствующих лиц, князей, государственных людей, когда мы находим неудачными и нецелесообразными общественные учреждения и обращаем внимание только на возможные и действительные препятствия, не принимая в соображение ни величия намерений, ни той помощи, которой следует ожидать для всякого предприятия от времени и обстоятельств.

(т. IX, ч. 2, кн. 9. стр. 393—394)

Наши желания — предчувствия скрытых в нас способностей, предвестники того, что мы в состоянии будем совершить. То, на что мы способны и чего хотели бы, представляется нашему воображению вне нас, и в будущем мы чувствуем стремление к тому, чем в глубине души уже обладаем. Таким образом, пылкое предвосхищение превращает действительно возможное в предмет мечты. Если такое направление решительно свойственно нашей природе, то .с каждым шагом нашего, развития исполняется часть первоначального желания, при благоприятных обстоятельствах — по прямому пути, при неблагоприятных — обходом, но так, что мы всегда возвращаемся на прямой путь. Так, мы видим, как человек настойчивостью достигает земных благ, окружает себя богатством, славой и внешними почестями. Другие еще более уверенно стремятся к духовным 'преимуществам, приобретают ясный взгляд на вещи, успокоение духа и уверенность в настоящем и будущем.

Но существует еще третье направление, смешанное из этих обоих и наиболее обещающее успех. Именно, если молодость человека приходится в плодотворную эпоху, когда производительные силы преобладают над разрушительными, и в нем своевременно пробуждается предчувствие того, чего такая эпоха требует и что обещает, то, побуждаемый внешними поводами к деятельному участию, он будет хвататься то за одно, то за другое, и в нем пробудится желание многосторонней деятельности. Но к человеческой ограниченности присоединяется еще столько случайных препятствий, что здесь начатое приостанавливается, там схваченное выпадает, из рук, и разрушается одно желание

ва другим. Но если эти желания были чистосердечны и соответствовали потребностям .времени, то можно спокойно смотреть на все эти отречения и 'потери и быть уверенным, что 'не только все это снова найдется и будет восстановлено, но появится и многое сродное тому, что раньше не затрагивалось и не приходило в голову. Если мы в течение нашей жизни видим, что другие сделали то, к чему мы ранее чувствовали призвание, но от чего должны были отказаться, как и от многого другого, то возникает прекрасное чувство, что только человечество в целом составляет истинного человека и что отдельная личность может быть только рада и счастлива, если она имеет мужество чувствовать себя частью целого.

Гг. IX, ч. 2, кн. 9, стр. 405—406)

Вскоре после того как между нами возникли близкие отношения *, он открыл мне, что намерен принять участие в соискании премии, которая была назначена в Берлине за лучшее сочинение о происхождении языков. Его работа была уже близка к окончанию, и так как он писал весьма разборчиво, то вскоре он мог давать мне, тетрадь за тетрадью, четко написанную рукопись. Я никогда не размышлял о подобных предметах, я слишком был связан с настоящим, чтобы думать о начале и конце. Кроме того, вопрос этот казался мне до некоторой степени праздным: если бог создал человека человеком, то он мог так же сообщить ему речь, как и вертикальную походку; если человек должен был заметить, что он может ходить или брать предметы руками, то не менее легко он мог убедиться в том, что горлом может петь, а с помощью языка, нёба и губ модифицировать эти звуки. Если человек был божественного происхождения, то и сама речь была того же происхождения, и если человек, рассматриваемый среди природы, есть существо естественное, то и речь также естественна. Эти две вещи я никогда не мог разделить, как душу и тело. Зюссмильх, при своем грубом реализме настроенный несколько фантастически, высказался за божественное происхождение, считая, что бог играл роль учителя у первого человека. Сочинение Гердера вело к доказательству, что человек, как таковой, мог и должен был собственными силами дойти до речи. Я прочел это сочинение с большим удовольствием и с пользой, но я еще не был развит настолько, ни в смысле знаний, ни в мыслительном отношении, чтобы составить себе суждение об этом предмете. Поэтому я высказал автору свое одобрение, присоединив лишь немногие замечания, являвшиеся следствием моего образа мыслей...

(т. IX, ч. 2. кн. 10, стр. 425)

Все же не следует никогда говорить о своих или чужих недостатках и менее всего — публично, если при этом не имеется в виду быть полезным другому; поэтому я присоединю здесь несколько соответствующих замечаний.

Благодарность и неблагодарность принадлежат к числу явлений, которые постоянно встречаются в нравственном мире и не дают покоя человеку. Я обыкновенно провожу различие между отсутствием благодарности, неблагодарностью и отвращением к благодарности. Первое свойство прирождено человеку, создано вместе с ним; оно возникает из счастливого легкомысленного забвения, как приятного, так и неприятного. Только это и делает возможным продолжать жизнь. Человек нуждается в таком бесконечном множестве внешних предпосылок -и содействий для сколько-нибудь сносного существования, что если бы он пожелал постоянно воздавать благодарность солнцу и земле, богу и природе, предкам и родителям, друзьям и приятелям, то у него не осталось бы ни времени, ни чувства для восприятия новых благодеяний и наслаждения ими. Однако если естественный человек слишком подчиняется этому легкомыслию, то в нем начинает все более преобладать холодное равнодушие, и, наконец, он уже смотрит на благодетеля, как на некоего чудака, ко вреду которого можно будет предпринять что-нибудь, если это будет для нас полезно. Только это можно назвать в собственном смысле неблагодарностью, которая происходит от грубости и в которую по необходимости впадает в конце концов невоспитанный человек. Отвращение же к благодарности, ответ на благодеяние досадой или раздражительностью встречается .весьма редко и бывает только у выдающихся людей, таких, которые, будучи рождены с большими способностями и чувствуя в себе таковые, с юности должны пробиваться шаг за шагом и со всех сторон вынуждены принимать помощь и содействие: последнее может быть отравлено и делается противным вследствие тупости благодетелей, так как то, что они принимают, есть земное, а то, что дают, имеет высший характер, и об истинной компенсации здесь нечего и думать. Лессинг, обладая в лучшие свои годы ясным пониманием практической жизни, высказался однажды на этот счет грубовато, но весело. Гердер же постоянно отравлял лучшие дни себе и другим, так как чувство досады, естественно овладевшее им в молодости, он не умел впоследствии умерить духовной силой.

Это требование, конечно, легко можно поставить себе, так как природный свет, всегда освещающий человеку его внутреннее состояние, и здесь приходит дружески на помощь способности человека к воспитанию; вообще во многих случаях, связанных с воспитанием, не следует огорчаться недостатками и искать

отдаленных средств к искоренению их, когда на самом деле можно очень легко, играючи, отделаться от некоторых недостатков. Так, например, мы можем развить в себе благодарность как простую привычку, которая будет живо поддерживаться, даже сделается некоторой потребностью.

(т. IX. ч. 2, кн. 10, стр. 429—431)

Все хорошие люди, по мере своего развития, видят, что им приходится играть в мире двойную роль: действительную и идеальную; в этом чувстве надо искать основу всякого благородства. Что нам дано для действительной роли, что вскоре становится нам совершенно ясно; что же касается второй роли, то редко мы ее себе уясняем вполне. Ищет ли человек своего высшего назначения на земле или на небе, в настоящем или в будущем, он все-таки в своем внутреннем мире подвержен вечному колебанию, а с внешней стороны — разрушительным воздействиям, пока он, наконец, раз навсегда не решится признать, что правильно только то, что вполне ему соответствует.

К наиболее простительным попыткам возвыситься В собственном воображении, приравнять себя к чему-нибудь высшему принадлежит свойственное молодости стремление сравнивать себя с героями романов; это стремление в высшей степени невинно и, как бы его ни осуждали, совершенно безвредно; оно поддерживает нас в те времена, когда без него мы погибли бы от скуки или отдались бы страстям ради развлечения.

Как часто раздаются ламентации о вреде романов. Но что за беда, если милая девушка или красивый молодой человек вообразят себя на месте лица, которому живется лучше или хуже, чем ему или ей? Неужели наша повседневная жизнь так хороша или потребности дня захватывают человека настолько целиком, что он должен отказаться от удовлетворения своих лучших стремлений?

Без сомнения, такими разветвлениями романтико-поэтических фикций следует считать и те случаи, когда детям даются историко-поэтические имена, проникшие в немецкую церковь, вместо имен святых, нередко к досаде духовных лиц, совершающих обряд крещения. Это стремление дать ребенку благозвучное имя, хотя бы оно и не имело другой цели, кроме как облагородить его, вполне похвально: такая связь воображаемого мира с действительным распространяет даже приятный отблеск на всю жизнь данной личности. Красивое дитя мы с удовольствием называем Бертою, но нам показалось бы обидным назвать его Урсельбландиной. Такое имя наверное застрянет во рту каждого образованного человека, не говоря уже о любовнике. Холодному и одно-

стороннему в своих суждениях свету нельзя поставить в вину, если он осмеивает и отвергает все фантастическое; но мыслящий знаток человечества должен уметь ценить его значение.

Для влюбленной четы на прекрасных берегах Рейна такое сравнение, подсказанное выходкой шалуна, имело самые приятные последствия. Когда мы смотримся в зеркало, мы не думаем о себе, но зато чувствуем себя и придаем себе известный вес. То же бывает и с теми моральными отражениями, в которых мы узнаем свои нравы и склонности, привычки и особенности, как в силуэте, и с братской искренностью стремимся охватить и обнять их.

(т. X. ч. 3, кн. 77, сгр. 27— 22)

...Церковную историю я знал, пожалуй, еще лучше, чем всемирную, и меня давно уже очень интересовал тот двусторонний конфликт, в котором находится и всегда будет находиться церковь, как официально признанное служение богу. А именно, с одной стороны, она находится в вечном споре с государством, выше которого она хочет стать, а с другой — с частными лицами, которых она хочет всех объединить вокруг себя. Государство, со своей стороны, не желает признать за нею верховного господства, а частные лица противятся праву принуждения со стороны церкви. Государство подчиняет все общим общественным целям, а частные лица — домашним, сердечным, интимным. Я с детства бывал свидетелем таких столкновений, при которых духовенство портило свои отношения то с правителями, то с общиною. Поэтому я решил в своем юном уме, что государство или законодатель имеют право устанавливать известный культ; в соответствии с этим культом духовенство должно учить и действовать, а люди светские должны точно руководствоваться им во внешних и публичных отношениях; в остальном не следует спрашивать, что каждый про себя думает, чувствует или размышляет. Этим, казалось мне, сразу устраняются все коллизии. Поэтому я выбрал для своего диспута первую половину этой темы, именно положение, что законодатель не только имеет право, но и обязан установить известный культ, от которого не могли бы отступать ни духовные, ни светские лица. Я развил эту тему частью исторически, частью в виде рассуждения, причем показал, что все общепринятые религии были введены полководцами, королями и другими могущественными людьми, и что так было даже с христианскою религией. Пример протестантизма был под рукою. При этой работе я тем смелее приступил к делу, что писал ее, собственно, только для того, чтобы удовлетворить отца, и ничего так страстно не желал, как чтобы цензура не про-

пустила ее. Еще со времен Бериша я сохранил непреодолимое отвращение к появлению моих сочинений в печати, а общение мое с Гердером достаточно показало мне мою несостоятельность, так что известное недоверие к самому себе вполне созрело во мне.

Ст. X, ч. 3. кн. 11. стр. 30—31)

Для нас, молодых людей, которым, по нашей немецкой любви к природе и правде, честность по отношению к себе и другим всегда представлялась лучшей руководительницей в жизни и учении, партийная несправедливость Вольтера и искажение им многих достойных уважения вещей были причиной сильного раздражения, и мы с каждым днем относились к нему все более враждебно. Он изо всех сил старался унизить религию и священные книги, на которых она основана, чтобы повредить так называемым попам, что нередко возбуждало во мне весьма неприятные ощущения. Когда же я узнал, что он, с целью опровергнуть предание о всемирном потопе, стал отрицать существование окаменелых раковин и объявил их простою игрою природы, то я совершенно потерял к нему всякое доверие, потому что на Башберге я убедился собственными глазами, что нахожусь на старом, высохшем дне моря,- посреди остатков его первородных обитателей. Действительно, горы эти были когда-то покрыты волнами; было ли это раньше потопа или во время его, это •мне было все равно; так или иначе, долина Рейна представляла громадное озеро, необозримый залив; в этом никто не мог разубедить меня. Напротив, я решил расширить свои знания о странах и горах, что бы из этого ни вышло.

Итак, французская литература устарела и была аристократична сама по себе и благодаря Вольтеру. Да будет нам позволено посвятить этому замечательному человеку еще несколько строк.

С юных лет все желания и усилия Вольтера были направлены в сторону деятельной и общественной жизни, политики, приобретения в большем масштабе связей с властителями земли и использования этих связей, чтобы и самому сделаться одним из властителей земли. Редко кто так умел быть зависимым, чтобы сделаться независимым. Ему удалось покорить себе души; нация ему подчинилась. Напрасно его враги развертывали свои умеренные таланты и чудовищную ненависть; ничто не могло ему повредить. Он, правда, никогда не мог примирить с собою французский двор, зато иностранные государи платили ему дань. Екатерина и Фридрих Великий, Густав Шведский, Христиан Датский, Понятавский ,в Польше, Генрих Прусский, Карл Браун-

швейгский признавали себя его вассалами; даже папы старались приручить его некоторой уступчивостью. Что Иосиф Второй сторонился от него, вовсе не послужило к славе этого государя; ни ему, ни его предприятиям не повредило бы, если бы он, при таком уме, при таких превосходных взглядах, был более остроумен и лучше ценил бы гениев.

То, что я здесь изложил в сжатом виде и в известной связности, звучало тогда как зов времени, как вечный диссонанс, бессвязный и ничему не поучающий. Мы слышали только постоянные похвалы предкам. Раздавались требования чего-нибудь хорошего, нового, однако новейшее всегда отвергалось. 'Не успел один патриот затронуть на давно оцепеневшей театральной сцене национально-французские, возвышающие душу Темы и встреченная с энтузиазмом «Осада Калэ» * имела большой успех, как уже эта пьеса, вместе с ее отечественными собратьями, была признана пустой и достойной всяческого осуждения. Нравоописательные пьесы Детуша, которыми я часто восхищался еще мальчиком, считались слабыми; самое имя этого почтенного человека было забыто; и сколько мог бы я назвать еще других писателей, из-за которых мне приходилось выслушивать упрек, что я сужу, как провинциал, когда я выказывал некоторое сочувствие к подобным людям и произведениям перед кем-нибудь, кто увлечен был современным литературным потоком.

Таким образом, мы, молодые немцы, испытывали растущее недовольство. По нашим взглядам, по природным особенностям нашего характера мы любили удерживать в себе впечатления предметов, медленно перерабатывать их и, если нужно, выражать их как можно позднее. Мы были убеждены, что, добросовестно наблюдая, длительно занимаясь каждым предметом, можно всегда извлечь из него что-нибудь 'и что упорным усердием можно,. наконец, достигнуть того пункта, когда вместе с суждением высказывалось бы и основание его. Мы не скрывали от себя и того, что великий и прекрасный французский мир может доставить нам многие выгоды и приобретения; например, Руссо нам действительно нравился. Рассматривая, однако, его жизнь и судьбу, мы видели, что высшей наградой за все, что он сделал, было то, что он принужден был жить в Париже в неизвестности и забвении.

Когда мы слышали об энциклопедистах или развертывали один из томов их необъятного творения, нам казалось, что мы как будто проходим посреди бесчисленных движущихся веретен и ткацких станков громадной фабрики, причем от непрерывного скрипа и треска механизма, сбивающего с толку ум и глаз, от непонятности всей постройки, различным образом связанной между собой, при виде всего, что необходимо для того, чтобы

приготовить кусок сукна, начинаешь испытывать отвращение к своему собственному сюртуку, который носишь.

Дидро был довольно близок нам, потому что во всем, что в нем порицают французы, он — настоящей немец. Но 'и его точка зрения была слишком высока, его горизонт слишком широк, чтобы мы могли примкнуть к нему и стать рядом с ним. Однако нам очень нравились его дети природы, которых он умел выставить и облагородить с большим ораторским искусством; его чудесные браконьеры и контрабандисты приводили нас в восхищение; и эта сволочь впоследствии даже слишком расплодилась на немецком Парнасе. Таким образом, он, как и Руссо, распространяя отвращение к жизни в обществе, был тихим предисловием к тем чудовищным мировым переменам, при которых, казалось, должно было погибнуть все существующее.

(т. X, ч. 3, кн. 11. стр. 43—46)

К философскому просвещению и усовершенствованию мы не •чувствовали никакого влечения и склонности; относительно религиозных вопросов мы считали себя достаточно просвещенными, и яростный спор французских философов с духовенством был для нас довольно безразличен. Запрещенные книги, осужденные на сожжение, производившие тогда .много шума, не имели на нас никакого влияния. Для примера я назову «Systeme de la nature», • с которой мы познакомились из любопытства. Мы не могли понять, как такая книга могла быть опасной; она представлялась нам такою мрачной, киммерийской, мертвенной, что нам трудно было выносить ее содержание, и мы содрогались перед ней, как <перед призраком. Автор думает, что он особенно хорошо рекомендует читателю свою книгу, заверяя его в предисловии, что как •отживший старец, сходящий уже в могилу, он хочет возвестить истину современникам и потомству.

Мы смеялись над ним; как нам казалось, мы заметили, что 'старые люди, собственно, не ценят в мире ничего, что в нем есть хорошего и достойного любви. «В старых церквах стекла тусклы. О вкусе вишен и ягод спрашивайте детей и воробьев»,— таковы 'были наши любимые пословицы. Таким образом эта книга, как •настоящая квинтэссенция старчества, не имела для нас никакого вкуса и даже вообще казалась безвкусной. По ее изложению, все существующее необходимо, и потому бога нет. «А разве не может быть, что и существование бога необходимо?»—спрашивали мы. При этом мы, конечно, признавали себя связанными необходимостью дней и ночей, климатических влияний, физических и животных условий; но в то же время мы чувствовали в себе нечто,

казавшееся совершенным произволом, и вместе с тем что-то другое, стремящееся уравновесить этот произвол.

Мы не могли отказаться от надежды сделаться все более разумными и независимыми как от внешних вещей, так и от самих себя. Слово «свобода» звучит так прекрасно, что от него нельзя отказаться, хотя бы оно означало заблуждение.

Никто из нас не прочел эту книгу до конца, потому что, раскрыв ее, мы разочаровались в своих ожиданиях. Там была обещана система природы, и мы надеялись действительно что-нибудь узнать о природе, нашем кумире. Физика и химия, описание земли и неба, естественная история и анатомия и многое другое с давних лет и до последнего дня обращали наше внимание на великолепие мира, и мы охотно узнали бы как частное, так и общее о солнцах и звездах, .планетах и лунах, о горах, долинах, реках и морях и обо всем, что в них живет и действует. 'Что при этом должно было оказаться многое, кажущееся вредным для обыкновенного человека, опасным для духовенства, недопустимым для государства, в этом мы не сомневались и надеялись, что книжка не без достоинства выдержит испытание огнем. Но пустой и бессодержательной оказалась эта скучная атеистическая полутьма, в которой исчезли и земля со всеми своими творениями, и небо со всеми своими созвездиями. Материя будто бы существовала от вечности и вечно была в движении, и от этого движения направо и налево и во все стороны происходили без дальнейшего все бесконечные явления бытия. Но и этим мы могли бы удовлетвориться, если бы автор действительно построил перед нашими глазам'и мир из своей движущейся материи. Но он, по-видимому, знал о природе столь же мало, как и мы; установив некоторые основные понятия, он тотчас покидает ее, чтобы превратить то, что стоит выше природы или является высшей природой в природе, материальную, тяжелую, хотя и движущуюся, но лишенную направления и формы природу, и думает, что выиграл этим чрезвычайно много.

Если эта книга принесла нам некоторый вред, то только в том отношении, что нам от души опротивела всякая философия, особенно метафизика; зато мы с тем большею живостью и страстью набросились на живое знание, опыт, деятельность и поэтическое творчество.

(т. X. ч. 3. кн. 11, стр. 48—50)

Таким образом, я пришел в соприкосновение с кружком молодых и талантливых людей, которые впоследствии развили -большую и разнообразную деятельность. Оба графа Штольберги, Бюргер, Фосс, Гельти * и другие по вере и духу примкнули

к Клопштоку, влияние которого простиралось во все стороны. В этом все более расширявшемся кругу немецких поэтов, вместе с разнообразными поэтическими достижениями, развивалась еще другая тенденция, которой я затрудняюсь дать определенное название, ее можно было бы обозначить как потребность в независимости, которая всегда возникает во время мира и в сущности тогда, когда мы не находимся ни в какой зависимости. Во время войны мы переносим грубое насилие как умеем, мы чувствуем нанесенный вред в физическом и экономическом, но не в моральном отношении; принуждение не унижает никого, и вовсе не позорно служить времени; мы привыкаем страдать и от врагов и от друзей; мы имеем желания, но не имеем собственных взглядов. Напротив, в мирное время у человека любовь к свободе выступает с особенной силой, и чем он свободнее, тем более ему хочется свободы; мы не хотим терпеть 'ничего над собой, не желаем быть стесненными и хотим, чтобы никто не был стеснен; и это нежное, даже болезненное чувство проявляется в прекрасных душах в форме справедливости. Такой дух и такое направление обнаруживались в то время повсюду, и так как лишь немногие были угнетены, то и их желали освободить от случайного угнетения; так возникла известная нравственная вражда,. вмешательство отдельных частных лиц в государственные дела, и, при самых похвальных начинаниях, это повело к непредвиденным несчастным последствиям.

(т. X, ч. Э, кн. 12, стр. 93—94)

Упомянутое отвращение к жизни имеет свои физические и моральные причины; первые мы предоставим разбирать врачу, а вторые — моралисту, сами же обратим внимание лишь на главный пункт этого столь часто обсуждавшегося предмета, пункт, в котором это явление выражается всего яснее. Всякое удовлетворение жизнью основывается на правильном чередовании внешних условий. Смена дня и ночи, времен года, цветов и плодов и все прочее, что появляется перед нами в определенные сроки, чтобы мы могли и должны были наслаждаться этими явлениями,— вот что составляет, собственно, пружину земной жизни. Чем доступнее мы для подобных наслаждений, тем счастливее мы себя чувствуем; если же разнообразие этих явлений протекает перед нами без участия с нашей стороны, если мы нечувствительны ко всем этим милым призывам, тогда наступает величайшее зло, самая тяжелая болезнь: мы смотрим на жизнь, как на отвратительное бремя. Про одного англичанина рассказывают, что он повесился только для того, чтобы освободиться от необходимости ежедневно одеваться и раздеваться. Я знал одного

отличного садовника, надзиравшего за большим парком; однажды он воскликнул с досадой: «Неужели же мне суждено всю жизнь смотреть, как эти дождевые облака плывут от запада к востоку». Рассказывают об одном из наших выдающихся людей, что он каждую весну с досадой смотрел на зеленеющие .деревья и желал, чтобы они хоть раз, для перемены, сделались красными. Таковы настоящие симптомы отвращения к жизни, которые нередко приводят у самоубийству и .встречаются у мыслящих, углубленных в себя людей чаще, чем кажется.

Но ничто не возбуждает этого отвращения в большей степени, чем возвращение любви. Справедливо говорят, что первая любовь есть единственная, потому что вместе, со второй и через вторую высший смысл любви уже теряется. Понятие вечности и бесконечности, которое возвышает и возносит любовь, уже разрушено: любовь оказывается преходящей, как все, что возвращается. Обособление чувственной стороны любви от нравственной, которое в сложных условиях культурной жизни кладет грань между любовью и вожделением, ведет и здесь к преувеличениям, не обещающим ничего хорошего.

Далее, молодой человек вскоре замечает, если не на 'себе, то на других, что моральные эпохи сменяются так же, как времена года. Милость великих мира сего, благоволение сильных, помощь деятельных, любовь толпы, привязанность отдельных лиц — все это уходит и возвращается, и мы не можем этого удержать, как не можем остановить Солнце, Луну и звезды; и в то же время эти вещи—не простые явления природы,они уходят от нас по нашей или чужой вине, благодаря случаю или судьбе, но они сменяются и мы никогда не можем рассчитывать на них.

Но более всего пугает чувствительного юношу неудержимое повторение наших ошибок; мы слишком поздно замечаем, что, развивая свои добродетели, мы вместе с ними культивируем и пороки. Первые основываются на последних, как на своих корнях, и корни эти в глубине разветвляются столь же обильно и разнообразно, как первые — на дневном свете. А так как мы большей частью проявляем свои добродетели добровольно и сознательно, а пороки застают нас неожиданно, то добродетели редко доставляют нам радость, а пороки всегда приносят бедствия и мучения. Здесь лежит самый трудный пункт самопознания, который делает его почти невозможным. Представьте себе при этом кипучую молодую кровь, силу воображения, легко парализуемую некоторыми предметами, да еще изменчивые волнения каждого дня, и вы не найдете неестественным нетерпеливое стремление освободиться от подобных тисков.

(т. X. ч. 3. кн. 13, стр. 138—139)

Самоубийство есть такое явление человеческой природы, которое, сколько бы о нем ни говорили, как бы его ни толковали взывает к участию каждого человека и в каждую эпоху должно. рассматриваться снова. Монтескье признает за своими героями и великими людьми право по желанию убивать себя, говоря, что каждому должно быть предоставлено закончить пятый акт своей трагедии там, где ему угодно. Но здесь речь идет не о таких лицах, которые деятельно провели значительную жизнь, отдали дни свои великому государству или делу свободы и которым. нельзя поставить в вину, если они, видя исчезновение на земле одушевлявшей их идеи, надеются продолжать служение ей в другом мире. Мы говорим здесь о таких людях, которым жизнь опротивела от недостатка дела, в самом мирном состоянии, вследствие преувеличенных требований к самим себе. Так как я сам. был в таком положении и лучше всего знаю, какие мучения я при этом претерпел, какого напряжения мне стоило избавиться от них, то я не скрою здесь тех соображений относительно разных способов самоубийства, которые я предусмотрительно обдумывал.

Когда человек отрывается от себя 'и не только наносит себе вред, но и уничтожает самого себя, то это явление настолько; неестественное, что он большей частью прибегает для осуществления своего намерения к механическим средствам. Когда Аякс бросается на свой меч, ему оказывает последнюю услугу тяжесть его собственного тела. Если воин берет слово со своего оруженосца не отдавать его жизни в руки врагов, то он рассчитывает на внешнюю силу, но уже не физическую, а моральную. Женщины охлаждают свое отчаяние в воде, а в высшей степени механическое средство, состоящее в употреблении огнестрельного оружия, обеспечивает быстрый результат при наименьшем усилии. Вешаются неохотно, так как это смерть неблагородная. Ско'рее всего можно встретить этот род самоубийства в Англии, потому что там смолоду привыкают видеть повешение, и эта кара не считается бесчестной. Посредством яда или вскрытия жил готовятся к медленному умиранию, а самая утонченная, быстрая и безболезненная смерть от укуса ядовитой змеи была достойно избрана царицей, проведшей всю жизнь среди блеска и наслаждений. Все это — внешние вспомогательные средства, враги, с которыми человек заключает союз против самого себя.

(т. X, ч. Э, кн. 13. стр. 143—144)

Понятие о человечестве, которое выработалось у него в согласии с его собственной человечностью, так близко совпадало у него с живым представлением о Христе, что ему казалось не-

понятным, как человек может жить и дышать, не будучи христианином. Мое отношение к христианской религии было чистоумственное и душевное, и я не имел никакого понятия о том физическом родстве, к которому склонялся Лафатер. Поэтому мне была очень досадна та страстная настойчивость этого умного и сердечного человека, с которою он приставал ко мне, как и к Мендельсону и другим, утверждая, что нужно или сделаться таким христианином, как он, или переманить его на свою сторону, убедив его в том, на чем успокаивается его противник. Этотребование, столь противоположное тому либеральному взгляду на мир, к которому я мало-помалу пришел, было мне не особенно приятно. Все попытки обращения, если они не удаются, делают предполагаемого прозелита еще более упрямым; так случилось и со мною, когда Лафатер, наконец, поставил передо мною' суровую дилемму: «Или христианин, или атеист». Я объявил ему на это, что если он не хочет оставить меня 'при моем христианстве, как я его до сих пор понимал, то я, пожалуй, решу в пользу атеизма тем более, что, как я вижу, никто хорошенько' не знает, что разумеется под тем и другим.

(т. X, ч. 3, кн. 14, стр. 168)

...Но так как наше внутреннее нравственное существо всегда воплощается .во внешних условиях, например, в .принадлежности: нашей к семье, сословию, гильдии, городу или государству, то для того, чтобы действовать, ему пришлось касаться всех этих внешних условий и приводить их в движение, вследствие чего возникали разные столкновения и замешательства, в особенности потому, что та община, в которой он родился, пользовалась в очень точных и определенных границах похвальной традиционной свободой. Республиканец уже мальчиком привыкает размышлять и говорить об общественных делах. В расцвете своих дней юноша, как член определенного цеха, вскоре имеет случай подать свой голос или отказать в нем. Если он хочет судить правильно и самостоятельно, он прежде всего должен убедиться в достоинстве своих сограждан, он должен узнать их, осведомиться об их взглядах, их силах и, таким образом, стараясь изучить других, постоянно оглядываться на свою собственную душу.

(т. X, ч. 3. кн. 14, стр. 169—170)

Спор между знанием и верой не стоял еще в порядке дня, но оба эти слова и связанные с ними понятия иногда встречались, и истинные презиратели мира утверждали, что и то и другое одинаково ненадежно. Поэтому я любил высказываться

в пользу обоих, хотя мои друзья и 'не одобряли этого. В .вере, говорил я, самое главное, чтобы человек вообще веровал, а во что он верует — это совершенно все равно. Вера есть великое чувство уверенности в настоящем и будущем, и эта уверенность возникает от доверия к сверхвеликому, сверхмогущественному и неисповедимому существу. Все зависит от непоколебимости этого доверия; а что мы думаем об этом существе, зависит от наших способностей, даже от обстоятельств, и совершенно безразлично. Вера есть священный сосуд, в который каждый готов вложить, по мере своих сил, как жертву, свои чувства, разум, воображение. Со знанием дело обстоит совершенно обратно; важно не то, что человек вообще что-нибудь знает, но что именно, насколько хорошо и к а к много он знает. Поэтому о знании можно спорить, так как оно может быть исправлено, расширено или сужено. Знание исходит от единичного, оно беспредельно, не имеет образа и никогда не может быть собрано воедино, разве только в мечтах; поэтому оно совершенно противоположно вере.

(т. X. ч. 3, кн. 14, стр. 175)

Я не мог одобрить его планов *, да и намерения его я не мог себе уяснить. Требование его, чтобы всякое обучение велось живо и согласно с природой, мне нравилось; чтобы древними языками пользовались и в настоящее время, я также находил похвальным и охотно признавал все то, что в его учении клонилось к развитию деятельности и к более свободному мировоззрению; но мне ре нравилось, что рисунки в его «Элементарном сочинении» были еще более разбросаны, чем самые предметы, хотя в действительном мире объединяется только возможное, и потому этот мир, несмотря на его разнообразие и кажущуюся спутанность, всегда имеет во всех своих частях некоторую стройность. Между тем «Элементарное сочинение» совершенно раздробляет его на мелкие части, ставя рядом, из-за родственности понятий, то, что при взгляде на мир совершенно не сходится; поэтому сочинение это лишено тех чувственно-методических преимуществ, которые мы должны признать за соответственными работами Амоса Коменского.

(т. X, ч. 3. кн. 14, стр. 177)

Хотя поэтический способ изложения, наиболее соответствующий моему характеру, интересовал меня всего более, но мне не чужды были и размышления о разных предметах, и оригинальное стремление Якоби к неисповедимому, согласное с его нату-

рою, было мне симпатично и приятно. Здесь не было никакого разногласия,— ни христианского, как с Лафатером, ни дидактического, как с Базедовым. Мысли, которые сообщал мне Якоби, возникали непосредственно из его чувства, и какое своеобразное впечатление испытал я, когда он с безусловным доверием открыл мне глубочайшие требования своей души. Из этого столь удивительного соединения потребности, страсти и идей и для меня могли возникнуть лишь предчувствия того, что, может быть, сделалось бы более ясным в будущем. К счастью, и с этой стороны я был, хотя и не вполне развит, но подготовлен, восприняв в себя бытие и образ мыслей одного необыкновенного человека, с которым я успел познакомиться, хотя и не вполне и только урывками, но все же так, что он произвел на меня значительное впечатление. Этот мыслитель, который подействовал на меня так решительно и которому суждено было иметь такое большое влияние на весь мой умственный склад, был Спиноза. Напрасно ища во всем окружающем мире воспитательных средств, подходящих для моей странной натуры, я наконец наткнулся на «Этику» этого автора. Что я вычитал из этого сочинения, какие вложил в него при чтении собственные мысли, об этом мне трудно дать точный ответ, достаточно сказать, что я нашел здесь успокоение для своих страстей, и мне показалось, что передо мною открывается великий и свободный вид на умственный и нравственный мир. Но что меня в особенности привлекло к нему,— это было бесконечное бескорыстие, сквозившее в каждом его положении. Удивительное выражение: «кто любит бога как следует, не должен требовать, чтобы бог его любил», со всеми предпосылками, на которых оно основывается, и со всеми следствиями, которые из него вытекают, заставило меня посвятить ему все мои размышления. Быть бескорыстным ко всему и всего бескорыстнее в любви и дружбе — было моим величайшим наслаждением, моим правилом, моею практикой, так что брошенное впоследствии дерзкое слово: «Если я тебя люблю, то какое тебе дело до этого?» было выражением моих затаенных мыслей. Впрочем, нельзя не признать, что самые искренние отношения возникают только из противоположностей. Полное спокойствие Спинозы составляло контраст с моим вечным волнением, а его математический метод являлся противоположностью моему поэтическому способу мышления и изображения, и именно его строго методический способ разработки вопросов, который принято было считать неподходящим для нравственных тем, сделал меня его страстным учеником, его самым решительным почитателем. Ум и сердце, разум и чувство искали друг друга по необходимому внутреннему родству, и благодаря этому родству происходило сближение столь различных характеров.

Все это находилось еще в первом периоде действия и противодействия, бродило и кипело. Фриц Якоби, первый, кому я дал заглянуть в этот хаос, и который сам был занят такой же глубокой внутренней работой, сердечно отнесся к моему доверию, сочувственно ответил на него и постарался ввести меня в круг своих мыслей. Он чувствовал, так же как и я, невыразимую духовную потребность, он тоже не хотел успокоить ее с посторонней помощью, а стремился к тому, чтобы она достигла ясности, развиваясь из себя самой. То, что он сообщил мне о состоянии своей души, я не мог схватить и еще меньше мог дать ему понятие о моем собственном состоянии. Но он, ушедший, по сравнению со мною, далеко вперед в философском мышлении и даже в изучении Спинозы, старался руководить моим смутным стремлением и просвещать меня. Такое чистое духовное родство было для меня ново и возбуждало страстное желание дальнейшего общения. Ночью, после того, как мы уже расстались и разошлись по своим спальням, я еще раз зашел к нему. Лунный свет дрожал на широком Рейне, и мы, стоя у окна, наслаждались полнотой обмена мыслей и чувств, которая так переполняет нашу душу в это чудное время нашего развития.

(т. X, ч. 3, кн. 14, стр. 186—188)

Между тем причина, почему я постепенно все более удалялся от этого учения, заключалась в том, что я старался усвоить его со слишком большой серьезностью, даже со страстной любовью. Со времени моего сближения с братской общиной моя склонность к этому обществу, собравшемуся под победоносным знаменем Христа, все возрастала. Каждая положительная религия наиболее привлекательна, когда она находится в периоде своего возникновения; поэтому приятно переноситься во времена апостолов, когда все было так свежо и непосредственно духовно, и братская община имела в себе нечто магическое именно потому, что она как бы продолжала или даже увековечивала это первичное состояние. Она вела свое происхождение от древнейших времен, она никогда не достигала законченного вида, она лишь незаметной порослью пробивалась сквозь грубый мир; и вот теперь такой отводок пустил корни под защитой одного набожного выдающегося человека, чтобы, исходя из незаметных, как бы случайных задатков, снова широко разрастись в мире. Самый важный пункт состоял в том, что религиозные и гражданские уставы сливались здесь в одно нераздельное целое, что учитель был в то же время и повелителем, отец—судьей; даже более: божественный верховный глава, которому безусловно верили в духовных делах, был призван и к руководству делами

светскими, и то, что определял жребий как по отношению к управлению в целом, так и для каждого отдельного лица, принималось с покорностью, как его решение. Прекрасное спокойствие, по крайней мере внешнее, было в высшей степени привлекательно, а с другой стороны миссионерская работа требовала величайшего напряжения всей деятельной силы человека. Выдающиеся лица, с которыми я познакомился на синоде в Мариенборне, куда меня взял с собою легационный советник Мориц, поверенный в делах графа фон-Изенбург, приобрели мое полнейшее уважение, и от них вполне зависело, чтобы я примкнул к их общине. Я занимался их историей, их учением, происхождением и развитием его, мог дать отчет обо всем этом и беседовать с сочувствующими. Но я не мог не заметить, что братья, как и фрейлейн фон-Клеттенберг, не хотели меня считать настоящим христианином, и это сначала тревожило меня, а потом несколько охладило мою любовь к ним. Долго я не мог найти, в чем, собственно, состоит различие между нами, хотя оно было довольно очевидно; наконец, оно выяснилось скорее случайно, чем в результате моих поисков. От братской общины, как и от других достойных христианских душ, меня отделяло то самое, из-за чего церковь уже неоднократно впадала в раскол. Одна часть верующих утверждала, что человеческая природа настолько испорчена грехопадением, что в самом внутреннем существе ее нет уже ни следа добра, а потому человек совершенно не может полагаться на свои силы и должен ожидать всего от благодати и ее действия. Другая часть, напротив, вполне признавая наследственные пороки человека, в то же время усматривала в его внутренней природе существование некоторого начала, которое, будучи оживлено божественной благодатью, может вырасти в радостное древо духовного блаженства. Этим последним убеждением был всецело проникнут и я, сам того не зная, хотя устно и письменно я высказывался за противоположное; но это все было у меня так смутно, что я ни разу не поставил перед собою эту дилемму. От этих грез я пробудился совсем неожиданно, когда однажды совершенно непринужденно высказал свое, как мне казалось, вполне невинное мнение в одной духовной беседе, за что мне пришлось выслушать строгую отповедь. Мне возразили, что это чистое пелагианство *, и что, к несчастью для нашего времени, это губительное учение снова начинает распространяться. Я был удивлен и даже испуган. Я снова обратился к истории церкви, ближе рассмотрел учение и судьбу Пелагия и ясно увидел, что эти два непримиримые мнения в течение столетий вызывали постоянные колебания и по-разному воспринимались людьми, смотря по тому, были ли они более активного или пассивного характера.

В последние годы я непрерывно чуствовал побуждение к упражнению своих собственных сил; я проявлял неутомимую деятельность, по доброй воле направленную к собственному моральному воспитанию. Внешний мир требовал, чтобы эта деятельность была упорядочена и направлена на пользу других, и я должен был осуществить в самом себе это великое требование. Всюду вокруг себя я видел необходимость обратиться к природе, которая явилась мне во всем своем великолепии; я познакомился с множеством отличных, славных людей, которые с великими усилиями исполняли свой долг ради самого долга; отречься от них и от самого себя казалось мне невозможным; пропасть, отделявшая меня от вышеупомянутого учения, стала мне ясна. Я должен был, следовательно, выйти из этого общества и, так как у меня нельзя было отнять моей любви к священному писанию, а также к основателю нашей религии и его первым последователям, то я составил себе христианскую религию для своего личного употребления и старался обосновать и развить ее прилежным изучением истории и тщательным наблюдением над теми, кто склонялся к моему образу мыслей.

(т. X, ч. 3, кн. 15, стр. 195—198)

...'Эпоху, в которую мы жили, •можно назвать требовательной, потому что мы ставили себе и другим такие требования, которым не Удовлетворил еще ни один человек. В это время людям, выдающимся по своему образу, мыслей и чувств, открылось, что непосредственный оригинальный взгляд на природу и основанные на нем действия представляют самое лучшее, чего может пожелать человек, и что этого не трудно достигнуть. Поэтому опыт снова сделался всеобщим лозунгом, и каждый стал раскрывать свои глаза, как умел; более же всего причин стремиться к этому имели врачи, которым представлялось и более всего подходящих к тому случаев. Здесь сияло им из глубокой древности светило, которое могло служить примером всего, достойного желания. Сочинения, дошедшие до нас под именем Гиппократа, были образцом того, как человек должен смотреть на мир и передавать виденное им, не вмешивая себя в предметы наблюдения. Но никто не думал о том, что мы не можем видеть так, как видели греки, не можем творить поэзию, ваять и лечить, как они. Если даже допустить, что мы могли бы учиться у них, то ведь за долгое время накопилось бесконечно много опыта, не всегда одинаково чистого, причем часто опыты находились в зависимости от мнений. Но все это надо было узнать, разобрать и процедить; опять громадное требование; затем надо было также, лично осматриваясь вокруг себя и работая, изучить здоро-

вую природу так, как если бы она в первый раз была предметом внимания и изучения; при этом надо было делать только то, что являлось подлинным и правильным. Но так как ученость вообще немыслима без политистории и педантизма, а практика — без эмпирии и шарлатанства, то возник сильнейший конфликт, причем надлежало отделить злоупотребление от правильного употребления и отдать преимущество зерну над шелухою. Когда же приступили к делу, то увидели, что в конце концов скорее всего можно достигнуть цели, если призвать на помощь гений, который своей магической силой мог бы уладить спор и осуществить требования. Но тут замешался в дело разум, доказывая, что все должно быть сведено к ясным понятиям и изложено в логической форме, чтобы были устранены все предрассудки и уничтожено всякое суеверие. Так как действительно некоторые исключительные люди, как Бургаве и Галлер, совершили невероятное, то казалось, что мы имеем право требовать еще большего от их учеников и последователей. Говорили, что путь проложен, хотя в житейских делах редко можно говорить о проложенном пути, потому что, как вода, вытесняемая кораблем, тотчас же снова смыкается за его кормою, так и заблуждения, устраненные выдающимися умами и очистившие место, снова возвращаются вслед за ними с большой быстротой.

(т. X, ч. 3, кн. 75, стр. 21S—219)

Я долгое время не думал о Спинозе, а теперь, под влиянием возражений, почувствовал снова влечение к нему. В нашей библиотеке я нашел книжку, автор 'которой * весьма резко нападал на этого своеобразного мыслителя; чтобы сделать свои нападки более действительными, он поместил против заглавного листа портрет Спинозы с 'надписью: «Signum reprobationis in vultu gerens». Взглянув на портрет, нельзя было не согласиться с этим, потому что гравюра была отчаянно плоха и изображала действительно .безобразную физиономию; я 'вспомнил 'при этом тех противников, которые сперва искажают того, кто им не нравится, а потом сражаются с ним, как с чудовищем.

Книжка эта, однако, не произвела на меня впечатления, потому что я вообще не любил полемики и всегда предпочитал узнавать от самого человека, как он думал, чем выслушивать от другого, как он должен был бы думать. Но любопытство заставило меня прочесть статью о Спинозе в словаре Бэйля, сочинении, которое настолько же ценно и полезно своею ученостью и остроумием, насколько смешно и вредно своими сплетнями и шарлатанством.

Статья «Спиноза» возбудила во мне неудовольствие и недоверие. Сперва этот человек объявляется атеистом, мнения его отвергаются, а затем признается, что Спиноза — спокойно мыслящий человек и серьезный ученый, притом хороший гражданин, с общительным характером и мирными наклонностями. Таким образом как будто было совершенно забыто евангельское изречение: «По их плодам узнаете, вы их». И конечно: как может жизнь, угодная людям и богу, исходить из вредоносных основ?

Я еще хорошо помнил, какое успокоение и ясность ощутил я, когда однажды перелистал посмертные труды этого замечательного человека. Это впечатление было для меня еще совершенно ясно, хотя частностей я не мог уже вспомнить; поэтому я опять поспешил обратиться к сочинениям, которым я был столь многим обязан, и на меня снова повеяло тем же мирным воздухом. Я отдался этому чтению и находил, заглядывая в свою душу, что никогда я еще с такою ясностью не взирал на мир.

Так как по этому поводу много спорили вплоть до новейшего времени, то, во избежание недоразумений, я не могу не вставить здесь нескольких слов о взгляде на мир, возбуждавшем такой страх и даже отвращение.

Наша физическая и общественная жизнь, нравы, обычаи, житейская мудрость, философия, религия, даже многие случайные события — все призывает нас к самоотречению. Многое из того, что существеннейшим образом относится к нашему внутреннему миру, мы вынуждены таить в себе, не обнаруживая ничем; то, что нам нужно извне для пополнения нашего существа, у нас отнимается; зато нам навязывается многое чуждое и тягостное. У нас похищают то, что мы с трудом приобрели, или то, что было дружески уступлено нам, и не успеем мы в этом разобраться, как уже вынуждены к отказу от своей личности, сперва частями, а потом и целиком. При этом вошло в обычай не уважать того, кто по такому поводу выказывает раздражение; напротив, чем горше чаша, тем более сладкую мину надо делать, чтобы не обидеть спокойного зрителя какой-нибудь гримасой.

Чтобы разрешить эту трудную задачу, природа одарила человека изобилием сил, деятельностью и стойкостью. Особенно же помогает ему легкомыслие, которое неразлучно с ним. Благодаря этому он делается способным ежеминутно отказываться от отдельных предметов, если только в ближайшее мгновение он может ухватиться за что-нибудь новое; таким образом мы бессознательно все время восстанавливаем всю свою жизнь. На место одной страсти мы подставляем другую; мы пробуем всякие занятия, склонности, любительства, прихоти и все затем, чтобы, наконец, воскликнуть, что все—суета. Никто не приходит в ужас от этого лживого, даже богохульного вывода, и

люди даже думают, что они сказали этим нечто мудрое и неопровержимое. Лишь немногие предвидят это невыносимое ощущение и, чтобы избежать всех частичных отречений, отрекаются от всего с самого начала и раз навсегда.

Эти последние убеждены в существовании вечного, необходимого, законного и стараются составить себе такие понятия, которые были бы нерушимы и которые не только не уничтожались бы созерцанием преходящего, яо скорее получали бы в нем подтверждение. Но так как в этом действительно содержится нечто сверхчеловеческое, то такие люди обыкновенно считаются не людьми, но безбожниками, стоящими вне мира; пожалуй, некоторые не прочь приписать им рога и когти.

Мое доверие к Спинозе основывалось на том успокаивающем влиянии, которое он оказывал на меня, и оно еще увеличилось, когда моих любимых мистиков обвиняли в спинозизме, когда я узнал, что и Лейбниц не избежал этого упрека, что даже Бургаве, заподозренный 'в этих взглядах, 'должен был перейти от богословия к медицине.

Однако не следует думать, что я согласился бы подписаться под его сочинениями или принял их буквально. Я давно уже ясно усмотрел, что ни один человек не понимает другого вполне, что никто под теми же самыми словами не разумеет того же, что другие, и разговор или чтение книги у разных лиц вызывают различный ход мыслей; конечно, автору «Вертера» и «Фауста» можно поверить, что он, глубоко задетый такими недоразумениями, сам не был настолько самонадеян, чтобы претендовать на полное понимание человека, который, будучи учеником Декарта, с помощью математической и раввинской культуры, поднялся до вершин мышления, служащих и до сего дня целью всех философских стремлений.

Что именно я усвоил себе из него, можно было бы совершенно ясно представить, если бы уцелело описание посещения Спинозы Вечным жидом, которое я придумал для этой поэмы как важную составную часть ее. Мне так приятно было обдумывать эту тему, и я так усердно занимался этим про себя, что не успел ничего записать; при этом замысел, который был бы недурен. как мимолетная шутка, до такой степени расширился, что потерял свою прелесть, надоел мне, и я его выбросил из головы. Но насколько основные точки этого сближения со Спинозой остались для меня незабвенными и какое большое влияние они имели на мою последующую жизнь, это я постараюсь раскрыть и представить здесь как можно короче и яснее.

Природа действует по вечным, необходимым и столь божественным законам, что само божество ничего не могло бы изменить в них. Все люди бессознательно .вполне согласны с этим.

Малейший намек на то, что какое-нибудь явление природы происходит на основании рассудка, разума или даже только произвола, приводит нас в изумление, даже в ужас.

Когда в животных обнаруживается -что-нибудь, похожее на разум, мы не можем прийти в себя от удивления; хотя они близко стоят к нам, они все же кажутся отдаленными от нас бесконечной пропастью, будучи заключены в царство необходимости. Поэтому нельзя осуждать тех мыслителей, которые считают бесконечно искусную, но точно ограниченную технику этих созданий совершенно сходной с машиной.

Если мы обратимся к растениям, то наша точка зрения подтвердится еще более замечательным образом. Попробуем дать себе отчет в ощущении, которое мы испытываем, когда мимоза от прикосновения складывает попарно свои перистые листочки и, наконец, опускает черешок, образующий как бы сустав. Еще более усиливается это ощущение, для которого я не нахожу имени, при наблюдении над растением «Hedysarum gyrens», которое то опускает, то поднимает свои листочки без видимого внешнего повода, как бы играя с самим собою и с нашими понятиями. Представьте себе, что этою способностью был бы одарен пизанг, что он поочередно поднимал бы и опускал бы свои огромные зонтичные листья: всякий, кто увидел бы это в первый раз, отступил бы в ужасе. В нас до такой степени укоренилось понятие о наших собственных преимуществах, что мы раз навсегда не допускаем участия в них внешнего мира, так что, пожалуй, если бы это зависело только от нас, мы готовы были бы признавать их даже за существа, подобные нам.

Такой же ужас овладевает нами, когда мы видим, что человек неразумно действует против общепризнанных нравственных законов, 'безрассудно противится своей собственной и чужой пользе. Чтобы избавиться от ужаса, испытываемого нами при этом, мы превращаем его в порицание, в отвращение, и стараемся освободиться от этого человека хотя бы мысленно, если не наделе.

Это противоречие, с такою силою выдвинутое Спинозой, я в очень странной форме применил к самому себе, и все, до сих пор сказанное, служит лишь к тому, чтобы сделать понятным последующее.

(т. X. ч. 4. кн. 16. стр. 230—234)

Люди такого образа мыслей охотнее всего беседуют между собою о том, что называется «пробуждением», «переменой образа мысли»,— состояния, психологического значения которых мы не отрицаем. Это собственно то, что мы называем в науке и поэзии «aperu» — усмотрение какого-нибудь великого принципа,

представляющее всегда гениальную умственную операцию: мы достигаем этого непосредственным созерцанием, а не размышлением, не обучением и не преданием. В данном случае это открытие моральной силы, которая якорем своим имеет веру и с гордой уверенностью ощущается среди жизненных волн.

Такое «apercu» доставляет открывшему его величайшую радость, потому что оно оригинальным способом указывает на бесконечное; оно не нуждается в известном периоде времени для того, чтобы стать убедительным, оно возникает целиком и окончательно в одно мгновение, по добродушной старофранцувской
пословице: En peu d'heure

Dieu labeure *.

Иногда внешние толчки вызывают внезапный прорыв такой перемены мыслей, и тогда кажется, что мы видим перед собою знамение или чудо.

(т. X, ч. 4, кн. 16, стр. 244)
Но еще живее был заинтересован мир, когда целый народ выразил намерение освободиться. Уже раньше мы с удовольствием смотрели на нечто подобное в малом виде; Корсика давно была пунктом, привлекавшим все взоры. Паоли **, не будучи в состоянии довести до канца свое патриотическое предприятие, уехал в Англию и проездом через Германию привлек к себе все сердца. Это был красивый, стройный блондин, симпатичный и приветливый; я видел его в доме Бетмана, где он пробыл короткое время и с веселой любезностью принимал теснившихся к нему любопытных. Теперь подобные же явления повторились в отдаленной части света; мы желали всякого счастья американцам, и имена Франклина и Вашингтона начали блистать и сверкать на политическом и военном горизонте. Многое уже произошло для освобождения человечества, и когда новый благожелательный французский король обнаружил прекрасное намерение ограничить свою власть для устранения многочисленных злоупотреблений и осуществления самых благородных целей и установить правильное государственное хозяйство, отказавшись от произвола и насилия и управляя только посредством порядка и права, то по всему м'иру распространились самые светлые надежды, и доверчивая юность стала надеяться для себя и для всего современного поколения на прекрасное, великолепное будущее. Во всех этих событиях я принимал участие, однако, лишь поскольку они интересовали широкие слои общества; я сам и мой ближайший кружок не занимались газетами и новостями; нашей заботой было познание человека, а до людей вообще нам было мало дела.

Спокойное состояние немецкого отечества, в котором пребывал более ста лет и мой родной город, способствовало сохранению его внешнего облика, несмотря на многие войны и потрясения. Этому приятному состоянию благоприятствовало то обстоятельство, что от высшей точки до низшей, от императора до еврея, разнообразнейшие ступени связывали всех людей вместо того, чтобы разделять их. Если короли были подчинены императору, то это вполне уравновешивалось их избирательным правом и соединенными с ним приобретенными и утвержденными преимуществами. Высшая знать была тесно связана с королевскими домами и, сознавая свои значительные привилегии, могла считаться равноправной с главой своего государства, в известном смысле даже выше его, так как духовные курфюрсты стояли впереди всех других и, как отпрыски иерархии, занимали неоспоримое почетное место.

Если принять в соображение те чрезвычайные выгоды, которыми пользовались эти старинные фамилии в разных епископствах, рыцарских орденах, духовных коллегиях, обществах и братствах, то легко представить себе, что эта масса значительных людей, чувствовавшая себя во взаимном соподчинении, жила в величайшем довольстве и в упорядоченной светской деятельности, без особенного труда подготовляя и оставляя в наследство своим потомкам столь же отрадное положение. Этот класс не был лишен и умственной культуры: высшее образование получило за последние сто лет большое значение в военных и гражданских делах; оно распространилось в знатных и дипломатических кругах и в то же время стало господствовать над умами при посредстве литературы и философии, поставив их на высокую точку зрения, не совсем благоприятную для современности.

В Германии еще никому не приходило в голову завидовать этой огромной привилегированной массе или осуждать ее счастливые преимущества. Среднее сословие без помех занималось торговлей или науками и благодаря этому, а также с помощью родственной этому занятию техники составляло значительный противовес знати; свободные или полусвободные города покровительствовали этой деятельности, и занимавшиеся ею люди были до известной степени спокойны и довольны. Кто увеличивал свое богатство и умел развить свою умственную деятельность, в особенности в юридических или государственных делах, тот мог пользоваться повсюду значительным влиянием: в высших имперских судах и других местах ставили даже против скамьи для знати скамью для ученых; свободный взгляд одних охотно примирялся с более глубоким знанием других, и в жизни не проявлялось никакого следа соперничества; знать чувствовала себя спокойно, владея недостижимыми, веками освященными

привилегиями, а бюргер считал ниже своего достоинства стремиться к видимости таких преимуществ через приставку частицы «фон» к своему имени. Купец или техник был достаточно занят заботой о том, чтобы хоть сколько-нибудь соперничать с дальше нас ушедшими нациями. Если оставить в стороне обычные колебания каждого дня, то можно в общем сказать, что это было время чистых стремлений, которые раньше не проявлялись в таком виде и впоследствии не могли долго удержаться благодаря повышению внешних и внутренних требований.

В это время мое положение по отношению к высшим сословиям было очень благоприятно. Если в «Вертере» высказывалось нетерпение по поводу неудачного положения 'на границе двух определенных состояний, то с этим примирялись 'ввиду общего страстного характера книги, поскольку каждый ясно чувствовал, что здесь яе имеется в виду никакого непосредственного воздействия.

«Гец фон Берлихинген», с другой стороны, поставил меня в очень хорошее положение по отношению к высшим классам: в нем, может быть, были нарушены каноны предшествующей литературы, но зато серьезно и со знанием дела был изображен быт старой Германии, с неприкосновенным императором во главе и с разными другими ступенями государственного порядка, изображен был рыцарь, который в беззаконное время, в качестве единичного частного лица решился действовать если не по закону, то по праву и благодаря этому попал в трудное положение. Этот комплекс был не выдуман, но был изображен с ясной живостью и благодаря этому, может быть, кое-где с некоторой модернизацией, но все же на основании собственного рассказа этого славного, порядочного человека, составленного несколько в его пользу.

Его семья еще процветала; ее отношения к франконскому рыцарству сохранились в целости, хотя эти отношения, как многое в то время, поблекли и частью утратили свое значение.

С этих пор речка Якст и замок Якетгаузен получили поэтическое значение; их стали посещать, как и ратушу в Гейльбронне.

Было известно, что я имел в виду изобразить и другие события из истории того временя, м многие семейства, которые вели оттуда свое происхождение, надеялись, что я когда-нибудь выведу на свет божий и их предков.

Когда народу искусным образом напоминают о его прошлом, это всегда вызывает приятное чувство; мы радуемся добродетелям наших предков и смеемся над их недостатками, полагая, что эти недостатки давно уже преодолены; поэтому такому изображению обеспечены интерес и успех, что я неоднократно испытал в этом случае.

Замечательно, однако, что среди множества знакомств и большого числа молодых людей, примкнувших ко мне, не было ни одного из знати; зато было много людей в возрасте уже за тридцать лет, которые посещали меня, и в намерениях и стремлениях, ими высказываемых, сквозила надежда развить свое образование в отечественном и общечеловеческом направлении.

В это время вообще зародился и оживился интерес к эпохе между пятнадцатым и шестнадцатым столетиями. Мне попали в руки сочинения Ульриха фон-Гуттена, и мне было довольно удивительно, что в наши дни как будто снова начало обнаруживаться нечто сходное с тем, что происходило тогда.

Здесь поэтому , будет уместно привести следующее письмо Ульриха фон-Гуттена к Виллибальду Пиркгеймеру.

«Что счастье дало нам, то оно 'большею частик» снова отнимает; мало того: все, что человек приобретает извне, подвержено случаю. Вот я стремлюсь к почестям, которых желал бы достичь без вражды, каким бы то ни было образом; я страстно желаю славы и желал бы стать возможно более благородным. Было бы плохо, любезный Виллибальд, если бы я теперь уже считал себя благородным, хотя я родился в благородном сословии, в благородной семье и от благородных родителей: я должен облагородить себя своими собственными усилиями. Вот какое высокое дело я имею в виду и замышляю еще высшее. Не то, чтобы я хотел быть возвышен в более знатный, блестящий сан, нет, я ищу источника, из коего я мог бы почерпнуть особое благородство и не быть причисленным к самонадеянной знати, довольствуясь тем, что я получил от своих предков; я хотел бык этим благам присоединить еще кое-что от себя, что перешло бы от меня к моему потомству.

К этому я обращаюсь и устремляю все свои занятия и усилия в противовес мнению тех, которые считают достаточным то, что есть; для меня ничто подобное недостаточно в смысле того честолюбия, которое я тебе изложил. И я признаюсь, что не завидую тем, которые, происходя из низших сословий, поднялись выше меня; в этом случае я вовсе не согласен с людьми моего сословия, которые бранят лиц низкого происхождения, возвысившихся своими заслугами. С полным правом могут быть предпочтены нам те, которые воспользовались и завладели материалом для славы, оставленным нами в пренебрежении. Хотя бы они были сыновьями суконщиков или кожевников; ведь они достигли этого с большей трудностью, чем могли бы сделать это мы. Неученый человек, завидующий тому, кто выдвинулся своими знаниями, заслуживает не только названия глупца, но и самого жалкого из жалких людей; и наша знать особенно страдает этим пороком, косо смотря на такие украшения. Боже мой!

Как можно завидовать тому, кто обладает тем, чем мы пренебрегли! Отчего же мы сами не занимались законами, не приобрели прекрасной учености, не научились наилучшим искусствам? Тут суконщики, сапожники и каретники опередили нас. Почему мы уступили им это положение. Почему свободнейшие занятия мы предоставили слугам и, к стыду для нас, их грязи. По праву каждый ловкий и прилежный человек мог завладеть пренебреженным нами наследием знати и использовать его в своей деятельности. А мы, несчастные, пренебрегшие тем, что достаточно для каждого низшего, чтобы возвыситься над нами, перестанем завидовать и постараемся сами достигнуть того, что присвоили себе другие к нашему позорному посрамлению.

Всякое стремление к славе почтенно, всякая борьба из-за дельной цели похвальна. Предоставим же каждому сословию его собственную честь, собственное украшение. Я не хочу презирать портреты предков и пышные родословные; но каково бы ни было их достоинство, оно — не наше, пока мы не завоевали его собственными заслугами, и достоинство это не сохранится, если знать не усвоит приличествующих ей нравов. Напрасно разжиревший и толстый отец семейства будет показывать тебе портреты своих предков, если он сам ничего не сделал; он более похож на чурбан, чем .на тех, которые раньше его сияли своими достоинствами.

Вот те пространные и чистосердечные слова о моем честолюбии и моем характере, которые я хотел сообщить тебе».

Хотя и не в такой красноречивой связи и последовательности, но я слышал от моих знатных друзей и знакомых те же самые дельные и веские соображения, и результат их выразился в честной деятельности. Сделалось лозунгом, что каждый должен лично приобресть себе благородство, и если в эти прекрасные дни обнаруживалось какое-либо соперничество, то оно направлялось сверху вниз.

Мы, прочие, имели все, чего желали; мы совершенно свободно пользовались данными нам природою талантами, так как это вполне согласовалось с нашими гражданскими условиями.

Дело в том, что мой родной город находился в совершенно особенном, недостаточно оцененном положении. Если северные свободные имперские города опирались на свою широкую торговлю, а южные, при менее благоприятных торговых условиях, на искусство и технику, то во Франкфурте-на-Майне замечался особый комплекс условий, в котором сочетались торговля, капитал, владение домами и имениями, стремление к знанию и коллекционерство.

Государственной религией было лютеранство; старое наследство Гана, ведущее свое имя от дома Лимбургов, дом Фрауэн-

штейнов, вначале только клуб, остававшийся верным разуму при потрясениях, произведенных низшими сословиями, юристы и прочие состоятельные и благонамеренные люди — никто не был исключен из магистратуры; даже те ремесленники, которые в опасные времена оставались на стороне порядка, допускались в Совет, хотя и должны были оставаться на отведенных ям местах. Другие, уравновешивающие эту власть должности, формальные учреждения и все вообще, что окружает такое государственное устройство, давало простор для деятельности многих людей, причем торговля и техника, благодаря счастливому местоположению, не встречали никаких препятствий для своего распространения.

Высшая знать действовала сама по себе, не внушая зависти и почти не замечаемая; второе, ближайшее к ней сословие должно было быть уже более деятельным и, опираясь на старинные семейные состояния, старалось заявить о себе правовой и государственной ученостью.

Так называемые реформаты, как и в других местах refugies *. составляли особый, отличный от всех класс, и когда они по воскресеньям выезжали в своих роскошных экипажах к обедне в Бокенгейм, то это всегда было чем-то вроде триумфа над бюргерами, которые должны были идти в церковь пешком как в хорошую, так и в дурную погоду.

Католиков почти не было видно; но и они пользовались выгодами, предоставленными обеим другим религиям.

Гг. X, ч. 4, кн. П. стр. 269—276)

Здесь, вероятно, уместно будет вставить некоторые рассуждения, также относящиеся к этим обстоятельствам.

Никто охотно не признает преимуществ другого человека, если он сколько-нибудь может отрицать их. Но всякие природные преимущества отрицать всего труднее, и все-таки в принятом тогда словоупотреблении слово «гений» прилагалось только к поэту.

Но вот как будто сразу открылся новый мир: стали требовать гения от врача, от полководца, от государственного человека, наконец, от всех людей, которые хотели выдвинуться в теории или на практике. Циммерман .впервые высказал эти требования. Лафатер ,в своей «Физиогномике» по необходимости должен был указать на более общее распределение духовных дарований всех'родов; слово «гений» сделалось всеобщим лозунгом, и так как оно часто повторялось, то стали думать, что то, что им обозначается, обыкновенно существует и на деле. Но так как каждый имел право требовать гения от других, то в конце концов он думал, что и сам должен обладать им. Далеко еще было

до того времени, когда было высказано, что гений есть та сила человека, которая посредством деятельности и работы создает законы и правила. В те времена гений проявлялся только в том, что он переступал существующие законы, опровергал установившиеся правила и объявлял себя безграничным. Поэтому быть гениальным было легко, и совершенно естественно, что это злоупотребление словом и делом заставляло всех порядочных людей противиться такому безобразию.

Если кто-нибудь пускался в путь пешком, не зная хорошенько, зачем и куда, то это называлось «гениальным путешествием», а если кто-нибудь предпринимал нечто без цели и пользы, то это называлось «гениальной выходкой». Молодые и живые, иногда действительно даровитые люди терялись в безграничном; старшие, более разумные, но иногда лишенные таланта и ума, готовы были тогда с величайшим злорадством представить в смешном виде перед публикой различные неудачи, постигавшие первых.

Таким образом, развитию и проявлению моего таланта более мешало влияние и содействие многих единомышленников, чем сопротивление людей другого образа мыслей. Слова, эпитеты, фразы, ко вреду высших духовных дарований, получали такое широкое распространение среди толпы, бессмысленно повторявшей их, что и до сих пор мы слышим их в повседневной жизни от необразованных людей; они вошли даже в словари, и слово гений в стольких случаях искажалось в своем значении, что некоторые считали даже необходимым вовсе изгнать его из немецкого языка.

Таким образом, немцы, вообще более способные поддаваться влиянию пошлости, чем другие нации, может быть, лишились бы прекраснейшего цветка в языке, слова, которое как будто чужое, но одинаково принадлежит всем народам — если бы, по счастью, не восстановилось снова чувство высокого и доброго, обоснованное более глубокой философией.

(т. X, ч. 4. кн. 19, стр. 317—318)

На протяжении этого биографического рассказа читатель мог подробно узнать, как ребенок, отрок, юноша разными путями старался приблизиться к сверхчувственному. Сначала он был склонен к естественной религии, затем с любовью примкнул к религии положительной; затем, сосредоточившись в самом себе, он испытал свои собственные силы и, наконец, радостно перешел к общей вере. Когда в промежутках между этими областями он бродил туда и сюда, искал, осматривался, ему встречалось многое, как будто не принадлежащее ни к одной из них, и потому он все более и .более приходил к убеждению, что лучше не

направлять своих мыслей на необходимое 'и непостижимое. Ему казалось, что в природе, живой и неживой, одушевленной и неодушевленной, он 'видит нечто, обнаруживающееся лишь в противоречиях и потому не подходящее ни под одно понятие 'и тем более не могущее быть обозначено никаким словом. Это не было что-то божественное, потому что оно казалось неразумным; это не было и что-то человеческое, потому что не обладало рассудком; не дьявольское, потому что оно было благодетельно; не ангельское, потому что в нем часто проявлялось злорадство. Оно напоминало случай, потому что было непоследовательно; оно походило и на провидение, так как указывало на связь. Все, что ограничивает нас, казалось для него проницаемым; казалось, что оно произвольно обращается с необходимыми элементами нашего бытия; оно сжимало время и раздвигало пространство. Лишь невозможное, казалось, было ему приятно; возможное оно отталкивало с презрением.

Это начало, которое как будто вдвигалось между всеми прочими, разделяло и связывало их, я называл демоническим, по примеру древних и тех, кто раньше заметил нечто подобное. Я старался спастись от этого грозного начала, укрываясь, по своему обычаю, за каким-нибудь поэтическим образом.

К тем частям всемирной истории, которые я 'изучал подробнее других, принадлежали события, которыми так прославились объединенные впоследствии Нидерланды. Я старательно изучал источники и пытался ознакомиться с ними по возможности непосредственно, чтобы живо представить себе все. Положение представлялось мне в высшей степени драматическим, и главной фигурой, вокруг которой удачнее всего могли быть собраны все остальные, явился для меня граф Эгмонт *, человеческое и рыцарское величие которого привлекало меня всего более.

Но для своих целей я должен был превратить его в такой характер, который обладал бы свойствами, украшающими скорее юношу, чем пожилого человека, скорее холостяка, чем отца семейства, скорее независимого человека, чем такого, который, как бы свободно он ни мыслил, ограничен разнообразными отношениями.

Таким образом, мысленно омолодив его и освободив от всяких условий, я придал ему безмерную жизнерадостность, безграничное доверие к самому себе, дар привлекать к себе всех людей и через это любовь народа, скрытую склонность принцессы, ясно выраженную любовь простой девушки, симпатию умного государственного человека и даже привязанность сына своего величайшего врага.

Личная храбрость, отличающая героя, есть тот фундамент, • на котором покоится все его существо; основа и почва, из кото-

рой оно вырастает. Он не знает никакой опасности и слеп по отношению к величайшей из них, приближающейся к нему. Мы можем как-нибудь пробиться через кольцо окруживших нас врагов; труднее прорвать сети государственной мудрости, демоническое начало, действующее с обеих сторон, конфликт, в котором дорогое нам гибнет, а ненавистное торжествует, а затем надежда, что из этого получится нечто третье, удовлетворяющее желанья всех людей, все это доставило пьесе (правда, не сразу после ее появления, а лишь позднее, в надлежащее время) те симпатии, которыми она и до сих пор пользуется.

Здесь я позволю себе опять, ради некоторых дорогих мне читателей, забежать вперед, так как я не знаю, скоро ли мне опять доведется говорить, и высказать нечто, в чем я убедился лишь позднее.

Хотя упомянутое демоническое начало может проявляться во всем телесном и бестелесном и даже весьма замечательно выражено у животных, 'но оно находится по 'преимуществу в удивительной связи с человеком и представляет силу, если не противоречащую моральному порядку мироздания, то перекрещивающуюся с ним, как в ткани одни нити перекрещиваются с другими.

Для явлений, проистекающих отсюда, существует бесчисленное множество названий; все религии и философские системы пытались в поэзии и в прозе разрешить эту загадку и окончательно выяснить вопрос, о чем и впредь им предоставляется хлопотать.

Но страшнее всего проявляется это демоническое начало, когда оно получает преобладающее значение в каком-нибудь одном человеке. В течение моей жизни я наблюдал несколько таких людей, частью вблизи, частью издали. Это не всегда выдающиеся люди, отличающиеся умом или талантами; редко они выделяются сердечной добротой; но от них исходит огромная сила, и они имеют невероятную власть над всеми созданиями, даже над стихиями, и кто скажет, насколько далеко может простираться такое действие. Все соединенные нравственные силы ничего не могут сделать против них; напрасно более сознательная часть человечества старается сделать их подозрительными, как обманутых или обманщиков. Массу они привлекают по-прежнему. Редко или никогда не встречаются среди их современников Другие люди подобного склада, и ничто не может одолеть их, кроме вселенной, с которой они вступили в борьбу. Из таких-то наблюдений и происходит, вероятно, странное, но имеющее огромное значение изречение: «Nemo contra deum nisi deue ipse» *.

(т. X, ч. 4, кн. 20. его. 334—337)

(1817)

Когда я стремился если и не проникнуть в учение Канта, то хотя бы по возможности использовать его, мне порой казалось, что этот замечательный муж действовал с плутовской иронией, когда он то как будто старался самым тесным образом ограничить познавательную способность, то как бы намекал на выход за пределы тех границ, которые он сам провел. Он, конечно, не мог не заметить, сколько кичливости и умничанья обнаруживает человек, когда он, имея небольшой опыт, преспокойно сразу же, необдуманно, изрекает приговор и опрометчиво стремится утвердить что-нибудь, приписать предметам какой-нибудь вздор, мелькнувший у него в голове. Вот почему наш мастер и ограничивает мыслящего человека рефлектирующей дискурсивной способностью суждения и совершенно отказывает ему в определяющей. Но затем, в достаточной мере зажав нас, даже доведя до отчаяния, он решается перейти к самым либеральным высказываниям и предоставляет нам любым образом использовать ту свободу, которую он в известной степени признает за нами. В этом смысле мне казалось чрезвычайно важным следующее место: «Мы можем представить себе такой рассудок, который, будучи не дискурсивным, как наш, а интуитивным, от синтетически общего, от созерцания целого как такового, идет к частному, от целого к частям. При этом вовсе не нужно доказывать, что такой intellectus arch'etypus возможен; иужно лишь показать, что при сопоставлении нашего дискурсивного, нуждающегося в образах рассудка (intellectus ectypus) и случайного ха-

«

рактера именно такой его структуры, мы приходим к идее некоего intellectus archetypus, и эта идея «е содержит ib себе противоречия».

Правда, автор имеет здесь, по-видимому, в виду божественный рассудок, однако, если в нравственной сфере посредством веры в бога, добродетель и бессмертие души мы способны подняться в высшую сферу и приблизиться к первому существу, то и в интеллектуальной области можно было бы также признать, что посредством созерцания вечно созидающей природы мы становимся достойными принять духовное участие в ее творениях. И если я сначала бессознательно и по внутреннему влечению без устали добивался первообраза, типического и мне даже посчастливилось создать представление, согласное с природой, то уже с тех пор ничто не может мне помешать и дальше отважно настаивать на этой авантюре разума, как. ее называет сам кенигсбергский старец.

(И. В. Гете. Избранные сочинения по естествознанию, стр. 381—382) ,

Влияние новой философии

(1817)

Для философии в собственном смысле у меня не было органа; только постоянное противодействие, которое я вынужден был оказывать, чтобы выдерживать натиск внешнего мира и усваивать его, должно было привести меня к методу, посредством которого я старался понять мнения философов, как будто это были тоже предметы, и с помощью их усовершенствоваться, Бруккерову историю философии я в юности охотно и усердно читал; однако при этом я походил на человека, который всю жизнь видит над своей головой вращение звездного неба, различает некоторые заметные созвездия, ничего не понимая в астрономии, знает Большую Медведицу, а Полярную звезду не знает.

Об искусстве и его теоретических требованиях я много толковал с Морицом в Риме; небольшая напечатанная статья свидетельствует и сегодня о нашей тогдашней продуктивной темноте. В дальнейшем при изложении «Опыта» по метаморфозу растений я должен был развить метод, сообразный с природой; ибо когда вегетация шаг за шагом являла мне свой образ действия, то блуждать я не мог, а должен был, не препятствуя ей, признать пути и средства, которыми она постепенно может самое скрытое состояние довести до завершения раскрытия. При физических исследованиях я был вынужден прийти к убеждению, что при всяком рассмотрении предметов высшим долгом является тщательно разыскивать каждое условие, при котором возникает феномен, и добиваться наибольшего совершенства феноменов; ибо в конце концов они вынуждены сомкнуться в ряды

или, вернее, налечь друг на друга и должны образовать перед взором исследователя своего рода организацию, обнаруживал свою общую внутреннюю жизнь. Между тем это состояние продолжало напоминать сумерки, я нигде не находил света в моем смысле, ибо ведь каждый может быть просвещен только по-своему.

«Критика чистого разума» Канта давно, уже появилась, но она находилась совершенно вне круга моих интересов. Я, однако. присутствовал при многих разговорах о ней, и при некотором внимании я мог заметить, что возобновляется старый основной вопрос: сколько привносит в наше духовное существование наше собственное я и сколько — внешний мир. Я их никогда не разделял и, философствуя о вещах по-своему, делал это с бессознательной наивностью и действительно думал, что воочию вижу свои мнения. Но как только завязался этот спор, я охотно стал на ту сторону, которая больше всего делает чести человеку, и вполне одобрял всех друзей, утверждавших вместе с Кантом, что, хотя все наше познание и начинается с опыта, оно тем не менее не проистекает целиком из опыта. Априорное познание я тоже допускал, как и синтетические суждения a priori: ведь и сам я в течение всей своей жизни, сочиняя и наблюдая, действовал то синтетически, то аналитически; систола и диастола человеческого духа были для меня как второе дыхание, всегда нераздельное, постоянно пульсирующее. Но для всего этого у меня не было слов, еще меньше фраз; и вот теперь, казалось, впервые мне приветливо улыбнулась теория. Вход мне нравился, а самый же лабиринт я не решался идти; то препятствовал этому мой поэтический дар, то человеческий рассудок, и ничто не могло мне помочь.

К несчастию, Гердер, хотя и ученик Канта, был противником его. И это еще более ухудшало мое положение: с Гердером я не мог согласиться, но и за Кантом я следовать не мог. Тем временем я продолжал серьезно заниматься образованием и преобразованием органических существ, причем метод, который я применял к растениям, служил мне надежным путеводителем. От меня не ускользнуло, что природа всегда поступает аналитически, ведя развитие из живого таинственного целого, а затем она, казалось, снова действует синтетически, сближая и соединяя в одно целое совершенно чуждые друг другу отношения. Вновь и вновь возвращался я к кантовскому учению; отдельные главы, казалось мне, я понимаю лучше остальных, и так я приобрел кое-что для своего домашнего обихода.

Но вот в мои руки попала «Критика способности суждения», и ей я обязан в высшей степени радостной эпохой моей жизни. Здесь я увидел самые разные занятия мои поставленными

рядом, произведения искусства и природы трактованным сходным образом, эстетическая и телеологическая способность суждения взаимно освещали друг друга.

Если мой способ представления и не везде мог совпасть с мнением автора, если тут или там на мой взгляд кое-чего недоставало, то все же великие основные мысли произведения представляли полную аналогию с моим прежним творчеством, деятельностью и мышлением; внутренняя жизнь искусства, как и природы, деятельность обоих изнутри 'наружу была ясно высказана в книге. Создания этих двух бесконечных миров объявлялись существующими ради самих себя, и стоящее рядом друг с другом было, правда, друг для друга, но не нарочно ради друг Друга.

Мое отвращение к конечным причинам было отныне обосновано и оправдано; я мог ясно различать цель и действие, я понял также, почему человеческий рассудок их часто путает. Меня радовало, что поэтическое искусство и сравнительное естествознание находятся в столь близком родстве, подчиненные одной и той же способности суждения. Страстно увлеченный, я тем быстрее шел своим путем, что сам не знал, куда он ведет, и от кантианцев слышал мало 'сочувствия тому, что и как я усвоил. Ибо я высказывал только то, что меня волновало, а не то, что я прочел. Предоставленный самому себе, я все снова возвращался к изучению этой книги. Меня и теперь еще радуют те места в старом экземпляре, которые я тогда подчеркнул, так же и в «Критике разума», в которую, казалось, мне тоже удалось глубже проникнуть: ведь оба эти произведения, созданные одним умом, всегда указывают друг на друга. Мне хуже удавалось сближение с последователями Канта; они выслушивали меня, но не могли мне ничего возразить, а также быть мне чем-либо полезными. Не раз случалось, что тот или иной из них с улыбкой удивления признавался, что это, правда, аналог кантовского способа представления, не странный аналог.

Как удивительно обстояло здесь дело, стало понятно, когда сложились мои отношения с Шиллером. Наши разговоры были или деловыми, или теоретическими, обычно теми и другими вместе. Он проповедовал евангелие свободы, я не давал в обиду прав природы. Быть может, больше из дружеской склонности ко мне, чем по собственному убеждению, он в «Эстетических письмах» более не третировал уже добрую мать в тех жестких выражениях, которые сделали столь ненавистной мне его статью «О грации и достоинстве». Но так как я, со своей стороны, упорно и упрямо не только продолжал настаивать на преимуществах греческой поэзии и развивающейся на ее основе литературы, но даже считал сей род единственно правильным и желательным,

то он был вынужден глубже вникнуть в вопрос, и этому конфликту мы обязаны статьей о наивной и сентиментальной поэзии. Оба рода поэзии, спокойно противостоя друг Другу, взаимно признавали равное право каждого.

Он тем самым положил первую основу для всей новой эстетики. Ибо эллиническое и романтическое — и какими бы иными синонимами это еще ни называлось—все можно свести туда, где впервые шла речь о преобладании реальной или идеальной трактовки.

Так я понемногу привык к языку, который раньше был мне совершенно чужд и к которому мне было тем легче приспособиться, что благодаря вытекавшему из него более высокому представлению об искусстве и науке я сам себе мог казаться значительнее и богаче, тогда как раньше нам, «прочим», приходилось сносить совершенно недостойное обращение со стороны адептов популярной философии и еще одного рода философии, которую

я не знаю, как назвать.

Дальнейшими успехами я обязан особенно Нитгаммеру, который с самым дружеским терпением пытался разрешить мне главные загадки, развить и объяснить отдельные понятия и выражения. Чем я тогда же и позже был обязан Фихте, Шеллингу. Гегелю, братьям Гумбольдтам и Шлегелям, я надеюсь с благодарностью рассказать в будущем, если мне будет дано хотя бы даже не представить, а лишь наметить с моей точки зрения картину столь значительной для меня эпохи — последнего десятилетия прошлого века.

(И. В. Гете. Избранные сочинения по естествознанию, стр. 377—380)

Размышление и смирение

(1817)

Рассматривая мироздание во всем его объеме и .в мельчайших деталях, мы представляем себе, что в основе всего лежит идея, по которой 'извечно действуют и творят бог в природе, природа в боге. Созерцание, .рассмотрение, размышление подводят нас ближе к этим тайнам. Мы отваживаемся и осмеливаемся создавать идеи; но мы умериваем свои пыл и составляем понятия, которые должны быть аналогичны тем первоначальным понятиям.

Здесь мы сталкиваемся с трудностью, которая не всегда ясно осознается, а именно, что 'между идеей и опытом лежит пропасть, перешагнуть 'которую мы напрасно стараемся. И несмотря на это мы вечно стремимся преодолеть этот пробел разумом, рассудком, силой воображения, верой, чувством, мечтой, а если ничто не поможет, то глупостью.

Наконец, затратив некоторые усилия, мы приходим к выводу, что прав, наверное, тот философ, который утверждает, что никакая идея полностью с опытом не согласуется, признавая, правда, что идея и опыт могут и даже должны быть аналогичны.

Соединить идею и опыт весьма трудно, что очень мешает в естествоиспытании. Идея независима от пространства и времени, естествоиспытание ограничено пространством и временем.

Поэтому в идее теснейшим образом переплетаются симультанное и суксессивное, с точки же зрения опыта они 'всегда раздельны, и действие природы, которое по идее 'нам представляется симультанным и суксессивным одновременно, может довести нас до своего рода сумасшествия.

Разум не может себе представить объединенным то, что чувствами воспринято раздельно, и так и остается неразрешенным противоречие между восприятием и существующим в идее.

Поэтому мы с некоторым удовольствием бежим под сень поэзии и с небольшими изменениями споем старую песенку * на новый лад: Так смотрит скромным взглядом

Мастерское произведение вечной ткачихи, Как один толчок приводит в движение тысячу нитей, Челноки носятся взад и вперед, Нити текут встречаясь, Один удар завязывает тысячу узлов; Это не выпрошено ею, А так ведется от века, Чтобы вечный мастер спокойно мог

Делать свое дело.

(IV., II, 11, S. 56—57)

Предложение к примирению

(1817)

Природа принадлежит сама себе, существо — существу, человек принадлежит природе, она — человеку. Тот, кто вникает в таинства природы здравым открытым свободным умом, он и является самым серьезным наблюдателем, как .неискушенное дитя. Поэтому удивительно, что естествоиспытатели спорят за место на необозримом пространстве и хотели бы друг другу ограничить безграничный мир.

Познание, созерцание, наблюдение, рассмотрение, синтезирование, открытие, изобретение суть виды духовной деятельности, которые тысячу раз, отдельно или в совокупности, совершаются более или менее одаренными людьми. Констатация, классификация, счет, измерение, взвешивание являются значительными вспомогательными средствами, с помощью которых человек постигает природу и стремится господствовать над ней, чтобы в конечном счете все использовать для себя.

Добрая природа-мать никому 'не запрещает пользоваться всеми этими и другими родственными видами деятельности. Правда, ребенок или слабоумный замечают иногда больше, чем здравомыслящий взрослый, и присваивают себе бессознательно от общего богатства какую-то долю.

При современном положении естествознания нужно неустанно говорить о том, что может способствовать его развитию и что мешать, и ничто не может быть более полезным, чем если бы каждый был на своем месте, знал бы свои возможности, делал бы, что в его силах, но и за другими 'признавал бы равные права, что они тоже работают и приносят пользу. К сожалению,

положение таково, что 'все это не делается без борьбы 'и споров, так как имеет место 'вражда, как это бывает на этом свете, и среди людей создается исключительная собственность, и друг другу мешают отнюдь не только тайно, но и открыто.

И в этих записках 'не удалось избежать противоречий и 'возражений, и даже весьма серьезных.

Но поскольку я хочу отвоевать для себя и других большее пространство, чем нам до сих пор отводилось, то меня и моих единомышленников нельзя упрекать в том, что мы остро выступаем против того, что противостоит нашим законным требованиям, и что мы не позволяем по отношению к себе ничего, что уже много лет учинялось против нас.

Но для того, чтобы скорее окончились эти неприятные волнения умов, я предлагаю, чтобы каждый, кто бы он ни был, проверил свои права и спросил себя: приносишь ли ты пользу на своем месте и в чем твои задачи. Мы это делаем ежедневно, и эти тетради есть тому свидетельство, и мы собираемся их продолжить четко и ясно, насколько позволят предмет и силы.

(W., II, 77, S. 65—67,)

О фантазии

(1817)

Прилагаемое при этом краткое изложение философии Канта, во всяком случае, заслуживает внимания, так как из него можно познакомиться с направлением этого выдающегося мыслителя. Против его учения делалось 'немало возражений, а впоследствии оно было значительным образом дополнено, даже потенцировано. Поэтому книга ценна тем, что касается исключительно кенигсбергского философа.

Не скрою замечания, которое пришло мне 'в голову при чтении. В § 3 заключается, 'по-моему, один из главных недостатков, обнаружившийся во всем течении этой философии. В качестве главных сил нашей способности представления здесь приводятся чувственность, рассудок и разум, фантазия же забывается, благодаря чему получается неисправимый пробел. Фантазия — четвертая главная сила нашего духовного существа. Она дополняет чувственность в форме памяти, она доставляет рассудку миросозерцание в форме опыта, она оформляет или находит образы для идей разума, и тем оживотворяет человеческое единство в его целом, которому без нее пришлось бы погрузиться в жалкое ничтожество.

Но если фантазия оказывает такие услуги трем сестрам способностям, то сама она впервые вводится этими милыми родственницами в царство тетины и действительности. Чувственность предлагает ей резко очерченные, определенные образы, рассудок упорядочивает ее продуктивную силу, разум же дает

ей полную уверенность в том, что она не сводится к игре грезами, а обоснована на идеях.

Повторим сказанное с иных точек зрения.— Так называемый человеческий .рассудок покоится 'на чувственности, 'как чистый рассудок — на самом себе и своих законах. Разум возвышается над ним, не отрываясь от него. Фантазия витает над чувственностью и притягивается ею. Но как только она замечает вверху разум, она тесно примыкает к этому высшему руководителю. Так мы видим круг наших состояний вполне замкнутым и тем не менее бесконечным, потому что одна способность нуждается в другой и все должны помогать друг другу.

Эти отношения можно рассматривать и выражать на сотни ладов; например, iЬ обыденной жизни опыт толкает нас к известным правилам, рассудку удается разделить, распределить и хоть как-нибудь сопоставить. Таким путем 'возникает своего рода метод. Тогда вступает в дело все охватывающий, надо всем возвышающийся, 'ничего не упускающий разум. Между тем все пронизывающая, все украшающая фантазия непрерывно становится все прекраснее по 'мере приближения к чувственности, все достойнее — по мере соединения с разумом. На первой границе можно найти истинную поэзию, 'на второй — подлинную философию, которая, правда, вступая 'в жизнь и претендуя на признание со стороны толпы, кажется обыкновенно причудливой и неизбежно должна 'наталкиваться на 'непонимание.

(В. О. Лихтенштальт. Гете, стр. 485—487)

Метеоры литературного неба

(1817)

Prioritat. Anticipation. Praoccupation. Plagiat. Posse B. Usurpation.

Латинское происхождение вышеназванных слов не должно ставиться им в вину, поскольку эти слова обозначают отношения, имеющие место лишь в 'среде ученых, так как они трудно переводимы, то, очевидно, будут стараться исследовать их значение и заниматься им, 'потому что иначе невозможно предпринять ни" каких решительных шагов ни 'в древней, ни в новейшей истории литературы, 'ни в истории науки и тем более поделиться своим мнением с другими по 'вопросам разного рода повторяющихся событий. Поэтому я собираюсь подробно объяснить, что я понимаю под этими словами и в 'каком значении я буду их впредь употреблять. И это я сделаю добросовестно. При этом я воспользуюсь всеобщей свободой распространять свои убеждения через печать.

Prioritat

С детства мы радуемся предметам, поскольку мы их живо воспринимаем, отсюда любопытные вопросы малышей, как только у них пробуждается сознание. Им отвечают и удовлетворяют их любопытство на некоторое время. Но с годами увеличивается желание исследовать, открывать, изобретать, и благодаря такой деятельности вырастает значимость и достоинство субъекта. Кто впоследствии под влиянием какого-нибудь внешнего фактора чувствует себя в своем внутреннем я, тот испытывает удовлетворение, доверие к самому себе, радость, приносящую успокоение; это называется открыть, изобретать.

Человек постигает достоверность своего существа благодаря тому, что признает существа вне самого себя как подобные себе, как законные. Каждому отдельному человеку простительно, если он славится тем, в чем собственно заслуга целой 'нации, что она помогла своему соотечественнику быть в почете.

Anticipation

Гордиться открытием вполне закономерное благородное чувство. Но чувство гордости сменяется вскоре чувством обиды; ибо молодой 'человек очень скоро узнает, что предшественники его опередили. Это неприятное чувство англичане удачно называют mortification (унижение, горькое чувство обиды, разочарование), так 'как это есть настоящее убиение старого Адама, если мы отказываемся от своих особых 'заслуг, и хотя мы ;и высоко ценим себя среди всего человечества, однако нам приходится жертвовать своей самобытностью. Невольно видишь себя удвоенным и соперничаешь с самим собой и.со всем человечеством.

Однако сопротивляться нельзя. Стоит 'вспомнить историю, и все видишь в новом свете. Понемногу начинаешь понимать преимущество, которым ты обладаешь, поскольку у тебя были известные предшественники, оказывавшие влияние на будущее вплоть до нашего времени. Это нам придает уверенность, что поскольку мы что-то делаем, то и мы должны оказать влияние на будущее, и, радостно покорившись, мы успокаиваемся.

Но если случается, что о таком открытии, которому мы втихомолку радовались, громко заявлено 'на 'весь мир нашими современниками раньше нас, причем ни они о нас, ни мы о них ничего не знали, но 'напали на ту же значительную мысль, то возникает еще большее чувство досады, чем в первом случае. Потому что, если мы своим предшественникам, правда немного, и оказываем какую-то честь, надеясь прославиться преимуществами потомства, то мы не можем спокойно смотреть на то, что современники наши кичатся теми же гениальными привилегиями.

Если в одно и то же время одинаковые истины открываются различным индивидуумам, то начинаются споры и раздоры, так как никто не хочет подумать о том, что к современному поколению он имеет такое же отношение, как к предшествующему и будущему.

Отдельные люди, школы, даже целые народности ведут по этому поводу непрекращающиеся споры. И все же мысли и мнения носятся иногда в воздухе, так, что многие могут их услышать.

Или, говоря менее мистически, определенные представления становятся зрелыми со временем. Так же как в различных садах плоды с дерева падают в одно время.

Но так как от современников, особенно от работающих в одной области, трудно добиться, знали ли они что-нибудь друг о друге и не опередили ли намеренно один другого, то потому и возникает в общей жизни то самое идеальное чувство недовольства, и высший дар, как всякое другое земное владение, становится предметом ссор и раздоров, и не только тот 'человек, которого это непосредственно касается, но и все друзья и соотечественники последнего поднимаются и принимают участие ib споре. Возникает разлад, и 'никакое время не в состоянии разделить страсти и самое событие. Можно вспомнить спор между Лейбницем и Ньютоном; и на сегодняшний день только специалисты этого предмета ясно отдают себе отчет о тех условиях.

Praoccupation

Поэтому трудно установить границы, в пределах которых это слово употребляется: ведь само открытие или изобретение есть обнаружение, оформление которого происходит не сразу, оно проникает в душу и сердце. Кто испытывает это, 'чувствует себя стесненно. Он испытывает потребность говорить об этом, 'пытается навязать другим свои убеждения, его не признают. Наконец, это подхватывает какой-нибудь способный человек и выдает это а какой-то степени за свое.

При возрождении наук, когда предстояло многое открыть, прибегали к помощи логогрифов. Кому приходила в голову счастливая, имевшая важные последствия мысль и кто не хотел ее сразу делать достоянием всех, преподносил ее публике в виде загадки. Впоследствии подобные открытия публиковали через академии, чтобы быть спокойным за честь своей 'духовной собственности, отсюда же и пошло, что англичане, 'которые так просто изо всего умеют извлекать пользу и выгоду, придумали патенты, которые запрещают на известный период времени повторение уже изобретенного.

Недовольство, вызванное тем, что тебя опередили, растет чрезвычайно бурно. Оно испытывается по отношению к человеку, который нас обманывает, и питается непримиримой ненавистью.

Plagiat

(Плагиатом) называется самый грубый вид захвата, для чего требуются дерзость и .бесстыдство и который, может быть, именно благодаря этим 'качествам остается некоторое время не обнаруженным. Тот, кто использует рукописные или печатные, но не слишком известные произведения и выдает их за свои, называется плагиатором. Жалким людям мы эти хитрости прощаем, но если, как это часто бывает, это проделывают талантливые люди,

то это возбуждает в «ас, даже если это плагиат не по отношению к 'нам, чувство неприязни, ибо почета и известности в этом случае добиваются дурными средствами, низменными способами.

Скульптора, напротив, мы должны защитить, поскольку его нельзя назвать плагиатором, если он обращается к уже имеющимся, использованным и даже в какой-то степени разработанным мотивам.

Толпа, имеющая неправильное представление об оригинальности, считает себя поэтому вправе порицать его, в то время как он заслуживает только похвалы за то, что он нечто уже имеющееся ставит на более высокую, даже на высшую ступень. Не только материю мы получаем извне, мы имеем также право присваивать и чужое содержание, если мы придаем этому более высокую, если не совершенную форму.

Точно так же ученый может и должен использовать труды своих предшественников, не отмечая каждый раз со страхом, откуда он это взял; он же никогда не забывает выразить при случае свою благодарность благодетелям, открывшим ему мир; вполне возможно, что он обязан им пониманием целого или пониманием частностей.

Possefi

Не все являются изобретателями, однако каждому хочется, чтобы его таковым считали; тем более похвально поступают те, кто добросовестно и с любовью распространяют признанные истины.

Правда, этим занимаются и менее одаренные люди, придерживающиеся изученного, унаследованного, привычного. Таким образом возникает так называемая школа, а внутри ее образуется язык, на котором можно как-то объясняться, но который не дает никакого представления о том, не изменилось ли благодаря опыту только что названное.

Многие люди подобного типа управляют научной гильдией, которая подобно ремеслу, удаляющемуся от искусства, становится тем хуже, чем с большим пренебрежением относятся к своеобразному воззрению и непосредственному мышлению.

Но поскольку эти люди еще с детства воспитывались в подобном веровании и упорно утверждают, полностью доверяя своим учителям то, что сами, будучи ограниченными, выучили с большим трудом, то многое можно сказать им в извинение и нечего негодовать по их адресу.

Но тот, кто думает иначе, кто стремится вперед, должен уяснить 'себе, что только спокойно и последовательно противодействуя, можно и должно преодолеть, лучше поздно, но окончательно, все препятствия, которые такие люди ставят нам на пути.

Usurpation

Всякий захват собственности, происходящий неправомочно, мы называем узурпацией, поэтому, строго говоря, в искусстве и науке узурпации нет, так как для того, чтобы получить какой-либо результат, нужна сила, заслуживающая внимания. Но легко может быть, как и всегда, когда речь идет о нравственном воздействии на человека, что результат получается больший, чем затрачено силы; тогда того, кто добился такого результата, нельзя заподозрить ни в том, что он оставил людей в заблуждении, ни в том, что он возомнил о себе слишком много.

В конце концов люди начинают сомневаться в славе, приобретенной таким образом, а полностью разобравшись во всем, они начинают ругать такую узурпированную славу, вместо того, чтобы ругать самих себя: они ведь сами создали эту славу.

В области эстетики снискать себе похвалу и имя легче: для этого нужно только понравиться, а короткое время нравится все. В области науки признание и славу можно заслужить до известной степени, а собственно узурпация заключается не в захвате, а в утверждении незаконной собственности. Узурпацию можно наблюдать в университетах, академиях, обществах. Объявив себя однажды приверженцем какого-либо учения, нужно его утверждать, даже обнаружив его слабости. Тогда цель оправдывает средства, умный непотизм сумеет возвеличить своих родственников. Чужие заслуги устраняются, их действие парализуется замалчиванием, отрицанием. Ложное делается особенно сильным благодаря тому, что его сознательно или бессознательно повторяют, будто оно истинно.

Недобросовестность и коварство становятся в конце концов главными чертами этой ставшей ложной и несправедливой собственности. Сопротивляться становится все труднее. Остроумие никогда не покидает умных людей, особенно в то время, когда они неправы.

Здесь зачастую мы сталкиваемся с ненавистью и гневом новоявленных поборников, слышатся жаркие высказывания, которые узурпаторы умело обращают iЬ свою пользу и для укрепления своей вотчины, поскольку слабоумной колеблющейся публике после тысячи неприличных случаев приходит в голову вступиться за приличие и она собирается покончить с такими явлениями.

(W., II, 11. 5. 246-254)

Изобретения и открытия

(1817)

Всегда стоит подумать над тем, почему непрерывно продолжаются и вновь возникают частые и резкие споры о приоритете открытий и изобретений.

Для открытия нужно счастье, для изобретения — ум. Без одного невозможно другое.

Это утверждает и доказывает тот факт, что можно без преемственности, непосредственно лично, раскрыть предметы 'Природы или их свойства.

Познанное и изобретенное мы рассматриваем как великолепную, своими руками добытую собственность и гордимся ею.

Мудрый англичанин с помощью патента тотчас реализует ее и. свысока смотрит на все неприятные споры относительно чести открытия.

Из вышесказанного очевидно, насколько сильно мы зависим от авторитета, от знаний наших предшественников, что совершенно новое, замеченное самим, расценивается столь высоко. Поэтому нельзя кого-либо упрекнуть в нежелании отказаться о г того, что его выделяет среди многих других.

Джон Хантер, сын сельского священника, не получивший до 16 лет никакого образования, начав заниматься наукой, интуитивно доходит до различных явлений и делает ряд открытий благодаря гениальной проницательности и умозаключениям. Но когда он собрался извлечь из своих открытий пользу, оказалось, что все это уже открыто ранее.

Когда же он, будучи прозектором своего старшего брата, профессора анатомии, наконец открывает что-то новое в строении

человеческого тела, а брат в своих лекциях и программах использует это, не упомянув его имени, в нем вспыхивает огромная ненависть, и между братьями происходит ссора, оканчивающаяся публичным скандалом и не прекратившаяся за всю прожитую со славой жизнь; даже у смертного одра брат не простил брата.

На наши открытия покушаются современники; это вызывает необходимость указывать день и час, когда было сделано определенное открытие, и потомки стараются подтвердить наши открытия, так как имеются люди, которые, чтобы лишь чем-нибудь заняться, хулят верное и хвалят ложное, и находят себе занятие, порицая заслуги той или иной личности.

Чтобы сохранить за собой приоритет одного открытия, Галилей, не желая предавать его гласности, прибегнул к такому ' остроумному средству. Он зарифмовал в виде анаграммы на латинском языке свое открытие, я тотчас опубликовал свою анаграмму, чтобы в случае необходимости воспользоваться этой обнародованной тайной.

Кроме того, открытия, изобретения, публикация, практическое использование их так близки друг от друга, что многие люди, причастные к этому, могут рассматриваться как одно лицо. Садовник открывает, что воду в насосе можно поднять только до определенной высоты; физик превращает одну жидкость в другую, и раскрывается великая тайна. Собственно говоря, первый был открывателем, а второй изобретателем.

Какой-то казак привел путешествующего Палласа к груде самородного железа в пустыне. Первого следует назвать нашедшим, а второго открывателем; и железо это носит имя последнего, поскольку он .первым сделал это железо известным для нас.

Удивительный пример того, насколько потомство склонно лишать кого-нибудь из предшественников чести открытия, являются те усилия, которые прилагались к тому, чтобы оспорить честь открытия Колумбом Нового Света.

Правда, силой воображения Западный океан был давно уже населен островами и землями, так. что в те далекие времена скорее согласились бы, чтобы затонул какой-нибудь огромный остров, чем .позволили бы этому пространству оставаться пустым. Правда, уже имелись сведения об Азии, храбрецы уже не довольствовались плаванием вблизи берегов; удачные начинания португальцев взволновали весь мир, но не хватало еще человека, который собрал бы это все воедино, чтобы басни и историй, мечтания и предания превратить в действительность.

(W., П. 11, S. 255—262)

Влияние происхождения научных открытий

(1823)

Чрезвычайно важное наблюдение в истории наук заключается в том, что из истоков иного открытия кое-что попадает в ход его развития, что мешает прогрессу, а иногда и тормозит его.

Обстоятельство, при котором совершилось открытие, конечно, чрезвычайно важно, и истоки дают часто повод для наименований, которые сами по себе не вредны. Электричество получило свое название от янтаря, и по праву; но поскольку янтарю было присвоено это качество, то прошло много времени, пока и стекло стали использовать в помощь и в противовес ему.

Точно так же каждый путь, по которому мы приходим к открытию, влияет на взгляды и теории. Мы едва ли задумываемся, что привело нас к этому явлению, над его началом и причиной; на этом мы останавливаемся, вместо того, чтобы подойти с другой стороны и проверить наши первоначальные догадки и получить правильное представление о целом.

Что бы мы сказали об архитекторе, который вошел бы во дворец через боковую дверь и, описывая и изображая это здание, ссылался бы1.и> эту второстепенную сторону? А в науке это происходит ежедневно. В истории, нужно признать, это трудно, но нужно сознаться, что мы сами еще блуждаем в потемках.

(W„ II, 11. S. 244—245)

Оформляющее влечение

(1820)

Относительно того, что сделано в вышеназванном важном вопросе, Кант дает в своей «Критике способности суждения» следующее указание: «Относительно этой теории эпигенезиса, как для ее доказательства, так и для обоснования истинных принципов ее применения, отчасти путем ограничения недозволительного пользования ею, никто не сделал столько, как г-н Блуменбах».

Такое свидетельство добросовестного Канта побудило меня снова взяться за произведение Блуменбаха, хотя я раньше и читал его, но не вник в него как следует. Здесь как промежуточное звено между Галлером и Бонне, с одной стороны, и Блуменбахом — с другой, я нашел моего Каспара Фридриха Вольфа. Вольф должен был предположить для своего эпигенезиса органический элемент, из которого возникали затем предназначенные к органической жизни существа. Эту материю он снабдил некоей vis essentialis, присоединяющейся ко всему, что должно было само себя создать и возвыситься таким образом до ступени производящего существа.

Выражения такого рода оставляли еще желать многого, ибо у органической материи, какой бы живой мы ее себе ни представляли, всегда остается несколько вещественный характер. Слово сила обозначает прежде всего нечто только физическое, даже механическое, и то, что должно организоваться из этой материи, остается для нас темным, непонятным явлением. Блуменбах достиг в выражении высшего и последнего: он антропоморфировал решение загадки и назвал то, о чем шла речь, nisus

formativus, 'влечением, усиленной деятельностью, которая должна была осуществить оформление.

Тщательнее присмотревшись, мы увидим, что решение получилось бы короче; удобнее и, быть может, основательнее, если бы мы .признали, что для рассмотрения .наличного мы должны допустить предыдущую деятельность, что если мы хотим представить себе какую-либо деятельность, мы субституируем ей подходящий элемент, на который она могла действовать, и что, наконец, эту деятельность и ее субстрат мы должны мыслить как всегда существующие вместе и всегда одновременно наличные В олицетворенном виде это необъятное выступает перед нами, как бог, творец и вседержитель, к почитанию и восхвалению которого нас все побуждает.

Вернувшись в область философии и снова рассмотрев эволюцию и эпигенезис, мы замечаем, что это слова, которые только путают нас. Учение о преформации, конечно, быстро надоест человеку с более высоким образованием, но ведь и в учении о принятии новых свойств всегда предполагается нечто принимающее и имеющее быть принятым, и если мы отказываемся от преформации, мы приходим к пределинеации, предетерминации, престабиляции и как бы там ни называлось все то, что должно предшествовать для того, чтобы мы могли что-нибудь воспринять.

Я решаюсь, однако, утверждать одно: если органическое существо превращается в явление, нельзя постичь единства и свободы оформляющего влечения без понятия метаморфоза.

Чтобы дать толчок дальнейшему размышлению, приведем в заключение схему: Вещество

Способность

Сила Власть Стремление Влечение *

Жизнь

(В. О. Лихтенштальт. Гете, стр. 186—187)
Vermogen, Kraft, Gewalt, Streben, Trieb.

План естественнонаучной автобиографии

(1820)

Нас с юности приучают рассматривать науки как объекты, которые мы можем усваивать, использовать, над которыми можем приобретать власть. Без этой веры никто не захотел бы ничему учиться. И тем не менее каждый обращается с науками сообразно своему характеру. Молодой человек требует уверенности, требует дидактического, догматического изложения. Глубже проникнув в предмет, видишь, как в науках собственно господствует субъективный элемент, и успеха в них достигаешь лишь тогда, когда начнешь знакомиться с самим собою и своим характером. Но так как наша личность, какою бы определенною она ни была, зависит от времени, в которое заключена, от места, на которое поставлена, то эти случайности оказывают влияние на необходимо данное... К этим размышлениям я особенно тяготел ввиду того, что, вступив на научное поприще по склонности и ради практических целей, приобретя известные убеждения, я прослеживал их все дальше, и благодаря этому во мне сложился и укрепился под конец известный образ мышления, согласно которому я оценивал и взвешивал предметы. Таким образом, я брал то, что подходило мне, отклонял то, что мешало мне. И так как не требовалось выступать в роли учителя, я учился сам на свой лад, не сообразуясь ни с чем данным или традиционным. Вот почему я мог с радостью принимать всякое новое открытие и разрабатывать то, что сам замечал. Положительное шло мне на пользу. На то, что возбуждало отвращение, мне нечего было обращать внимание. Но в науках имеет место вечный круговорот. Это не значит, что меняются предметы, но при

новых показаниях опыта каждой личности предоставляется проявить себя самое, на собственный лад отнестись к знанию и науке. И так как виды человеческого мышления тоже заключены 1в известный круг, то при полном обороте методы всегда попадают на прежнее место. Атомистические и динамические представления всегда будут чередоваться, но только a potiori на основе пригодности ибо ни одно не замещает вполне другого, не является даже выражением одного индивида. Ведь самый решительный динамик, сам того не замечая, начинает говорить атомистически. Точно так же атомист не может так замкнуться, чтобы 'не становиться время от времени на динамическую точку зрения. Это то же самое, что... и в эстетических методах: один получается из обращения другого и при живой обработке предметов приходится пускать в дело то первый, то второй. Рассказать о ходе моего развития в области геологии меня побуждает переживаемое мною выступление совершенно противоположного образа мышления, к которому я не могу приспособиться, хотя отнюдь не думаю оспаривать его. Все, что мы высказываем,— исповедание веры, и к такому исповеданию веры в геологической области я и приступаю.

(В. О. Л и х т е н ш т а д т. Гете, стр.- 487—488)

Как в практической жизни, так и в познании человек связан с чем-то средним. Середина, если принять за нее то место, где мы находимся, позволяет нам видеть и действовать во всех направлениях, лишь начало и конец недосягаемы для нас ни в мыслях, ни в действиях, а потому благоразумнее всего вовремя от этого отказаться.

То же самое и в геогнозии: средний этап генезиса мира мы видим довольно ясно и в какой-то мере воспринимаем его; однако начало и конец, одно заключенное в гранит, другое — в базальт, вечно останутся для нас проблематичными.

Если при рассмотрении спорного объекта, допускающего различное толкование, способ представления стал дидактическим, то спрашивается, в чем же выгода замены одного представления другим. Если я вместо гранит-гнейс говорю гнейсгранит, то ясно, что обе родственные горные породы были найдены во взаимно переходных стадиях, что и дало нам повод, как нам кажется, употреблять то одно, то другое выражение.

Что я думаю об этом, я уже высказал, при чем и остаюсь, даже если я тем самым приближаюсь к уклоняющемуся от истины мнению, ибо все, что мы утверждаем о природе, является

лишь мнением, которым мы думаем удовлетворить сначала себя, а затем и своих учеников.

Почему, наконец, я охотнее всего имею дело с природой? Да потому, что она всегда права, заблуждение может быть лишь на моей стороне. Если же я, напротив, беседую с людьми, то заблуждаются они, я, снова они и так далее, и ничто не выясняется; но если я сумею подойти к природе, то все уже сделано.

(IV., II, 9, S. 223—225)

Видение

с субъективной точки зрения Пуркинье

(1821)

В отношении вышеназванной книги я не преминул воспользоваться похвальным обычаем прочитывать ценные произведения впервые сразу же в присутствии пишущего и быстро диктовать тотчас же некоторые замечания в той форме, как они возникают в уме, и довел это в общих чертах до конца.

От моего первоначального намерения остановиться на этой работе подробнее я должен, правда, отказаться; я откладываю в сторону большой отрывок из одной статьи, которая в настоящее время у всех на руках, и приведу из текста только то, что вызвало нижеследующие замечания, причем кое-что, требующее еще значительной доработки, я также откладываю, надеясь, что данное сообщение не замедлит оказать свое влияние.

Следует еще заметить, что № страницы указывает место в тексте, а в скобках заключены мои замечания.

Стр. 7. Всякое чувство может быть понято и передано путем наблюдения и экспериментов как само по себе, так и по его своеобразной реакции на внешний мир; каждый человек ведь в известной мере индивидуум, отсюда и специфика — свое и чужое в восприятиях.

(Признание сосуществования, совместного бытия и бытия одного в другом и деятельности родственных живых существ руководит нами при каждом наблюдении за организмом и освеща-

ет ступенчатый путь от несовершенного к совершенному. Чудесное открытие, что одно чувство может встать на место другого и заменять недостающее, становится для нас естественным явлением, и теснейшее сплетение различнейших систем перестает подобно лабиринту запутывать ум.)

Единственный путь в таком исследовании — самая строгая чувственная абстракция и экспериментирование на собственном организме. И то и другое — важные отрасли физического искусства вообще и требуют собственного направления внимания, собственной и методической последовательности в закалке, упражнениях и навыках. Есть некоторые объекты естествоиспытания, которые могут быть обнаружены только таким путем, иначе мы едва ли имели бы о них представление.

(Мы поздравляем автора с тем, что природа поставила перед ним задачу заняться этим делом и проводить его на высоком уровне, и радуемся заверению, что эти продолжительные и рискованные опыты нисколько не повредили его организму и что он и в этическом отношении проявит себя всесторонне подготовленным к такой работе. «Нужно быть от рождения сильным, чтобы безболезненно углубляться в свое я». Здоровый самоанализ, не подрывающий здоровья, смелость в чистом созерцании неисследованных глубин без выдумок и фантазии есть редкий дар, но результаты такого исследования являются для мира и науки редкой удачей. Мы благодарим автора за его смелую и важную работу, так же как мы признаем заслугу великолепных путешественников, которые подвергают себя любым лишениям и бедам, чтобы уберечь нас от подобных хлопот и мук.

Не всякий испытывает необходимость повторить лично эти эксперименты и проверить, как просочилось в физическое это удивительное заблуждение, будто бы все нужно видеть собственными глазами, причем забывают, что на предметы смотрят и с собственными предубеждениями. Ничто так не важно, однако, как то, что нужно учиться присовокуплять свои деяния :и достижения к тому, что сделали и чего достигли другие, соединять продуктивное с историческим.

Для того, чтобы эта книжка встретила еще больше доверия, мы хотим, без всяких притязаний, подвергнуть труды автора собственной проверке, точнее, дополнить некоторым образом, который мы считаем наиболее пригодным для данной цели, в чем мы с ним, руководствуясь идентичными и аналогичными опытами, полностью согласны).

Стр. 9. Я обнаружил кое-что относящееся к этому, что мне кажется новым и что по крайней мере исследовано мною более подробно, чем кем-либо.

Стр. 10. Пока я ограничусь только зрением.

(Останавливаясь на каком-то одном чувстве, естествоиспытатель, интересующийся всеми чувствами, не сможет удержаться от поясняющих намеков; он будет указывать на многие стороны и попытается увязать то, что кажется далеким. То, что он опирается прежде всего на зрение и на сей раз ставит его в центр, радует меня тем более, что это именно то чувство, с помощью которого я лучше всего познаю мир).

Стр. 10. Свето-теневые образы глаза.

(С самого начала мы радостно приветствуем автора, заверяя в полном согласии во взглядах, в методике, в совпадении цели и намерения. И мы рассматриваем свет и тьму как основу Chroagenesie и убеждены, что все, что находится внутри, есть и снаружи и что только совпадение этих обеих сущностей может считаться истиной).

Стр. 11. Я становлюсь с закрытыми глазами под яркий луч солнца, держа лицо перпендикулярно к солнцу. Затем вытянутыми несколько расставленными пальцами я вожу перед глазами, так что они попеременно оказываются в тени или освещаются солнцем. На внутреннем зрительном поле, обычно желто-красном при опускании ресниц, возникает теперь красивая правильная фигура, которая вначале очень трудно фиксируется и определяется, пока постепенно не начинаешь в ней больше ориентироваться.

(Так как я в течение многолетних исследований внутренней природы возникновения обширного мира цветов не щадил свои глаза, то некоторые явления, которые автор ясно развивает и классифицирует, показались мне все же случайными и сомнительными. И в настоящее время, когда я не могу более потребовать от этого благородного мужа ничего чрезвычайного, я отнюдь не считаю себя достаточно компетентным, чтобы провести еще ряд подобных экспериментов и собственными опытами подтвердить их, с меня 'вполне достаточно его 'последовательно изложенного достоверного сообщения.

Однако поскольку, как он уверяет сам и в чем я также убежден, эти явления следует расценивать как общее условие 'видения, то не будет недостатка в людях, которые подобное либо уже замечали, либо в будущем, случайно или преднамеренно заметив это так великолепно развивающееся учение, укрепят его еще больше.

Ведь мы можем сейчас припомнить, что достословно известный придворный гравер господин Швердгебурт также имеет острый глаз, чтобы часто и легко замечать подобные явления. Обычно они повергают его в страх, что они могут повредить столь ценный для каждого, а для него особенно орган. Все же он принял участие в успокоительных опытах Пуркинье, и зарисовал

явления так, какими он их себе обычно представлял. Я приложил рисунок для сравнения при случае с таблицей Пуркинье.)

Стр. 37. Да будет мне позволено провести аналогию описанных явлений с другими явлениями природы. Пока наблюдение изолированно стоит в природоведении, пока оно не пришло в частое соприкосновение с другими более или менее важными данными и не приобрело благодаря воздействию на остальную систему какой-то характер и значимость, до тех пор оно находится в опасности долгое время остаться совсем незамеченным или, если оно вначале как-то бросалось в глаза из-за новизны, быть снова преданным забвению. Только если в непрерывном процессе развития знания предметы, близко родственные этому наблюдению, неоднократно указывают на него и оно занимает подобающее ему место, лишь тогда оно будет должным образом освещаться наукой, чтобы никогда более не возвращаться во тьму неизвестности.

(Мы выражаем автору искреннейшую благодарность за то, что он произносит эти ценные слова так свободно и правдиво; если не следовать смыслу этих слов, то в нашей науке не будет цвести благополучие.

Два метода, напротив, служат печальными орудиями для препятствий и промедлений: либо пытаются сблизить и увязать вещи, далекие, как небо и земля, прибегая к мрачной фантастике и остроумной мистике, либо разъединяют связанное разрушающим безрассудством, стараются разделить 'близкородственные явления, подводить под каждое из них свой закон, которым они якобы должны объясняться.

Нам следует всегда избегать этого неправильного метода, но тем более нужно держаться вместе, поскольку мы не можем запретить это другим).

§ 38. Описанные фигуры, появляющиеся внутри глаза, непреодолимо будят во мне воспоминания о звуковых фигурах Хладни, а именно главным образом об их первичной форме. У них я различаю первичные и вторичные формы, точно так же, как я выше считал различные степени кубических полей первичными формами, а линии, возникающие из-за их попеременного затемнения, вторичными. Первые образуются подвижными частями звучащего тела, вторые — неподвижными. Последними много занимался Хладни.

(Если мы до сих пор в общем соглашались с автором, то мы тем более радуемся тому, что сходимся с ним также в практическом применении.

В наших записках по природоведению, разбирая энтоптические явления, мы не удержались от сравнения их со звуковыми фигурами Хладни. Поскольку мы подчеркнули большое их

сходство, то мы охотно признаем, что в глазу происходит нечто аналогичное, .и об этом мы скажем следующее. Все, что заполняет какую-то емкость, сразу принимает соответствующую форму; она в большей или меньшей степени устанавливается и имеет к окружающему миру такие же отношения, как все подобное ей. Тогда как фигуры Хладни после сообщенного им движения лишь колеблются, дрожат, .качаются, а затем останавливаются, энтоптический куб проявляет подобную чувствительность под действием света и при атмосферном противодействии.

Мы решимся еще на один шаг и скажем: энтоптическое стекло, которое мы можем взять в форме линзы, уподобляется глазу; это нечто тусклое, чувствительное к прямому и косвенному отражению и одновременно к самым тонким переходам. Фигура восьмерки в глазу указывает на то же самое; она имеет форму органического креста, для возникновения которого необходима смена света и темноты. Далее вскроются большие подробности.

Стр. 43. Повсюду, где взаимно ограничиваются противоположные постоянно действующие силы, с переменным успехом то одной, то другой, возникает периодичность во времени, колебание в пространстве; периодичность—ib результате преобладания в различные моменты одной силы над другой. Колебание из-за перевеса одной из них в различных местах, так что при внешне кажущемся состоянии покоя может все же происходить бурное движение в пограничных точках и между ними.

Стр. 92. Непосредственный зрительный образ.

Естествоиспытатели непоколебимо верят в то, что всякому изменению субъективного внутри сферы чувств каждый раз соответствует изменение объективного. Конечно, чувства это самые тонкие и возбудимые измерители и реагенты принадлежащих им качеств и отношений материи (sic!), и мы должны исследовать в пределах индивидуальной сферы организма законы материального мира, так же как физик исследует их во внешней среде с помощью разнообразных приборов.

Если бы субъективное могло проникнуть в материю так глубоко или еще глубже, чем оно проникает в нервы, то, вероятно, проявились бы бесчисленные новые, чрезвычайно тонкие модификации ее, наличие которых теперь едва ли кто решится и предполагать.

Стр. 103. Непосредственный зрительный образ по отношению к внешнему свету — туманное образование, но в достаточной темноте оно само светится.

(Здесь, где речь идет о непосредственных зрительных образах, стоит вспомнить то, что я говорил в своих «Набросках об учении о цветах», а именно в первом разделе, особенно в § 23 и последующих о здоровых глазах в общем, в § 121 и последующих о больных глазах обстоятельно).

Стр. 145. Единство обоих зрительных полей зрения. Двойное 'видение.

(Из собственного опыта я могу привести и предложить следующее. Нужно приложить какую-нибудь трубу к одному глазу и смотреть через нее, держа второй глаз открытым, на звезду, тогда будет видна одна звезда. Затем трубу нужно отвести от звезды, и свободным глазом увидишь также одну звезду. Теперь потихоньку нужно навести трубу на звезду, и она и на краю поля зрения будет двоиться. Если проделывать эту операцию осторожно, то раздвоенные звезды можно отвести друг от друга довольно далеко и поймать в поле зрения трубы, причем по ошибке думают, что в трубу видны действительно обе звезды. Но это продолжается недолго, они опять совмещаются. Если в то время, когда кажется, что в трубу видишь удвоенную звезду, закрыть свободный глаз, то раздвоение, конечно, исчезает и видно только одну звезду.

Так как я с детства очень легко могу косить глазами, то я иногда наслаждался следующим явлением. Я ставил перед собой свечу и, скосив глаза, видел 2 свечи врозь столько времени, сколько мне хотелось. Затем я брал 2 свечи и, скашивая глаза, видел поэтому 4. Но их я не мог держать врозь, поскольку 2 средние двигались друг к другу и совмещались, так что я видел только 3, и это могло длиться, сколько мне хотелось).

Стр. 149. Возможность этого явления я представляю себе следующим образом. Каждый глаз, пока сознание занято целиком им, может рассматриваться как самостоятельный индивидуум, имеющий по отношению к внешнему миру свою переднюю сторону, свой верх, низ, свою левую и правую стороны. То же относится и к чувству осязания. Но все эти понятия релятивны и пригодны только в отношении субъекта и его пространственного отношения к объекту.

(Пространственное отношение субъекта к объекту имеет чрезвычайно большое значение. К этому относится явление, заключающееся в том, что горошина, положенная между скрещенными пальцами руки, воспринимается как две, и это явление полностью совпадает со скашиванием глаз. И каждый палец имеет правую и левую сторону, пространство перед собой и за собой, что одновременно принадлежит всей руке. Итак, если один палец чувствует шарик с левой стороны, а другой с правой, то это не заблуждение, а указание на последовательное превращение

субъекта в объект, без которого субъект никак не может воспринимать объект и вступать с ним в связь.

И здесь следует отметить неестественное отношение к внешнему миру другого рода, поскольку речь идет особенно о субъективном видении. Если, стоя на возвышенности, в хорошую погоду имеешь большое поле зрения, то, наклонившись, посмотри между ног или перегнись назад через какое-нибудь возвышение и посмотри, в обоих случаях, стоя будто на голове, на окрестность, то увидишь ее в наивысшем великолепии красок, будто на чудеснейшем полотне изумительнейшего художника-мастера, и между тем не в перевернутом виде, а так, будто стоишь прямо, только, насколько мне помнится, все представляется несколько растянутым в ширину).

Стр. 166. Следовое изображение. Воображение. Память зрения.

Стр. 167. Следовое изображение нужно точнейшим образом отличать 'от непосредственного зрительного образа. Следовое изображение удерживается продолжительное время произвольно и исчезает, как только воля ослабевает, и может быть вызвано снова волей. Непосредственный зрительный образ связан непроизвольно с чувством и исчезает и появляется по объективным причинам.

Стр. 168. Особенно четким следовое изображение бывает при повышенной психической деятельности, непосредственный зрительный образ, напротив, удерживается дольше при нервозном 'настроении в астеническом состоянии и 'исчезает тем быстрее, чем больше в органе жизни.

Стр. 169. Я считаю, что с помощью упражнений, направленных на то, чтобы, осмотрев внимательно предмет, стараться дольше и глубже удерживать его в памяти, можно научиться приближать следовое изображение к реальности, выражающей суть прообраза, причем это упражнение может оказаться немаловажным в укреплении памяти и силы воображения.

Стр. 170. Вслед за этим можно утверждать, что память и сила воображения действуют в самих органах чувств и что каждое чувство обладает соответствующей ему памятью и силой воображения, которые, будучи взяты в отдельности, подчинены общей духовной силе.

(Я мог бы рассказать еще кое-что о продуктивности таких внутренних вызванных в памяти образов. Я умел, опустив голову и закрыв глаза, представить себе в середине органа зрения цветок, который ни на минуту не оставался в первоначальном виде, а развертывался и изнутри появлялись новые цветы, из окрашенных, в том числе и зеленых, лепестков: это были не настоящие цветы, а фантастические, но правильные, как бы вылеп-

ленные рукою скульптора. Было невозможно зафиксировать этот возникающий зрительный образ, но это продолжалось столько времени, сколько мне хотелось, оно не ослабевало, но и не усиливалось. Я мог добиться того же самого, если вызывал в памяти ярко окрашенный диск, который также беспрерывно изменялся от середины к периферии, совсем как изобретенные в наши дни калейдоскопы. Я не помню, в какой степени можно было заметить число при этом регулярном движении, но, кажется, было восемь лучей, так как вышеупомянутые цветы имели не меньше лепестков. Мне пришло в голову провести эксперимент с другими предметами, а почему они легко обнаружились сами по себе, объясняется, очевидно, тем, что многолетнее наблюдение за метаморфозом растений, а также последующее изучение раскрашенных дисков, всецело заполнили мой ум этими предметами; и здесь выступает то, что так сильно заинтересовало господина Пуркинье, здесь одновременно действуют явления следового изображения, память, продуктивная сила воображения, понятие и идея и проявляются в жизненности органа с полной свободой, непроизвольно и самостоятельно.

Все это можно понять и охватить, наблюдая с позиций искусства в широком смысле. Становится ясно, что должны были родиться поэты и все истинные художники. Ведь именно их внутренняя продуктивная сила должна свободно и непроизвольно воплотить следовые изображения, оставшиеся в органе зрения, в памяти, в даре воображения образы-копии, они должны развиваться, расти, расширяться и сужаться, чтобы из беглых схем превратиться в истинно предметную сущность.

Насколько люди древности владели этими идолами, можно судить по учению Демокрита об образах-копиях. К этому учению он мог прийти лишь благодаря живому опыту собственной фантазии.

Чем больше талант, тем четче формируется с самого начала воспроизводимый образ. Посмотрите картины Рафаэля и Микеланджело, на которых строгий контур отделяет от фона и ограничивает то, что должно быть изображено.

Напротив, более поздних, хотя и отличных, художников можно поймать на своего рода нащупывании; зачастую рисунки выглядят так, будто художники хотели легкими, но равнодушными штрихами создать на бумаге то, из чего потом должны образоваться, как цыпленок из яйца, голова и волосы, фигура и одежда, и все остальное. У еще более поздних художников можно найти удивительные примеры. У меня есть заслуживающий внимания рисунок пером, на котором пастыри, мать и дитя, Иосиф и пастухи, даже бык и осел, дважды или трижды просвечивают один в другом.

Но нужно признать, что остроумный художник сделал это в данном случае со вкусом и попытался по мере возможности точно схватить воображаемое.

И всегда сила прирожденного таланта одержит верх над красивостью дилетанта, и поэтому видно, насколько правы те художники — учителя, которые отрицают наброски и мягкому рисунку мелком предпочитают четкие зарисовки пером. Все дело в том, чтобы умело увязать внутреннюю жизнь глаза и рисующих пальцев).

(W.. II, 11, S. 269—286)

Из романа Годы странствования Вильгельма Мейстера

(1821-1829)

Странники, пройдя согласно полученным указаниям намеченный путь, благополучно достигли границы той области, в которой им предстояло увидать столько достопримечательного. Едва они вступили в нее, как перед их глазами раскинулась плодоноснейшая местность, благоприятствовавшая своими отлогими холмами земледелию, более высокими горами — овцеводству, а широкими долинами — скотоводству. Время близилось к жатве, и урожай обещал быть обильным, но что их сразу чрезвычайно поразило, это — полное отсутствие в полях взрослых женщин и мужчин: исключительно мальчики и юноши были заняты работами, предшествующими сбору обильного урожая; они даже заметили, что уже шли приготовления к веселому жатвенному празднику. Они приветствовали встречных, спрашивая, где им найти Старшего. Однако никто им этого сообщить не мог. Письмо, которое они везли с собою, было адресовано: «Старшему или Троим». Но и относительно этого адреса мальчики ничего сообщить им не могли; однако они направили путников к надсмотрщику, который как раз собирался сесть на коня. Путники сказали ему о цели своего приезда. Открытое лицо Феликса, казалось, ему понравилось, и они поехали втроем вдоль по дороге.

Вильгельм успел заметить, что и в покрое и в цвете одежды здесь царило большое разнообразие, что придавало всему маленькому населению своеобразный вид. Он уже собрался задать по этому поводу вопрос их спутнику, как ему пришлось сделать еще более удивительное наблюдение: все дети, как бы заняты они ни были, бросали свою работу и обращались со странными,

но различными жестами к проезжавшим мимо них, причем ясно было, что это относилось к надсмотрщику. Младшие складывали руки крестообразно на груди и весело вскидывали глаза к небу, средние, держа руки за спиной, с улыбкой глядели на землю, третьи стояли прямо и бодро, опустив руки по швам, они поворачивали голову вправо и выстраивались в ряд, в то время как предыдущие продолжали оставаться в одиночку там, где их застали.

Когда затем они остановились и слезли с лошадей как раз на том месте, где несколько мальчиков стали каждый в соответственную позу, а надсмотрщик произвел им смотр, Вильгельм спросил последнего, что означают эти жесты. Феликс вмешался в разговор и весело сказал: «А мне какую позу принять?» — «Во всяком случае,— отвечал надсмотрщик,— сперва скрести руки на груди и гляди, не отрывая глаз, вверх серьезно, но бодро». Тот повиновался, но скоро воскликнул: «Это мне не очень нравится, я там наверху ничего не вижу. Долго мне так стоять? А впрочем, нет,— радостно воскликнул он,— я вижу, как с запада на восток летят два ястреба, это, верно, хорошее предзнаменование?» — «В зависимости от того, как ты его примешь и как себя поведешь,— отвечал тот,— а теперь присоединись к остальным и делай то, что они будут делать». Он подал знак, дети переменили положение и принялись, кто за прерванную работу, кто — за игру.

«Хотите ли и можете ли вы мне объяснить,— сказал Вильгельм,— то, что меня здесь приводит в изумление. Если я не ошибаюсь, эти жесты и позы — не что иное, как поклоны, которыми они вас приветствуют».— «Вы совершенно правы,— ответил тот,— это поклоны, указывающие мне, на какой ступени развития находится каждый из этих мальчиков».

«Можете ли вы мне объяснить значение этих последовательных ступеней? Ибо что здесь есть известная последовательность— для меня ясно».—«Это дело старших,—отвечал его спутник.— В одном я могу вас заверить, что это не пустые ужимки, но что детям сообщается если не высший смысл этих жестов, то, во всяком случае, доступное их пониманию руководящее значение их; в то же самое время им внушают, чтобы они хранили про себя и берегли то толкование, которое считают нужным сообщить каждому из них, они не должны об этом болтать ни с посторонними, ни между собою, и, благодаря этому, учение, преломляясь в сознании многих, принимает самые разнообразные формы. Кроме того, уже самая тайна представляет значительные преимущества: ибо если человеку сразу сказать и неизменно повторять смысл чего-либо, то он начинает думать, что за этим ничего не кроется. Известным тайнам, даже уже раскры-

тым, надо оказывать уважение прикровенностью и молчанием, ибо это развивает стыдливость и нравственное чувство».

«Я вас понял,— сказал Вильгельм.— В самом деле, почему бы нам не применять к духовным явлениям то, что столь необходимо в области явлений телесных? Но, может быть, вы удовлетворите мое любопытство в другом отношении. Меня поразило разнообразие в покрое и цвете одежды, и все же я вижу не все, а лишь некоторые цвета, повторяющиеся в разнообразнейших оттенках, от самого светлого до самого темного. В то же время я вижу, что этим не может обозначаться какая-либо градация по возрасту или заслугам, ибо один и тот же цвет и покрой носят мальчики разного возраста, а те из них, которые воспроизводят одинаковые телодвижения, все же разнятся между собою в одежде».— «И по этому вопросу я не вправе распространяться,—'ответил 'их 'спутник.—Однако я уверен, что, перед тем как покинуть нас, вы обо всем будете подробно осведомлены».

Они продолжали свой путь, разыскивая Старшего, след которого, по-видимому, был найден. Между тем вновь прибывший не мог не заметить, что по мере того, как они проникали в глубь страны, все громче раздавались звуки гармонического пения. Что бы мальчики ни делали, за какой бы работой их ни заставали, они все время пели, причем казалось, что каждому делу была присвоена особая песня, повсюду одна и та же. Если сходилось несколько мальчиков, то они начинали вторить друг другу; под вечер им стали попадаться и пляшущие, движения которых оживлялись и регулировались хоровым пением. Феликс, сидя на лошади, тоже стал вторить поющим, и притом довольно удачно. Вильгельму нравилось это развлечение, вносившее значительное оживление в скромную природу. «Я полагаю,— сказал он своему спутнику,— что на обучение этому искусству обращено у вас особое внимание, ибо в противном случае оно не могло бы получить столь широкое распространение и достигнуть такого совершенства».— «Вы правы,— отвечал тот,— у нас пение составляет первую ступень воспитания; все остальное примыкает к нему и через него проводится. Простейшие удовольствия и простейшее обучение осуществляются при посредстве пения; к этому тотчас примыкают и другие преимущества, способствующие достижению других самостоятельных целей, ибо, обучая детей обозначать на доске звуки, которые они издают, и по этим знакам тотчас воспроизводить горлом эти звуки, сочетая их с подписанными на доске словами, мы достигаем одновременного упражнения руки, уха и глаза и быстрее обучаем детей чистописанию и правописанию, чем того можно было бы ожидать, а так как все это должно в конечном итоге выполняться и воспроизводиться

в точно установленных отношениях числа и меры, то они гораздо скорее, чем по какому-либо другому методу, усваивают себе все значение искусства счисления и измерения. Поэтому-то из всех возможных элементов мы и избрали музыку как основной элемент нашей системы воспитания, ибо от нее исходят во все стороны ровные, проторенные дороги».

Вильгельм, желая почерпнуть новые сведения, выразил изумление, что он не слышит инструментальной музыки. «Ей мы также уделяем немалое внимание,— отвечал его спутник,— но ею занимаются у нас в особом округе, расположенном в очаровательной горной долине; при этом приняты меры, чтобы игре на отдельных инструментах обучались в отдельных, раскинутых на известном расстоянии друг от друга местах. Какофония, какую производят начинающие, у нас удалена в особые скиты, где она не может терзать слуха других: ведь вы не станете отрицать, что нет более тяжкой муки, чем та, какую причиняет в нашем обществе соседство с начинающим флейтистом или скрипачом.

«Наши начинающие по собственному похвальному побуждению, не желая быть в тягость другим, удаляются на более или менее продолжительное время в пустыню и там в уединении стараются добиться права снова приблизиться к обитаемому миру; поэтому каждому из них разрешается время от времени появляться для испытания, которое в редких случаях не увенчивается успехом, ибо мы всемерно стараемся пробуждать и развивать как в этой, так и во всех прочих областях нашей работы чувство стыдливости и деликатности. Меня искренно радует, что у вашего сына приятный голос, всего остального тем легче будет достигнуть».

Теперь они приблизились к месту, где Феликс должен был остаться и испытать самого себя среди новой обстановки, прежде чем его формально примут в число воспитанников; уже издалека до них доносились звуки радостного пения: то была игра, которой мальчики развлекались в час досуга. На общее хоровое пение каждый член широко развернувшегося круга откликался радостным, звонким, твердым голосом по знаку регента. Последний, однако, время от времени, совершенно неожиданно для участников, знаком руки останавливал хор и прикосновением палочки вызывал одного из участников спеть соло песню в тон замирающей хоровой ноты и подходящую к предугадываемому смыслу исполняемого. Многие уже проявили свое искусство, другие, которым этот фокус не удавался, охотно уплачивали свой фант, не подвергаясь при этом насмешкам. Феликс был еще настолько ребенком, что ему захотелось присоединиться к поющим; он довольно успешно справился со своей ролью. Тогда ему тут же

было дано право отдавать первый поклон. Он тотчас сложил руки на груди и поднял глаза к небу, но сделал он это с таким плутовским видом, что нетрудно было сразу распознать, что он еще был далек от понимания сокровенного смысла этой позы.

Привлекательная местность, ласковый прием, веселые товарищи,— все так понравилось мальчику, что он не особенно огорчился при виде удалявшегося отца: чуть ли не с большим огорчением следил он за своей лошадью, когда ее уводили; он, однако, примирился с этим, когда ему сказали, что она «е может оставаться при нем в этом округе; за это ему обещали, что он со временем неожиданно получит если не эту лошадь, то другую, живую и прекрасно выезженную.

Так как Старшего никак не удавалось найти, то надсмотрщик сказал Вильгельму: «Я должен теперь вас покинуть, чтобы заняться своим делом, но сперва я вас доведу до Троих, которые ведают нашими святынями; ведь письмо ваше адресованои к ним, а ,в своей совокупности они заменяют Старшего». Вильгельму хотелось наперед узнать что-нибудь о святынях, но надсмотрщик возразил: «Те, Трое, в ответ на доверие, которое вы нам оказываете, оставляя у нас своего сына, наверное откроют вам, по своей мудрости и справедливости, самое существенное. Видимые предметы нашего поклонения, которые я назвал святынями, помещаются в особом округе; они ни с чем не соприкасаются, ничто не нарушает их покоя, лишь в определенные времена года воспитанники, в соответствии с достигнутой ими ступенью развития, допускаются туда для исторического поучения и чувст венных восприятий. При этом получаемые ими впечатления вполне достаточны для того, чтобы они могли питаться ими в течение известного срока при выполнении своих обязанностей».

Теперь Вильгельм увидел перед собою ворота, которые вели в поросшую лесом долину, окруженную высокой стеной. По данному знаку калитка открылась, и нашего друга встретил внушительный, со строгим лицом человек. Пройдя ворота, Вильгельм очутился на очаровательной лужайке, осеняемой разнообразными деревьями и кустами. Он с трудом мог различать сквозь эти естественные насаждения внушительные стены и значительных размеров постдойки; приветствия Троих, вышедших к нему один за другим, скоро перешли в разговор, в котором каждый принимал участие. Мы изложим вкратце содержание этой беседы.

«Так как вы намерены доверить нам вашего сына,— сказали они,— то мы считаем своим долгом несколько ближе познакомить вас с нашими методами воспитания. Вы уже могли заметить некоторые внешние формы, на первый взгляд не вполне понятные; что из виденного вами желали бы вы, чтобы мы пояснили вам?»

«Я видел весьма пристойные, но необычные приветственные телодвижения, значение которых я хотел бы узнать; у вас, по всей вероятности, внешнее указывает на внутреннее, и наоборот. Познакомьте меня с этим взаимоотношением».

«Дети, родившиеся здоровыми,— ответили они ему,— многое приносят с собою при рождении, природа одаряет каждого всем тем, в чем он нуждается на все время своего существования. Наша обязанность—развивать эти дары природы. Большею частью это развитие всего успешнее идет самостоятельно. Одного лишь человек не приносит с собою при рождении, хотя только это одно дает ему возможность стать человеком в полном смысле. Если вы можете сами угадать, что это, то скажите». Вильгельм, после краткого размышления, отрицательно покачал головой.

Немного помедлив, его собеседники воскликнули: «Благоговение!» Вильгельм был озадачен. «Благоговение!— повторили они.— Этим качеством не обладает никто и, быть может, вы также.

«Вы могли наблюдать три формы телодвижений, и мы преподаем три вида благоговения, которые лишь тогда, когда они сольются 'воедино и составят одно целое, достигают высшей силы 'и действенности. 'Первый вид благоговения — это благоговение перед тем, что выше нас. Складывать руки крестом на груди, радостным взором глядеть на небо — этому мы учим детей с раннего возраста, этим они исповедуют, что есть бог на небесах, который проявляется и воплощается для них в родителях, учителях и наставниках. Второй вид благоговения направлен на то, что ниже нас. Сложенные, как бы связанные, за спиною руки, с улыбкой склоненный долу взор как бы свидетельствуют, что мы любовно и радостно должны взирать на землю: она нас питает, она приносит нам несказанные радости, но также и несоизмеримо

•большие страдания. Может случиться, что ученик повредит себя телесно, по собственной ли вине или безвинно, что кто-нибудь другой преднамеренно либо неумышленно его оскорбит, что бессознательное земное существо причинит ему боль. Все это он должен продумать и заранее осознать, ибо такие опасности угрожают ему в продолжение всей его жизни. Но мы возможно скорее освобождаем нашего воспитанника от этого положения. Как только мы убеждаемся, что эта стадия воспитательного воздействия оставила достаточный след в его сознании, мы призываем его мужаться, оглядываться на своих товарищей и руководиться их примером. Тут уж он стоит бодро и смело в сознании своей силы, но не обособленно и одиноко. Лишь в единении с ему подобными может он противостать миру. К этому нам уже нечего добавить».

«Теперь я начинаю понимать!—отвечал Вильгельм.—Так вот почему плохо живется большинству людей: они все время услаждаются одной лишь подозрительностью, осуждением и злословием; тот, кто предается этим чувствам, скоро начинает относиться равнодушно к богу, презрительно к миру, враждебно к себе подобным. Истинное же, подлинное и необходимое самосознание скоро вырождается в дерзкую самонадеянность и самопревозношение. Позвольте мне, однако,—продолжал Вильгельм,—сделать одно замечание: не считался ли с давних времен страх первобытных народов перед грозными явлениями природы и перед необъяснимыми, как бы вещими, событиями зародышем, из которого постепенно развивалось более высокое чувство, более чистое миропонимание?»—«Страх, действительно, присущ природе человека,— отвечали они,— но не благоговение. Известное либо неизвестное могущественное существо внушает страх; сильный человек пытается с ним бороться, слабый—его избежать, оба стараются от него отделаться и счастливы, когда им удается на короткое время его устранить. Тогда они испытывают чувство освобождения и независимости от предмета, внушившего им чувство страха. Природный первобытный человек производит эту операцию миллионы раз в продолжение своей жизни. От страха он устремляется к свободе, и из состояния свободы он снова впадает в страх, нисколько при этом не продвигаясь вперед. Чувство страха возникает легко, но оно мучительно. Возбудить же в себе чувство благоговения трудно, но зато оно отрадно. Самопроизвольно благоговение редко или никогда не возникает 'в человеке; оно является чувством высшего порядка, которое должно быть внушено человеку и которое лишь у особо одаренных людей уже само собою развивается. Таких людей издавна считали святыми и даже богами. В этом заключается достоинство, в этом — задача всех подлинных религий, а таких религий только три. Различаются они между собою объектом, на который направлено их благоговейное почитание».

Они замолкли. Молчал и Вильгельм, погрузившись на некоторое время в раздумье, но, не дерзая сам истолковать смысл этих странных слов, он попросил своих почтенных собеседников продолжить свои сообщения, на что они охотно согласились. «Мы не признаем религии, основанной на страхе. Когда человек исполнен благоговения, он может, отдавая почесть, сохранять честь; в этом случае в нем не происходит того раздвоения, какое имеет место при воздании почести из одного лишь страха. Религию, основанную на благоговейном преклонении перед тем, что выше нас, мы называем религией этнической, это — религия народов, впервые вырвавшихся из-под ига низкого страха. Все так называемые языческие религии принадлежат к этой категории,

какое бы имя они ни носили. Второй вид религии,— тот, который основан на благоговейном отношении к равным себе,— мы называем религией философской, ибо философ, стоящий посредине, должен все высшее низвести, а все низшее поднять до себя. Лишь занимая это срединное положение, заслуживает он название мудреца. Прозревая отношение к равным себе, а следовательно, и ко всему человечеству, и отношение ко всему прочему в окружающем его видимом мире, неизбежному и случайному, он один, в космическом смысле, живет в истине. Остается нам сказать еще о третьем виде религии, основанном на благоговейном отношении к тому, что ниже нас. Этот вид религии мы называем христианским, ибо в христианстве больше всего обнаруживается такое умонастроение. Это — последняя, высшая ступень, какой могло и должно было достигнуть человечество. Но для этого потребовалось не только отрешиться от земли, как от чего-то низменного, ссылаясь на свою более высокую отчизну, но и признать божественными унижение и нищету, поругание и презрение, позор и гибель, страдание и смерть и не видеть в грехе и даже в преступлении препоны, а преклоняться перед ними и полюбить их, как пути к святости. Следы такого мироощущения можно, правда, встретить во все времена, но след еще не есть достигнутая цель, а раз человечество таковую обрело, оно уже может пойти вспять, и мы смело утверждаем, что христианская религия, раз появившись, уже не может исчезнуть, ибо, божественно воплотившись, она уже не может раствориться в ничто».

«Которую из этих религий,— спросил Вильгельм,— исповедуете вы по преимуществу?»—«Все три,—гласил ответ,—ибо истинная религия получается от соединения всех трех. Из' этих трех видов благоговения проистекает высшая его форма — благоговейное отношение к самому себе, а из нее, в свою очередь, развиваются все те три его вида, о которых мы говорили. Таким образом, человек достигает высшей точки, какой он может достигнуть, дерзая считать себя совершеннейшим созданием бога и природы, и пребывать на этой вершине самосознания, не страшась того, что дерзостная самонадеянность и самомнение его погрузят в повседневную пошлость».

«Такое исповедание, сложившееся в таких формах, не кажется мне чуждым и неприемлемым,— отвечал Вильгельм.— Оно согласуется со всем тем, что нередко приходится встречать в жизни, с той лишь разницей, что вас объединяет именно то, что других разъединяет». На это последовал ответ: «Значительная часть человечества уже пришла к этому исповеданию, но бессознательно».

«Как и где?»—спросил Вильгельм. «В символе веры!— воскликнули они.— Ибо первый его член является этническим, он

принадлежит всем народам, второй — христианским, он — для борющихся со страданием и в страдании прославленных; третий, наконец, возвещает о вдохновенном общении святых, то есть достигших высшей ступени добра и мудрости. Не должны ли поэтому эти три божественных лица, под именем и в образе которых 'высказываются такие убеждения и обетования, не должны ли они по справедливости признаваться за высшее единство?»

«Благодарю вас,— сказал Вильгельм,— за то, что вы так вразумительно и последовательно разъяснили мне все, как взрослому, которому до известной степени не чужды эти три воззрения; и я не могу не одобрить того, что вы преподаете детям это возвышенное учение сперва в виде чувственных образов, затем вызывая, при помощи символов, отклик а их душах и наконец развертывая перед ними высшее истолкование этих идей».

«Совершенно верно,— отвечали они,— и мы сообщим вам дальнейшее, дабы вы могли убедиться, что ваш сын в надежных руках. Но это мы отложим на утренние часы. Отдохните и подкрепитесь, чтобы завтра с утра вы радостно и бодро, с полным сознанием могли углубиться за нами далее».

Идя рядом со старшим из Троих, наш друг вступил через внушительный портал в круглую или, вернее, восьмиугольную залу, так богато разукрашенную картинами, что пришелец не мог не изумиться. Он с первого взгляда понял, что все это убранство имеет особое значение, хотя сразу и не мог разобраться в его точном смысле. Он уже собрался задать своему спутнику вопрос по этому поводу, когда тот пригласил его пройти с ним в боковую галерею, которая, открытая с одной стороны, окружала обширный сад, утопавший в цветах. Но более, чем это радостное природное убранство, привлекла его взоры стена галереи, ибо вся она была покрыта живописью, и гость, следуя вдоль нее, скоро заметил, что темы для изображений были заимствованы из священных книг израильского народа.

«Здесь,—сказал его спутник,—мы преподаем ту религию, которую я для краткости назвал этнической. Содержание і ее дано всемирной историей, внешней же оболочкой ей служат события. Она, собственно говоря, постигается всего лучше из повторяющихся судеб целых народов».

«Как я замечаю,— сказал Вильгельм,— вы оказали особую честь израильскому народу, положив в основу этого изображения его историю, или, вернее, вы ее выдвинули на первый план».—«Вы правы,— отвечал старец,— вы заметьте при этом, что на цоколе и на фризе мы придерживались при воспроизведении исторических событий не столько синхронистического, сколько симфонистического порядка *, ибо многие события из

жизни разных .народов имеют одинаковое значение и указывают на одинаковые явления. Так, вы видите здесь, что, в то время как на главном поле изображено посещение Авраама его богами в виде трех прекрасных юношей, над ним картина на фризе изображает Аполлона среди пастухов царя Адмета; отсюда мы выводим, что когда боги являются людям, последние их обычно не узнают».

Так, разглядывая картины, они шли дальше. Большей частью сюжеты были знакомы Вильгельму, но воспроизведены они были живее и многозначительнее, чем он привык их видеть изображенными. Лишь немногие картины требовали разъяснения; причем он не удержался, чтобы не опросить вторично, почему сюжетам из истории израильского народа было дано предпочтение перед событиями из истории других народов. На это старший из Троих ответил: «Из всех языческих религий, ибо к таковым я должен отнести и религию еврейскую, последняя имеет особые преимущества; на некоторые из них я и намерен указать. Перед судилищем этническим, перед судилищем бога народов, не ставится вопрос, является ли данный народ лучшим, превосходнейшим народом, а лишь отличается ли он живучестью, сохраняется ли он? Израильский народ всегда был довольно плохим народом, как то ему постоянно говорили его вожди, судьи, старейшины и пророки, у него мало тех добродетелей и большинство тех пороков, которые присущи другим народам, но трудно найти равного ему по самостоятельности, твердости, мужеству, а когда и все это не помогает,— по упорству и стойкости. Это самый живучий народ 'на земле, он есть, был и пребудет для прославления вовеки имени Иеговы. Вот почему мы я выставили его как образец, как главную картину. Изображения же из истории остальных народов служат главной картине лишь обрамлением».

«Мне не пристало вступать с вами в прение,—сказал Вильгельм,— ибо мне у вас надо учиться. Откройте же мне, прошу вас, другие преимущества этого народа или, вернее, преимущества его истории, его религии».—«Главное преимущество,—отвечал старец,— это превосходное собрание из священных книг. Они так удачно подобраны, что из разнороднейших элементов получилось обманчивое впечатление целого. Они достаточно полны, чтобы нас удовлетворить, и достаточно отрывочны, чтобы возбудить нашу пытливость; они заключают в себе достаточно варварства, чтобы вызвать протест, и достаточно нежности, чтобы смягчить нас, а сколько других, резко противоположных качеств присущи этим книгам,— этой книге!»

Последовательный ряд главных картин и отношение их к второстепенным, сопровождавшим их снизу и сверху, давали столь-

ко пищи для размышления, что Вильгельм едва слушал глубокомысленные замечания, которыми его проводник, казалось, скорее хотел отвлечь его внимание от сюжетов, чем приковать к ним. Старец, 'между прочим, сказал: «Я должен упомянуть еще об одном .преимуществе еврейской религии: она не воплощает своего бога ни в каком образе и тем предоставляет нам свободу дать ему достойный человеческий образ в противоположность идолопоклонническим лжеучениям, изображающим свои божества в виде животных и чудовищ».

Во время краткой прогулки по этим галереям наш друг воскресил в своей памяти события всемирной истории, и освещение их в некоторых случаях показалось ему новым. Образное сопоставление этих событий и размышления, высказанные по этому поводу сопровождавшим его, открыли перед ним новые точки зрения на знакомые ему исторические явления, и он порадовался, что его Феликс усвоит на всю жизнь через посредство столь достойного чувственного воспроизведения все эти великие, многозначащие, показательные события, словно они действительно произошли на его глазах. Под конец он стал смотреть на картины глазами мальчика, и с этой точки зрения они уже вполне его удовлетворили. Так они дошли на своем пути до печальной эпохи смут и волнений и наконец до гибели города и храма, убийств, изгнания и массового обращения в рабство этого стойкого народа. Последующие его судьбы искусно были изображены аллегорически, ибо историческое, реальное их изображение выходило бы за пределы, доступные благородному искусству.

Здесь пройденная ими галерея внезапно обрывалась, и Вильгельм был удивлен этому неожиданному концу. «Мне кажется, что в последовательном ряде исторических картин вы допустили пробел. Вы разрушили Иерусалимский храм, рассеяли еврейский народ, не выведя на сцену того божественного человека, который еще не задолго перед тем там жил и учил, словам которого они еще так недавно .не хотели внимать».

«Сделать то, что вы от нас требуете, было бы ошибкой. Жизнь этого божественного человека не стоит ни в какой связи со всемирной историей того времени. То была жизнь частного человека, его учение было учением, обращенным к отдельным людям. Лишь то, что происходит в общественной жизни народных масс и их расчленений, принадлежит всемирной истории, всемирной религии, которую мы и считаем первоначальной. А то, что происходит внутри отдельного человека, составляет область второй религии— религии мудрецов, этой-то религии и учил Христос и осуществлял ее своей жизнью, доколе он ходил по земле. Вот почему здесь и заканчивается внешнее, а теперь я вам открою внутреннее».

Перед ними распахнулись двери, и они вступили в другую галерею, подобную первой. Здесь Вильгельм тотчас узнал на стенах картины, иллюстрирующие книги второй части священного писания. Казалось, они были написаны другою кистью; все в них было мягче и нежнее — фигуры, движения, обстановка, освещение и колорит.

«Здесь,—сказал сопровождавший Вильгельма, после того как они прошли мимо части картин,— вы не увидите изображения ни событий, ни деяний, а лишь чудес и притч. Здесь мы вступили в новый мир: новая внешняя оболочка, иная, чем раньше, и внутреннее содержание, которое там совершенно отсутствовало. Чудесами и притчами вскрывается новый мир. Первые делают обыденное 'необычайным, вторые— 'необычайное обыденным».— «Будьте добры, поясните мне смысл последних ваших слов, ибо сам я не .в силах его постичь»,—сказал Вильгельм. «Смысл моих слов прост и естествен, хотя и глубок,— отвечал его собеседник.— Всего легче вскрыть его при помощи примеров. Нет более обыденной вещи, как еда и питье; однако облагородить напиток, размножить пищу так, чтобы ее хватило на бесчисленное множество народа, есть нечто необычное. Болезнь и телесная немощь — вещи вполне обыденные, но необычайно — их устранять или облегчать духовными или подобными им средствами, потому-то чудо и чудесно, что обыденное и необычайное, возможное и невозможное сливаются воедино. В иносказании, или притче, мы наблюдаем обратное: здесь возвышенным, 'необычайным, недосягаемым являются смысл притчи, раскрывающееся в ней значение, ее идея. И 'вот, когда это высокое содержание облекается в обыденный, простой, осязаемый образ, выступая перед нами как нечто живое, наличное, действительное, так что мы можем усвоить, охватить и удержать его, обращаться с ним, так сказать, за панибрата, тогда это составляет другого рода чудо, которое, по справедливости, можно приравнять первому, а пожалуй, и дать ему предпочтение. В притчах высказано живое учение, учение непререкаемое; это не мнение о том, что справедливо и что несправедливо, это — сама правда или неправда в живом воплощении».

Эта часть галереи была короче остальных или, вернее,— она составляла четвертый пролет галереи, окружавшей внутренний двор. Однако если по первым трем можно было пройти, не задумываясь, то здесь как-то хотелось приостановиться и побыть некоторое время, прохаживаясь взад и вперед. Сюжеты были не так разительны, не так разнообразны, но они тем более возбуждали желание проникнуть в их глубокий, интимный смысл. И в самом деле- дойдя до конца пролета, они повернули обратно. причем Вильгельм высказал замечание, что изображения здесь

доходят лишь до тайной вечери, до минуты расставания учителя с учениками. Поэтому он опросил своего спутника, где же остальная часть повествования.

«Во 'всем нашем преподавании и учении,— ответил старший,— мы охотно расчленяем все то, что только можно расчленить; ибо лишь таким путем в юношестве зарождается понятие относительной значимости. И без того жизнь все сваливает и перемешивает в одну кучу. А потому мы и здесь совершенно отделили жизнь этого исключительного человека от его конца. В жизни он являет себя подлинным философом — пусть это выражение вас не смущает,— мудрецом в высшем смысле этого слова. Он твердо стоит на своем, он неуклонно шествует по своему пути и, возвышая до себя все низменное, делая невежд, бедных, немощных участниками своей мудрости, своего богатства, своей силы и как бы приравнивая себя им, он в то же время не отрекается от своего божественного происхождения, он дерзновенно провозглашает себя равным богу, даже называет себя богом. Этим он с молодых лет изумляет окружающих, привлекает часть их к себе, остальных возбуждает против себя и показывает всем, кто мало-мальски ищет высокого в жизни и в учении, чего они могут ждать от мира. Таким образом, его жизненное поприще еще поучительнее и плодотворнее для благородной части человечества, чем его смерть, ибо к первому испытанию призван всякий, ко второму — лишь немногие, а чтобы окинуть общим взглядом все то, что вытекает из этой мысли, взгляните на трогательную картину тайной вечери: и на этот раз, как и всегда, мудрец оставляет своих учеников подлинно осиротелыми, в заботе о добрых он в то же время питает с ними вместе и предателя, который готовится погубить его и лучших из его последователей».

С этими словами старший открыл двери, и Вильгельм остановился в удивлении, снова очутившись в первой, входной зале. Они, как он теперь понял, успели обойти весь двор. «А я надеялся,— сказал Вильгельм,— что вы доведете меня до конца, и вот я снова оказался у начала».— «На этот раз я больше ничего показать вам не могу,—сказал его спутник,— ничего больше мы не показываем своим воспитанникам, ничего больше мы им не объясняем, кроме того, что вы успели обозреть. Мы открываем внешнее, общемирское всем и каждому с ранней молодости, с внутренним, особенно с касающимся ума и сердца, мы знакомим лишь тех, кто уже развил в себе известную способность к рассуждению, остальное же, что открывается один раз в год, мы можем сообщить лишь тем, кого мы отпускаем. Последней форме религии, которая возникает из благоговейного отношения к тому, что ниже нас, что внушает отвращение, чего всякий желал бы избегнуть, что всякому ненавистно, мы обучаем всех тех,

кого мы выпускаем в свет; это служит им напутствием, дабы они знали, к чему прибегнуть, если они ощутят в том когда-нибудь потребность. Приглашаю вас снова посетить нас через год, присутствовать на нашем общем празднестве и ознакомиться с тем, какие успехи сделал за это время ваш сын, тогда мы введем и вас в святилище страдания».

«Дозвольте мне задать вам еще один вопрос,—сказал Вильгельм.—Выставив как образец и как поучение жизнь этого божественного человека, выдвигаете ли вы и его смерть как пример возвышенного долготерпения?»—«Безусловно,—отвечал старец,— из этого мы не делаем тайны, но мы набрасываем некоторый покров .на эти страдания именно потому, что так благоговейно перед ними преклоняемся. Мы почитаем преступной дерзостью выставлять орудие пытки и страдающего на нем святого перед тем самым солнцем, лик которого помрачился, когда преступный мир навязал ему это зрелище, мы считаем недопустимым кощунством обращать в игрушку, в предмет обыденного употребления или украшения глубочайшую тайну, в коей сокрыта вся божественная глубина страдания, я не успокаиваться до тех пор, пока то, что достойно благоговейнейшего поклонения, не обратится в избитую и пошлую вещь. Но на этот раз довольно; теперь вы можете быть спокойны за своего мальчика, и вы могли убедиться, что найдете его так или иначе более или менее воспитанным, но, во всяком случае, в желательном направлении, не сбитым с толку, не колеблющимся и вполне твердым и стойким».

Вильгельм все еще медлил, прося, чтобы ему были показаны и истолкованы картины, украшающие входную залу. «Это нам также придется отложить на год,—отвечал его спутник.—К урокам, которые мы преподаем детям в этот промежуток времени, мы не допускаем посторонних людей, но тогда приходите к нам, и вы услышите .все, что наши лучшие ораторы найдут уместным сообщить относительно этих предметов».

Вскоре после окончания этой беседы раздался стук в двери. Появился вчерашний надсмотрщик с докладом, что он привел лошадь Вильгельма, и наш друг распрощался с Тремя, которые дали еще надсмотрщику следующие, касавшиеся его указания: «Отныне этот человек причислен к кругу доверенных, а потому ты знаешь, как ты должен отвечать на его вопросы: ибо, несомненно, он пожелает узнать еще многое о том, что он у нас видел и слышал, цель же и мера твоих ответов тебе известны».

Действительно, у Вильгельма были еще на душе некоторые вопросы, которые он и не замедлил задать своему спутнику. Всюду, где они проезжали, дети становились в те же позы, как и накануне; но на этот раз он замечал, хотя и не часто, что отдельные мальчики не кланялись проезжавшему надсмотрщику, не

отрывались от своей работы и давали ему проехать, как бы не видя его. Вильгельм спросил своего провожатого, какая тому причина и что означает это исключение из общего правила. На это последовал ответ: «Это исключение, действительно, знаменательно: ибо это высшая мера наказания, какую мы налагаем на наших воспитанников; они признаны недостойными выражать свое благоговение и обязаны вести себя так, словно они грубы и невоспитанны; но они стараются всеми силами выйти из этого унизительного положения и с особым усердием выполняют свои обязанности. Если же, паче чаяния, какой-либо ребенок упрется и не проявит склонности к исправлению, мы его немедленно отсылаем к родителям с кратким, но решительным уведомлением. Кто не желает научиться подчинению законам, тот должен покинуть ту местность, на пространстве которой они действуют».

Как и вчера, любопытство Вильгельма возбудило другое явление—это разнообразие в цвете и покрое одежды воспитанников; здесь, видимо, не было градаций по ступеням, ибо дети, кланявшиеся по-разному, бывали одеты в одинаковые цвета, а другие, приветствовавшие проезжающих одинаковым поклоном, бывали одеты по-разному. Вильгельм задал вопрос относительно этого кажущегося противоречия. «Разъяснить его не трудно,— отвечал его спутник,— это служит нам своеобразным средством ознакомиться с характером мальчиков. В остальном, поддерживая порядок и дисциплину, мы ввели в этом отношении некоторый произвол. Из имеющихся у нас запасов материй и отделок мы предоставляем мальчикам полную свободу в выборе того или другого цвета, то же самое, но в известных границах, мы допускаем и в отношении покроя и формы платья; этого порядка мы придерживаемся строго, ибо по цвету платья можно заключить о складе характера человека, а по покрою — об образе его жизни. Впрочем, одна черта, присущая человеческой природе, несколько затрудняет нам более точное суждение по этим признакам—это склонность к подражанию, стадное начало, так сказать. Редко бывает, чтобы воспитанник в своем выборе проявил какую-либо оригинальность, чаще всего выбор его падает на что-нибудь уже знакомое ему, что у него как раз перед глазами. Но и из этого наблюдения мы умеем извлекать пользу: по* таким внешним признакам можно судить, к какой партии принадлежит тот или другой ученик; ведь каждый из них примыкает к той или иной группе товарищей, и через это вырисовывается тот или иной склад характера, благодаря чему мы можем судить о том, куда его влечет, чьему примеру он хочет следовать.

«Бывали случаи, когда все склонялись к общему, когда среди всех распространялась известная мода, всякая особенность стремилась слиться в единстве. Такой тенденции мы незаметным

образом стараемся противодействовать: мы даем истощиться нашим запасам; когда же та или иная материя, та или иная отделка оказываются исчерпанными, мы подсовываем какую-нибудь заманчивую новинку; яркими цветами, коротким, облегающим тело покроем мы стараемся привлечь веселых и живых мальчиков, более темными тонами, удобным, ниспадающим складками покроем соблазняем более серьезных и таким путем снова восстанавливаем известное равновесие.

«Ибо мы—решительные противники мундира: он маскирует индивидуальный характер и скрывает от взоров воспитателей более, чем какое-либо притворство, особенности, присущие каждому ребенку».

Беседуя об этих и иных подобных предметах, Вильгельм достиг наконец границы провинции, и притом как раз в том пункте, где он должен был ее покинуть, согласно указаниям своего старого друга, с тем, чтобы продолжать свой путь для достижения главной цели своего путешествия.

При прощании надсмотрщик заметил Вильгельму, что он может теперь ожидать великого .празднества, о дне которого .все его участники будут так или иначе .извещены. На него приглашаются все родители, а достигшие успехов воспитанники при этом выпускаются из училища на вольную жизненную дорогу, преисполненную всяких случайностей. Тогда, сказал ему его спутник, ему будет предоставлено свободно посетить и другие местности, где в соответствующей обстановке ведется и осуществляется преподавание отдельных предметов по особым принципам.

(т. VIII. кн. 2. гл. 1 и. 2, стр. 172—192)

Настал знаменательный день, когда должны были быть пред приняты первые подготовительные шаги к общему переселению, в этот день должно было окончательно выясниться, кто в самом деле хочет пуститься в далекий свет и кто предпочитает искать счастья, оставаясь привязанным к старой почве.

По всем улицам веселого местечка раздавалось бодрящее пение; народ собирался; сходились члены отдельных цехов и под звуки* согласного пения, в порядке очереди, указанной жребием, вступали в залу.

Вожаки, как мы уже и раньше называли Ленардо, Фридриха и управляющего, готовились последовать за ними, чтобы занять свои места, когда к ним подошел человек привлекательной наружности, прося разрешения принять участие 'в их собрании. Отказать ему в чем-либо было невозможно, так воспитанно, предупредительно и любезно он себя держал; притом внушительная фигура незнакомца обличала в нем близость к военным, при-

дворным и светским кругам и производила .самое привлекательное впечатление. Он вошел в залу вместе с остальными; ему отвели почетное место. Все расселись. Ленардо один остался стоять и обратился к собранию со следующей речью: «Если, друзья мои, мы бросим взгляд на наиболее населенные провинции и государства континента, то увидим, что всюду, где имеется плодородная почва, таковая обработана, засажена, размерена, разукрашена и, следовательно, является предметом желания и обладания, закрепляется и охраняется. Это убеждает нас в огромном значении земельной собственности и заставляет нас смотреть на нее как на первое и лучшее достояние человека, Убеждаясь при ближайшем рассмотрении в том, что любовь к родителям и детям, тесная связь соседей, живущих в одной общине или в одном городе, и, наконец, общее чувство патриотизма непосредственно связаны с почвой, мы невольно приходим к заключению, что это присвоение себе пространств земли как в большом, так и в малом масштабе и обладание ими представляет нечто сугубо значимое и почтенное. Таковы предначертания самой природы! Человек, рожденный на определенном клочке земли, в силу привычки привязывается к нему; они как бы срастаются, и тотчас, вместе с тем из этой связи возникают самые дивные узы. Кто поэтому решится дерзостной рукою прикоснуться к твердыне человеческого существования, недооценивая всего значения и достоинства этого прекраснейшего небесного дара?

«А все же мы вправе сказать: если то, чем обладает человек» имеет огромную ценность, то тому, что он делает и творит, надлежит придавать ценность еще большую. Поэтому при более широком обзоре окружающего нас мы должны смотреть на земельную собственность, как на меньшую часть дарованных нам благ. Самая большая и важная их доля падает на движимость и на то, что приобретается подвижной жизнью.

«Искать этого — по преимуществу наша задача, задача молодого поколения, ибо если бы мы и были склонны оставаться на месте и держаться наследия наших отцов, то все же тысячи побудительных причин заставили бы нас не закрывать глаз на внешний мир, на более широкие пространства. Поспешим же к морскому берегу, убедимся с первого же взгляда, какие необъятные пространства открываются для нашей деятельности, и мы сразу ощутим, при одной мысли об этом, наплыв особой энергии.

«Однако в такую безбрежную даль мы устремляться не намерены, но обратим наши взоры на непрерывную ширь угодий многих стран и государств. Там видим мы, как на бесконечных равнинах блуждают кочевники, поселения которых подвижны, живое имущество которых, состоящее из стад, перегоняется

с одного места на другое. Мы видим, ,как среди пустыни эти стада отдыхают на обширных зеленеющих пастбищах, словно корабли на якоре и желанных гаванях. Это передвижение, это вечное странствование обращается у них в привычку, становится для них потребностью; под конец вся поверхность земли представляется им какой-то гладью, не пересеченною преградами тянущихся горных хребтов и рек. Ведь видели же мы, как с северо-востока двигались на юго-запад целые народы, вытесняя один другого и коренным образом изменяя государственный строй и порядок землепользования.

«Подобные передвижения из перенаселенных стран будут еще не раз повторяться в мировой истории. Трудно предсказать, чему мы можем подвергнуться со стороны иноземцев, но всего удивительнее то, что благодаря чрезмерной густоте населения мы сами друг друга тесним изнутри и, не дожидаясь, чтобы кто-нибудь посторонний нас погнал, сами гоним один другого, приговаривая друг друга к изгнанию.

«Теперь настало время без досады и раздражения дать волю присущей нам охоте к передвижению и не подавлять в себе этого нетерпеливого позыва, влекущего нас к поискам новых мест. Но пусть то, что мы задумали и предпринимаем, совершится не под влиянием страсти или иного какого понуждения, но на основе зрело обдуманного, сознателкно принятого решения.

«Люди говорят и повторяют: «Где мне хорошо, там — и мое отечество!» Однако эта утешительная сентенция была бы еще более удачно выражена, если бы она гласила: «Где я приношу пользу, там—мое отечество!» Дома, у себя, человек может не приносить пользы без того, чтобы это было заметно; на чужбине бесполезность человека сразу бросается в глаза. Итак, говоря: «Пусть каждый старается всюду и всегда приносить пользу себе и другим», я не высказываю какого-либо нравоучения, не подаю доброго совета, а лишь выражаю требование самой жизни.

«Теперь бросим взгляд на земной шар и сперва оставим бед внимания моря, не увлекаясь непрерывным движением бесчисленных (кораблей, снующих по ях поверхности, а устремим взоры на сушу. Здесь нас невольно поразит кишащий, как муравейник, передвигающийся и перекрещивающийся во всех направлениях людской поток. Толчок этому движению дал сам господь, воспрепятствовавший сооружению Вавилонской башни и рассеявший человечество по всему лицу земли. Прославим же его, ибо это благодатное устремление передалось от поколения к поколению даже до наших дней.

«С особой отрадой отметим, как молодежь охотно приходит в движение. Не получая достаточного образования ни дома, ни возле дома, она спешит в чужие страны и города, куда ее манит

призыв к знанию и мудрости; быстро приобретя кое-какое образование на одном месте, она ощущает потребность заглянуть и в другие места, окинуть взором широкий мир—не найдет ли, не усвоит ли она там новый, полезный для ее целей опыт? В добрый час! Нам же тотчас приходят на мысль те достигшие полной зрелости выдающиеся люди, те благородные естествоиспытатели, которые сознательно идут навстречу всевозможным трудностям, всевозможным опасностям, дабы открыть миру мир и пробить тропу и проложить пути по самым непроходимым местам.

«Посмотрите также на ровные столбовые дороги, как на них стелется одно облако пыли за другим, отмечая путь удобных экипажей с увязанным на них багажом, в которых катят знатные и богатые люди, да и многие другие, чей образ мыслей и намерения во всем их разнообразии так изящно изображает Йорик *.

«Пусть же честный ремесленник в спокойном самосознании глядит им вслед, идя пешком по той же дороге: на него родина возложила ответственную задачу — усвоить себе на чужбине сноровку и искусство и не раньше вернуться под отеческий кров, чем он этого добьется. Чаще, однако, мы встречаем на наших дорогах маркитантов и торговцев; даже мелкий торгаш должен время от времени покидать свою лавочку, посещать ярмарки и базары, дабы приблизиться к оптовику и поднять свои скромные доходы, следуя чужому примеру и принимая участие в безграничном мировом торговом обороте. Но еще хлопотливее толпа снующих в одиночку верхом взад и вперед по дорогам и проселкам людей, имеющих виды на наш кошелек, хотя бы и против нашей воли. Всевозможные образцы товаров, прейскуранты и объявления преследуют нас, проникая во все дома городов и деревень, и куда бы мы ни пытались укрыться от них, они нас настигают, предлагая нам купить вещи, которые никому бы в голову не пришло приобрести. Но что мне сказать о том народе, который по преимуществу избрал призвание вечного странствования и благодаря своей подвижной деятельности не только умудряется перехитрить тех, кто спокойно сидит на месте, но и обогнать тех, кто рядом с ним пустился в путь-дорогу? Мы не помянем его ни худым, ни добрым словом. Не будем его хвалить потому, что наш союз его остерегается, но и хулить не станем, ибо странник должен приветливо относиться к каждому встречному, памятуя о взаимной пользе.

«Теперь же с любовью вспомним обо всех художниках, ибо и они вовлечены в движение мирового потока. Разве живописец не бродит со своим мольбертом и палитрой от одного вида к другому? А разве его собратья по искусствам не приглашаются то в одно место, то в другое, ибо всюду находится работа и для зодчего и для ваятеля? Но еще оживленнее передвижение

музыкантов, ибо они по преимуществу призваны поражать неискушенный слух новыми звуками, еще девственное чувство — неожиданными переживаниями. Затем идут актеры. Хотя они теперь и пренебрегают колесницей Фесписа *, все же они непрерывно кочуют с места на место небольшими труппами, и их переносный мир быстро и ловко воздвигается на любом месте. Точно так же они в одиночку охотно пускаются в дальнейший путь, порою отказываясь от серьезных и выгодных отношений, которые им удалось завязать; поводом к тому служит развившийся талант и повысившиеся потребности. К этому они обычно подготовляются тем, что уже на родине выступают на всех мало-мальски выдающихся подмостках.

«А теперь взглянем на сословие ученых: они, как вы легко можете убедиться, тоже постоянно передвигаются с места на место; переходят с одной кафедры на другую, дабы как можно шире и поспешнее рассевать семена наук. Но еще большее усердие и широту охвата проявляют те благочестивые люди, которые рассеиваются по всему миру, дабы просвещать все народы. Другие тем временем странствуют из страны в страну в поисках благ просвещения; они толпами паломничают к святым чудотворным местам, дабы там найти и получить то, чего душа их не могла обрести у себя дома.

'«Если мы не удивляемся всем этим людям, ибо их деятельность в большинстве случаев представляется немыслимой без странствований, то мы должны были бы ожидать от тех, кто посвящает свой труд земле, что они по крайней мере будут привязаны к родной почве. Никоим образом! Ведь пользование мыслимо и без права собственности, и мы видим, как усердный земледелец покидает ниву, которая в течение нескольких лет была для него, как временного арендатора, источником пользы и радости; непоседливый, он разузнает повсюду, где бы ему найти равную или большую выгоду, все равно — вдали или вблизи от прежнего его места жительства. Нередко сам собственник покидает распаханную им новь, как только обработка сделает ее удобной для менее искусного хозяина; снова устремляется он в дикие места, снова отвоевывает себе среди лесов пространство, вдвое большее против прежнего, как награду за понесенные им ранее труды, с тем, чтобы остаться, быть может, недолго и на этом месте.

«Но оставим его там в борьбе с медведями и другим диким зверьем и вернемся в цивилизованный мир, где мы также не найдем ни малейших признаков спокойствия. Присмотримся к любому большому благоустроенному государству, и мы увидим, что наиболее способные люди в нем являются и наиболее подвижными; мановение руки властителя, постановление государ-

ственного совета мгновенно перемещают пригодного человека с одного места на другое. Здесь тоже уместен наш призыв: «Старайтесь всюду быть полезными, ведь всюду вы—дома». Когда же мы видим, что крупные государственные деятели против желания принуждены покинуть свой высокий пост, мы вправе пожалеть о них, ибо мы не можем смотреть на них ни как на переселенцев, ни как на странников: они—не переселенцы, ибо они лишаются завидного положения без того, чтобы перед ними открывалась малейшая перспектива или надежда на улучшение их положения, они—'не странники, ибо редко перемена места сулит им возможность принести пользу каким-либо образом.

«К особого рода страннической жизни призван солдат; даже

в мирное время его назначают на тот или другой пост; он должен всегда сохранять свою подвижность, чтобы быть постоянно готовым сражаться за отечество у себя или на чужбине, причем ему приходится передвигаться не только для непосредственной защиты своей родины, но и направлять свои стопы во все страны света по воле и мысли своего народа или своего государя, и лишь немногим удается прочно обосноваться на одном какому-либо месте. Храбрость — первое качество, которое предполагается в солдате, но она всегда мыслится не иначе, как в соединении с верностью; вот почему представители некоторых народов, заслужившие репутацию особой надежности, вызываются со своей родины, чтобы служить телохранителями духовных и светских властителей.

«Еще один чрезвычайно подвижный и необходимый для государства класс людей видим мы в тех уполномоченных, которые рассылаются от одного двора к другому, тесным кольцом окружают государей и министров и невидимыми, перекрещивающимися нитями покрывают весь обитаемый мир. Никто из них не бывает прикреплен к определенному месту; во время мира самых способных из них пересылают из одной части света в другую; во время войны, следуя за победоносной армией, идя впереди бегущей, они всегда готовы покинуть одно место и перебраться на другое, а потому всегда возят с собою большой запас прощальных визитных карточек.

«Если мы до сих пор на каждом шагу приводили лестные для нас примеры множества выдающихся людей, которые разделяют нашу судьбу и являются нашими сотоварищами, то в заключение мы хотим оказать вам высший почет, причислив вас к сонму императоров, королей и других властителей. Сошлемся прежде всего, благословив его память, на царственного странника Адриана, который пешком, во главе своих легионов, обошел весь обитаемый 'в то время и подчиненный ему мир и этим

впервые окончательно 'вступил в полное обладание им. Содрогнемся при воспоминании о завоевателях, этих вооруженных странниках, которым ничто не могло противостоять, от которых мирные народы не могли защититься ни стенами, ни окопами; вспомним, наконец, с искренним сожалением и о тех несчастных изгнанных государях, которые, низринутые с вершины величия, не могли вступить даже в скромный цех деятельных странников.

«Уяснив и представив себе все это, мы уже не поддадимся малодушному унынию, не позволим мрачным мыслям овладеть нами. Прошло то время, когда в широкий мир пускались наугад, как в рискованное приключение. Благодаря стараниям ученых путешественников, мудро описавших и художественно изобразивших свои кругосветные плавания, мы достаточно ознакомлены со всем миром и приблизительно знаем наперед, что нас ожидает в каждой части света.

«Однако полной ясности, совершенной осведомленности отдельный человек достигнуть не может. Для того-то и основано наше общество, чтобы каждый в меру своих потребностей и в соответствии с поставленными им себе целями получал необходимые разъяснения. Если кто-нибудь наметил себе определенную страну, на которую он направил свои желания, то мы стараемся уяснить ему все подробности той картины, которая в общих чертах рисуется его 'воображению; в беглом обзоре ознакомлять друг друга со .всеми населенными и пригодными для заселения частями мира представляет самое приятное и плодотворное занятие.

«В этом смысле мы можем смело сказать, что входим в состав мирового союза. Замысел прост в своем величии, выполнение его легко при разумной энергии. Единство всесильно, поэтому да не будет между нами разделений и опоров. Поскольку у нас имеются принципы, они общи нам всем. Пусть человек мыслит себя, говорим мы, свободным от всяких внешних уз; пусть он ищет целесообразное не во внешних обстоятельствах, а внутри самого себя, там он его найдет, любовно воспитает и разовьет. Он разовьет и воспитает в себе сознание, что он повсюду— дома. Тот, кто посвятит всю свою деятельность действительно необходимому, всюду всего вернее достигнет своей цели. Другие, ставящие себе более высокие, утонченные задачи, должны проявлять большую осмотрительность в выборе своих путей. Но к чему бы человек ни стремился, за что бы он ни брался, он в одиночку окажется бессильным, общество всегда является высшей потребностью всякого благомыслящего человека. Все пригодные к чему-либо люди должны поддерживать тесную связь между собою, подобно тому, как строитель всегда нуждается в архитекторе, а архитектор — в каменщике и плотнике.

«Итак всем нам известно, как был заключен и на чем основан наш союз. Среди нас нет ни одного человека, который бы не мог в каждую минуту проявить свою деятельность, который не был бы уверен, что всюду, куда бы его ни привела судьба, собственное желание или даже страсть, он найдет рекомендацию, благожелательный прием и поощрение, а если бы его постиг несчастный случай, то — помощь и поддержку, которые, по возможности, снова поставят его на ноги.

«Две обязанности мы строго блюдем: мы относимся с уважением к каждому богопочитанию, ибо все вероучения более или менее заключены в символе веры; далее мы признаем в равной мере все формы государственного устройства, а так как все они требуют от граждан и поощряют в них целесообразную деятельность, то мы подчиняемся, по мере сил, желаниям и велениям правительства, доколе находимся в сфере его власти. Наконец, мы вменяем себе в обязанность придерживаться правил нравственности, хотя и без педантизма и чрезмерной строгости, и всемерно поддерживать их во имя благоговейного чувства по отношению к самим себе, проистекающего из тех трех форм благоговения, которые мы все исповедуем, будучи, к нашему счастью и радости, посвящены в общие начала этой мудрости, некоторые — даже с ранних лет. Все это в торжественный час расставания мы хотели снова продумать, разъяснить, услыхать и исповедать, а также запечатлеть дружеским прощальным приветом: Нет, на месте жить не буду, Брошу сон и брошу одр! Будет дома тот повсюду, Кто умом и дланью бодр. Там, где солнцем я лелеем, Я от горестей далек. Лишь себя мы в нем рассеем, Станет мир для нас широк.

(т. VIII, кн. 3, гл. 9, стр. 394—403)

Все религии стремятся к тому, чтобы научить человека покоряться неизбежному; каждая религия по-своему пытается выполнить эту задачу...

Однако наше нравственное учение совершенно отделено у нас от религии: оно—чисто деятельное и заключается в следующих немногих кратких заповедях: умеренность в том, что предоставлено нашему произволению, усердие в том, что необходимо. Пусть каждый сам по-своему применит к жизни эти лаконические изречения, и у него окажется неисчерпаемая тема для безграничных выводов.

Всем должно внушаться величайшее уважение к времени, как к высшему дару бога и природы и как к самому зоркому спутнику бытия. У нас множество часов, которые и стрелкой и боем отмечают четверти часа; дабы по возможности увеличить число показателей времени, телеграфы, устроенные в нашей стране, в свободные от работы часы будут показывать течение времени и днем и ночью и притом чрезвычайно остроумным способом.

Наше нравственное учение, носящее, следовательно, чисто практический характер, настаивает главным образом на обдуманности, а развитию последней в значительной мере способствует распределение времени при .внимательном отношении к каждому часу. В каждое мгновение что-то должно быть сделано, а как этого достигнуть, если не относиться с одинаковым вниманием и к самому делу и ко времени, в которое оно выполняется?

Ввиду того, что мы лишь приступаем к нашему делу, мы придаем огромное значение семейному кругу. Мы предполагаем возложить на отцов и матерей семейств великие обязанности. Воспитание нам тем легче будет даваться, что каждый член нашего общества должен сам для себя быть работником или работницей, слугой или служанкой.

Некоторые предметы, правда, необходимо будет привести к 'известному единству. Преподать массам беглое чтение, письмо и счет берет на себя аббат; его метод напоминает систему взаимного обучения *, но он остроумнее; все сводится к тому, чтобы одновременно подготовлять и учеников и учителей.

Упомяну еще об одном применении взаимного обучения: это упражнение в нападении и обороне. Здесь уже сфера Лотарио; его приемы напоминают приемы наших стрелков, но, по свойствам своей природы, он не может быть оригинальным.

При этом отмечу, что в нашем гражданском быту мы не имеем колоколов, а в военном—барабанов; и в том и в другом случае мы довольствуемся человеческим голосом в соединении с духовыми инструментами. Все это существовало и раньше, существует и теперь; но удачное применение всех этих приемов представляется уму, который, конечно, сумел бы их и изобрести.

Всякое государство более всего нуждается в сильных руководителях, и .в них наше государство не будет иметь недостатка. Все мы с нетерпением ждем, когда приступим к работе, .в бодрой уверенности, что все дело в том, чтобы начать. Поэтому мы задумывались не над организацией судов, а лишь над организацией полиции. Принцип, положенный в основу этого учреждения, может быть сведен к следующей ясной и твердой формуле: никто не должен причинять другому неудобств; тот, кто кажется неудобным для своих соседей, будет устранен до тех пор, пока он не поймет, как ему надлежит вести себя, чтобы быть терпимым

в обществе. Если неудобство причиняет бездушный предмет или бессознательное существо, они тоже устраняются.

Для каждого округа назначаются три полицейских директора, работающих попеременно восемь часов кряду, сменяя друг друга, как это практикуется в горном промысле, где работа также ни на минуту не должна останавливаться; а по .ночам один из наших будет всегда у них под рукою. Им предоставлено право увещевать, порицать, бранить и устранять нарушителя спокойствия; если они сочтут это нужным, они созывают известное число присяжных. При равенстве голосов голос председателя не дает перевеса, а бросают жребий, ибо при двух противоположных мнениях можно с уверенностью сказать, что совершенно безразлично, которое из двух возобладает и будет принято.

Относительно большинства мы придерживаемся совершенно своеобразных взглядов; правда, мы с ним считаемся в нормальном течении мировой жизни, но не питаем к нему особого доверия. Впрочем, я не вправе подробнее распространяться на эту тему.

На вопрос относительно высшей власти, управляющей всем, я отвечу, что она никогда не будет пребывать на одном и том же месте, она все время будет переезжать из округа в округ, чтобы поддерживать единообразие в основном, а где возможно — предоставлять каждому поступать по собственному усмотрению. Ведь этому мы уже встречали примеры в истории: германские императоры всегда переезжали с места на место, и такой порядок более всего соответствует духу свободного государства. Мы боимся возникновения столицы, хотя на нашей территории уже намечается пункт, где сосредоточится большинство населения. До времени мы это держим в тайне: пусть такой центр образуется сам собою, мало-помалу, и чем позже это случится, тем будет лучше.

Вот те пункты, относительно которых общее соглашение почти достигнуто, тем не менее всякий раз, как большее или меньшее число членов нашего общества сойдется, эти положения снова подвергаются обсуждению. Главная же работа нам предстоит тогда, когда мы уже будем на месте. Новый порядок, который предполагается длительным и прочным, нашел свое выражение в законе. Наказания, применяемые у нас, довольно мягки; каждый, по достижении известного возраста, вправе увещевать другого, порицать и бранить может лишь всеми признанный за старшего, налагать наказание—лишь созванные на сей предмет люди.

Давно замечено, что суровые законы скоро притупляются и постепенно ослабляются на практике, ибо человеческая природа всегда берет свое. Мы, наоборот, завели у себя снисходительные

законы с тем, чтобы постепенно усиливать их строгость. Наши наказания заключаются прежде всего в устранении виновного из гражданского общества, с большей или меньшей суровостью, на более или менее продолжительный срок в зависимости от обстоятельств. По мере роста личной собственности у провинившихся граждан в наказание часть ее 'изъемлется, в зависимости от того, заслуживают ли они потерпеть больший или меньший ущерб.

Все члены нашего союза ознакомлены со всеми этими положениями, и когда мы им произвели испытание, то оказалось, что каждый прекрасно может применить к себе основные их пункты. Главное — в том, чтобы нам удалось взять с собою все преимущества культуры, оставив позади все ее недостатки. Мы не допустим у себя открытия ни кабаков, ни библиотек-читален; но о том, как мы намерены поступать с бутылками и книгами, я предпочитаю умолчать: чтобы судить о подобных вещах, надо, чтобы мысль была уже осуществлена на деле.

По той же самой причине собравший и издающий эти листки воздерживается от опубликования других постановлений, которые еще находятся в стадии обсуждения среди членов, как еще не разрешенные проблемы, и которые, может быть, даже не найдут применения по прибытии на место; при таких условиях обстоятельное изложение их на этих страницах не заслуживало бы одобрения.(т. VIII, кн. 3, гл. 11, стр. 417—421)

Кампания во Франции

(1792~1793)

Молодой школьный учитель *, который посещал меня и приносил мне свежие журналы, вызвал меня на приятную беседу. Он, как и многие другие, удивлялся, что я ничего не хочу знать о поэзии, более того, казалось, все силы отдаю изучению природы. Он разбирался в философии Канта, и поэтому я мог указать ему путь, по которому шел сам. Кант в своей «Критике способности суждения», сопоставляя способности эстетического и телеологического суждений, допускал мысль, что произведение искусства нужно трактовать как произведение природы, а произведение природы — как произведение искусства, качество каждого должно развиваться из самого себя и рассматриваться в самом себе. О таких вещах я мог говорить красноречиво и думаю, что в какой-то степени был полезен славному молодому человеку. Удивительно, как каждая эпоха несет с собой истину и заблуждения близкого и даже далекого прошлого; однако живые умы идут по иному пути, по которому большинство из них, разумеется, предпочитает идти в одиночку или короткое время вдвоем с товарищем.

(IV.. I, 33, S. 154)

Удивительным было то время, которое едва ли можно теперь себе представить; Вольтер действительно снял путы с человечества, и в лучших умах возникло сомнение в том, что они прежде почитали. Если фернейский мудрец все свои усилия направлял на то, чтобы ослабить влияние духовенства, и имел в виду

главным образом Европу, то завоевательный дух де По * распространялся на более отдаленные части света; ни китайцев, ни египтян де По не хотел удостоить чести, которой они были обязаны многолетнему предрассудку. Как каноник Ксантена, расположенного по соседству с Дюссельдорфом, он .поддерживал дружеские отношения с Якоби; и как тут не назвать еще многих других?

В этих отрывочных воспоминаниях я должен упомянуть еще о Дидро, пылком диалектике, который тоже гостил некоторое время в Пемпельфорте и который с большой искренностью отстаивал свои парадоксы.

Воззрения Руссо относительно естественного состояния не были чужды этому кругу, который ничего не исключал, а следовательно, и меня он в сущности лишь терпел.

С изучением природы мне едва ли везло больше; серьезную страсть, с которой я отдавался делу, никто не мог понять, никто не видел, что она исходила из глубин моей души; они считали это похвальное стремление чудаческим заблуждением; по их мнению, я мог бы заниматься чем-то лучшим и сохранить старое направление своего таланта. Они считали себя вправе так думать, тем более, что мой образ мышления не совпадал с их образом мышления, а во многом представлял собою прямо противоположное. Нельзя себе представить человека, более одинокого, чем я в то время. Гилозоизм **, или как это там еще называется, которому я был предан и основы которого я оставил неприкосновенными в их величии и святости, сделал меня невосприимчивым, даже нетерпимым к тому образу мышления, который утверждал символом веры любого рода мертвую материю, возбужденную и приведенную в движение. Из естествознания Канта я усвоил то, что силы притяжения и отталкивания относятся к сущности материи и не могут быть в понятии материи отделены друг от Друга; отсюда вытекала первоначальная полярность всех сущностей, которая пронизывает и оживляет бесконечное разнообразие явлений.

Еще прежде, посещая вместе с Фюрстенбергом и Гемстергью княгиню Голицыну, я говорил то же самое, но меня прерывали и просили успокоиться, словно я произносил богохульные речи.

Никакому кругу нельзя ставить в вину то, что он замыкается в самом себе, чем усердно занимались мои друзья в Пемпельфорте. На «Метаморфоз растений» ***, уже год как напечатанный, они почти не обратили внимание, а когда я изложил свои мысли по морфологии, ставшие для меня привычными, в наилучшем порядке и, как мне казалось, с большой силой убеждения, то, к сожалению, я был вынужден заметить, что укоренившееся представление, согласно которому ничто не может появиться, кроме

того, что уже есть,—подчинило себе все умы. Вследствие этого я опять и опять должен был слышать: все живое происходит от яйца, на что я с горькой иронией отвечал древним вопросом: что же было вначале, яйцо или курица? Теория преформизма представлялась весьма убедительной, а созерцать природу глазами Бонне * казалось крайне поучительным.

О моих работах по оптике было кое-что известно, и я не заставил себя долго просить занять общество некоторыми феноменами и опытами, причем мне не составило труда сообщить нечто совершенно новое: ибо все лица, как бы образованны они ни были, заучили идею разложения света и, к сожалению, хотели, чтобы живой свет, чему бы они порадовались, был сведен к этой мертвой гипотезе.

Одно время я охотно мирился с этим, так как никогда не делал доклада, не выиграв при этом: обычно во время выступлений у меня появлялись новые мысли, и по ходу речи я изобретал увереннее всего.

Разумеется, этим способом я мог действовать лишь дидактически и догматически, собственно диалектический дар и способность вести беседу мне не были даны. Часто проявлялась одна моя злая привычка, в которой я себя обвиняю. Так как разговор, как он обычно велся, был для меня чрезвычайно скучен тем, что он касался лишь ограниченных индивидуальных представлений, я любил оживлять возникающий обычно между людьми спор о частностях сильнейшими парадоксами и тем самым доводить спор до крайности. Общество чаще всего было оскорблено и более чем раздосадовано. Нередко, чтобы достичь своей цели, мне приходилось играть роль злого принципа, а так как люди хотели, чтобы они сами и я были хорошими, то и пытались не допускать этого ни всерьез, так как это было не обосновано, ни в шутку, потому что это было бы слишком горько: в конце концов они называли меня лицемером наоборот и вскоре вновь мирились со мною. Однако я не могу отрицать, что благодаря этой злой манере я отдалил от себя некоторых и превратил во врагов других.

(IV., I, 33, 5. 195—198)

Я ходил взад и вперед по комнате в ожидании чтения, уже почти точно зная его воздействие и не раздумывая поэтому более, чтобы не предвосхитить себя самого в столь деликатном деле. И вот он сидит напротив меня и читает листки, которые я знал наизусть вдоль и поперек, и я, возможно, никогда не был более убежден в правоте утверждения физиономистов, будто живое существо во всех своих действиях и поступках полностью согласовано с самим собой и каждый реальный индивидуум

проявляется в полном единстве своих характерных черт. Читающий вполне соответствовал тому, что он читал, что, впрочем, теперь так же, как и прежде, в его отсутствие, не трогало меня. Правда, молодому человеку нельзя было отказать во внимании, в участии, которое и побудило меня предпринять столь необычное путешествие: ведь видны были благородные мысли, серьезное желание и цель; и хотя речь шла о самых нежных чувствах, изложение оставалось лишенным прелести, зримо проступал нарочито ограниченный эгоизм. И вот, закончив, он поспешно спросил, что же я скажу, не заслуживает ли и, более того, не требует ли такое письмо ответа?

Между тем для меня становилось все более ясным достойное сожаления состояние молодого человека; он, собственно, никогда не принимал во внимание внешний мир, напротив, разносторонне образованный чтением, он все свои силы и склонности направлял внутрь души и поскольку в глубине своей жизни не находил животворного таланта, чуть было не погубил себя таким образом; он лишился даже, как ему казалось, поддержки и утешения, обрести которые может каждый в занятиях древними языками. Удачно испытав на себе и на других, что наилучшим целебным средством в таких случаях является незамедлительное исполненное веры обращение к природе и ее безграничному разнообразию, я тотчас же рискнул применить это и в данном случае, а поэтому после некоторого раздумья ответил ему следующим образом: '«•Мне кажется, я понимаю, почему молодой человек, к которому Вы испытывали столь большое доверие, не ответил Вам; его теперешний образ мышления настолько яе согласуется с Вашим, что он не может надеяться на взаимопонимание. Я сам присутствовал при беседах в том кругу и слышал, как утверждали, что от болезненного, самоистязающего, мрачного душевного состояния можно освободиться и спастись лишь посредством изучения природы и искреннего участия в делах внешнего мира. Уже самое общее знакомство с природой с какой бы то ни было стороны, деятельное вмешательство, будь то в качестве садовника или земледельца, охотника или рудокопа, отвлечет нас от самих себя; направление духовных сил на действительные подлинные явления даст со временем величайшее удовлетворение, ясность и знания; подобно тому, как не пропадет художник, который верен природе и вместе с тем пытается расширить рамки своего внутреннего мира».

(W., I, 33, S. 221-223)

В таком состоянии я находился, когда на обратном пути из Северной Германии появился у меня и пробыл несколько дней испытанный временем друг Якоби. Как только доложили о нем, я чрезвычайно обрадовался, его приезд сделал меня счастливым: расположение, любовь, дружба, участие — все было живо как и прежде. Только в ходе бесед 'выявилось странное разногласие.

С Шиллером, чей характер и нрав являли собой полную противоположность моему характеру и нраву, я жил много лет подряд, и попеременное взаимное влияние действовало таким образом, что мы понимали друг друга даже тогда, когда не могли прийти к соглашению. Каждый твердо придерживался своего до тех пор, пока мы вновь не объединяли свои усилия в какой-либо деятельности или области мышления. В Якоби я находил как раз обратное. Мы не виделись годами; все, что мы познали, свершили или выстрадали, каждый осмыслил в себе сам. Когда мы опять находили друг друга, то безусловное, преисполненное любви доверие проявлялось во всей своей чистоте и ясности, будило веру в полное сочувствие как в силу убеждений, образа мышления, так и в силу поэтического творчества. Однако вскоре картина менялась, мы жили, не понимая друг друга. Я переставал понимать язык его философии. Он не .находил удовольствия в мире моей поэзии. Как мне хотелось видеть тогда здесь третьим Шиллера, который поддерживал бы связь с ним как мыслитель, со мною как поэт, который и тут, разумеется, способствовал бы прекрасному единению, невозможному между двумя, оставшимися в живых. Чувствуя это, мы довольствовались тем, что честью

и любовью укрепляли прежний наш союз и только в самых общих чертах принимали к сведению наши взгляды, знакомились с философскими и поэтическими начинаниями.

Якоби думал о духе, я о природе, нас разъединяло то, что должно было бы объединить. Первооснова наших взаимоотношений оставалась непоколебимой; расположение, любовь, доверие были прежними, но живое участие постепенно угасало и в конце концов угасло полностью. О наших позднейших работах мы не обменялись ни одним добрым словом. Странно, что люди, в такой степени развившие способность мышления, не сумели объяснить себе состояние друг друга, волновались, более того, дали сбить себя с толку легко устранимой ошибкой, языковой односторонностью. Почему они вовремя не сказали: кто хочет наибольшего, должен желать целого; кто рассматривает дух, пусть исходит из природы; кто говорит о природе, пусть предполагает дух или молча соглашается с этим. Мысль нельзя отделить от предмета мысли, волю—от возбудителя. Если бы они договорились тем или иным образом, то могли бы идти рука об руку по жизни вместо того, чтобы, оглядываясь в конце на пройденный порознь жизненный путь, приветствовать друг друга пусть радушно и сердечно, но все-таки с сожалением.

(W„ I. 36, S. 267—269)

Значительный стимул от одного единственного меткого слова

(1823)

В своей «Антропологии», произведении, к которому мы многократно будем возвращаться, господин д-р Хейнрот * благоприятно отзывается обо мне и моей деятельности, он даже определяет мою манеру исследования как своеобразную: именно, что моя мыслительная способность проявляется предметно; этим он хочет сказать, что мое мышление не отделяется от предметов, что элементы предметов, созерцания входят в него и интимнейшим образом проникаются им; что само мое созерцание является мышлением, мое мышление— созерцанием; и такому способу названный друг не отказывает в своем одобрении.

К каким размышлениям побудило меня это единственное слово, сопровождаемое такой апробацией, пусть поведают последующие немногие страницы, которые я предоставляю участливому читателю, если он раньше познакомился с подробностями на стр. 389 названной книги.

В настоящем, как и в прежних выпусках («Вопросов морфологии»), я преследовал намерение высказать, как я рассматриваю природу, и одновременно до некоторой степени раскрыть, насколько это возможно, и себя самого, свой внутренний мир, свою манеру видеть. Для этого особенно может пригодиться одна из моих более старых статей «Опыт как посредник между субъектом и объектом».

При этом я признаюсь, что большая и столь значительно звучащая задача — познай самого себя — с давних пор всегда казалась мне подозрительной, как хитрость тайного союза

жрецов, которые хотят недостижимыми требованиями запугать человека и совратить его от направленной на внешний мир деятельности на путь внутренней ложной созерцательности. Человек знает себя лишь постольку, поскольку он знает мир, который он постигает только в самом себе и себя только в нем. Каждый новый предмет, хорошо рассмотренный, раскрывает в нас новый орган.

Но больше всего содействуют нам наши ближние, которые имеют то преимущество, что могут со своей точки зрения сравнивать нас с миром и потому лучше познавать нас, чем мы сами. Поэтому в более зрелые годы я с усиленным вниманием относился к тому, насколько успешно меня могут познавать другие, чтобы на них и в них, как в зеркалах, лучше уяснять самого себя и свой внутренний мир.

Враги в счет не идут, ибо мое существование им ненавистно, они отвергают цели, к которым направлена моя деятельность, и столь же ложными считают они мои средства достижения их. Поэтому я отвожу их и игнорирую их, ибо они не могут стимулировать меня, к чему все и сводится в жизни. Друзьям же я охотно предоставляю так же ограничивать меня, как увлекать в бесконечное, я всегда взираю на них с чистым доверием в ожидании правильного назидания.

Сказанное же о моем пред'метном мышлении может в такой же мере быть отнесено к предметной поэзии. Некоторые великие мотивы, легенды, предания седой старины так глубоко запечатлелись в моей душе, что я уже сорок—пятьдесят лет сохраняю их в себе живыми и действенными; мне казалось лучшим моим достоянием вновь видеть столь ценные картины в воображении хотя постоянно преобразующимися, однако без изменения созревающими для более чистой формы, более ясного изображения. Здесь я хочу только назвать «Коринфскую невесту», «Бога и баядеру», «Графа и карликов», «Певца и детей» и, наконец, скоро имеющего быть сообщенным «Пария».

Вышесказанным объясняется также моя склонность к стихотворениям по случаю, к которым меня всегда неудержимо побуждало своеобразие какого-нибудь состояния. И в песнях моих можно поэтому заметить, 'что я основе каждой из них лежит что-то 'свое, что 'внутри каждого плода, в той или иной мере значительного, находится какое-то ядро; из-за этого-то их не пели много лет, особенно те, которые отличаются более своеобразным характером, потому что они предъявляют к исполнителю требование перенестись из своего общебезразличного состояния в особенное, чуждое созерцание и настроение, а также ясного артикулирования слов, чтобы было понятно, о чем идет речь. Строфы же тоскливого содержания, наоборот, скорее встретили сочувст-

вие, и они, вместе с другими немецкими произведениями в этом роде, нашли некоторое распространение.

Именно к этим размышлениям непосредственно примыкает многолетняя направленность моего духа в сторону французской революции и объясняется беспредельное усилие поэтически овладеть этим самым потрясающим событием в его причинах и следствиях. Оглядываясь назад на те далекие годы, я ясно вижу, как зависимость от этого необозримого предмета с давних пор почти бесплодно поглощала мою поэтическую способность; и, однако, это впечатление так глубоко укоренилось во мне, что я не могу умолчать о том, насколько все еще думаю о продолжении «Побочной дочери», развиваю в мыслях это странное создание, не имея мужества посвятить себя выполнению частностей.

Обращаясь теперь к предметному мышлению, которое мне приписывают, я нахожу, что вынужден наблюдать именно тот же образ действия и относительно естественно-исторических предметов. Какой ряд созерцаний и размышлений пришлось мне пройти, пока не взошла во мне идея метаморфоза растений, об этом поведало друзьям мое «Итальянское путешествие».

Точно так же было с понятием, что череп состоит из позвонков. Три задних я скоро распознал, но лишь в 1790 г., когда на песке дюнообразного еврейского кладбища в Венеции я поднял разбитый бараний череп, я мгновенно обнаружил, что и лицевые кости также должны быть выведены из позвонков, причем переход от первой крыловидной кости к. решетчатой и к раковинам был вполне очевиден; теперь я имел целое в самом общем охвате. На этот раз сказанного достаточно для пояснения сделанного раньше. Но как меня и в настоящем стимулирует то выражение благожелательного и проницательного человека, об этом — еще несколько предварительных слов.

Уже ряд лет стремлюсь я проверить мои геогностические исследования, особенно относительно возможности хоть сколько-нибудь приблизить их и полученные из них убеждения к новому, всюду распространяющемуся вулканическому учению, что мне до сих пор не удавалось. Но вот слово «предметный» 'сразу вразумило меня, причем мне стало очевидным, что все предметы, рассмотренные и исследованные мною за пятьдесят лет, как раз должны были возбудить 'во мне то представление и убеждение, от которых я теперь не могу отказаться. Правда, я могу на короткое время стать на иную точку зрения, но снова должен вернуться к моей старой манере думать, чтобы мне стало хоть сколько-нибудь по себе.

Побуждаемый этими размышлениями, я продолжал испытывать себя и нашел, что весь мой метод покоится на выведе-

нии; я не успокаиваюсь, пока не найду чреватого пункта, из которого я многое могу вывести или, скорее, который многое добровольно из себя производит и несет мне навстречу, и тогда я осторожно и старательно приступаю к делу помощи в трудах и в восприятии. Если встречается в опыте какое-нибудь явление, которое я не могу вывести, я оставляю его лежать .в качестве проблемы и в течение моей долгой жизни я нашел этот способ поведения очень выгодным, ибо если я и не мог долго разгадать происхождение и связи какого-нибудь феномена, а должен был оставить его в стороне, то через годы .вдруг все оказывалось прояснившимся в самой прекрасной взаимосвязи. Поэтому я позволю себе и впредь исторически излагать 'на этих страницах мои прежние опыты и наблюдения, как 'и возникающий из них образ мысли. В худшем случае при этом достигается характерное исповедание веры, врагам на усмотрение, единомышленникам .в поддержку, потомству для познания и, если посчастливится, для некоторого примирения.

(И. В. Гете. Избранные сочинения по естествознанию, стр. 383—386)

Проблемы

(1823)

Естественная система — противоречивое выражение. Природа не имеет системы, она живет, она сама есть жизнь и течение от неведомого центра к непознаваемому пределу. Рассмотрение природы 'поэтому бесконечно, будь то в рамках деления на частности, либо в целом, вширь и ввысь.

Идея метаморфоза очень почетный, но вместе с тем крайне опасный дар свыше. Она ведет в бесформенное, разрушает знание, растворяет его. Она подобна центробежной силе и потерялась бы в бесконечном, если бы ей не был придан противовес: я имею в виду стремление к спецификации, стройную способность сохраняться, присущую всему, что однажды появилось на свет, центростремительную силу, которую в ее глубочайшей основе не может задеть ничто внешнее. Стоит, например, присмотреться к роду вересков.

Так как, однако, обе силы действуют одновременно, то и в дидактическом изложении мы должны были бы изложить их вместе, что не представляется возможным.

Может быть, нам удастся выйти из этого затруднительного положения с помощью искусственного метода.

Сравнение со следующими друг за другом в природе тонами и содержащимися в октаве тональностями темперированного строя. Только благодаря этому становится, собственно, возможной, наперекор природе, всепроникающая музыка.

Нам следовало бы ввести искусственный метод изложения. Установить символику. Но кто ее создаст? Кто признает созданное?

Когда я рассматриваю то, что в ботанике называется genera, оставляя в силе их определение, то 'мне всегда 'кажется, что нельзя изучать один род таким же образом, как и другой. Имеются роды, у которых, я бы сказал, есть характер, проявляющийся в свою очередь во всех видах, следовательно, к ним можно подойти рациональным путем; они не теряются легко в разновидностях и заслуживают поэтому серьезного рассмотрения. Например, горчанка; внимательный ботаник сумеет привести ряд других примеров.

H d есть и бесхарактерные роды, которым вряд ли можно приписать виды: они теряются в безграничных разновидностях. Если их рассматривать с научной серьезностью, то эту работу никогда нельзя будет закончить, более того, в ней запутываются, так как разновидности ускользают от любого определения, от любого закона. Иногда я отваживался называть эти роды беспорядочными и наделял этим эпитетом розу, что, конечно, не могло умалить ее прелести; в особенности rosa canina могла бы принять этот упрек на свой счет.

Если человек хочет произвести солидное впечатление, он ведет себя как законодатель прежде всего в моральном отношении, благодаря признанию долга, затем в религиозном, исповедуя особую внутреннюю веру в бога и божественные дела и ограничивая себя определенными внешними церемониями. В господстве будь оно мирным или военным, происходит то же самое действие или поступок имеют значение лишь в том случае, если человек сам предписывает их себе и другим; в искусстве та же картина; о том, как человеческий дух подчинял себе музыку, говорилось выше; как он во времена расцвета, воздействуя на величайшие таланты, осуществлял свое влияние на изобразительное искусство, является в наше время раскрытой тайной. На то же указывают бесчисленные попытки систематизации и схематизации в науке. Однако все наше внимание должно быть направлено на то, чтобы позаимствовать у природы ее опыт, но так, чтобы не отпугнуть ее насилием и в то же время не позволить ей своим произволом отвлечь нас от цели.

(IV., II, 7, S. 75-77)

Два типа мышления

(1823)

Когда какое-либо знание созрело для того, чтобы стать наукой, то необходимо должен наступить кризис, так как становится очевидным различие между теми, кто разделяет все единичное и отдельно излагает его, и теми, кто направляет свой взор на общее и охотно приобщил бы к нему и включил бы в него все частное. По мере того, как научный, идеальный, объемлющий метод приобретает все больше друзей, покровителей и коллег, этот раскол остается и на высшей ступени хотя не столь решительным, но все же достаточно заметным.

Те, кого я назвал бы универсалистами, убеждены в правильности того представления, что все везде налицо, хотя и в бесконечном многообразии и отклонениях, и, пожалуй, даже может быть обнаружено. Другие, которых я хочу обозначить как сингуляристов, в общем и главном соглашаются с этим положением, даже наблюдают, определяют и преподают в согласии с ним, но всегда видят исключение там, где не выражен весь тип. И в этом они правы. Их ошибка состоит только в том, что они не видят основной формы там, где она маскируется, и отрицают ее, когда она скрывается. Так как оба способа представления первоначальны и вечно будут противостоять один другому, не соединяясь и не устраняя друг друга, то нужно избегать каких бы то ни было прений, а ясно открыто высказывать свое убеждение.

И вот я повторяю свое собственное: на этих высших ступенях нельзя ничего знать, а нужно делать, подобно тому, как в игре мало помогает знание, а все сводится к осуществлению.

Природа дала нам шахматную доску, и выходить в нашей деятельности за ее пределы у нас нет ни возможности, ни желания. Она нарезала для нас фигуры, ценность, движения и свойства которых становятся мало-помалу известными. В наших руках — делать ходы, от которых мы ждем выигрыша. Каждый пробует в этом свои силы на свой лад и не любит постороннего вмешательства. Примем такое положение вещей и будем прежде всего внимательно наблюдать, насколько близко или далеко стоит от нас всякий другой, а затем будем входить в соглашения преимущественно с теми, кто примыкает к той стороне, которой мы сами держимся.—Нужно, далее, принять во внимание, что всегда имеешь дело с неразрешимой проблемой. Поэтому будем бодро, открыто отмечать все, что так или иначе ставится на обсуждение, в особенности то, что противоборствует нам. Таким путем скорее всего можно определить все проблематическое, которое заключается, правда, и в самих предметах, но еще больше в людях...

(В. О. Лихтенштадт. Тете, стр. 321—322)

Эрнст Штиденрот.
Психология для объяснения душебних явлений

Часть I. (1824)

Я всегда считал счастливым событием своей жизни, если какое-либо значительное произведение попадало в мои руки как раз тогда, когда оно согласовалось в данную минуту с моими стремлениями, укрепляло, а в силу этого и толкало меня вперед в моей деятельности. Часто такие произведения 'обладали значительной древностью. Однако самыми действенными оказывались современные: самое близкое остается ведь всегда и самым живым.

И вот теперь такой благоприятный случай приносит мне вышеназванная книга...

Представьте себе ветку, которая, отдавшись спокойно струящемуся ручью, следует своему пути в такой же степени по принуждению, в какой и добровольно, может быть, на минуту задерживается камнем, может быть, останавливается на время в какой-нибудь излучине, но затем, несомая живою волною, все время неудержимо остается в движении, и вы получите представление о том, как подействовало на меня это строго последовательное и богатое выводами сочинение.

Автор лучше других поймет, что собственно я этим хотел сказать. Прежде я уже не раз высказывал ту неудовлетворенность, которую вызывало во мне и в более молодые годы учение о низших и высших душевных способностях. В человеческом духе, как и во вселенной, нет ничего ни вверху, ни внизу, все требует равных прав по отношению к общему центру, скрытое существование которого я обнаруживается как раз в гармоническом

отношении к нему всех частей. Все спорные пункты древних и новых вплоть до последнего времени проистекают из разъединения того, что бог произвел соединенным в своей природе.

Мы отлично знаем, что в отдельных человеческих натурах обыкновенно обнаруживается перевес какой-нибудь одной способности и что отсюда необходимо проистекает односторонность воззрений, так как человек знает мир только через себя и потому в наивном самомнении полагает, что мир и построен через него и ради него. Именно по этой причине свои главные способности он ставит по отношению к целому во главу угла. А чего у него меньше, то ему хотелось бы совсем отвергнуть и изгнать из своей собственной цельности. Кто не убежден в том, что все проявления человеческого существа — чувственность и рассудок, воображение и разум — он должен развить до полного единства, какое бы из этих свойств ни преобладало у него, тот будет все время изводиться в печальной ограниченности и никогда не поймет, почему у него столько упорных противников и почему он иной раз оказывается даже собственным противником.

Так человек, рожденный и развившийся для так называемых точных наук, с высоты своего рассудка-разума нелегко поймет, что может существовать также точная чувственная фантазия, без которой собственно немыслимо никакое искусство. Вокруг того же пункта ведут спор последователи религии чувства и религии разума. Если вторые не хотят признать, что религия начинается с чувства, то первые не допускают, что она должна развиться до разумности.

Вот какие мысли пробудил во мне названный труд. Каждый, кто прочтет его, извлечет из него выгоду на свой лад, и я вполне надеюсь, что при ближайшем знакомстве он еще не раз послужит мне в качестве текста для той или иной удачной заметки.

Берлин.

(В. О. Лихтенштадт. Гете, стр. 494—495)

О математике и о злоупотреблении ею

(1826)

Право наблюдать, исследовать, постигать природу в ее простейших, сокровеннейших источниках, как и в ее очевиднейших, больше всего бросающихся в глаза творениях, хотя бы и без содействия математики, это право, согласуясь с моими задатками и с обстоятельствами, я должен был уж очень рано 'присвоить себе. Для себя я отстаивал это право всю жизнь. Чего я достиг при этом, это все могут видеть. Насколько мой труд полезен другим. это покажет будущее.

Но я с неудовольствием заметил, что моим стремлениям приписали неправильный смысл. Я слышал, как меня обвиняли в том, будто я противник, враг математики вообще, математики, которую никто не может ценить выше, чем я, так как она дает как раз то, в проявлении чего мне совершенно отказано...

Каждому человеку присуще рассматривать себя как центр мира, потому что ведь все радиусы исходят из его сознания »• туда снова возвращаются. Можно ли поэтому вменять в вину выдающимся умам известное завоевательное стремление, какую-то жажду присвоения?

Все, что здесь в известной мере хвалилось и порицалось, принималось и отвергалось, указывает на неудержимо идущую

вперед деятельность и жизнь человеческого духа, который должен был бы, однако, испытывать себя преимущественно делом. Только таким путем все колеблющееся и сомнительное кристаллизуется в желанную действительность.

...В переведенном нами месте д'Дламбер * сравнивает последовательность геометрических положений, где одно выводится из другого, со своего рода переводом с одного наречия на другое, которое образовалось бы из первого. В этой цепи собственно должно содержаться 'все одно и то же первоначальное положение. но во все более ясном и пригодном для употребления виде. При этом предполагается, что во всем ходе и так рискованного дела соблюдается величайшая непрерывность. Но вот наш римский друг (Чикколини) при решении проблемы находит известный переход от одного уравнения к другому неясным и недопустимым, а ученый, написавший эту работу, не только признается, что он заметил эту трудность, но и заводит речь о том, что многие коллеги по профессии позволяют себе в своих трудах еще большие скачки. Если это так, то я спрашиваю, какое можно питать доверие к результатам этих магических формул и не посоветовать ли, особенно профану, держаться самого первого положения, исследовать его, покуда простирается опыт и человеческий рассудок, а затем и использовать найденное, совершенно отклонив все, что лежит вне его сферы!

Для оправдания сказанного пусть послужит эпиграф, играющий роль как бы эгиды в деятельности того выдающегося человека, которому мы обязаны вышеприведенным сообщением и который с этим лозунгом идет впереди других на научном поприще, создавая неоценимое: Sans franc-penser en 1'exercice des lettres II n'y a ni lettres, ni sciences, ni esprit, ni rien. Plutarque9*.

(В. О.Лихтенштадт. Гете, стр. 326—328) Веймар, 12 ноября 1826 г.

Математика

(1826-1829)

Физику нужно излагать отдельно от математики. Первая должна существовать совершенно независимо и пытаться всеми любящими, почитающими, благоговеющими силами проникать в природу и ее священную жизнь, ни мало не беспокоясь о том, что дает и делает со своей стороны математика. Последняя должна, напротив, объявить себя независящей от всего внешнего, идти своим собственным великим духовным путем и развиваться в более чистом виде, чем это возможно было до сих пор, когда она отдается наличной действительности и пытается что-либо извлечь из нее или навязать ей.

Математика, как и диалектика, является органом внутреннего высшего чувства. В практическом применении это искусство подобно красноречию. Для обеих имеет ценность только форма, содержание для них безразлично. Считает ли математика гроши или червонцы, отстаивает ли риторика истинное или ложное, это для обеих совершенно одно и то же.

Все сводится здесь к природе человека, занимающегося таким делом и проявляющего такое искусство. Адвокат, доискивающийся сути правого дела, и математик, проникающий до познания звездного неба, представляются оба одинаково богоподобными.

Что в математике точнее, как не сама точность? И не является ли она следствием внутреннего чувства правды?

Математика не в состоянии устранить предрассудок, смягчить упорство, ослабить партийный дух. Она не способна оказать никакого нравственного влияния.

Математик, поскольку он ощущает в себе красоту истинного, совершенен лишь в той степени, в какой он сам является совершенным человеком. Лишь тогда будет он действовать основательно, проницательно, осмотрительно, чисто, ясно, привлекательно, даже элегантно. Все это необходимо для того, чтобы стать подобным Лагранжу.

Правилен, деловит, изящен не язык сам по себе, а дух, который в нем воплощается; и потому не каждый может сообщить своим вычислениям, речам или стихам желательные свойства. Весь вопрос в том, дала ли ему природа нужные для этого умственные и моральные качества. Умственные: способность воззрения и прозревания. Моральные: способность отклонить злых демонов, которые могли бы помешать ему воздать должное истинному.

Царство математики — количественное, все то, что можно определить числом и мерой, т. е. до известной степени — внешним образом познаваемая вселенная. Но если мы станем, поскольку нам дана эта способность, рассматривать ее 'всей полнотой нашего духа и всеми нашими силами, то мы признаем, что количество и качество должны считаться двумя полюсами являющегося бытия. Потому-то математик так высоко развивает свой язык формул. Его задача — насколько это возможно — понять в измеримом и исчислимом мире одновременно и мир неизмеримый. И когда все представляется ему осязаемым, понятным и механичным, то его заподозривают в тайном атеизме, так как при этом он ведь думает охватить и самое неизмеримое, которое мы называем богом, и потому отбрасывает его особое или преимущественное бытие.

В основе языка лежит, правда, рассудочная и разумная способность человека. Но у того, кто пользуется им, он не предполагает непременно чистого рассудка, развитого разума, искренней во».". Язык — орудие, годное для целесообразного и произвольного применения. Им можно так же хорошо пользоваться для хитроумно спутывающей диалектики, как и для спутанно затемняющей мистики. Им удобно злоупотреблять для пустых и ничтожных прозаических и поэтических фраз. Некоторые пробовали даже слагать просодически безупречные, но, однако, бессмысленные стихи.

Наш Друг, благородный Чикколини, говорит: «Я желал бы, чтобы все математики пользовались в своих' сочинениях гением и ясностью такого человека, как Лагранж», т. е. хорошо было бы, если бы все обладали основательно ясным умом Лагранжа и с его помощью разрабатывали знание и науку.

Феномены 'ничего не стоят, если они не дают нам более глубокого и богатого понимания природы или если их нельзя применить для нашей пользы.

Когда осуществятся надежды, согласно которым люди объединятся всеми своими способностями, сердцем и умом, рассудком и любовью, и узнают друг друга, то случится то, чего .в настоящее время не может себе вообразить ни один человек. Математики должны будут согласиться войти в этот всеобщий моральный мировой союз в качестве граждан значительного государства и мало-помалу отрешиться от самомнения царящих над всем универсальных монархов. Они уже не будут позволять себе тогда объявлять ничтожным, неточным, неприемлемым все то. что не поддается исчислению.

Математики—своего рода французы: когда говоришь с ними, они переводят твои слова на свой язык, и сразу получается нечто совершенно иное.

Как у французского языка никогда не станут оспаривать того преимущества, что 'в качестве разработанного придворного и

светского языка он все больше разрабатывается и развивается, так никому не придет в голову низко оценивать заслугу математиков, которую они приобретают перед миром, выражая на своем языке важнейшие отношения: все, что в высшем смысле подвластно числу и мере, они умеют упорядочить, определить и вычислить.

Каждый мыслящий человек, взглянув на свой календарь, посмотрев на свои часы, вспомнит о тех, кому он обязан этими благодеяниями. Но если почтительно предоставить им (математикам) господствовать во времени и пространстве, то математики должны признать, что мы замечаем 'нечто далеко их превышающее, принадлежащее всем людям, нечто, без чего сами они не могли бы ступить и шагу: идеюилюбовь.

(В. О. Лихтенштадт. Гете, стр. 323—326)

(1827)

Одно место из д'Аламберова введения в большую французскую энциклопедию, перевод которого привести здесь не позволяет место, было для нас очень важным; оно начинается 'на стр. X издания in quarto словами «A 1'egard des sciences mathemathique» и кончается на стр. XI: «etendu son domaine». Конец его, примыкая к началу, содержит ту большую истину, что в науке все основано на содержании, ценности и действенности выдвинутого основного положения и на чистоте намерения. Мы также убеждены, что это великое требование должно иметь место не только в математических вопросах, но повсюду, как в науках и искусствах, так и в жизни.

Никогда не хватит повторять: поэт, как и художник, с самого начала должен подметить, такого ли рода тот предмет, обрабатывать который он собирается, что из него может развиться многообразное, совершенное, удовлетворяющее произведение. Если это упущено, то все прочее старание бесполезно: размер и рифма, штрих кисти и удар резца потрачены напрасно; и если даже мастерское исполнение может на несколько мгновений подкупить воодушевленного зрителя, то все же вскоре он ощутит то бездушное, чем страдает все фальшивое.

Таким образом, как в художественной, так и в естественнонаучной, а также в математической обработке все зависит от лежащей в ее основе истины, развитие которой не так легко обнаруживается в спекуляции, как в практике, ибо последняя есть пробный камень того, что духом воспринято, что внутренним чувством считается истинным. Когда человек, убежденный в

ценности своих намерений, обращается к внешнему миру и требует от него, чтобы он не только согласился с его представлениями, но чтобы он и сообразовывался с ними, их слушался, их реализовал, только тогда он узнает из опыта, ошибся ли он в своем предприятии или же его время не способно понять истинное.

Однако всегда остается один основной признак, по которому вернее всего можно отличить истинное от иллюзорного: первое влияет всегда плодотворно и благоприятствует тому, кто обладает и дорожит им; наоборот, ложное само по себе мертво и бесплодно и даже должно рассматриваться как некроз, где отмирающая часть препятствует живой 'исцелиться.

(И. В. Гете. Избранные сочинения по естествознанию. стр. 387—388)

Опыт и идея

(1828)

Эмпирическая ботаника, как и всякое человеческое стремление, исходит из полезного. Она ищет пищи в плодах, врачебной помощи в травах и кореньях, и такое направление ни в коем случае нельзя считать низким. Здесь мы открываем идею, направленную «а полезное — быть может, самое первоначальное из всех направлений — и тем не менее стоящую уже очень высоко, так как она обозначает самое непосредственное отношение предметов к человеку, в предчувствии его гордого притязания на господство над миром.

Мы переживаем время, которое с каждым днем дает нам все больше стимулов рассматривать оба мира, к которым мы принадлежим, т. е. высший и низший, как связанные между собою, признавать идеальное в реальном и, поднимаясь в бесконечное, умерять наше обычное недовольство конечным. Великие преимущества, которые можно будет извлечь из этого, мы сумеем цепнить при самых различных обстоятельствах и в особенности, разумно действуя, применять их к наукам и искусствам.

Возвысившись до этого воззрения, мы не станем при разработке естествознания больше противополагать опыт идее. Убежденные, что природа поступает по идеям, точно так же, как преследует 'какую-либо идею и человек .во всем, к чему он приступает, мы привыкнем, напротив, находить идею 'в опыте. При этом нужно, конечно, принять во !внимание, что идея в своем

.

происхождении и своем направлении представляется в различных видах и в этом смысле может различно оцениваться.

Здесь же мы прежде всего признаем и выскажем, что мы сознательно захватываем область, где скрещиваются метафизика и естественная история, где, стало быть, серьезный, добросовестный исследователь охотнее всего останавливается. Его не пугает больше напор безграничных частностей, так как он научился ценить великое влияние простейшей идеи, которая самыми различными способами может сообщить многообразному ясность и порядок.

Укрепляясь в этом образе мышления, рассматривая предметы в высшем смысле, естествоиспытатель приобретает доверие и идет благодаря этому навстречу эмпирику, который лишь со значительной скромностью решается признать какую-либо всеобщность.

Последний хорошо делает, называя гипотезой то, что уже обосновано. С тем более радостным убеждением найдет и он, что здесь имеет место истинное согласование. Он почувствует это, как чувствовали и мы в свое время.

После этого не проявится и. следа противоречия, понадобится лишь кое-где выровнять незначительные разногласия, и обе стороны смогут радоваться взаимному успеху.

Добросовестный исследователь должен все время наблюдать самого себя и заботиться о том, чтобы, подобно тому, как взору его открываются пластичные органы, так и сам он сохранил пластичность своего воззрения и не застывал на одном способе объяснения, а в каждом случае умел выбирать самый удобный способ, наиболее аналогичный наглядному представлению.

Так, например, удобно представлять себе листики некоторых чашечек как сначала по тенденции природы отдельные и лишь потом, благодаря анастомозу, более или менее соединенные. Напротив, нужно представлять себе листья пальмы в их прогрессивном росте как произведенные природой в виде единства и лишь затем расходящиеся и разрывающиеся на многие части. Но все сводится вообще к тенденции ума: склонен ли он идти от единичного к целому или от целого к единичному. Таким взаимным признанием устраняется всякое столкновение образов мышления, и наука, страдающая больше, чем думают, от такого раз-

дора, который сводится больше к словопрениям, приобретает солидное положение.

Это имеет место при объяснении известных явлений, где встречаются более низкие способы объяснения, которые все же сообразны человеческой природе и из нее ведут свое происхождение. Ставится, например, вопрос: объяснить ли известное единство, в котором обнаруживается многообразие, из уже наличного многообразия и сложности, или же рассматривать и принимать его как развившееся из продуктивного единства. И то и другое допустимо, поскольку мы хотим и должны признавать различные проявляющиеся у человека способы представления, а именно: атомистический и динамический, которые различаются только тем, что первый в своем объяснении привносит таинственное соединение, второй же предполагает его. Чтобы снискать расположение, первый может сослаться на анастомоз, второй — на допущенное множество и единство. Но если тщательнее всмотреться. то всегда окажется, что человек предполагает то, 'что он нашел, и находит то, что он предполагал. Естествоиспытатель в качестве философа не должен стыдиться двигаться взад и вперед в этой качелеобразной системе, и там, где научный мир не понимает себя, приходить к соглашению с самим собою. Зато он, с другой стороны, предоставляет описывающему и определяющему ботанику право «находить прибежище у позитивных решений, если не хочет впасть в вечное кружение и колебание».

Согласно нашей ближайшей цели рассмотрим прежде всего. что выиграет от этого изучение органических существ. Все наше дело состоит здесь в том, чтобы самое простое явление мыслил как самое многообразное, единство как множество. Уже раньше мы без обиняков высказали положение: все живое как таковое есть уже нечто множественное. Этими словами мы удовлетворяем, на наш взгляд, основному требованию мышления об этих. предметах.

Последовательно представлять себе это многое в одном, как заранее вложенное,— воззрение несовершенное и не сообразное ни фантазии, ни рассудку. Зато мы должны допустить развитие в высшем смысле: внутренняя и внешняя множественность в единичном не приведет нас больше >в замешательство, если мы выразимся следующим образом: низшее живое отделяется от живого. высшее живое присоединяется к живому, ;и таким образом каждый член становится новым живым элементом.

Не смогла удержаться и другие классификации, которые, основываясь на известных частях и признаках, исходили из первого способа рассмотрения, пока, наконец, все отступая назад, не достигли, как предполагалось, первых и первоначальных органов и 'не начали брать растение, если не до его развития, то, по крайней мере, в момент его развития. Тогда оказалось, что либо его первые органы нельзя было заметить, либо они находились в двойном, тройном и большем числе.

При великой последовательности природы это был вполне правильный путь, ибо как данное существо начинает в своем явлении, так оно продолжает и кончает.

Здесь тем более должно было удаться заложить прочный фундамент, что хотя заметные, бросающиеся в глаза члены дают некоторый повод к классификации и систематизации, тем не менее первоначальные члены обладают тем особым преимуществом. что, принимая их во .внимание, все существа можно сразу разбить на большие группы. При этом основательнее познаются их свойства и отношения, 'что и происходило непрерывно на пользу науки в течение последнего времени.

Чтобы избегнуть участи того мальчика, который взялся вычерпать раковиной море, будем из неисчерпаемого черпать нужное, полезное для наших целей.

Обратимся сразу к расчленению, так как оно непосредственно вводит нас в жизнь растительного царства. Расчленение более благородного растения не является здесь бесконечным повторением одного и того же члена. Расчленение без потенцирования не представляет для нас интереса. Мы останавливаемся там, где нам больше всего по сердцу: на потенцированном расчленении, на последовательном расчлененном потенцировании. Отсюда возможность завершающего образования, где в свою очередь многое отделяется от многого, из единого выступает многое.

Этими немногими словами мы выражаем всю растительную жизнь. Больше о ней нечего сказать.

Большая разница имеется в том, стремлюсь ли я из светлого в темное или из темного в светлое. Пытаюсь ли я, когда ясность уже покинула меня, закутаться в некоторый полумрак, или же убежденный, что ясное покоится на глубоком, не легко поддаю-

щемся исследованию фундаменте, силюсь захватить наверх все, что возможно, из этого трудно 'выразимого фундамента. И считаю поэтому, что всегда выгоднее следующее: пусть естествоиспытатель сразу признается, что в отдельных случаях он допускает это. Умалчивание тут обнаруживается слишком ясно.

Вменяя себе в обязанность определение и обозначение часто неразличимых вещей, ботаник-специалист берет на себя в высшей степени трудную задачу. Из понятия метаморфоза вытекает, что вся растительная жизнь — это непрерывная последовательность заметных и незаметных изменений формы, из которых первые определяются и называются, последние же могут быть замечены только как едва доступные различению текучие состояния, не говоря уж о наделении именем.

Вот почему относительно первых пришли к соглашению, благодаря чему ботаническая терминология разрослась превыше всякой понятности. Последние же все еще не поддаются и дают при случае повод если не к недоразумениям, то к разногласиям среди друзей науки.

Если поэтому ботаник твердо запечатлеет в своем уме наши соображения, он должен тем более проникнуться достоинством своего положения. Он не станет биться над невозможным и, сознавая, что цель, к которой он стремится, недостижима, он именно поэтому будет чувствовать себя все ближе к этой высокой цели, хотя бы шаги его и не поддавались измерению.

Резко различающая, точно описывающая ботаника более чем в одном смысле заслуживает высочайшего уважения. Она пытается проявлять высшую степень дара человеческого ума - разъединять, отделять, сравнивать и давать затем пример того, как далеко можно с помощью языка и проникающего в самые - мелкие детали таланта наблюдения называть и обозначать еле различимое, если оно открыто.

...Может, однако, встретиться случай, когда орган-протей скрывается так, что его уже не найти, так изменяется, что его уже не признать. Исходя из того, что собственно ботаническое знание покоится на том, чтобы все находилось и указывалось,

чтобы все оформленное описывалось сквозь все свои изменения как законченно оформленное, то отсюда видно, что та первая идея, которой мы придавали столько ценности, хотя и может рассматриваться как руководящая нить при отыскивании, но к отдельных случаях не только не в состоянии помочь определению, а, напротив, должна служить для него препятствием.

При ботанической терминологии затруднением является то^ что отчасти она и определяет, притом с легкостью, хорошо различимые части растения, а затем при переходах от одних частей к другим ей приходится разделять, определять и называть также неразличимое.

Рассматривая ход естественных наук, можно заметить, что при первых невинных попытках, когда явления берутся еще поверхностно, каждый доволен тем, что истово преподается узнанное, знакомое, и что не слишком церемонятся с точностью известных выражений. По мере дальнейшего движения обнаруживается все больше трудностей, так как пластичность, не удаляясь. по существу от своей основной тенденции, производит везде различия до бесконечности. Разительный пример — вопрос, что у некоторых цветов чашечка ,и что венчик. Быстрее идущие в цвет однодольные скоро приобретают венчиковидную чашечку, однако этот венчик все же сохраняет кое-что от чашечки, как три наружных листика тюльпана. Что касается меня, то я думаю. что вместо того, чтобы спорить, .как назвать ту или иную часть, нужно было бы применять более высокое понятие, одновременно спрашивая, откуда происходит данный орган и куда он направляется. Листочки идут кверху, чтобы под конец собраться вокруг оси в качестве чашелистиков. Чашечка тюльпана узурпирует сейчас же права венчика. Так мы найдем и в попятном, и в поступательном направлении, что природу нельзя ни поймать на узду слова, когда она спешит, ни перегнать, когда она медлит.

Если поэтому спросят — как лучше всего соединить идею и опыт, то я ответил бы: практикой!

Цеховой естествоиспытатель обязан дать отчет, так как от него требуют, чтобы он умел назвать как растения, так и их отдельные части. Если он впадает относительно этого в противоречие с самим собою или с другими, то общим законам будет то. что в состоянии не столько решать, сколько примирять.

Да будет .здесь позволено сказать, что как раз это важное. так серьезно рекомендуемое, общеупотребительное, чрезвычайно содействующее прогрессу науки, с поразительной точностью проведенное словесное описание растения во всех его частях, что как раз это столь обстоятельное, но :в известном смысле ограниченное занятие мешает иному ботанику добраться до идеи.

Ибо чтобы описывать, он должен взять орган так, как он дан в настоящую минуту, следовательно, принимать и запечатлевать каждое явление как существующее само по себе. Поэтому тут, собственно, никогда не возникает вопроса, откуда же произошло различие форм; каждая из них должна ведь рассматриваться как что-то прочно установленное, совершенно отличное от всех остальных, а также и от предшествующих и последующих. Благодаря этому все 'изменчивое становится стационарным, текучее — косным. Быстро бегущее в закономерном изменении, напротив, рассматривается как ряд скачков, а сама собою изнутри оформленная жизнь как что-то сложное.

(В. О. Лихтенштадт. Гете, стр. 328—335)

Догматизм и скептицизм

(1829)

Всякое изменение в теоретическом рассмотрении природных объектов должно оцениваться с точки зрения более высоких философских взглядов.

Учение Вернера было настоящим догматизмом.

От наносов и намоин шли к горным пластам и далее к основаниям, и так как, наконец, пришли к граниту и одновременно нашли его на высочайших горах, то и стали считать его основой и костяком Земли, и на этом построили учение...

Однако всякий на свете догматизм в конце концов становится обременительным, особенно когда выступают новые поколения, которые тоже хотят быть чем-то.

Нельзя отрицать, что это учение оставило какие-то проблемы нерешенными.

И согласно общему естественному ходу человеческой мысли выступил скепсис.

Скепсис начинается с исключений, питая вражду к догме, которая держится узаконенного.

Скепсис извлекает пользу из естественного беспокойства и склонности людей к сомнению, которому очень легко подвергается догма.

Но для этого нужна ведь и определенная сила ума, и основательность и дар убеждения, который особенно умеет пользоваться индукцией.

(IV.. If, 11, S. 307—308)

Индукция

(1829)

Индукции я не позволял себе никогда, даже по отношению к самому себе.— Я оставлял факты изолированными. Но я отыскивал аналогичное.— И на этом пути я дошел, например, до понятия метаморфоза растений.— Индукция полезна только тому, кто хочет заговорить другого.— Соглашаешься с двумя-тремя положениями, с несколькими выводами, и вот уже погиб.— Здесьто собственно гнездо суб- и обрепций (подсовывания желательного и затушевывания нежелательного), и как там зовется все это отродье, которое гораздо лучше меня сумеет обозначить и определить диалектик.— Страстный человек заблудится на таком сооружении из лестниц.— А когда дело идет о поступках, партийности, мнениях, преимуществах моего и твоего, склонностях,—такие сцепления неразрешимы.—Трудно оберечься от них самому, трудно и других избавить от таких уз и вернут», их на свободу.—Пусть только скепсис станет догматичным, и он найдет готовых противников.—Ему ведь тоже приходится либо оставлять проблемы в покое, либо решать их таким способом, который повергает человеческий рассудок в смятение.

(W„ П. If, S. 309—310)

Анализ и синтез

(1829)

Господин Виктор Кузен (Victor Cousin) в третьей лекции, прочитанной в этом году по вопросам истории философии, хвалит 18-е столетие главным образом за то, что наука особенно много занималась анализом и избегала поспешного синтеза, т. е. гипотез, но, одобрив этот метод, он заметил, что синтезом совсем не следует пренебрегать, а время от времени следует вновь к нему осторожно обращаться.

При рассмотрении этих высказываний у нас возникла мысль, что в этом отношении на долю 19-го столетия осталось достаточно важных дел. Друзьям и приверженцам науки следует обратить особое внимание на то, что часто забывают проверять, развивать и уточнять неправильные синтезы, т. е. гипотезы, которые были получены нами в наследство, и что разуму следует вернуть его старое право заниматься непосредственно природой.

Здесь мы укажем на два таких неправильных синтеза: дисперсию света и его поляризацию. И то и другое пустые слова, ничего не говорящие человеку, и все же они часто повторяются учеными.

Недостаточно, наблюдая природу, пользоваться только аналитическим методом, т. е. извлекать из какого-либо данного предмета столь много частностей, сколь это возможно, и таким способом изучать этот предмет; этот анализ мы должны применить к имеющимся синтезам, чтобы проверить, правильным ли методом велось исследование.

Поэтому мы тщательно проанализировали метод Ньютона.

Он допускает ошибку, беря за основу одно-единственное явление, к тому же искусственно придуманное, на котором он строит свою гипотезу и с ее помощью пытается объяснить разнообразнейшие явления.

В учении о цветах мы также пользовались аналитическим методом и пытались по мере возможности представить вое явления в определенной последовательности, чтобы установить, в какой мере здесь возможно найти общее, под которое они во всяком случае могут быть подведены, и считаем, что тем самым мы поработали в счет долга 19-го столетия.

Так же мы поступили для того, чтобы представить в совокупности те явления, которые имеют место при двойном отражении.

И то и другое мы оставляем близкому или далекому будущему с сознанием того, что мы отослали те исследования к природе и вернули им истинную свободу.

Рассмотрим другой общий вопрос: столетие, полагающееся только на анализ и боящееся синтеза, стоит на неправильном пути, ибо только анализ и синтез, вместе взятые, как вдох и выдох, составляют жизнь науки.

Неправильная гипотеза все же лучше, чем ничего. Ибо в том, что она ложна, нет ничего страшного; но если она укореняется, если она повсюду принята и превращается в своего рода символ веры, в котором никто не смеет сомневаться и который никто не смеет исследовать, то это уже та болезнь, от которой страдаю г века.

Учение Ньютона преподавалось; еще при его жизни ошибки его учения противопоставлялись самому учению.

Но прочие большие заслуги этого человека, его место в среде ученых и в обществе не давали этому противоречию обнаружиться.

Но особую вину несут французы в распространении этого учения и в том, что оно застыло на одной точке. Следовательно, в 19-м столетии, чтобы исправить ошибки этого учения, они должны способствовать новому анализу этой запутанной и застывшей гипотезы.

Основным, о по-видимому, не полагает синтез. она состояла из чем при исключительном применении анализа, думают, является то, что всякий анализ предполагает синтез Кучу песка нельзя анализировать; но если бы различных частей, предположим из песка и

золота, то промывка и есть анализ, при котором легкое вымывается, а тяжелое задерживается.

Так, новейшая химия занимается главным образом тем, что разъединяет то, что природа объединила. Мы устраняем синтез природы, чтобы изучить ее в отдельных элементах.

Что является более совершенным синтезом, чем живое существо? И для чего надо трудиться над анатомией, физиологией и психологией, как не для того, чтобы составить себе некоторое понятие о комплексе, который вновь восстанавливается, на какое бы количество частей мы его ни разделили.

Поэтому аналитику грозит большая опасность тогда, когда он применяет свой метод там, где нет никакого синтеза. Тогда его труд будет совершенно тождествен стараниям Данаид. Мы имеем много печальных примеров этому, ибо в конце концов его работа сводится к тому, чтобы опять прийти к синтезу.

Но 'если в основе предмета, которым он занимается, никакого синтеза тает, то он напрасно старается найти его. Чем больше наблюдений он сделает, тем больше они будут ему мешать.

Следовательно, аналитику прежде всего следует установить, имеет ли он дело действительно со скрытым синтезом, или же то, чем он занимается, есть только скопление материи, накопление частиц, существующих рядом или в соединении друг с другом, или как бы это еще ни называлось.

Такое недоверие вызывают те отрасли науки, которые не развиваются.

В этом смысле весьма полезно было 'бы подумать относительно геологии и метеорологии.

(W.. II. 11, S. 68—72)

Principes de philosophie zoologique Discutes en mars 1830 au sein de lAcademie Royale des Sciences

Par Mr. Geoffroy de Saint-Hilaire Paris, 183055

Во время заседания французской Академии 22 февраля этого года произошел случай, который не может остаться без весьма важных последствий. В этом святилище наук, где в присутствии многочисленной публики все имеет обыкновение происходить в самых изысканных формах, где встречаются со сдержанностью, даже притворством благовоспитанных людей, при расхождении мнений лишь в меру возражают, сомнительное скорее отстраняют, чем оспаривают,— здесь произошел из-за научного вопроса спор, грозящий стать личным, а при более внимательном рассмотрении значащий гораздо больше.

Здесь обнаружился постоянно продолжающийся конфликт между двумя образами мышления, давно уже разделяющими научный мир; он постоянно теплился среди естествоиспытателей, наших соседей, и вот теперь вспыхнул и разгорелся с удивительной силой.

Два выдающихся человека, постоянный секретарь Академии, барон Кювье, и достойный сочлен ее, Жоффруа де Сент-Илер, выступают друг против друга; первый пользуется славной известностью во всем свете, второй—среди натуралистов; в течение тридцати лег коллеги в одном и том же учреждении, они обучают естественной истории в Jardin des Plantes *, оба усердно занятые на необозримом поле науки, сначала работая совместно, но постепенно разделенные различием воззрений и даже скорее избегающие друг друга.

Кювье неустанно работает, как различающий, точно описывающий объекты, и овладевает неизмеримо обширным материа-

лом. Жоффруа де Сент-Илер, напротив, в тиши трудится над аналогиями существ и таинственным родством их; тот идет от одиночного к целому, которое хотя и предполагается, однако рассматривается как никогда не познаваемое; этот в своем внутреннем сознании хранит целое и живет в убеждении, что одиночное может постепенно развиться из него. Однако здесь важно отметить следующее: многое из того, что второму удается ясно и понятно доказать в опыте, первым с благодарностью приемлется; точно так же второй не пренебрегает тем достоверным, что он в частностях получает от первого; так соприкасаются они во многих 'пунктах, не признавая при этом взаимного влияния. Ибо разделяющий, различающий, опирающийся на опыт и из него исходящий не допускает прозрения и предчувствия единичного в целом. Хотеть признавать и познавать то, что нельзя видеть глазами, что нельзя осязательно представить себе, это он недвусмысленно объявляет незаконным притязанием. Другой же, однако, отдаваясь более высокому водительству, не хочет признавать авторитетности метода первого.

После этого вводного сообщения уже никто не упрекнет нас за повторение вышесказанного: здесь обнаруживаются два разных образа мышления, которые в человеческом роде обычно встречаются раздельно и так распределенными, что они всюду, как и в науке, с трудом объединяются и, поскольку разделены, не хотят соединения. Дело доходит до того, что если один от другого может заимствовать что-либо полезное, то и это он делает до известной степени с отвращением. Имея перед глазами историю, наук и длительный опыт, можно опасаться, что человеческая природа едва ли когда-нибудь спасется от этого раздвоения. Разовьем еще дальше вышесказанное.

Различающий проявляет столько остроты видения, он нуждается в непрерывном внимании, до мелочей проникающей изощренности, чтобы заметить уклонения форм, и, наконец, также в несомненном даровании для наименования этих отличий, что его нельзя очень упрекать, если он гордится этим, если он этот способ изучения считает единственно основательным и правильным.

Если же он видит, что на этом покоится слава, доставшаяся за это на его долю, то нелегко убедить его разделить признанные преимущества с другим, который, как кажется, облегчил себе работу к достижению цели там, где венок, в сущности, должен бы быть вручен за усердие, труд и постоянство.

Правда, тот, кто исходит из идеи, тоже считает возможным позволить себе кое-что возомнить о себе, он, который может схватить некое главное понятие, постепенно подчиняющее опыт, который живет в твердом уповании, что найденное здесь и там

и в общем уже высказанное он наверное встретит вновь в единичных случаях. И у такого человека мы можем заметить своего рода гордость, известное внутреннее чувство своих преимуществ, когда он со своей стороны не уступает, меньше всего вынося известное презрение, которое к нему нередко проявляет противная сторона, хотя бы и в тихой сдержанной форме.

Но что делает раскол неисправимым, так это, может быть, следующее. Так как различающий занимается только осязаемым, может показать сделанное, не требует никаких необычных воззрений, никогда не преподносит чего-либо кажущегося парадоксальным, то он должен завоевать себе больше сочувствующих, даже вообще всех. Напротив, другой, оказывающийся более или менее отшельником, не всегда может сговориться даже с теми, кто с ним согласен. Уже часто выявлялся в науке этот антагонизм, и такой феномен должен всегда возобновляться, потому что, как мы только что видели, необходимые для этого элементы вновь образуются раздельно рядом друг с другом и, соприкоснувшись, всегда вызывают взрыв...

Так как все, происходящее между людьми в высшем смысле, должно быть рассмотрено и оценено с этической точки зрения, прежде же всего преимущественное внимание должно быть обращено на личность, индивидуальность интересующего нас лица, то сначала мы познакомимся с биографией обоих названных мужей, хотя бы и в самом общем виде, ...Разделение и соединение являются двумя неразрывными жизненными актами. Может быть, лучше сказать так: неизбежно, хочешь или не хочешь, переходить от общего к частному, от частного к общему, и чем деятельнее будет поддерживаться взаимоотношение этих функций духа, подобно выдыханию и вдыханию, тем лучше будет для науки и ее друзей...

Здесь будет уместно заметить, что естествоиспытатель на этом пути прежде и легче всего научится понимать значение, ценность закона, правила. Если мы будем постоянно рассматривать только правильное, то будем думать, что так должно быть, издавна так предназначено и потому постоянно. Если же мы видим уклонения, уродства, чудовищные аномалии, то мы обнаруживаем, что правило, правда, прочно и вечно, однако вместе с тем живо; что хотя существа не могут вырваться из-под его власти, но все же в пределах его могут дойти до бесформенного; однако постоянно сдерживаемые, как уздой, должны признать. неизбежное господство закона.

...Хозяйственная природа предписала себе определенный бюджет, в отдельных статьях которого она позволяет себе полный произвол, но строго придерживается общей суммы, причем перерасход по одной статье компенсируется вычетом из другой

и самым решительным образом соблюдается баланс. Эти две надежные вехи, которым уже столько лет многим обязаны наши немцы, так хорошо известны господину Жоффруа, что на его научном пути они постоянно служат ему наилучшим образом; и надо надеяться, что они вообще устранят жалкую помощь конечных причин.

Этого достаточно, чтобы показать, что мы не можем пренебречь ни одним из проявлений сложности организма, если мы хотим путем созерцания наружного достигнуть усмотрения самого внутреннего.

Из всего вышерассмотренного можно видеть, что Жоффруа достиг высокого, сообразного идее образа мысли. К сожалению, его язык не дает ему возможности во многих случаях правильно выразиться, и так как его противник находится в подобном же положении, то опор из-за этого, становится неясным и запутанным. Сделаем скромную попытку разъяснить это обстоятельство. Ибо мы не хотим упустить возможности обратить внимание на то, как сомнительное словоупотребление при французских докладах, даже при спорах выдающихся людей, дает повод для значительных заблуждений. Предполагают говорить чистой прозой и уже говорят тропами; один употребляет троп иначе, чем другой, развивает его дальше в близком смысле, и так спор делается бесконечным и загадка неразрешимой.

Materiaux; этим словом пользуются для обозначения частей органического существа, которые вместе образуют некое целое или подчиненную целому часть. В этом смысле материалами назвали бы межчелюстную кость, верхнюю челюсть, нёбо, из которых образуется свод ротовой полости; точно так же можно рассматривать кость плеча, обе кости предплечья и разнообразные кости кисти как материалы, из коих составлена рука человека, передняя нога животного.

Однако в самом общем смысле мы обозначаем словом «маериалы» предметы, между собой не связанные, даже не зависящие друг от друга и по произвольному назначению приобретающие определенные отношения. Балки, доски, планки суть материалы одного рода, из которых можно построить различные сооружения, например крышу. Кирпичи, медь, олово, цинк не Имеют с первыми ничего общего, и все же в соответствии с обстоятельствами оказываются необходимыми для окончания крыши.

Мы должны поэтому предположить за французским словом materiaux гораздо более высокий смысл, чем ему подобает, хотя делаем это и неохотно, ибо предвидим последствия этого.

Composition также неудачное слово, механически родственное Предыдущему механическому. Французы ввели его в наше искус -

ствоведение с тех пор, как они начали думать и писать об искусстве; ведь говорится: живописец компонирует свои картины; музыкант даже раз навсегда называется композитором, и все же, если оба хотят заслужить настоящее название художника, то они не составляют из частей свои произведения, но развивают какой-нибудь живущий внутри них образ, более высокое созвучие в согласии с требованиями природы и искусства.

Так же, как в искусстве, и в отношении к природе это выражение является унизительным. Органы не компонируются из частей, как чего-то заранее готового; они развиваются один из Другого и один в связи с другим до необходимого, включающегося в целое, существования. Речь может идти о функции, форме, окраске, размерах, массе, весе или иных определениях, как бы они ни назывались,—все допустимо при рассмотрении и исследовании; живое же идет беспрепятственно своим ходом, размножается, меняется, колеблется и достигает, наконец, своего завершения.

Embranchement является также техническим словом 'плотницкого ремесла и значит: соединять и слаживать балки и стропила. В одном случае 'это слово будет 'кстати и выразительно — когда оно употребляется для обозначения разветвления одной улицы на несколько.

Нам кажется, что здесь в частностях, как и в целом, обнаруживается отзвук той эпохи, когда нация, будучи во власти сенсуализма, привыкла к материальным, механическим, атомистическим выражениям; и хотя наследуемое словоупотребление и достаточно для обывательского диалога, но как только разговор поднимается в духовную область, такой язык явно противится более возвышенным воззрениям выдающихся людей.

Мы остановимся еще на одном слове: plan. Так как для надлежащей композиции материалов необходимо известное заранее обдуманное их расположение, то и пользуются для последнего словом plan, однако этим сразу наводят на понятие дома, города, каковые, как бы они ни были разумно заложены, все же не могут служить аналогией органического существа. Тем не менее необдуманно употребляют для сравнения здания и улицы; и так как вместе с тем выражение unite du plan * дает повод к недоразумениям, к разговорам и возражениям, то вопрос, к которому все сводится, оказывается чрезвычайно затемненным.

Unite du type ** скорее бы вывело дело на надлежащий путь, и это было бы естественно, так как слово type они, в сущности, вполне удачно употребляли в контексте разговора, между тем как оно должно было бы стоять впереди и способствовать разрешению спора.

(И. В. Гете. Избранные сочинения по естествознанию, стр. 229—231, 234, 241. 247, 252—254)

Экскурс в царство милости

Собрание евангелических проповедей Д. Круммахера, священника из Гемарке. Эльберфельд, 1828.

Гемарке — значительное торговое местечко с городскими правами из 380 домов, расположенное в долине реки Вуппер, в ведомстве Бармен герцогства Берг, немного выше Эльберфельда. Жители владеют значительными льняными, ленточными, нитяными мануфактурами, мануфактурами по производству тика и ведут обширную торговлю этими товарами, а также и отбеленной пряжей. В местечке имеются реформатская кирка и небольшая 'католическая церковь.

Проповедником в этом местечке господин Круммахер. Его аудитория состоит из фабрикантов, торговцев и рабочих, для которых ткачество является главным занятием. Их в этом узком кругу можно рассматривать как людей нравственных, которым очень важно, чтоб не случалось ничего эксцентричного, и потому не может быть и речи о бросающихся в глаза преступлениях в их среде. Они живут в более или менее замкнутых домашних условиях, не 'будучи защищенными от того, что должен претерпевать человек, если он человек, нравственно, в сфере страстей и физически. Оттого среди последних можно в среднем найти много больных и подавленных душ. В общем они не знакомы с тем, что возбуждает силу воображения и чувство; но хотя они и ограничены домашним разумом, все же нуждаются в возбуждающей пище для ума и сердца.

Ткачи издавна известны как темный религиозный народ, благодаря чему они могут довольствоваться общением друг с другом. Проповедник, 'кажется, хочет удовлетворить духовные потребности своих рядовых слушателей тем, что представляет

их состояние приятным и их недостатки 'сносными, а также думает воскресить надежду на настоящее и будущее благо. Это, кажется, и должно быть целью проповедей, в которых он изволит употреблять следующий прием.

Он принимает за 'канон немецкий перевод Библии, имеющий буквальное значение, как он есть, без критики, и истолковывает его произвольно по уже готовой собственной системе как невежественный отец церкви. Названия глав служат ему текстами, а традиционные сравнения— доказательствами; он выхватывает нужное ему слово, где и в каком бы смысле оно ни встречалось, и находит таким путем для своих мыслей богатый источник обоснований, который он использует специально для успокоения и утешения.

Он предполагает, что с самого детства человек — ничто, угрожает ему чертями и вечным адом; однако у него всегда под рукой средство для спасения и оправдания. Он не требует, чтобы кто-то благодаря этому становился чище и лучше, удовлетворенный и тем, что это не вредит, так как, имея в виду вышеоказанное, исцеление так 'или иначе всегда готово, и уже одно упование 'на врача может рассматриваться как лекарство.

Таким образом речь его становится иносказательной и образной, сила воображения рассеивается, чувство же успокаивается. Так .каждый может вообразить, что он идет домой, став лучше, ибо его ухо было более занято, чем его сердце.

Ясно, как такого рода обращение с верующим согласуется с уже известным подобным обращением всех сепаратистских общин: хранителей господа, 'пиетистов и проч., и понятно, почему духовное лицо подобного толка может 'быть желанным, ведь жители некоторых местностей, 'как было замечено вначале, все люди хлопотливые, увязшие в 'кустарном труде и связавшие себя только с материальной выгодой;- их, собственно говоря, нужно успокаивать лишь восне в их телесных и духовных бедах. Поэтому эти речи, которыми пользуется Средняя Германия, можно было бы назвать 'наркотическими проповедями, имеющими, разумеется, средь бела дня 'в высшей степени странный вид.

(W.. I, 4, S. 16—19)

К сожалению, с диетой дело обстоит так же, как с моралью: мы видим свою ошибку только, когда избавились от нее. При этом мы ничего не выигрываем, потому что следующая ошибка не походит на предыдущую и не может быть узнана благодаря несходству формы.

Суеверие, как и другие роды безумия, легко теряет свою силу, если вместо того, чтобы льстить нашему тщеславию, оно становится ему поперек дороги и готово огорчить это нежное существо; тогда мы сейчас же усматриваем, 'что 'можем освободиться от него, 'как только захотим; и мы тем легче от него отказываемся, чем приятнее для нас все то, что мы у него отнимаем.

Все взгляды Гаманна сводятся к следующему принципу: «Все, что предпринимает человек словом, делом или иначе, должно возникать из всех его соединенных сил; всякие отдельные усилия должны быть отвергнуты». Правило превосходное, но следовать ему трудно. В жизни и в искусстве оно 'может соблюдаться; но при всякой передаче посредством слова, не имеющей поэтического характера, возникает большое затруднение, так как слово должно отделиться, обособиться, чтобы что-нибудь

сказать, что-нибудь значить. Когда человек говорит, он должен сделаться на мгновение односторонним; без обособления не может быть 'ни сообщения мысли, ни поучения.

...Верховный суд возник в результате установления земского мира, и история его могла служить важной путеводной нитью сквозь запутанные события немецкой истории. Действительно, устройство суда и армии дает наиболее точное понятие об устройстве того или другого государства. Даже финансы, влияние которых считается столь важным, имеют гораздо меньшее значение, когда целое испытывает нужду, достаточно взять у отдельных лиц то, что они с трудом скопили и сохранили, и таким образом государство всегда достаточно богато.

Далее мне казалось, что я высмотрел у природы, как закономерно она поступает, чтобы произвести живую форму, образец для всякой искусственной. Третье, что меня занимало, были нравы народов. Они учат, как из столкновения необходимости и произвола, понуждения и воли, движения и сопротивления возникает нечто третье, не являющееся ни искусством, ни природой, но тем и другим вместе, необходимым и случайным, намеренным и слепым. Я имею в виду человеческое общество.

Одно только несчастие существует для человека,— говорил он,— это когда им овладевает идея, не имеющая никакого влияния на действительную жизнь или же отвлекающая его от труда.

Вильгельм, тем временем обдумав слова Монтана, сказал ему: «Точно ли ты пришел к убеждению, что все виды деятельности должны быть разъединены в такой же мере при 'их изучении, как и при их практическом применении?»—«Для меня это бесспорно,— отвечал тот.— То, что человек создает, должно исходить из него, как его второе «я», а как это могло бы случиться, если его первое «я» не было до глубины проникнуто тем, что он должен создать?» — «Однако принято считать разностороннее образование весьма полезным и даже необходи-

мым».—«В свое время оно, пожалуй, и полезно,—ответил Монтан,— многосторонность, собственно говоря, лишь подготовляет ту атмосферу, среди которой может действовать односторонний специалист, который именно благодаря ей располагает достаточным простором. Ныне настало время односторонностей; благо тому, кто это постиг и действует соответственно — во благо себе и другим! В отношении некоторых предметов это понятно сразу и без оговорок. Выработай из себя хорошего скрипача, и ты можешь быть уверен, что всякий дирижер охотно отведет тебе место в своем оркестре. Сделай из себя орган, и жди, какое место отведет тебе в общей жизни благожелательное человечество. Но довольно об этом! Пусть тот, кто этому не верит, идет своей дорогой; порою и он может достигнуть успеха. Что касается меня, то я утверждаю: служение с самых низов необходимо во всех областях. Самое лучшее — ограничить себя каким-нибудь одним ремеслом. Для мелкого ума оно так и останется ремеслом, для человека более одаренного оно превратится в искусство, а человек высшего порядка, творя одно, творит все, или, говоря менее парадоксально, в этом одном, в совершенстве выполненном, он видит символ всего того, 'что выполняется в совершенстве».

«...Если хорошенько вдумаешься в то, что собственно представляет собой то свойство, которое с таким осуждением обзывают пустым тщеславием, то станет ясным, что каждый человек должен относиться к себе с известным самодовольством, и счастлив тот, кто испытывает это чувство. Но раз он его ощущает, то как он может не обнаружить это приятное ощущение? Как, существуя, ему скрыть, что он радуется своему существованию? Если бы хорошее общество — ибо только о нем и стоит говорить — порицало проявления этого свойства лишь в тех случаях, когда они принимают преувеличенные размеры, когда самолюбование одного человека мешает самолюбованию других 'и проявлению этого чувства, то против этого не приходилось бы возражать. Это излишество и явилось источником вышеуказанного порицания. Но что может поделать такое странное осуждение против неизбежного? Почему стараются всячески опорочить и очернить проявление чувства, которое всякий так или иначе время от времени сам 'испытывает, да без которого хорошее общество и существовать не может? Ибо довольство собою, потребность и другим сообщить это чувство по отношению к вам побуждает вас быть любезным, ощущение собственной привлекательности делает вас привлекательным. Дай бог, чтобы все люди были тщеславны, но сознательно, в меру и в надлежащем смысле этого слова. При этих условиях мы были бы счастливейшими людьми в культурном мире. Говорят, что женщины от природы тще-

славны и суетны, однако это — им к лицу, и они тем более нравятся нам. Как может молодой человек приобрести необходимую шлифовку, если не будет тщеславен? Пустая, бессодержательная натура благодаря тщеславию сможет придать себе, по крайней мере, известный внешний облик, а человек содержательный скоро перейдет от внешнего лоска к внутреннему. Что касается меня, то я почитаю себя счастливейшим из смертных, так как самое мое ремесло дает мне право быть тщеславным и заботиться о своей наружности. Ведь чем больше я предаюсь этому чувству, тем больше удовольствия доставляю своим ближним. Меня хвалят за то самое, за что порицают других, и через это мне предоставлено право и счастье услаждать публику и увлекать ее в таком возрасте, в котором другие вынужденно покидают сцену или остаются на ней к вящему своему позору».

...Переход от внутренне сознаваемой истины к внешней действительности, при их противоположности, всегда мучителен, а разве любовь и совместное пребывание любящих не должны иметь те же права, как разлука и взаимное отчуждение? И все же, когда один отрывается от другого, в душе образуется огромная пропасть, в которой погибло не одно сердце. Более того: самообольщение, пока оно длится, обладает непреодолимой видимостью истины, и лишь мужественные, сильные души 'возвышаются и укрепляются сознанием своего заблуждения. Такое открытие подымает их над самими собою. Стоя, таким образом, над собственным прошлым и видя, что прежний путь для них закрыт, они быстро озираются в поисках нового пути, дабы немедля, бодро и мужественно вступить на него.

Бесчисленны те затруднения, какие в подобных случаях окружают человека, но бесчисленны и те средства, какие изобретательная натура умеет открыть в пределах собственных сил и тотчас, если эти средства оказываются недостаточными, любезно подсказать другие средства вне ее сферы.

...Способности, заложенные в человеке, можно подразделить на общие и особенные. Общие должны рассматриваться как праздно покоящиеся дееспособности, которые при известных обстоятельствах пробуждаются и случайно применяются для достижения тех или других целей. Всем людям присущ дар подражания; каждый человек стремится подражать тому, что он видит, и воспроизводить виденное, не обладая в то же время ни малейшими ни внутренними, ни внешними данными к тому. Поэтому естественно, что человек всегда хочет выполнить то, что на его глазах выполняют другие. Всего естественнее, таким образом, было бы сыну посвящать себя занятию отца. Здесь все сходится: уже прирожденная порою специфическая способность, устремленная изначала в определенном направлении, затем

последовательное, постепенно прогрессирующее упражнение и созревший талант, принуждающий нас идти дальше по раз намеченному пути даже тогда, когда в нас проснутся другие позывы и нам предоставляется свобода выбрать иное поле деятельности, для которого природа не наделила нас ни соответствующими способностями, ни необходимой усидчивостью. В среднем всего счастливее поэтому те люди, которые имеют возможность в домашнем кругу развить в себе прирожденный семейный талант. Мы знаем о таких поколениях живописцев. Среди «их» правда, попадались и посредственные таланты, но все же они давали нечто пригодное, пожалуй, 'и лучше, чем то, что при их средних природных дарованиях они могли бы дать в какой-либо другой 'сфере деятельности, избранной 'ими свободно, по собственному желанию.

Природа образует нормально, когда бесчисленным отдельным элементам она дает правило, определяет и обусловливает их; ненормальными же явления бывают тогда, когда берут верх отдельные элементы и проявляются произвольно с виду даже как будто случайно. Но так как то и другое стоит в близком родстве и как упорядоченное, так и беспорядочное оживлено одним духом, то возникает колебание 'между нормальным и ненормальным. Образование и преобразование все время сменяют друг друга, так что кажется, будто ненормальное становится нормальным, и наоборот.

Природа преступает границу, которую она сама себе поставила, но этим она достигает иного 'совершенства. Мы хорошо сделаем поэтому, если будем возможно дольше воздерживаться здесь от отрицательных выражений. Древние говорили Te'pdg, prodigium, monstrum — чудесный знак, нечто значительное, достойное всяческого внимания; и в этом смысле Линней очень удачно назвал свою Peloria.

Мне хотелось бы, чтобы основательно проникались той истиной, что никоим образом нельзя добиться законченного воззрения, не рассматривая нормального и ненормального 'в их колебаниях и взаимодействии.

Каждый лист, каждый глазок имеет сам по себе право быть деревом; чтобы они 'не достигли этого, их связывает господствующее над ними здоровье стебля, ствола. Никогда не будет

лишним повторить, что 'каждая организация объединяет много живых элементов.

При рассмотрении растения принимается живая точка, которая вечно производит себе подобные. При этом и у самых незначительных растений она осуществляет это, повторяя все тот же элемент.

Мы находим вообще, что уродливость всегда снова склоняется к своей совершенной форме, что у природы 'нет правила, из которого она не могла бы сделать исключения, что она не делает исключения, которого она не могла бы вновь возвести в правило.

Вопрос о цели, вопрос: для чего? — безусловно ненаучен. Несколько дальше ведет нас вопрос: как?

...Вместо того, чтобы продолжать 'работу 'над этими предметами безобразно, отрывочно, недостаточно, я довольствуюсь тем, что назову человека, который уже показал на опыте, что он может, наконец, разрешить эти загадки и дружески побудить всех нас сознательно вступить на правильный путь, на котором каждый добросовестный, остроумный 'наблюдатель колеблется туда и сюда, наполовину предаваясь заблуждению. Каждый немецкий естествоиспытатель с радостью 'признает, что этот человек — наш дорогой друг, уважаемый президент Нес фон Эзенбек. Он испытал свои силы сначала на почти невидимом, заметном лишь для самого острого чувства, затем указал на двойную, развившуюся одна из другой жизнь, далее показал на вполне определенных родах, каким образом при разделении видов можно приступать к делу так, что один последовательно развивается из другого. Ум, знания, талант и должность — все делает его призванным рассматривать себя здесь в 'качестве посредника.

Он справлял вместе с нами торжество физиологической метаморфозы, он показал ее там, где целое распадается, разделяется и преобразуется в семейства, семейства в роды, роды а виды, а последние, в свою очередь, в другие многообразия, вплоть до индивидуальности. Эта деятельность природы продолжается без конца. Она не может отдыхать или застыть на месте, но не может также защитить и 'сохранить все то, что она произвела. У нас имеются ведь самые несомненные остатки органических существ, которые не смогли увековечить себя в живом размно-

жении. С другой стороны, из семян всегда развиваются отклоняющиеся растения с измененными соотношениями частей, о чем точные, внимательные наблюдатели уже немало сообщили нам и мало-помалу, вероятно, еще больше расширят наше знание.

Как важно это замечание, в этом мы под конец еще раз убедимся, снова бросив взор на тот момент, где семейства отделяются от семейств, ибо и здесь уже соприкасаются нормальное и ненормальное образования. Кто мог бы запретить нам назвать орхидеиные уродливыми лилейными?

Уже признано, что известное, для нас незаметное взаимодействие между растениями может быть как благодетельным, так и вредным. Кто знает, не потому ли именно известные растениями удаются в оранжереях и теплицах, что им давали враждебных соседей? Быть может, иные захватывают в свою пользу благодетельные атмосферные элементы, 'воздействие которых было предоставлено всем?

Прилагаю новый оттиск. Метаморфоза растении... Когда в спокойное время будешь перечитывать это сочиненьице, бери его только символически и представляй себе при этом все время еще что-нибудь живое, прогрессивное, из самого себя развивающееся.

Чтобы познавать, человек должен разъединять то, чего не следовало бы разъединять, а для этого нет иного средства, как вновь соединять то, что природа предлагает нашему знанию в разъединенном виде, вновь сводить его к единству, подмечая, как одна форма незаметно переходит в другую и в конце концов совершенно поглощается последующей.

Учение о форме есть учение о превращении.

Нельзя даже вообразить себе неизменности формы так же, как что бы то ни было независимое от универсальной жизни.

Высочайшая и единственная операция природы и искусства есть оформление, а в оформлении такая спецификация, чтобы каждая единица стала, была и осталась чем-либо особенным и значительным.

Природа забирается в спецификацию, как в тупой переулок; она не может пробраться насквозь и не хочет повернуть обратно.

Метаморфоз в высшем смысле, в котором берется и дается. приобретается и теряется, превосходно изложил уже Данте.

Хорошо устроенный манеж всегда импонирует. Лошадь стоит как животное очень высоко, но ее значительный и далеко простирающийся ум удивительным образом ограничивается связанными конечностями. Существо, которое при столь значительных, даже великих качествах может проявляться только в ступанье, беганье ,и скачке, является интересным предметом рассмотрения. Почти убеждаешься в том, что оно создано в качестве органа человека, чтобы, присоединившись к высшему уму и цели, довести до невозможного как силу, так и грацию. Манеж потому и действует так благотворно на мыслящего человека, что здесь — и, быть может, только здесь на всем свете — видишь глазами и понимаешь умом целесообразное ограничение активности, устранение всякого произвола, даже случая. Человек и животное так сливаются здесь воедино, что собственно нельзя сказать, кто же из них воспитывает другого.

...Разве то, что производит на 'нас неприятное впечатление, не входит с равным правом в план природы, как и самые милые ее явления? Разве яростные бури, потопы, потоки огня, подземный жар и смерть во всех стихиях не столь же подлинные свидетельства ее вечной жизни, как дивный восход солнца над полными виноградниками и благоухающими апельсиновыми рощами?..

Что мы видим в природе, это сила, поглощающая силу. Ничего длительного, все мимолетно, тысячи зародышей растаптываются, каждый миг рождаются тысячи новых, все велико и значительно, многообразно до бесконечности. Прекрасное и безобразное, доброе и злое, все существует с равным правом друг подле Друга.

Искусство же является прямой противоположностью: оно возникает из усилий индивида устоять 'против разрушительной силы целого. Уже животное выделяется, защищается своими искусственными влечениями; человек сквозь все свои состояния укрепляется против природы, чтобы избежать ее в тысячах форм проявляющегося зла и воспользоваться только мерой добра, пока ему не удается, наконец, замкнуть циркуляцию всех своих естественных ,и искусственных потребностей в один дворец, залучить в его стеклянные стены по возможности всю рассеянную красоту и все счастье, и там он становится все мягче и мягче, субституирует радостям тела радости души, и силы его, не стимулируемые никакой враждебностью к естественному их употреблению, расплываются в добродетель, филантропию, чувствительность.

«

(Возражая словам Зульцера: «Льющимися на нас со всех сторон приятностями природа хотела вообще внедрить в наши души кротость и чувствительность», Гете пишет:) Вообще она никогда этого не делает; напротив, она, слава богу, закаляет своих 'истых детей против страданий и бедствий, которые она им неустанно готовит, так что самым счастливым человеком мы можем назвать того, кто обладал бы наибольшей силой встретить беду, отбросить ее от себя и наперекор ей идти дорогой своей воли. Для большей части людей это трудно, даже невозможно. Поэтому большинство, в особенности философы, благородно ретируется и прячется за укрепления. Потому-то они и вообще так адекватно диспутируют.

Природа заполняет своей безграничной продуктивностью все пространства. Взглянем на одну только Землю: все, что мы называем злым, несчастным, проистекает из того, что не всему возникающему она может дать место, еще меньше — предоставить ему долговечность.

Все, что возникает, ищет простора и хочет долговечносги; поэтому оно вытесняет с данного места другие существа и сокращает продолжительность их существования.

Живое существо обладает даром приспособления к многообразным условиям внешних влияний, не отрешаясь в то же время от достигнутой определенной самостоятельности.

Животных учат их органы, говорили древние; я прибавлю к этому: также и людей, хотя последние обладают тем преимуществом, что могут, в свою очередь, учить свои органы.

Человек никогда не понимает, насколько он антропоморфен.

Вспомните о легкой возбудимости всех существ: малейшее изменение какого-либо условия, всякое новое дуновение сейчас же обнаруживает в телах полярность, которая собственно во всех них таится.

Напряжение — это кажущееся индифферентным состояние энергичного существа, находящегося в полной готовности проявиться, дифференцироваться, поляризоваться.

Произведения природы можно узнавать, только схватывая их в становлении; созрели они и готовы—попробуй-ка, как их понять.

«Видеть становление вещей — лучший способ их объяснить» (Тюрпен).

Ко всему, что хочет сделать природа, она может добраться только постепенно, она не делает прыжков. Она, например, не могла бы сделать лошадь, если бы ей не предшествовали все

другие животные, по которым она, как по лестнице, поднялась до структуры лошади. Так всегда одно имеется ради всех, все ради одного, потому что ведь одно и есть также все.

Представьте себе природу, которая как бы стоит у игорного стола и неустанно выкрикивает: вдвое!, т. е., пользуясь уже выигранным, счастливо до бесконечности продолжает игру сквозь все области своей деятельности. Камень, животное, растение — все после таких счастливых ходов постоянно снова идет на ставку, и кто знает, не является ли и весь человек, в свою очередь, только ставкой для более высокой цели?

3

О некоторых проблемах в естественных науках нельзя говорить надлежащим образом, не призывая на 'помощь метафизику, но не школьную и словесную мудрость, а то, что было, есть и будет до физики, вместе с физикой я после физики.

«Дай мне — где стать».
Архимед

«Найди — где стать».
Ноле.

«Утверждайся — где стоишь».
Гете. *

Пребывай там, где стоишь,— максима, более необходимая теперь, чем когда бы то ни было, так как, с одной стороны, люди раскалываются на большие партии, а затем и каждый отдельный человек хочет проявить себя согласно индивидуальному усмотрению и способностям.

Лучше всегда прямо высказать как думаешь сам, не пытаясь много доказывать. Все приводимые нами доказательства являются ведь только вариациями наших мнений, и люди противоположного образа мыслей не слушают ни того, ни другого...

Всякое существо есть аналог всего существующего. Поэтому бытие всегда представляется нам в одно время и раздельным, и связанным. Когда чересчур увлекаешься аналогией, то все сливается в одно тождество; когда избегаешь ее — все распыляется до бесконечности. В обоих случаях мысль парализуется: в первом случае — как чрезмерно живая, во втором — как умерщвленная...

Человеку прирождена и с его природой теснейшим образом связана та особенность, что для познания ему недостаточно ближайшего. Между тем каждое явление, которое мы сами воспринимаем, представляет в данный момент ближайшее, и раз мы энергично будем пытаться проникнуть в него, мы можем требовать от него, чтобы оно само себя объяснило.

Этому люди, однако, не научатся, потому что это противоречит их природе. Поэтому и образованные люди, познав где-либо нечто истинное, не могут воздержаться от приведения его в связь не только с ближайшим, но также с самым отдаленным. Отсюда проистекает заблуждение за заблуждением. Близкий феномен связан в действительности с отдаленным лишь в том смысле, что все приурочено к немногим великим законам, которые повсюду обнаруживаются.

Что такое общее? Единичный случай. Что такое частное? Миллионы случаев.

Аналогия должна опасаться двух заблуждений: во-первых, отдаться остроумию,— тогда она расплывается в ничто; во-вторых, окутаться тропами и сравнениями,— что, однако, менее опасно.

Ни мифологии, ни легенд нельзя терпеть в науке. Предоставим их поэтам, которые призваны обрабатывать их на пользу

и радость мира. Человек науки пусть ограничивается ближайшей ясной действительностью. Но если изредка он пожелал бы выступить в риторическом облачении, то да будет дозволено ему и это.

Чтобы найти выход, я рассматриваю все явления как независимые друг от друга и стараюсь властно изолировать их. Затем я рассматриваю их как коррелаты, и их синтез дает самую полную жизнь. Я применяю это преимущественно к природе, но этот способ рассмотрения плодотворен и в применении к новейшей, подвижной всемирной истории.

Все, что мы называем изобретением или открытием в высшем , смысле, есть из ряда вон выходящее проявление, осуществление оригинального чувства истины, которое, давно развившись в тиши, неожиданно, с быстротой молнии ведет к плодотворному познанию. Это на внешних вещах изнутри развивающееся откровение, которое дает человеку предчувствие его богоподобности. Это — синтез мира и духа, дающий самую блаженную уверенность в вечной гармонии бытия.

Человек должен верить, что непостижимое постижимо: иначе он не стал бы исследовать.

Понятно все частное, допускающее какое-либо применение. Таким путем непонятное может стать полезным.

Есть тонкая эмпирия, которая теснейшим образом отождествляется с предметом и таким путем становится настоящей теорией. Однако это потенцирование духовной способности свойственно лишь высокообразованной эпохе.

Всего отвратительнее — педантичные наблюдатели и фантазеры-теористы. Их эксперименты мелочны и сложны, их гипотезы темны и причудливы.

Чтобы понять, что небо везде сине, не нужно ездить вокруг света.

Общее и частное совпадают: частное есть общее, обнаруживающееся при различных условиях.

Не требуется все самому видеть и пережить. Но если ты хочешь доверять другому и его описаниям, то прими во внимание, что ты имеешь дело с целой тройкой: предметом и двумя субъектами.

В естествознании так же необходим категорический императив, как и в нравственной области. Надо только принять во внимание, что мы стоим с ним не в конце, а в начале.

Самое высокое было бы понять, что все фактическое есть уже теория: синева неба раскрывает нам основной закон хроматики. Не нужно только ничего искать за феноменами. Они сами составляют учение.

В науках много достоверного, если не смущаться исключениями и уметь уважать проблемы.

Если посмотреть на проблемы Аристотеля, то удивляешься способности подмечать и всему тому, что наблюдали греки. Только они допускали ошибку чрезмерной поспешности, так как непосредственно переходили от феноменов к их объяснению, вследствие чего появлялись совершенно недостаточные теоретические высказывания. Но это всеобщая ошибка, которую делают еще и сегодня.

Гипотезы это колыбельные песни .которыми, учитель убаюкивает своих учеников. Мыслящий добросовестный наблюдатель

все больше приходит к сознанию собственной ограниченности, так как он видит, что чем дальше расширяется знание, тем больше появляется проблем.

Наша ошибка в том, что мы сомневаемся в достоверном и хотим фиксировать недостоверное. Мой же принцип при исследовании природы: удерживать достоверное и следить за недостоверным.

Приемлемой гипотезой я называю такую, которую мы устанавливаем как бы шутя, чтобы предоставить серьезной природе опровергнуть нас.

Так как для дидактического изложения требуется достоверность и так как ученик не желает получать ничего сомнительного, то учитель не может оставить в покое ни одной проблемы, обходя ее, например, в некотором отдалении. Сразу же должно быть что-либо определено (bepaalt, говорит голландец); и вот некоторое время кажется, что обладаешь известным пространством, пока кто-нибудь другой не выдернет кольев изгороди и тотчас снова не огородит ими более узкое или более широкое пространство.

Страстный вопрос о причине, смешение причины и действия, успокоение на ложной теории приносят великий, неподдающийся учету вред.

«

Ложное обладает тем преимуществом, что о нем можно постоянно болтать. Истинное нужно сейчас же использовать, иначе оно ускользает.

Кто не понимает, что истинное облегчает практику, может сколько угодно мудрить с ним и крючкотворствовать, чтобы хоть немного приукрасить свою ошибочную нудную работу.

Немцы, да и не они одни, обладают даром делать науки недоступными. ,

Англичанин — мастер сразу использовать все открытое, пока оно не поведет к новому открытию и к доброму делу. Спросите-ка, почему они во всем опередили нас?

Мыслящий человек обладает тем удивительным свойством, что туда, где лежит неразрешенная проблема, он любит примышлять образ фантазии, от которого он не может отделаться, даже когда проблема разрешена и истина очевидна.

Нужен своеобразный поворот ума для того, чтобы схватить бесформенную действительность в ее самобытнейшем виде и отличить ее от химер, которые ведь тоже настойчиво навязываются нам с известным характером действительности.

Каждый человек смотрит на готовый, упорядоченный и оформленный совершенный мир, в конце концов, только как на материал, из которого он старается создать для себя особый, к нему приспособленный мир. Дельные люди хватаются за него без 'колебаний и орудуют с ним в пределах возможного. Другие нерешительно ходят вокруг да около, а некоторые сомневаются даже в его существовании.

Кто достаточно проникся бы этой истиной, тот не стал бы 'ни с кем спорить, а рассматривал бы чужое, а также и свое собственное воззрение, как явление. Мы ведь почти изо дня в день убеждаемся, что один может с удобством мыслить то, что для другого невозможно мыслить, и притом даже не в таких вещах, которые 'имели бы какое-либо влияние на благо и зло, а в таких, которые для «ас совершенно безразличны.

То, что знаешь, знаешь собственно только для себя. Когда я говорю с другим о том, что я хорошо, на свой взгляд, знаю, то он сразу полагает, что знает это лучше меня, и мне приходится все снова уходить в себя со своим знанием.

Человек находит себя среди действий и не может удержаться от вопроса о причинах. Как существо косное, он хватается за ближайшую из них как за наилучшую и на этом успокаивается. В особенности любит поступать так человеческий рассудок.

Одинаковые или по крайней мере сходные действия производятся природой различными способами.

' Желание объяснять простое сложным, легкое — трудным есть порок, распределенный по всему телу науки. Проницательные видят его, но не всегда сознаются в нем.

Просмотрите внимательно физику я вы найдете, что как феномены, так и эксперименты, на которых они построены, обладают различной ценностью.

Все сводится к простым первичным опытам, и построенная на них глава стоит надежно и прочно. Но есть также опыты вторичные, третичные и т. д. Если им приписываются равные права, они спутывают то, что было выяснено первыми.

Свет и дух, царящие — первый в физическом, второй в моральном, суть высшие мыслимые неделимые энергии.

И не принадлежит ли цвет всецело чувству зрения? -

Я ничего не имею против допущения, что цвет можно даже осязать. Его самобытные свойства выявились бы при этом еще 'лучше.

Все — проще, чем можно мысленно представить себе, и в то же время взаимообусловленнее, чем мы в состоянии понять.

Те, которые складывают единственный наияснейший свет / г из цветных видов света, являются настоящими обскурантами.

Как Сократ призвал к себе нравственного человека, чтобы последний сколько-нибудь просветился относительно себя самого, так в свою очередь Платон и Аристотель выступили перед природой как призванные: один с умом и душою, жаждущими отдаться ей, другой — со взором исследователя и методом, направленным на ее завоевание. Всякое приближение к этим трем, которое становится возможным для нас в целом и в частностях, является событием, которое мы радостнее всего ощущаем и которое всегда служит могучим стимулом нашего образования.

Чтобы из безграничного многообразия, раздробленности и запутанности современной физики снова спастись в простое, нужно все снова ставить себе вопрос: 'как отнесся бы Платон к природе, как она представляется нам теперь при всем ее основном единстве в своем более значительном многообразии?

Ибо мы убеждены, что мы на том же пути можем органически достигнуть последних разветвлений познания и на этом фундаменте постепенно возвести и укрепить вершины каждого знания. При этом мы должны, однако, постоянно следить за тем, идем ли мы в направлении работы нашей эпохи или против нее. Иначе мы рискуем отклонить полезное и принять вредное.

Опыт сначала приносит пользу науке, затем вредит ей, так как обнаруживает и закон, и исключение. Среднее между ними отнюдь не дает истинного.

Говорят, что между двумя противоположными мнениями лежит истина. Никоим образом! Между ними лежит проблема, то, что недоступно взору, т. е. вечно деятельная жизнь, мыслимая в покое.

4

В Нью-Йорке девяносто различных христианских вероисповеданий, каждое из которых, не вступая ни в какие столкновения с остальными, на свой лад почитает господа бога. В естествознании, как и во всяком другом исследовании, мы должны дойти до такого же положения; иначе, что же получается, когда каждый говорит о либеральности и мешает другому думать и высказываться по-своему.

Самое врожденное понятие, самое необходимое понятие причины и действия в применении становится поводом к бесчисленным, все повторяющимся заблуждениям.

Мы совершаем большую ошибку, представляя всегда себе причину рядом с ее действием, как тетиву близ стрелы, которую она пускает. Однако мы не можем избежать этой ошибки, потому что причина и действие всегда мыслятся вместе 'и, стало быть, сближаются в уме.

Ближайшие доступные причины достижимы и именно потому более всего постижимы; вот почему мы охотно представляем себе механическим то, что имеет более высокую природу.

Сведение факта к причине является только историческим трактованием. Например, факт смерти человека и ее причина — выстрел из ружья.

Падение и толчок. Желание объяснить с их помощью движение мировых тел — это собственно вскрытый антропоморфизм; это движение путника через поле. Поднятая нога опускается, оставшаяся сзади стремится вперед и падает, и так без изменений, от выхода до прибытия.

Что если бы на том же пути заимствовали сравнение у конькобежца? В этом случае поступательное движение идет на пользу оставшейся сзади ноге, причем последняя вместе с тем берет на себя обязанность дать еще такой импульс, что другая нога, теперь уже находящаяся позади, в свою очередь сохраняет возможность двигаться некоторое время вперед.

Индукции я никогда сам себе не позволял; если кто-нибудь другой хотел воспользоваться ею против меня, я сейчас же устранял ее.

Сообщение посредством аналогий я считаю столь же полезным, как приятным; аналогичный случай 'не навязывается, ничего не доказывает; он противопоставляется другому, не соединяясь с ним. Несколько аналогичных случаев не смыкаются в замкнутые ряды, они — как хорошее общество, которое всегда больше стимулирует, чем дает.

Очень хорошо говорят, что явление это следствие без основания, действие без причины. Человеку так. трудно дается., отыскать основание и причину потому, что они .в силу своей простоты скрываются от взора.

Мыслящий человек ошибается в особенности тогда, когда он допытывается связи причины и действия; то и другое составляет вместе неделимый феномен. Кто в состоянии признать это, тот на правильном пути к деятельности, к делу. Генетический метод, хотя и он недостаточен, ведет нас на лучший путь.

Ни один феномен не объясняется сам по себе и из самого себя; лишь многие, обозреваемые совместно, методически упорядоченные, дают, наконец, нечто, имеющее .значение для теории.

Если то, что мы знаем, излагается другим методом или даже на чужом языке, то оно приобретает странную прелесть новизны и свежести.

Круги истинного соприкасаются непосредственно, но в промежутках у заблуждения остается довольно места, чтобы развернуться и проявиться.

Природа не заботится о каких-либо ошибках; сама она не может действовать иначе как правильно, не озабоченная тем, что из этого может получиться.

У природы нет ни одной закономерной способности, которой бы она при случае не проявила и не осуществила.

Картезий несколько раз наново писал свою книгу о «Методе», и в том виде, как она сейчас лежит перед нами, она все же ничуть не может помочь нам. Каждый, кто некоторое время предается добросовестному исследованию, должен когда-нибудь изменить свой метод.

Ознакомьтесь с явлением, отнеситесь к нему с той точностью, какая только возможна, посмотрите, как далеко можно уйти с ним в понимании я в практическом применении, а затем оставьте проблему в покое. Наоборот поступают физики: они направляются прямо на проблему 'и запутываются по пути в стольких трудностях, что под конец у них не остается никакого выхода.

Из величайшего и из мельчайшего (раскрываемого человеку лишь искусственными средствами) вытекает метафизика явлений. Посередине лежит все обособленное, соответствующее нашим чувствам. Это — моя область. Причем я, однако, от всего сердца благословляю те даровитые умы, которые приближают ко мне вышеуказанные области.

V

Как действительное существо среди действительного мира, человек наделен такими органами, что может познавать и производить действительное и наряду с ним возможное. Все здоровые люди убеждены в своем собственном существовании и в существовании окружающей их среды. Подобно тому, как в глазу есть пятнышко, которое не видит, в мозгу есть тоже такое место, где не отражается ни один предмет. Когда человек становится особенно внимательным 'к этому месту и углубляется в него, он впадает в душевную болезнь, ему мерещатся здесь вещи из другого мира, которые являются, однако, не бытием, а чистейшими небылицами и не обладают ни формой, ни границами. Они пугают наподобие пустых ночных видений, преследуют хуже, чем призраки, и того, кто не вырвался из-под их гнета.

Нет ничего труднее, чем брать вещи такими, каковы они суть на самом деле.

Кто не доверяет своим чувствам, тот дурак, который неизбежно превратится в умозрителя.

Человек достаточно вооружен для всех истинных земных потребностей, если он доверяет своим чувствам и так развивает их, чтобы они продолжали заслуживать доверие.

Чувства не обманывают, обманывает суждение.

Никто не отрицает, что зрение способно оценивать расстояния между предметами, находящимися рядом или один над другим. На предметы, стоящие один позади другого, эту способность не желают распространять.

Однако благодаря параллаксу, человеку, если его мыслить не стационарным, а подвижным, дано самое надежное указание. Если ближе всмотреться, сюда включено уже учение о применении соответствующих углов.

Кто довольствуется чистым опытом 'и в согласии с ним поступает, у того достаточно истинного. Подрастающее дитя мудро в этом смысле.

.Теория сама по себе ни к чему. Она полезна лишь поскольку дает нам веру в связь явлений.

В искусстве и науке так же, как в практической деятельности, все сводится к тому, чтобы объекты отчетливо воспринимались и трактовались сообразно своей природе.

Мы должны, как мне кажется, всегда больше наблюдать, в чем отличаются друг от друга вещи, которые мы хотим познать, нежели в "чем они похожи. Различение труднее, утоми-

тельнее, чем установление сходства, и если мы достаточно хорошо различили предметы, то сравниваются они затем сами собой. Если же начать с того, что вещи считать одинаковыми или похожими, то можно легко оказаться в том положении, что ради своей гипотезы или манеры представления не заметишь особенностей, по которым вещи очень отличаются друг от друга.

Я жалею людей, которые много носятся с преходящестью вещей и уходят в созерцание земной суетности. Ведь мы для того и существуем, чтобы сделать преходящее непреходящим, а это может быть осуществлено лишь тогда, когда 'мы умеем ценить и то и другое.

Кто может сказать, что у него есть склонность к чистому опыту? Каждый полагал, что он следует настойчивым советам Бэкона, но кому удавалось это?

Эпоху эмпирического естествознания датируют, начиная с Бэкона Веруламского. Его путь, однако, часто пересекали и делали непроходимым теоретические тенденции. В сущности говоря, с каждого дня можно и должно считать новую эпоху.

С расширением знания время от времени наступает необходимость изменить расстановку данных; чаще всего это происходит по новым принципам, но всегда она остается провизорной.

Опыт может расширяться до бесконечности. Теория в состоянии 'очищаться и совершенствоваться в таком же смысле. Первому открыта вселенная во всех направлениях, „последняя остается замкнутой пределами человеческих способностей Вот почему все воззрения должны возвращаться. Иногда встречается, правда. Удивительный случай, когда при расширенном опыте снова входит в милость ограниченная теория.

Человек сам по себе, поскольку он пользуется своими здоровыми чувствами, ' есть величайший и точнейший физический аппарат, какой только может существовать. Величайшее

несчастье новейшей физики состоит именно в том, что она как бы отделила эксперименты от человека и желает признать природу лишь в том, что показывают искусственные инструменты. Физика желает даже ограничить ими то, что природа может создать.

Так же обстоит дело с вычислением. Есть много истинного, не поддающегося вычислению, как не все истинное возможно представить в виде эксперимента.

Но ведь затем человек и стоит так высоко, чтобы вообще невыразимое нашло в нем свое выражение. Что такое струна и всякое ее механическое деление перед ухом музыканта? Да, можно даже сказать: что такое физические, элементарные явления самой природы перед человеком, который должен еще укротить их и модифицировать, чтобы иметь возможность сколько-нибудь их ассимилировать?

Когда хотят, чтобы эксперимент дал все, к нему предъявляют слишком большое требование. Ведь и электричество вначале умели добывать только посредством трения, между тем как теперь его высшее проявление осуществляется простым прикосновением.

Хотя это и случается со многими наблюдателями — нехорошо связывать с каким-либо воззрением сейчас же какой-нибудь вывод и рассматривать их за равнозначащие.

Теория — это обыкновенно результаты чрезмерной поспешности нетерпеливого рассудка, который хотел бы избавиться от явлений и подсовывает поэтому на их место образы, понятия, часто даже одни слова. Подозревают, даже видят, что это только вспомогательное средство, но разве страстность и партийность не прилепляются всегда к таким средствам? И не без основания, так как они очень нуждаются в них.

Наши состояния мы приписываем то богу, то чёрту, и в обоих случаях ошибаемся. Загадка лежит в нас самих, порождениях двух миров. Так же и с цветом: то его ищут в свете, то снаружи, во вселенной. Его только не могут найти в его собственном доме.

Наступит время, когда будут излагать патологическую экспериментальную физику и выведут на свежую воду все то жонглерство, которое надувает рассудок, контрабандным путем протаскивает какое-либо убеждение и, что хуже всего, препятствует всякому практическому прогрессу. Феномены должны: быть раз и навсегда вырваны из мрачного эмпирико-механико догматического застенка и представлены на суд обыденного человеческого рассудка.

Природа умолкает на плахе. Ее верный ответ на искренний вопрос: да, да! нет, нет! Все остальное от лукавого.

Микроскопы и телескопы собственно только спутывают чистый человеческий смысл.

Все плодотворное принадлежит не нам, а природе.

И само время — стихия.

Что называют идеей: то, что всегда обнаруживается в явлении и притом выступает как закон всякого явления.

Воспринимать природу и непосредственно извлекать из нее пользу дано немногим людям. Между познанием и применением они охотно создают воздушный замок, старательно разрабатывают его и забывают за ним предмет вместе с его применением.

Точно так же нелегко понимают, что в великой природе совершается то же, что происходит и в самом маленьком круге. Когда опыт навязывает такого рода познания людям, они в конце концов сдаются. Мякина, притянутая натертым янтарем, оказывается в родстве с самой ужасной грозой. Это собственно •одно и то же явление. Это микромегическое мы признаем еще в некоторых других случаях, но скоро нас покидает чистый геяий природы, демон мудрствования овладевает нами и всюду умеет проявить свою власть.

Природа сохранила за собой столько свободы, что знанием и наукой мы безусловно не можем настичь ее или прижать ее к стене. Все это — наши глаза, наши воззрения. Одна только природа знает, чего она хочет и чего она хотела.

Если естествоиспытатель хочет отстоять свое право свободного созерцания и наблюдения,' то пусть он вменит себе в обязанность обеспечить права природы. Только там, где она свободна, будет свободен и он. Там, где ее связывают человеческими установлениями, он будет связан и сам.

VI

Природу и идею нельзя разделить, не разрушив тем самым как 'искусство, так и жизнь.

Когда художники говорят о природе, они всегда, не сознавая этого отчетливо, подразумевают идею.

Точно так же обстоит дело со всеми, кто исключительно превозносит опыт. Они не хотят понять, что опыт это только половина опыта.

Сначала слышишь о природе и о подражании ей, затем тебе преподносят «прекрасную природу». Предлагается выбирать и конечно наилучшее? А по какому признаку узнать его? По какой норме производить выбор? И где эта норма? Ведь не в самой же природе?

Допустим даже, что предмет дан — прекраснейшее дерево в лесу, которое признал бы в своем роде совершенным даже лесничий. Но ведь для того, чтобы превратить это дерево в картину, я обхожу вокруг его и выискиваю самую красивую сторону. Я отступаю на достаточное расстояние, чтобы вполне обозреть его. Я дожидаюсь благоприятного освещения. Много ли после этого перейдет от дерева, как оно существует в природе, на бумагу?

Как раз то, что необразованным людям представляется в художественном произведении природой, есть не природа (извне), а человек (природа изнутри).

Мы знаем только мир в отношении к человеку — и никакого иного. Мы хотим только искусства, являющегося отпечатком этого отношения,— и никакого иного искусства. ,

Кто первый горизонтом связал в картине конечные пункты многообразной игры отвесных линий, тот изобрел принцип перспективы,

Кто из систолы и диастолы, для из этого, говоря словами Платона, первый развил цветовую гармонию, колорита.

которых образована ретина, синкризиса и диакризиса, тот открыл принципы коло-

Ищите в самих снаружи,— как бы утверждающая и самих себе.

себе и вы найдете все. Радуйтесь, если там вы это ни называли,— лежит природа, благословляющая все то, что вы нашли в

Слова: никто, незнакомый с геометрией, чуждый ей, не должен вступать в школу философа—не означают, что нужно быть г Математиком, чтобы стать философом.

Геометрия взята здесь в ее первых элементах, как она дана нам в Эвклиде и как она излагается каждому начинающему. Но в таком виде она является лучшей подготовкой, можно сказать, введением в философию.

Когда мальчик начинает понимать, что видимой точке должна предшествовать невидимая, что кратчайший путь между двумя точками мыслится уже как линия, прежде чем она наносится карандашом на бумагу, он чувствует известную гордость и удовольствие. И не без основания: ему раскрылся источник всего мышления, ясными стали для него идеи и реализованное, potentia et actu. Философ не откроет ему ничего нового, для геометра с этой стороны обнажилась основа всего мышления.

Гипотезы — это леса, которые возводят перед зданием и сносят, когда здание готово. Они необходимы для работника, который не должен только принимать леса за здание.

Освобождая человеческий ум от какой-либо гипотезы, которая вынуждала его неправильно видеть, неправильно комбинировать, фантазировать, вместо того, чтобы смотреть, мудрствовать, вместо того, чтобы судить,— мы уже этим оказываем ему большую услугу. Он видит явления свободнее, в других отношениях и связях. Он упорядочивает их по-своему и получает снова возможность заблуждаться самостоятельно и на свой лад — возможность неоценимую, если впоследствии он сам поймет свое заблуждение.

Явление не оторвано от наблюдателя, а, напротив, погружено .и вплетено в его индивидуальность.

Что такое изобретение и кто может сказать, что он изобрел то или другое? Да и вообще сущая глупость чваниться первенством Не_ признать себя, в конце концов, плагиатором— это только бессознательное самохвальство.

При изучении наук, особенно тех, которые имеют дело с природой, постановка и разрешение нижеследующего вопроса являются необходимыми, но чрезвычайно трудными: действительно ли переданное нам с давних пор, по традиции, от наших предков и почитавшееся ими за непреложную, истину настолько обоснованно и надежно, что мы и впредь можем строить наши научные заключения «а этом фундаменте? Или же традиционное исповедание передаваемого стало лишь чем-то раз навсегда установившимся, а потому служит скорее источником застоя, чем прогресса? Существует один признак, помогающий нам при разрешении этого вопроса: традиционная гипотеза лишь тогда верна, когда она не утратила жизненности и способствует теперь, как и раньше, активному устремлению практической деятельности.

В противоположном направлении должно идти исследование

новых теорий. Здесь приходится задаваться вопросом: является ли гипотеза действительным приобретением или же она получила общее признание лишь под влиянием моды? Ибо мнение, 'высказанное энергичными людьми, распространяется, как зараза, среди толпы и тогда его называют господствующим — претензия, лишенная всякого смысла для добросовестного исследователя. Государство и церковь в праве называть себя господствующими, ибо им приходится иметь дело со строптивой толпой, ,и был бы только порядок, а какими средствами он достигается,— безразлично; наоборот, в науках необходима абсолютная свобода, ибо в данном случае работа рассчитана не на сегодняшний или завтрашний день, а на необозримый ряд сменяющихся годов.

Если порою неверный научный взгляд и одерживает верх, то •всегда остается известное меньшинство, которое упорно будет держаться истины, и даже если последняя сосредоточилась лишь в одном уме, то это не может иметь особого значения. Этот одинокий ум будет в тиши и втайне продолжать свою работу, и настанет день, когда обратятся к нему и заинтересуются его взглядами или когда, с более широким распространением просвещения, он сам будет иметь возможность смело выступить с этими взглядами.

Вместе с воззрениями, когда они исчезают из мира, часто пропадают и сами предметы. Ведь в высшем смысле можно сказать, что воззрение и есть предмет.

Открыто уже гораздо больше, чем полагают.

Так как предметы вызываются из ничего лишь воззрениями людей, то когда воззрения исчезают, они снова возвращаются в ничто.

В истории наук идеальная часть стоит в ином отношении к реальной, чем 'в остальной мировой истории.

История наук.

Реальная часть суть феномены.

Идеальная часть — воззрения на феномены.

Науки, как и искусства, состоят из части, передаваемой по традиции (реальной), изучаемой, и части, не передаваемой (идеальной), неизучаемой.

Что изобретают, то делают с любовью; чему научились — с уверенностью.

Что такое изобретение? Завершение искомого. *

Становиться на одну плоскость с объектами, значит учиться.

/ Брать объекты в их глубине, значит изобретать

Вся моя внутренняя деятельность проявлялась как живая эвристика, которая, признав неизвестное прозреваемое правило, пытается найти его во внешнем мире и ввести во внешний мир.

Чем был бы человек без идеи? Не должна ли она, куда бы он ни направлял свои шаги, всегда преподноситься ему как никогда для него не достижимая?

Фантазия много ближе к природе, чем чувственность; последняя имеется в природе, первая парит над ней. Фантазия выросла из природы, чувственность — в ее власти.

Когда мы должны признать идею в явлении, нас так смущает то обстоятельство, что она часто противоречит чувствам.

Коперниканская система покоится на идее, которую трудно было схватить и которая еще каждый день противоречит нашим чувствам. Мы только повторяем вслед за другими то, чего мы не признаем и не понимаем.

Метаморфоз растений точно так же противоречит нашим чувствам.

Идеалистам древности и нового времени нельзя ставить в вину того, что они так страстно настаивают на принятии Единого, из которого все проистекает, к которому все можно было бы свести. И в самом деле, оживляющий и упорядочивающий принцип так стеснен в явлении, что едва в состоянии отстоять себя. Но, с другой стороны, мы урезываем себя, проецируя оформляющее и саму высшую форму в исчезающее от нашего внешнего и внутреннего чувства единство.

Все органические существования заключаются в бесконечном, но не составляют его частей; они скорее причастим бесконечности.

Так как мы не можем сделать много с помощью малого, то мы не должны огорчаться, делая мало с помощью многого; если человек и не сможет сразу охватить всю природу одним смут-

ным чувством, то все же он может много исследовать и познать в ней.

Наука — вот истинное преимущество человека; и если она вновь и вновь ведет его к великому понятию, что все составляет гармоническое единство, и сам он, в свою очередь, представляет гармоническое единство, то это великое понятие утверждается в нем гораздо богаче и полнее, если только он не захочет почить в покойном мистицизме, который охотно прячет свою нищету в претендующую на уважение непонятность.

Природа, как бы ни казалась она многообразной, все же всегда едина, единство, и потому, когда она в чем-нибудь обнаруживается, то все прочее должно служить основой этого, находясь в связи с ним.

-Лучший порядок тот, благодаря которому явления становятся как бы одним великим явлением, части которого взаимно связаны.

••

Кто склонен добиваться истинного порядка, тот, встретив что-либо неподходящее к его распорядку, лучше изменит все расположение, чем выпустит или заведомо ложно установит этот единичный факт.

Мы, люди, приурочены к протяжению и движению. В этих двух общих формах и раскрываются все остальные формы, особенно чувственные. Но духовная форма, выступая в явлении, отнюдь не умаляется, при том условии, что ее выявление есть истинное рождение, истинное размножение. Рожденное не менее значительно, чем рождающее. Мало того, преимущество живого порождения и состоит в том, что рожденное может стоять выше родившего.

Разум имеет дело со становящимся, рассудок—со ставшим. Первый не беспокоится о вопросе: к чему? Второй не спрашивает: откуда? Разум радуется развитию. Рассудок для использования в дальнейшем желает все закрепить.

Разум имеет власть только над живым. Мир возникший, которым занимается геогнозия, мертв. Поэтому не может существовать геологии: разуму здесь нечего делать.

Когда я вижу разрозненный костяк, я могу собрать и восстановить его, ибо здесь со мной говорит вечный разум через посредство какого-либо аналога, хотя бы это был гигантский ленивец.

Что уже не возникает больше, то мы не можем и представить себе как возникающее. Возникшего мы не понимаем.

Общепризнанный новейший вулканизм это собственно смелая попытка связать настоящий непонятный мир с прошедшим незнакомым.

Понятие возникновения для нас совершенно закрыто. Поэтому, наблюдая, как что-либо возникает, мы представляем себе, что оно уже существовало. Вот почему система вложенных друг в друга зародышей кажется нам понятной.

Мы видим немало значительных предметов, складываемых из частей. Рассматривая произведения архитектуры, мы видим, как части нагромождаются в правильных или неправильных соотношениях. Поэтому атомистическое понятие для нас естественно и сподручно и потому-то мы не колеблемся применять его также в органических случаях.

Материал каждый видит перед собой, содержание находит тот, кто имеет какое-нибудь дело до него, а форма является для большинства тайной.

Люди обладают вообще только понятием рядоположности и совместности, но не чувством 'внедрения и взаимопроникания, ибо понимаешь только то, что сам в состоянии сделать, и охватываешь только то, что сам можешь произвести. Так как в опыте все является раздробленным, то люди думают, что и высочайшее можно сложить из кусков.

Динамический способ представления: становящееся, действенное, возбуждающее, поступательно-движущееся, производящее. Атомистический способ представления: ставшее, пассивное, 'возбудимое, покоящееся, произведенное.

Убеждение, что все должно быть в готовом виде и налицо, если посвятить ему должное внимание, совершенно окутало туманом это столетие (XVII). Даже цвета, раз им хотели приписать какую-нибудь реальность, .нужно было принимать как совершенно готовые в свете. Этот образ мышления, как самый естественный и удобный, перешел из семнадцатого в восемнадцатый, из восемнадцатого в девятнадцатый век. Он будет и дальше на свой лад оказывать полезное действие: ясно и отчетливо изображать нам существующее, между тем как идеальный образ мышления дает нам узреть вечное в преходящем и, мало-помалу, возвышает нас до той надлежащей позиции, где соединятся человеческий рассудок и философия.

Высшая эмпирия относится к природе, как человеческий рассудок к практической жизни.

Перед первичными феноменами, если они являются нашим чувствам обнаженными, мы испытываем особого рода жуткое чувство, доходящее до страха. Чувственные люди ищут спасения в изумлении. Но быстро появляется деятельный сводник — рассудок, желая на свой лад связать самое благородное с самым обыденным.

*

Истинным посредником является искусство. Говорить об искусстве, значит стремиться опосредствовать посредника, и тем не менее с этой стороны пришло к нам очень много ценного.

Кто не умеет определить разницу между фантастическим и идеальным, между закономерным и гипотетичным, тот как естествоиспытатель находится в скверном положении.

Есть гипотезы, где рассудок и воображение становятся на место идеи.

Нехорошо слишком долго задерживаться в сфере абстрактного. Эзотерическое вредит лишь постольку, поскольку оно пытается стать эзотерическим. Жизнь лучше всего поучается живым.

Большой вред в науках, да и повсюду, происходит оттого, что люди, не способные к образованию идей, дерзко теоретизируют, потому что не понимают, что никакое знание этого не оправдывает. Вначале они приступают к делу с похвальным человеческим рассудком, но таковой имеет свои границы, и если он их переходит, ему грозит опасность дойти до абсурда. Предназначение и удел человеческого рассудка — круг деятельности и поступков. Действуя, он редко ошибется; более же высокое мышление, умозаключение и суждение — не его дело.

Понятие есть сумма, идея — результат опыта; чтобы подытожить первую — требуется рассудок, чтобы схватить последнюю — разум.

Кто остерегается идей, теряет в конце концов и понятие.

Всякая идея вступает в явление как чуждый гость и, начиная реализоваться, с трудом может быть отличена от фантазии и фантазерства.

Обыденный рассудок, которому приписывается роль гения человечества, должен быть сначала рассмотрен в своих проявлениях. Исследуя, для чего пользуется им человечество, мы найдем следующее: человечество ограничено потребностями. Если последние не удовлетворены, оно выказывает нетерпение. Если они удовлетворены, оно представляется равнодушным. Настоящий человек движется, стало быть, между обоими состояниями, и свой рассудок, так называемый человеческий рассудок, он будет применять для удовлетворения своих потребностей. Когда это сделано, его задача — заполнить собою сферу безразличия. Если он не выходит из ближайших и необходимейших границ, это ему и удается. Но если потребности повышаются, выступают из круга обыденного, то обыденного рассудка недостаточно, он уже больше не гений, и человечеству открывается область заблуждения.

В течение долгого времени занимались критикой разума. Я желал бы критики человеческого рассудка. Было бы истинным благодеянием для человеческого рода, если бы обыденному рассудку могли убедительно показать, как далеко он может простираться, а это и будет 'как раз столько, сколько ему совершенно достаточно для земной жизни.

/ В сущности говоря, вся философия есть лишь человеческий рассудок на туманном языке.

Человеческий рассудок, областью которого является, собственно, практика, заблуждается, лишь отваживаясь пускаться на разрешение более высоких проблем. С другой стороны, и более высокая теория редко умеет освоиться с кругом, где действует и орудует рассудок.

*

И как раз тогда, когда отстранены проблемы, допускающие только динамическое объяснение, снова в порядке дня появляются механические способы объяснения.

Все эмпирики стремятся к идее и не могут открыть ее в многообразии. Все теоретики ищут ее в многообразном и не могут найти ее в нем.

Однако обе стороны сходятся в жизни, в деле, в искусстве. Об этом так часто говорилось, но мало кто умеет это использовать.

Анаксагор учит, что все животные обладают активным разумом, но лишены пассивного, который является как бы толмачом рассудка.

Обыденное созерцание, правильный взгляд на земные вещи, является наследием общего человеческого рассудка. Чистое созерцание внешних и внутренних вещей очень редко.

Первое проявляется в практическом смысле, в непосредственной деятельности. Второе — символически, преимущественно посредством математики, в числах и формулах, посредством речи, изначально тропической, как поэзия гения, как поговорочная мудрость человеческого рассудка.

Счет является, правда, низкой, но уже идеальной деятельностью человека, и с помощью него столь многое осуществляется в обыденной жизни; большое удобство, общедоступность и применимость обеспечивают упорядочиванию по числу доступ и успех также и в науках.

Аллегория превращает явление в понятие, понятие в образ, но так, что понятие все еще содержится в образе в определенной и полной форме и с помощью этого образа может быть выражено.

Символика превращает явление в идею, идею в образ и притом так, что идея всегда остается 'в образе бесконечно действенной и недостижимой. Даже выраженная на всех языках, она осталась бы все-таки невыразимой.

При самой разработанной номенклатуре мы должны помнить, что это только номенклатура, слово является приспособленным к какому-нибудь явлению, прикрепленным к нему знаком из слогов, следовательно, никоим образом не выражает полностью природу и потому должно рассматриваться только как пособие для нашего удобства.

Идея и опыт никогда не встретятся на полпути. Соединить их можно лишь искусством и практикой.

Только в самом высоком и самом обыденном идея и явление сходятся вместе. На всех средних ступенях созерцания и опыта они разделяются. Самое высокое — это созерцание различного как тождественного. Самое обыденное — деяние, активное объединение разделенного в одно тождество,

Теория и опыт (феномены) противостоят друг другу в постоянном конфликте. Всякое соединение в рефлексии является иллюзией, соединить их может только деятельность.

VII

Одно явление, один эксперимент ничего не может доказать, так как он является звеном большой цепи, имеющим значение только в общей связи. Если бы человек, закрывая всю нить с жемчугом, показал бы только одну из жемчужин и потребовал от нас веры в то, что таковы же и все остальные, то едва ли кто-нибудь пошел бы на такую сделку.

Когда дано какое-либо явление природы, в особенности значительное и бросающееся в глаза, не нужно останавливаться на

нем, прикрепляться, прилепляться к нему, не нужно рассматривать его изолированно, а нужно осмотреться во всей природе и поискать, где проявляется нечто сходное, родственное. Ибо только из сопоставления родственного возникает мало-помалу некоторая цельность, которая сама себя толкует и не нуждается в дальнейшем объяснении.

Всякое истинное apercu выходит из последовательного ряда я приносит с собой последовательность. Это промежуточное звено большой продуктивно поднимающейся цепи.

В чем разница между аксиомой и энтимемой? Аксиома есть то, что мы признаем с самогр начала, без доказательства. Энтимема есть то, что напоминает нам о многих случаях и связывает вещи, в отдельности уже познанные нами.

Настоящая символика там, где частное представляет всеобщее не как сон или тень, но как живое мгновенное откровение непознаваемого.

Частное вечно подлежит общему. Общее вечно должно сообразовываться с частным.

Все, что происходит,— символ, и в то время, когда оно вполне обнаруживает себя, оно указывает на все остальное. В этом понимании, мне кажется, лежит величайшее дерзновение и величайшее смирение.

Хотя безусловно желательно, даже в высшей степени необходимо, сначала рассмотреть явление само по себе, тщательно повторить его само в себе, вновь и вновь оглядеть его со всех сторон, тем не менее мы, в конце концов, бываем вынуждены обратиться вовне и оглядеться с нашей позиции по всем сторонам, не найдем ли мы сходных явлений в интересах нашей задачи...

Итак, здесь мы вполне можем рекомендовать и превозносить аналогию как орудие, как рычаг, цель которого — захватывать и двигать природу. Не нужно смущаться теми случаями, когда аналогия вводит в заблуждение, когда она, как слишком далеко идущее, произвольное остроумие совершенно испаряется. Не будем, далее, отвергать веселую, юмористическую игру предметами, удачное и неудачное сближение, даже связывание самых далеких вещей, которое пытается повергнуть нас в изумление, путем неожиданного сопоставления обратить наше внимание на контраст. Однако будем придерживаться ради нашей цели чистой методической аналогии, которая только и оживляет опыт, связывая раздельное и далекое с виду, открывая его тождество и давая мало-помалу и в науке ощущение настоящей совокупной жизни природы... Все во вселенной связано,, имеет отношение друг к другу, соответствует одно другому.

Нельзя порицать мышление согласно аналогиям. Аналогия имеет то преимущество, что она не замыкается и собственно не желает ничего последнего. Напротив, пагубна индукция,, которая имеет в виду заранее поставленную цель и, работая для ее достижения, увлекает за собой ложное и истинное.

Если бы нам поставили в упрек, что мы слишком далеко идем в установлении родства, отношений, связей в аналогиях, толкованиях и сравнениях, то мы ответили бы, что для ума никакая подвижность не будет лишней, так как он всегда должен бояться закостенеть на том или ином феномене. Вернемся сейчас же, однако, к ближайшей среде и покажем те случаи, где эти общие космические феномены мы производим технически собственными руками, стало быть, можем надеяться ближе проникнуть в их природу и свойства. В сущности мы и тут не достигли всего, чего желали. То, что мы осуществляем механически, мы ведь должны делать согласно общим законам природы. Но даже в последних технических приемах всегда есть нечто духовное, которое собственно и оживотворяет все физически осязаемое, поднимая его на ступень непостижимого.

Истинное, совпадая с божественным, никогда не допускает непосредственного познания. Мы созерцаем его только в отблеске, в примере, в символе, в отдельных и родственных явлениях. Мы

воспринимаем его как непонятную жизнь и не можем отказаться от желания все-таки понять его.

Мы должны, правда, признать за природой ее тайную , посредством которой она творит и стимулирует жизнь, и, не будучи мистиками, тем не менее принять, в конце концов, нечто неисследуемое. Но все-таки человек, серьезно относящийся к делу, не может отказаться от попытки так прижать к стенке это неисследуемое, чтобы удовлетвориться этим и уже добровольно признать себя побежденным.

Человеку вполне подобает принять неисследуемое. Однако своему исследованию он не должен ставить никаких границ, ибо хотя природа и обладает преимуществом над человеком и, по-видимому, многое скрывает от него, но и он обладает, в свою очередь, тем преимуществом над ней, что может своею мыслью если и не проникнуть сквозь нее, то возвыситься над ней. Но мы уже довольно далеко проникли в нее, достигнув первичных феноменов, которые мы созерцаем лицом к лицу в их неисследуемом великолепии. Затем мы обращаемся назад, в мир явлений, где непонятное в своей простоте раскрывается в тысяче и тысяче многообразных явлений, неизменное при всей изменчивости.

Природа потому непознаваема, что один человек не в состоянии понять ее, хотя все человечество могло бы понять ее. Но так как это милое человечество никогда не бывает вместе, то природе так хорошо и удается играть с нами в прятки.

То, что мы замечаем в опыте, является большей частью только случаями, которые при некоторой внимательности можно подвести под общие эмпирические рубрики. Последние, в свою очередь, соподчиняются посредством научных рубрик, которые указывают на дальнейшее восхождение, в результате которого мм ближе знакомимся с известными неизбежными условиями явлений. С этого момента все мало-помалу подходит под более высокие правила и законы, которые раскрываются, однако, не рассудку посредством слов и гипотез, а созерцанию — тоже посредством феноменов. Мы называем их первичными ф е н о м е-

нами, потому что в явлении нет ничего выше их. Последние же вполне приспособлены к тому, чтобы постепенно опускаться от них — как мы раньше поднимались к ним — до обыденнейшего случая повседневного опыта.

Непосредственное восприятие первичных феноменов повергает нас в своего рода страх, мы чувствуем свою неадекватность. Они радуют нас только оживотворенные вечной игрой эмпирии.

Магнит — первичный феномен. Нужно только высказать его, и он уже объяснен. Благодаря этому он становится также символом для всего остального, для чего нам незачем искать слова или названия.

Люди так задавлены бесконечными условиями явлений, что они не могут воспринимать единое первичное условие.

Даже проницательные люди не замечают, что они желают объяснять вещи, являющиеся основными элементами опыта, на которых нужно было бы успокоиться.

Но, пожалуй, это и выгодно: без этого слишком рано бросали бы исследование.

Первичный феномен идеален, реален, символичен, тождествен.

Идеален, как последнее познаваемое; реален, как познанный; символичен, ибо охватывает все случаи; тождествен со всеми случаями.

Эмпирия: ее безграничное возрастание. Надежда на помощь с ее стороны. Потеря надежды на полноту.

Если я успокаиваюсь, в конце концов, на первичном феномене, то это тоже резиньяция. Но большая разница заключается в том, прихожу ли я к ней на границах человечества или в пределах гипотетической узости моего ограниченного индивида.

*

Естествоиспытатель пусть оставит первичные феномены в их вечном покое и великолепии, философ пусть захватит их в свою область. Он найдет тогда, что не в единичных случаях, не в общих рубриках, мнениях и гипотезах, а в основных и первичных феноменах дан ему достойный материал для дальнейшего развития и разработки.

Основное свойство живого единства — разделяться, соединяться, расплываться в общем, задерживаться на частном, превращаться, специфицироваться,' проявляться, как свойственно всему живому, под тысячью условий, выступать и исчезать, затвердевать и растворяться, застывать и растекаться, расширяться и сокращаться. Так как все эти действия происходят в один и тот же момент, то все они могут проявиться в одно время. Возникновение и гибель, созидание и уничтожение, рождение и смерть, радость и страдание — все это протекает во взаимодействии, все действует в одинаковом смысле и одинаковой мере. Вот почему даже самое частное явление выступает всегда как образ и подобие самого общего.

Если все бытие есть вечное разъединение и соединение, то отсюда вытекает, что люди в рассмотрении этих грандиозных соотношений станут тоже то разъединять, то соединять.

Во всем чувственном мире все заключается во взаимоотношениях предметов вообще, преимущественно же в отношении к остальным самого значительного земного предмета, человека. Этим мир раскалывается на две части, и человек противостоит объекту в качестве субъекта. Здесь-то практик бьется на опыте, мыслитель в умозрении. Оба вынуждены выдерживать борьбу, которая не может быть завершена никаким миром и никаким решением.

Но и здесь всегда самое главное — правдиво вникнуть в отношения. А так как наши чувства, поскольку они здоровы, правдивее всего выражают внешние отношения, то мы можем убедиться, что они тем вернее обозначают истинное соотношение

везде, где они с виду противоречат действительному. Так, далекое представляется нам меньше, и именно благодаря этому мы замечаем расстояние.

Вместо того, чтобы становиться между природой и субъектом, наука пытается стать на место природы и мало-помалу делается столь же непонятной, как последняя. Когда же здесь хочет высказаться наивный человек, получается печальный мистицизм, запутывающий этот лабиринт.

Быть ипохондриком, значит не что 'иное, как погружаться в субъект. Упраздняя объекты, я не могу верить, чтобы они признавали меня объектом, и я упраздняю их, потому что думаю будто они не принимают меня за объект.

Человек достигает уверенности в собственном существе тем, что за существом, вне его находящимся, он признает равноправие, законосообразность.

Субъект это тщательно критикующий свои воспринимающие и 'познающие органы. Объект — как нечто вообще познаваемое, ему противостоящее. Явление, повторенное и разноображенное экспериментами, находится посредине.

Есть какая-то неизвестная законосообразность в объекте, которая соответствует неизвестной законосообразности в субъекте.

/ Все, что есть в субъекте, есть и в объекте, и еще кое-что. Все, что есть в объекте, есть и в субъекте, и еще кое-что. У нас два пути к гибели или спасению: признавать за объектом «еще кое-что» и пренебречь нашим субъективным остатком или же возвысить субъект, признавая за ним «еще кое-что», и отвергнуть объективный остаток.

IX

Самое высокое, полученное нами от бога и природы, есть жизнь, вращательное движение монады вокруг самой себя, не знающее ни остановки, ни покоя. Стремление беречь и лелеять жизнь неискоренимо прирождено каждому, ее особенности остаются тайной и для нас, и для других.

Второй дар действующих свыше существ — это переживание, восприятие, вмешательство жизненно-подвижной монады в окружающий ее внешний мир, благодаря чему она только и воспринимает саму себя как нечто внутренне безграничное, извне ограниченное. Переживая это, мы можем, при известных задатках, внимательности и благоприятных условиях, добиться в себе самих ясного понимания относительно этого. Для других же и это всегда остается тайной.

В качестве третьего дара раскрывается то, что направляется на внешний мир, как поступок и дело, слово и письмо. Все это принадлежит больше миру, чем нам самим. Он и разберется в этом скорее, чем мы сами, но он чувствует, что для ясного понимания ему нужно узнать также возможно больше из пережитого нами. Вот почему возбуждают такой интерес первые юношеские шаги, ступени образования, мелочи жизни, анекдоты и т. п.

В царстве природы господствуют движение и дел о, в царстве свободы — задатки и воля. Движение вечно и при каждом благоприятном условии непреодолимо проявляется в опыте. Задатки, хотя развиваются тоже естественным путем, однако должны еще упражняться с помощью воли и мало-помалу потенцироваться. Вот почему в свободной воле нельзя быть так же уверенным, как в самостоятельном акте. Последний сам себя делает, воля же делается. Чтобы стать совершенной и действовать, она в морали должна подчиниться совести, которая не ошибается, в искусстве же — правилу, которое нигде не выражено. Совесть не нуждается в родословной, с нею все уже дано, она имеет дело только с собственным внутренним миром. Гений тоже не нуждался бы в правиле, довлел бы себе, сам бы давал себе правило. Но так как он действует наружу, он многообразно обусловлен материалом и временем, причем оба неизбежно спутывают его. Вот почему все, что является искусством,— управление и стихотворение, статуя и картина — кажется таким причудливым и неуверенным.

Мы и предметы, свет и тьма, тело и душа, две души, дух и материя, бог и мир, мысль и протяжение, идеальное и реальное, чувственность и разум, фантазия и рассудок, бытие и стремление — все это две половины тела, правое и левое, дыхание. Физический опыт: магнит.

У кого не умещается в голове, что дух и материя, душа и тело, мысль и протяжение или (как гениально выражается один наш современник француз) воля и движение — были, суть и будут необходимыми парными составными частями вселенной, которые обе требуют равных прав и потому, взятые вместе, могут рассматриваться как наместники бога,— кто не может возвыситься до этого представления, тому давно бы уже пора отказаться от мышления и тратить свои дни на пошлые светские сплетни.

Большая трудность в психологической рефлексии состоит в том, что внутреннее и внешнее нужно всегда рассматривать параллельно или, вернее, как сплетенные одно с другим. Это непрестанная систола и диастола, вдыхание и выдыхание живого существа. Если это отношение и нельзя выразить, то нужно внимательно наблюдать и отмечать его.

Борьба старого, существующего, неизменного с развитием, разработкой и преобразованием всегда одна и та же. Из всякого порядка получается иод конец педантизм, чтобы избавиться от последнего, разрушают первый, и так проходит некоторое время, пока не замечают, что опять нужно установить порядок. Классицизм и романтизм, цеховое принуждение и свобода промышленности, сохранение и дробление земельной собственности — это все один и тот же конфликт, порождающий, в свою очередь, новый конфликт. Самым разумным со стороны правителя было бы поэтому так умерять эту борьбу, чтобы она приходила в равновесие без гибели одной стороны: но людя.м этого не надо, да и бог, как видно, не хочет этого.

*

Пусть идеалист как угодно борется против вещей в себе— он не успеет оглянуться, как наталкивается на вещи вне себя... Мне всегда кажется, что если одни, исходя из внешнего мира, не могут постигнуть духа, то другие, исходя из внутреннего мира, не в силах добраться до тел и что поэтому Всегда хорошо оставаться в естественном философском состоянии и делать наилучшее возможное употребление из своего нераздельного бытия, пока философы сумеют снова сблизить то, что они разделили.

Так как мы не в состоянии прямо выразить то, что происходит в нас, то ум пытается оперировать противоположностями, ответить на вопрос с двух сторон и таким способом как бы поставить предмет посредине.

Я почти и сам начинаю верить, что, быть может, одной поэзии удалось бы выразить такие тайны, которые в прозе обыкновенно кажутся абсурдом, так как их можно выразить только в противоречиях, неприемлемых для человеческого рассудка.

Противоположность крайностей, возникая в некотором единстве, тем самым создает возможность синтеза.

Диалектика — это развитие духа противоречия, который дан человеку, чтобы он учился познавать различие вещей.

Все одинаково, все неодинаково; все полезно и все вредно, все говорит и все немо, все разумно и все неразумно. И то, что утверждают об отдельном предмете, часто бывает противоречивым.

Все замечаемые нами в опыте действия, какого бы рода они ни были, связаны между собою полной непрерывностью, переходя одно в другое. Они ундулируют (волнообразно сменяются) от первого до последнего. Что их разделяют, противопоставляют друг другу, смешивают, это неизбежно, но благодаря этому в науках должно было возникнуть безграничное противоречие. Косный разграничивающий педантизм и все сливающий мистицизм приносят оба одинаковый вред. Но все активности, от самой низкой до самой высокой, от падающего с крыши кирпича до блеснувшего, зародившегося в тебе и сообщенного другим духовного прозрения, располагаются в один ряд... Чтобы сказанное не звучало парадоксально, чтобы при более тщательном взвешивании оно внушило доверие мыслящему человеку, мы рассмотрим приведенный пример подробнее.

С крыши срывается кирпич. Мы называем это в обычном смысле случайным. Он попадает на плечи прохожего — разумеется, механически, но и не вполне механически,— он следует законам тяжести и действует поэтому физически. Разорванные сосуды тотчас прекращают свою функцию. В данный момент соки действуют химически, на сцену выступают их элементарные свойства. Однако нарушенная органическая жизнь столь же быстро оказывает сопротивление и пытается восстановиться: между тем человек, как целое, более или менее бессознательно и психически потрясен. Приходя в себя, личность чувствует себя этически глубоко оскорбленной. Она жалуется на нарушение своей деятельности, какого бы рода она ни была, и с неохотой предается терпению. Религиозно же ей становится легко приписать этот случай высшему провидению, рассматривать его как спасение от большего зла, как введение к высшему добру. Этим удовлетворяется страдающий, но выздоравливающий поднимается гениально, верит в бога и в себя самого, чувствует себя спасенным, хватается за случайное и извлекает из него свою выгоду, чтобы начать вечно бодрый круг жизни.

Пускай один тяготеет больше к естественному, другой — больше к идеальному. Нужно помнить, что природа и идеал не ведут ведь споры друг с другом. Напротив, они тесно связаны между собою в великом живом единстве, которого мы странным образом так добиваемся, быть может, уже обладая им.

X

Развитие науки очень задерживается тем обстоятельством, что в ней отдаются и тому, чего не стоит познавать, и тому, что недоступно знанию.

С принципами выведения дело обстоит так же, как с принципами подразделения: они должны быть проведены на деле, иначе они ничего не стоят.

Также и в науках собственно ничего нельзя знать, а нужно всегда делать.

Наука прежде всего помогает нам тем, что избавляет до некоторой степени от удивления, к которому мы от природы склонны; также и тем, что она во все повышающейся жизни пробуждает новые способности к отстранению вредного и введению полезного.

Жалуются на научные академии, что они недостаточно бодро включаются в жизнь, но это зависит не от них, а от способа обращения с наукой вообще.

Больше всего тормозит науку умственная неоднородность ее работников.

Они относятся к делу серьезно, но не знают, что делать со своей серьезностью.

Двух вещей нужно остерегаться всеми силами: когда ограничиваешься своей специальностью—окостенения; когда выступаешь из нее — дилетантства.

В шестнадцатом веке науки принадлежат не тому или другому человеку, а миру. Мир обладает, владеет ими, человек же лишь захватывает богатство.

Выдающиеся люди шестнадцатого и семнадцатого веков были сами академиями, как Гумбольдт в наше время. Когда же знание стало так быстро возрастать, частные лица сошлись, чтобы соединенными силами осуществить то, что стало невозможным для индивидов. От министров, князей и королей они, по возможности, держались вдали. Как боролся против Ришелье союз французских ученых! Как противился английский и лондонский союз влиянию фаворитов Карла II!

Но так как это, в конце концов, случилось и науки почувствовали себя государственным органом в государственном теле, получив свой ранг в процессиях и других торжествах, то вскоре была утеряна высшая цель. Каждый «представлял» свою особу, и науки стали тоже щеголять в плащах и шапочках. В своей «Истории учения о цветах» я обстоятельно разобрал подобные примеры.

•

Пока серьезно и с увлечением не погрузишься в науки, не поверишь, сколько мертвого и мертвящего в них. Мне кажется, что собственно людей науки воодушевляет больше дух софистики, чем дух любви и истины.

Науки в общем всегда удаляются от жизни и снова возвращаются к ней окольным путем.

Они являются ведь собственно компендиями жизни. Они сводят данные внешнего и внутреннего опыта к общему, приводят их в связь.

Интерес к ним возбуждается, в сущности, только в одном особом мире, в мире научном. То, что сюда приобщают также

остальной мир и дают ему соответственные сведения, как это происходит в новейшее время, это — злоупотребление и приносит больше вреда, чем пользы.

Только посредством повышенной практики науки должны бы воздействовать на внешний мир. Ведь все они эзотеричны и могут стать экзотеричными, лишь улучшая какую-либо деятельность. Всякое иное участие ни к чему не ведет.

Науки, рассматриваемые даже в их внутреннем кругу, разрабатываются под влиянием интересов данной минуты. Могучий импульс, в особенности исходящий от чего-нибудь нового и неслыханного или хотя бы мощно двинувшегося вперед, возбуждает общее участие, которое может длиться годами и которое стало очень плодотворным особенно в последнее время.

Значительный факт, гениальное apercu занимает очень большое число людей, сначала только с целью познакомиться с ним, потом познать его и, наконец, разрабатывать и развивать его дальше.

При всяком новом значительном явлении масса спрашивает, какая от него польза, и она права в этом, ибо только через пользу она может воспринять ценность какой-либо вещи.

Истинные мудрецы спрашивают, какова вещь сама в себе и в отношениях к другим вещам, не заботясь о пользе, т. е. о применении к знакомому и необходимому для жизни. Это уж сделают совсем другие умы: проницательные, жизнерадостные, технически изощренные и умелые.

Лжемудрецы стараются из каждого нового открытия возможно скорее извлечь какую-либо выгоду для себя, силясь приобрести суетную славу то его развитием, то увеличением, то улучшением, быстрым овладеванием, пожалуй даже преоккупа-

цией, и такими незрелыми шагами колеблют и запутывают истинную науку. Больше того, явно калечат ее прекраснейшее последствие, а именно: практический цветок.

Ведь польза — лишь часть того, что имеет значение. Чтобы окончательно овладеть предметом, господствовать над ним, надо. его изучать ради него самого.

История философии, наук, религии показывает, что мнения распространяются в большом количестве, но преобладание получает всегда то, которое понятно, т. е. соразмерно и удобно человеческому уму в его обыденном состоянии. Мало того, кто доработался до более высокого понимания, может всегда быть заранее уверенным, что большинство будет против него.

Все требования (в науках) так безмерны, что отлично понимаешь, почему ничего из них не осуществляется.

Если в науках старики отстают, то молодежь отступает назад. Старики отрицают прогресс, если он не вяжется с их прежними идеями; молодые люди—если они не доросли до идеи и все-таки хотели бы создать что-либо выдающееся.

Каждый день у нас есть основание прояснять опыт и очищать ум.

Все ученые, а если они дельны и влияют на других, то и их школы смотрят на проблематическое в науках как на что-то такое, в пользу или против чего нужно спорить, как будто это другая жизненная партия. Между тем, все научное требует разрешения, примирения или установки непримиримых антиномий...

Тщетно, собственно, стараться выразить сущность какой-нибудь вещи. Воздействия — вот что мы обнаруживаем, и полная

история этих действий охватила бы, несомненно, сущность данной вещи. Напрасно пытаемся мы описать характер человека; но сопоставьте его поступки, его дела, и перед нами встанет картина его характера.

Сущее не делится на разум без остатка.

Строго говоря, всегда будет решенной истиной: то, что я по-настоящему знаю, я знаю, собственно, только для себя; как только я с этим выступаю, мне сразу садятся на шею условия, определения, возражения. Самым верным остается всегда, что мы все, имеющееся в нас и при нас, стремимся превратить в поступок.

Жить в идее, значит обращаться с невозможным так, как будто бы оно возможно.

Если я знаю свое отношение к самому себе и внешнему миру, то я называю это истиной. Поэтому каждый может иметь свою собственную истину, и все же это всегда одна и та же истина.

Человеческий дух по мере своего продвижения вперед вес больше ощущает, насколько он обусловлен тем, что он, обретая. должен терять: ибо как с истинным, так и с ложным связаны необходимые условия бытия.

Каждый слышит только то, что он понимает,

Научиться можно только тому, что любишь, и чем глубже и полнее должно быть знание, тем сильнее, могучее и живее должна быть любовь, более того — страсть.

Созерцание, познание, предчувствие, вера, и как бы все эти щупальца, которыми человек осязает вселенную, ни назывались,— все они должны в сущности совпадать в своем результате.

Для новой истины нет ничего вреднее, чем старое заблуждение

Чем дальше продвигается познание, тем больше приближаются к непознаваемому, чем больше умеют использовать познание, тем больше видно, что непознаваемое не имеет практической пользы.

Лучшее счастье мыслящего человека — познать познаваемое и спокойно чтить непознаваемое.

Главное в том, чтобы имелась душа, которая любит истину и воспринимает ее всюду, где находит.

Я заметил, что считаю истиной ту мысль, которая для меня плодотворна, примыкает к моему мышлению в его целом и в то же время толкает меня вперед.

Первое и последнее, что требуется от гения, это любовь к правде.

Когда кто-либо говорит, что опроверг меня, он забывает, что просто противопоставил моему взгляду иной взгляд. Но этим ведь еще ничего не решено. Кто-либо третий обладает таким же правом и... так до бесконечности.

«

Когда мы показываем явление, то другой видит то же, что мы видим. Когда мы говорим о явлении, описываем, обсуждаем его, мы уже переводим его на наш человеческий язык. Становится очевидным, какие возникают уже здесь затруднения, какие недостатки нам угрожают.

Первая терминология подходит к ограниченному изолированному явлению, но она применяется затем к другому. Под конец продолжают пользоваться совсем уже неподходящим языком.

Ошибка слабых умов состоит в том, что в размышлении они от единичного идут сразу к общему, тогда как общее можно искать только в совокупности.

Знание покоится на знакомстве с различимым, наука — на признании неразличимого.

Восприятие собственных пробелов, чувство своих недостатков ведет знание к науке, существующей до, рядом и после всякого знания.

Каждому возрасту человека соответствует известная философия. Ребенок является реалистом: он также убежден в существовании груш и яблок, как и в своем собственном. Юноша, обуреваемый внутренними страстями, должен следить за собою. Забегая со своим чувством вперед, он превращается в идеалиста. Напротив, у мужчины все основания стать скептиком. Он хорошо делает, когда сомневается, надлежащее ли средство выбрал он для своей цели. Перед поступком и во время поступка у него все основания сохранять подвижность рассудка, чтобы не сетовать потом на неправильный выбор. Старик же всегда будет тяготеть к мистицизму. Он видит, как много вещей зависит от случая: неразумное удается, разумное идет прахом, счастье и несчастье неожиданно уравновешивают друг друга. Так есть, так было,— и преклонный возраст находит успокоение в Том, который был, и есть, и будет.

Эклектическая философия невозможна, но могут существовать эклектические философы.

Эклектиком является каждый, кто из окружающей его обстановки, из того, что вокруг него происходит, усваивает сообразное своей природе. Такое значение теоретически или практически имеет то, что зовется образованием и прогрессом.

Два эклектических философа могли бы поэтому стать величайшими врагами, если "бы они, родившись с антагонистическими задатками, усваивали из всего философского наследия лишь то, что им подходит. Осмотритесь только вокруг, и вы всегда найдете, что каждый человек поступает таким образом и вследствие этого не понимает, почему он не может склонить других к своему мнению.

Редко бывает, чтобы человек в преклонном возрасте относился к самому себе исторически и столь же исторически к своим современникам, т. е. так, чтобы потерять всякое желание и способность вступить с кем бы то ни было в пререкания.

XI

Не все желательное достижимо, не все достойное познания познаваемо.

Чем дальше подвигается опыт, тем ближе подходят к неисследимому. Чем больше умеют использовать опыт, тем больше убеждаются в том, что неисследимое не приносит практической пользы.

Лучшее счастье мыслящего человека — исследовать исследимое и спокойно почитать неисследимое.

Кто сознательно объявляет себя ограниченным, тот ближе всего к совершенству.

Самым верным остается всегда стремление превратить в дело все, что есть в нас и у нас. Пускай затем другие судят и рядят об этом, как им угодно и как они могут.

Истинное толкает вперед. Из заблуждения ничего не развивается, оно только запутывает нас.

Сколько лет нужно делать, чтобы хоть сколько-нибудь знать, что и как делать!

Моим пробным камнем для всякой теории остается практика.

Всякая идея относительно предметов опыта является как бы органом, которым я пользуюсь, чтобы схватить эти предметы, чтобы присвоить их себе.

Если спросят: как лучше всего надлежит соединить идею с опытом, то я ответил бы: практикой!

Верное воззрение на природу полезно всякой практике.

В науке также нельзя, в сущности, ничего знать, а надо всегда делать.

На высших ступенях нельзя ничего знать, а нужно делать, подобно тому, как в игре мало помогает знание, а все сводится к осуществлению.

Только одно — несчастье для человека...— когда в нем укрепляется какая-нибудь идея, не оказывающая влияния на активную жизнь.

Кто ныне не отдается какому-нибудь искусству или ремеслу, / тому приходится плохо. Знание не удовлетворяет уже при быстроте мирового оборота; пока обо всем узнаешь, потеряешь самого себя.

Общее развитие мир теперь и так навязывает нам; нам не приходится чересчур беспокоиться о нем. О с о б.е н н о е — вот что должны мы сами усваивать.

Многосторонность, собственно, только подготовляет 'стихию, где может действовать односторонний человек, которому как раз теперь открыт достаточный простор. Да, наступило время односторонностей.

При распространении техники не о чем беспокоиться. Она мало-помалу поднимает человечество над самим собою и подготовляет для высшего разума, для чистейшей воли чрезвычайно приспособленные органы... Распространение же искусств порождает кропательство.

Первым и последним в человеке да будет деятельность... Ребенок, юноша, заблуждающиеся на своем собственном пути, милее для меня, чем иные люди, правильно шествующие по чужим путям.

В ком есть много чему развиться, тот позже поймет мир и себя. Лишь немногие обладают созерцательным умом — и в то же время способны на дело. Ум расширяет, но ослабляет. Дело оживляет, но ограничивает. От заблуждения можно исцелиться только блужданием.

*

Каждый возврат от заблуждения мощно развивает человека и в единичном и в целом. Так что отлично можно понять, как сердцеведу один кающийся грешник мог быть милее девяноста девяти праведников.

Очень часто в ходе жизни, среди величайшей уверенности в своих поступках, мы внезапно замечаем, что увлеклись лицами, предметами, что нам пригрезилось такое отношение к ним, которое для пробудившегося глаза тотчас исчезает. И все же мы не можем оторваться от них, нас держит какая-то власть, представляющаяся нам непонятной. Но иногда мы доходим до полного сознания и понимаем, что заблуждение так же хорошо может стимулировать и побуждать к деятельности, как и истина. А так как дело везде является решающей инстанцией, то из деятельного заблуждения могут возникнуть превосходные вещи. Так оказывается, что и разрушение приводит к счастливым последствиям.

Самое же удивительное заблуждение это то, которое относится к нам самим и нашим силам и которое состоит в том, что мы зачастую отдаемся какому-нибудь почтенному делу, до которого мы не доросли, стремимся к цели, которой мы никогда не можем достигнуть. Происходящие отсюда тантало-сизифовы муки каждый испытывает тем острее, чем искреннее были его намерения. И, однако, очень часто, видя себя навеки разлученными с нашей целью, мы уже нашли на своем пути другую желанную вещь, которая нам по силам и удовлетвориться которой нам суждено от рождения.

Как можно познать себя? Не путем созерцания, а только путем деятельности. Попробуй исполнить свой долг и ты узнаешь, что в тебе есть.

Когда человек размышляет о своей физической или моральной природе, он обыкновенно находит себя больным.

Обратившись к значительным словам «познай самого себя», мы 'не должны толковать их в аскетическом смысле. Это отнюдь не «самопознание» современных ипохондриков,

юмористов и самоучителей. Эти слова означают просто следующее: обращай некоторое внимание на самого себя, следи за собою, чтобы видеть, в какие отношения становишься ты к себе v подобным и к миру. Для этого не нужно психологических истязаний. Каждый дельный человек знает и узнает из опыта, что это значит. Это добрый совет, который на практике приносит каждому величайшую пользу.

Мы видим, как это хваленое «самопознание» уже в течение долгого времени сводится только к самоистязанию и самоуничижению, не давая в результате ни малейшей практической жизненной выгоды.

Если я знаю свое отношение к самому себе и к внешнему миру, то я называю это правдой. Так каждый может обладать своей собственной правдой. И тем не менее это всегда — одна правда.

Гений проявляет своего рода вездесущее: в общем — до опыта, в особом — после опыта.

Деятельный скепсис — это тот, который неустанно стремится преодолеть самого себя и через упорядоченный опыт достичь своего рода условной надежности.

Общий характер такого ума — тенденция исследовать, действительно ли присущ данному объекту какой-либо предикат. А совершается это исследование с той целью, чтобы все, выдержавшее такое испытание, с уверенностью применять на практике.

Все практики стремятся сделать мир сподручным, все мыслители хотят, чтобы он был приспособлен к голове. Пусть сами смотрят, насколько это удается каждому.

Недостаточно только знать, надо и применять.

*

Думать и действовать, действовать и думать — вот итог всей мудрости, издавна признанной, издавна использованной, но не каждым усмотренной. То и другое, как выдох и вдох, должно вечно чередоваться; как вопрос и ответ, одно не должно быть без другого. Кто делает для себя законом то, что тайно каждому на ухо шепчет гений человеческого разума — действие проверять мышлением, мышление действием,—тот не может заблуждаться, а если и заблудится, то скоро вернется на верную дорогу.

11

Кто не согласится, что чистые наблюдения делаются реже, чем это обыкновенно полагают? Мы так быстро смешиваем наши ощущения, наше мнение, наше суждение с предметом нашего опыта, что недолго остаемся в спокойном состоянии наблюдателя, а начинаем устанавливать известные положения, которым мы можем придавать все лишь постольку, поскольку можем до некоторой степени положиться на природу и развитие нашего ума.

Более прочную уверенность в этом отношении может дать нам та гармония, в которой мы находимся с другими, тот опыт, что мы мыслим и действуем не в одиночку, а коллективно. Беспокойное сомнение, так часто охватывающее нас, не принадлежит ли наше воззрение нам одним, когда другие высказывают убеждение, противоположное нашему, только и ослабляется, даже упраздняется, когда мы вновь находим себя во многих. Только тогда мы с уверенностью можем пользоваться обладанием такими принципами, которые долгий опыт нам и другим мало-помалу подтвердил.

Все наши мысли и дела, имеющие общее значение, принадлежат миру. И все то, что он может использовать из усилий индивидов, он и доводит сам до зрелости.

«Да погибнут те, кто раньше нас высказал наши мысли!» Такие странные слова мог бы произнести только тот, кто возомнил бы себя автохтоном (саморожденным существом). Кто считает честью для себя происхождение от разумных предков, тот признает за ними 'во всяком случае столько же человеческого смысла; сколько за собою.

Многие мысли возникают из общей культуры, как цветы из зеленых веток. В период цветения повсюду распускаются розы.

Все благоглупости относительно «пре- и постоккупации», плагиатов и полузаимствований так ясны мне и представляются такими вздорными; что носится в воздухе и чего требует время, то может возникнуть одновременно в ста головах, без всякого заимствования. Но на этом мы поставим точку, ибо со спором о приоритете дело обстоит так же, как со спором о легитимности: первичнее и правомернее не кто иной, как тот, кто может удержаться.

Так как все человечество нужно рассматривать как одного великого ученика, то никому не следовало бы хвалиться особым мастерством.

. Изолированный человек никогда не достигает цели.

Лишь все человечество вместе является истинным человеком, и индивид может только тогда радоваться и наслаждаться, если он обладает мужеством чувствовать себя в этом целом.

Людей надо рассматривать как органы их века, двигающиеся большею частью бессознательно.

Лучшие люди в свои блаженнейшие минуты приближаются к высшему искусству, где индивидуальность исчезает и создается только безусловно правильное.

*

Смысл и значение моих произведений и моей жизни — это триумф чисто человеческого.

Что такое я сам? Что я сделал? Я собрал и использовал все, что я видел, слышал, наблюдал. Мои произведения вскормлены тысячами различных индивидов, невеждами и мудрецами, умными и глупцами; детство, зрелый возраст, старость — все принесли мне свои мысли, свои способности, свои надежды, свою манеру жить; я часто снимал жатву, посеянную другими, мой j труд — труд коллективного существа, и носит он имя Гёте.

Из Фауста

Рафаил

Звуча в гармонии вселенной И в хоре сфер гремя, как гром, Златое солнце неизменно Течет предписанным путем. И крепнет сила упованья При виде творческой руки: Творец, как в первый день созданья, Твои творенья велики!

Гавриил

И с непонятной быстротою Кружась, несется шар земной; Проходят быстрой чередою Сиянье дня и мрак ночной; Бушует море на просторе, У твердых скал шумит прибой, Но в беге сфер земля и море Проходят вечно предо мной.

Мхаил

Грозя земле, волнуя воды, Бушуют бури и шумят, И грозной цепью сил природы Весь мир таинственно объят. Сверкает пламень истребленья

Грохочет гром по небесам, Но вечным светом примиренья Творец небес сияет нам.

Все трое И крепнет сила упованья При виде творческой руки: Творец, как в первый день созданья, Твои творенья велики!

Дух В буре деяний, в волнах бытия Я подымаюсь, Я опускаюсь... Смерть и рожденье— Вечное море; Жизнь и движенье

В вечном просторе...

Так на станке проходящих веков

Тку я живую одежду богов.

Фауст

В пергаменте ль найдем источник мы живой? Ему ли утолить высокие стремленья? О нет, в душе своей одной Найдем мы ключ успокоенья!

Вагнер Простите: разве мы не с радостью следим За духом времени,— за много лет пред нами Как размышлял мудрец и как, в сравненьи с ним, Чудесно далеко подвинулись мы сами?

Фауст О, да, до самых звезд! Ужасно далеко! Мой друг, прошедшее постичь не так легко: Его и смысл, и дух, нисколько не забыты,— Как в книге за семью печатями сокрыты. То, что для нас на первый, беглый взгляд Дух времени,—увы! —не что иное, Как отраженье века временное В лице писателя: его лишь дух и склад! От этого в отчаянье порою Приходишь: хоть беги, куда глаза глядят!

Все пыльный хлам да мусор пред тобою, И рад еще, когда придется прочитать

О важном «действе», с пышным представленьем

И 'наставительным в конце нравоученьем, Как раз для кукольной комедии подстать!

Вагнер

А мир? А дух людей, их сердце? Без сомненья, Всяк хочет что-нибудь узнать на этот счет.

Фауст

Да; но что значит — знать? Вот в чем все

затрудненья! Кто верным именем младенца наречет? Где те немногие, кто век свой познавали, Ни чувств своих, ни мыслей не скрывали, С безумной смелостью к толпе навстречу шли? Их распинали, били, жгли... Однако поздно: нам пора расстаться; Оставим этот разговор.

Фауст

Умчалися в море разбитые льдины; Живою улыбкой сияет весна; Весенней красою блистают долины; Седая зима ослабела: в теснины, В высокие горы уходит она.

Туда она прячется в злобе бесплодной

И сыплет 'порою метелью холодной

На свежую, нежную зелень весны,—

Но солнце не хочет терпеть белизны; Повсюду живое стремленье родится, Все вырасти хочет, спешит расцветиться, И если поляна еще не цветет, То, вместо цветов, нарядился народ, Взгляни, обернись: из-под арки старинной Выходит толпа вереницею длинной; Из душного города, в поле, на свет Теснится народ, оживлен, разодет,— Погреться на солнце для всех наслажденье. Они торжествуют Христа воскресенье— И сами как будто воскресли они: Прошли бесконечные зимние дни;

Из комнаты душной, с работы тяжелой, Из лавок, из тесной своей мастерской, Из тьмы чердаков, из-под крыши резной Народ устремился гурьбою веселой, И, после молитвы во мраке церквей, Ласкает их воздух зеленых полей. Смотри же, смотри: и поля и дорога Покрыты веселой и пестрой толпой; А там, на реке, и возня, и тревога, И лодок мелькает бесчисленный рой.

И вот уж последний челнок, нагруженный, С усильем отчалил, до края в воде; И даже вверху, на горе отдаленной, Виднеются пестрые платья везде.

Чу! Слышится говор толпы на поляне; Тут истинный рай 'им! Ликуют селяне, И старый, и малый, в веселом кругу. Здесь вновь человек я, здесь быть им могу.

Фауст

Тебе знакомо лишь одно стремленье, Другое знать — несчастье для людей. Ах, две души живут в больной груди моей, Друг другу чуждые,—и жаждут разделенья!

Из них одной мила земля,—

И здесь ей любо, в этом мире, Другой—небесные поля; Где духи носятся в эфире. О духи, если вы живете в вышине И властно реете меж небом и землею,— Из сферы золотой спуститесь вы ко мне

И дайте жить мне жизнию иною! О, как бы я плащу волшебному был рад, Чтоб улететь на нем к неведомому миру!

Я б отдал за него роскошнейший наряд, Его б не променял на царскую порфиру!

Написано: «В начале было Слово» — И вот уже одно препятствие готово: Я слова не могу так высоко ценить.

Да, в переводе текст я должен изменить, Когда мне верно чувство подсказало.
Я напишу, что Мысль — всему начало.
Стой, не опеши, чтоб первая строка
От истины была не далека!
Ведь Мысль творить и действовать не может!
Не Сила ли—начало 'всех начал?
Пишу,— и вновь я колебаться стал, И вновь сомненье душу мне тревожит.
Но свет блеснул,— и выход вижу я: В Деянии начало бытия!

Мефистофель

Я отрицаю все—и в этом суть моя, Затем, что лишь на то, чтоб с громом провалиться, Годна вся эта дрянь, что на земле живет.
Не лучше ль было б им уж вовсе не родиться!
Короче, все, что злом ваш брат зовет,—
Стремленье разрушать, дела и мысли злые, Вот это все—моя стихия.

Фауст Ты мне сказал: «я часть»; но весь ты предо мной?

Мефистофель

Я скромно высказал лишь правду, без сомненья.
Ведь это только вы мирок нелепый свой
Считаете за все, за центр всего творенья!
А я — лишь части часть, которая была
Вначале всё, той тьмы, что свет произвела, Надменный свет, что спорить стал с рожденья
С могучей ночью, матерью творенья.

Но все ж ему не дорасти до нас!

Что б он ни породил,— все это каждый раз

Неразделимо связано с телами, '

Произошло от тел, прекрасно лишь в телах, В границах тел должно всегда остаться, И—право, кажется, недолго дожидаться,—

Он сам развалится с телами в пух и прах.

Мефистофель

Привык смотреть на вещи ты, мой друг, Как все на них вы смотрите; а надо Умней, толковей тратить свой досуг, Пока доступна жизни вся отрада. Тьфу, пропасть! Руки, ноги, голова И зад—твои ведь, без сомненья? А чем же меньше все мои права На то, что служит мне предметом наслажденья? Когда куплю я шесть коней лихих, То все их силы—не мои ли? Я мчусь, как будто б ног таких Две дюжины даны мне были! Итак — смелей! Раздумья все — долой, И прямо в шумный мир за мной Спеши, надеждой окрыленный! Кто философствует, тот выбрал путь плохой, Как скот голодный, что в степи сухой Кружит себе, злым духом обойденный, А вкруг цветет роскошный луг зеленый!

Мефистофель

Лишь презирай свой ум да знанья светлый луч,— Все высшее, чем человек могуч; Пусть с чародейскою забавой Тебя освоит дух лукавый,— Тогда ты мой без дальних слов!

Мефистофель

Цените время: дни уходят невозвратно! Но наш порядок даст привычку вам Распределять занятья аккуратно. А потому, мой друг, на первый раз, По мне, полезно было бы для вас Курс логики пройти: в ее границах Начнут сейчас дрессировать ваш ум, Держа его в ежовых рукавицах, Чтоб тихо он, без лишних дум И без пустого нетерпенья, Вползал по лестнице мышленья,
-

Чтоб вкривь и вкось, по всем путям, Он 'не метался там и 'сям.

Затем внушат вам, ради той же цели, Что в нашей жизни всюду, даже в том, Для всех понятном и простом, Что прежде сразу делать вы умели,—

Как, например, питье, еда,—

Нужна команда «раз, два, три» всегда.

Так фабрикуют мысли. С этим можно

Сравнить хоть ткацкий, например, станок -

В нем управленье нитью сложно: То вниз, то вверх снует челнок, Незримо нити в ткань сольются; Один толчок — сто петель вьются. Подобно этому, дружок, И вас философ поучает: «Вот это — так и это — так, А потому и это — так, И если первая причина исчезает, То и второму не бывать никак». Ученики пред ним благоговеют, Но ткань соткать из нитей не сумеют.

„ Иль вот: живой предмет желая изучить,

Чтоб ясное о нем познанье получить,— Ученый прежде душу изгоняет, Затем предмет на части расчленяет

И видит их, да жаль: духовная их связь Тем временем исчезла, унеслась! Encheiresin naturae именует Все это химия: сама того не чует, Что над собой смеется.

Ученик

Виноват; Неясно это мне.

Мефистофель

О, все пойдет на лад: В редукцию лишь надо вникнуть, К классификации привыкнуть.

Ученик

Все дико мне! В мозгу моем Все завертелось колесом.

' Способ действия природы.

Мефистофель

Затем, первей всего, займитесь неизбежно Вы метафизикой: учитесь ей прилежно; Глубокомысленно трудясь, Вместить старайтесь то, что отродясь В мозг человеческий не входит; Вместите ль, нет ли— не беда: Словечко громкое всегда Из затрудненья вас выводит! Но в первые полгода, милый друг, Порядок вам нужнее всех наук; Вам в день занятий пять часов нормально: С утра к звонку являйтесь пунктуально! Старайтесь раньше дома протвердить Параграф, чтобы в классе проследить, Что вам твердит учитель, слово в слово, Лишь то, что в книге,— ничего другого, И так старательно пишите все в журнал, Как будто б дух святой вам диктовал.

Ученик

Об этом мне напоминать не надо! Сам знаю я, какая в том отрада. Спокойно мы домой тетрадь несем: Топор не вырубит, что писано пером.

Мефистофель Так изберите ж факультет.

Ученик К юриспруденции не чувствую влеченья.

Мефистофель

Что ж, не во вред вам это отвращенье

По правде, в ней большого проку нет.

Законы и права, наследное именье, Как старую болезнь, с собой

Несет одно другому поколенье, Одна страна стране другой.

Безумством мудрость станет, злом—благое: Терпи за то, что ты не дед! А право новое, родное — О нем — увы! — и речи нет!

Ученик

К ней утвердили вы мое презренье.

Блажен, кому вы можете помочь!

Я богословие избрать теперь непрочь.

Мефистофель

Не стану вас вводить я в заблужденье, Мой юный друг. В науке сей

Легко с дороги сбиться: все в ней ложно; Так яду скрытого разлито много в ней, Что с пользой различить его едва ли можно.
И здесь учителя вы слушать одного
Должны и клясться за слова его.
И вообще: держитесь 'слова
Во всем покрепче, каждый раз!
Тогда дорога верная для вас
В храм несомненности готова.

Ученик Но ведь понятия в словах должны же быть?

Мефистофель

Прекрасно, но о том не надо так крушиться: Коль скоро недочет а понятиях случится, Их можно словом заменить, Словами диспуты ведутся, Из слов системы создаются; Словам должны вы доверять: В словах нельзя ни йоты изменять.

Мефистофель

Суха, мой друг, теория везде, А древо жизни пышно зеленеет!

Догматик

Не может критика смутить,

Ввести меня в сомненье: Чёрт чем-нибудь да должен быть, А то — он измышленье.

Идеалист Клянусь, фантазия моя На этот раз чрезмерна; И если это все есть я,— То глуп я стал наверно.

Реалист

Меня все это здесь сейчас Как будто злит нарочно: Стою сегодня в первый раз Я на ногах непрочно.

Супернатуралист

Мне в этой весело стране!

Возможно, без сомненья, По духам зла составить мне

О добрых духах мненье.

Скептик

Идут за искрой: клад иметь

Желают. Заблужденье: Я кстати здесь; рифмует ведь

С «сомненьем» — «привиденье».

Фауст

Опять ты, жизнь, живой струею льешься, Приветствуешь вновь утро золотое! Земля, ты вечно дивной остаешься: И в эту ночь ты в сладостном покое Дышала, мне готовя наслажденье, Внушая мне желанье неземное И к жизни высшей бодрое стремленье. Проснулся мир — ив роще воспевает Хор стоголосый жизни пробужденье. Туман долины флером одевает, Но озаряет небо предо мною Их глубину. Вот ветка выступает, Не скрытая таинственною мглою; За цветом цвет является, ликуя, И блещет лист трепещущей росою.

О чудный вид! Здесь, как в раю, сижу я!

А там, вверху, зажглися гор вершины, Зарделись, час высокий торжествуя. Вы прежде всех узрели, исполины, Тот свет, который нам теперь сияет! Но вот холмы и тихие долины Веселый луч повсюду озаряет,

И ниже все светлеют очертанья.

Вот солнца диск! Увы, он ослепляет!

Я отвернусь: не вынести сиянья.

Не так ли в 'нас высокие стремленья Лелеют часто гордые желанья И раскрывают двери исполненья,— Но сразу мы в испуге отступаем, Огнем объяты и полны смущенья: Лишь светоч жизни мы зажечь желаем, А нас объемлет огненное море. Любовь тут? Гнев ли? Душно; мы страдаем; Нам любо, больно в огненном просторе; Но ищем мы земли — и пред собою Завесу снова опускаем в горе.

«I К тебе я, солнце, обращусь спиною; На водопад сверкающий, могучий Теперь смотрю я с радостью живою,— Стремится он, дробящийся, гремучий, На тысячи потоков разливаясь, Бросая к небу брызги светлой тучей. И между брызг как дивно, изгибаясь, Блистает пышной радуга дугою, То вся видна, то вновь во мгле теряясь, И всюду брызжет свежею росою! Всю нашу жизнь она воспроизводит: Всмотрись в нее — и ты поймешь душою, Что жизнь на отблеск красочный походит.

Фауст

Несметными ты кладами богат: Без пользы у тебя в земле они лежат.

Как помыслы о том ни широки, ни смелы, Пред этой роскошью ничтожны их пределы.

И сам фантазии возвышенный полет, Как ни напрягся б он, всего не обоймет.

Лишь духи в глубь вещей достойны, взор вперяя, Смотреть, безмерному безмерно доверяя.

*

Анаксагор (Фалесу)

Смириться твой не хочет ум суровый; Что ж, должен ли привесть я довод новый?

Ф а ле с

Послушна ветру каждому волна, Но от крутой скалы бежит она.

Анаксагор Вот этот холм огня воздвигла сила.

Ф алее Всегда лишь влага жизнь производила.

Гомункул (между ними)

Позвольте возле вас идти; Я сам хочу произойти.

Анаксагор (Фалесу)

Скажи: ужель создать возможно было Такую гору в ночь одну из ила?

Ф »л е с

Природы ключ велик: не может он В пределах дня и ночи быть стеснен; В ее делах, средь образов обилья, Есть правильность, в великом нет насилья.

Анаксагор

Но здесь так было! С силою возник Огонь Плутона; вихрь Эола вмиг Прорвал равнины почву силой взрыва, И вот гора возникла здесь, как диво.

Фалес

Довольно же: покончить нам пора. Мы видим только, что здесь есть гора, А в споре только время мы теряем Да добрым людям пыль в глаза пускаем.

Анаксагор

Здесь мирмидонян тьма живет: Пигмеи, муравьи, дактили Меж скал все щели населили,— Прилежный мелкий все народ.

(.Гомункулу)

Ты до сих пор не гнался за большим, Жил, как отшельник, за стеклом своим; Вот, если хочешь царствовать и править, Царем я здесь могу тебя поставить.

Гомункул Фалес, что скажешь?

Ф а л е с

Мой совет — На этот раз ответить «нет». Кто с малыми живет и малым занят, Тот малые дела творит, С великими ж велик и малый станет. Смотри: вон туча журавлей парит, Грозя пигмеям, испуская крики: Грозила б также их царю она. Наставив клювы, острые, как пики, Расправив когти, ярости полна, На карликов спустилась стая грозно: Им гибель всем теперь грозит серьезно! Напал с убийством злобным их народ На мирных цапель, жителей болот, И вот теперь, за это злое дело, Пигмеям месть кровавая назрела. За цапель злобно родственники мстят: Злодеев кровь пролить они хотят. Что стрелы им, которыми сгубили Пигмеи цапель, что копье и щит? Попрятались все муравьи, дактили, Пигмеев рать колеблется, бежит!

Анаксагор

(после некоторою молчания, торжественно} До сей поры молился я Эребу, Теперь мольбы я воссылаю к небу.

Тебя молю теперь, Всегда прекрасную, Троеимянную, Троеобразную, Тебя, Луну-Гекату-Артемиду: Не дай народ несчастный мой в обиду!

О ты, любящая, Мечтой обильная, В тиши светящая, Душою сильная, Открой пучину тени роковой, Без чар явись нам в силе вековой!

Пауза

Ужель услышан слишком скоро я? Ужель донесся к горным высотам Мой вопль,— и вот закон природы там Мольба нарушила моя? Растет, подходит ближе он, Богини шаровидный трон! Вот вниз слетает он, очам ужасный, Громадно-грозный, мрачный, темно-красный, Огнем кровавым озарен! Не приближайся, шар могучий! Нам всем, я морю, и земле, Грозишь ты смертью неминучей! Так это правда, что в полночной мгле Жен фессалийских дерзостному пенью Внимала ты и, путь свой изменив, Слетала вниз на мощный их призыв И помогала преступленью? Вот светлый диск покрылся тьмой… Он рвется! Молний страшное блистанье, Шипенье, треск и грохотанье! Как вихри свищут надо мной! Я пред тобой склоняюсь, трон прекрасный! Простите: я призвал его, несчастный! (Падает ниц.)

Фалес Чего не видел и не слышал он! Меня ничто, признаться, не тревожит. Что здесь свершилось? Чем он так смущен? В такую ночь безумную все может Случиться, но луна, ясна, светла, Висит себе на месте, как была.

Гомункул

Взгляни; жилье пигмеев 'изменилось.

Сперва вверху кругла была гора, Теперь вершина сделалась остра.

Я слышал треск: с луны скала свалилась

И раздавила, без излишних слов, Друзей не хуже, чем врагов.

Но все ж почтенна творческая сила, Которая, в груди земной таясь, То снизу вверх, то сверху вниз стремясь, В теченье ночи гору сотворила.

Ф а лес Не беспокойся: та гора— Воображенья лишь игра. Пусть пропадет дрянное это племя! Ну, счастлив ты, что не был в это время Царем! Пойдем: морской нас праздник ждет,Гостям чудесным там большой почет. Удаляются.

Фауст Гора молчит в покое г'орделивом. Каким она на свет явилась дивом,— Как знать? Природа силою святой Произвела вращеньем шар земной, Утесы, камни, горы и теснины, Произвела ущелья и вершины, И ряд холмов, который перешел Чрез мягкие изгибы в тихий дол; И, чтоб росли, цвели природы чада, Переворотов глупых ей не надо.

Фауст Чрез мир промчался быстро, несдержимо, Все наслажденья на лету ловя, Чем недоволен был,— пускал я мимо, Что ускользало,— то я не держал. Я лишь желал, желанья совершал И вновь желал. И так я пробежал Всю жизнь — сперва неукротимо, шумно, Теперь живу обдуманно, разумно. Достаточно познал я этот свет, А в мир другой для нас дороги нет.

Слепец, кто гордо носится с мечтами, Кто ищет равных нам за облаками!

Стань твердо здесь — и вкруг следи за всем: Для мудрого и этот мир не нем. Что пользы в вечность воспарять мечтою! Что знаем мы, то можно взять рукою. И так мудрец весь век свой проведет. Грозитесь, духи! Он себе пойдет, Пойдет вперед, средь счастья и мученья, Не проводя в довольстве ни мгновенья!

Фауст

о гор болото, воздух заражая, Стоит, весь труд испортить угрожая. Прочь отвести гнилой воды застой — Вот высший и последний подвиг мой! Я целый край создам обширный, новый, И пусть мильоны здесь людей живут, Всю жизнь в виду опасности суровой, Надеясь лишь на свой свободный труд. Среди холмов, на плодоносном поле, Стадам и людям будет здесь приволье; д

Рай зацветет среди моих полян, А там, вдали, пусть яростно клокочет

Морская хлябь, пускай плотину точит: Исправят мигом каждый в ней изъян. Я предан этой мысли! Жизни годы Прошли не даром, ясен предо мной Конечный вывод мудрости земной: Лишь тот достоин жизни и свободы, Кто каждый день за них идет на бой! Всю жизнь в борьбе суровой, непрерывной Дитя, и муж, и старец пусть ведет, Чтоб я увидел в блеске силы дивной Свободный край, свободный мой народ! Тогда сказал бы я: мгновенье, Прекрасно ты, продлись, постой! И не смело б веков теченье Следа оставленного мной! В предчувствии минуты дивной той Я высший миг теперь вкушаю свой.

Прометей

(1774)

Закрой свое небо, Зевс, Парами туч, Мальчишествуй, Сшибая, как репьи, Дубы и гребни гор!

О, только бы моя земля

Стояла крепко, И хижина, что выстроил не ты, И мой очаг, Что я воспламенил—

Тебе на зависть.

Никого я не знаю под солнцем

Беднее вас, бессмертные!

Убога пища

Ваших величеств—

Даянье жертв

Да вздох молитв.

В нужде бы вам сгинуть, Когда б не надежды глупцов —

Детей и нищих.

И я, ребенком, В неведении блуждая, Взгляд к солнцу обращал, Как будто ухо было там —

Услышать жалобу мою, И сердце, как мое,— Скорбеть об угнетенном.

Кем был я

От титанов ярых огражден?

От смерти кто меня, От рабства спас?

Ты не само ли все свершило, Священно пламенеющее сердце?

И ты же, в юной доброте, Обманутое сердце, Благодарило за спасенье

Сонливца—там, вверху.

Мне тебя чтить? За что? Разве смягчил ты мученья Обремененного ? Разве утишил ты слезы Страхом томимого? Из меня кто выковал мужа? Всемогущее время И вечные судьбы — Владыки мои и твои.

Уж не хочешь ли ты, Чтоб жизнь я возненавидел, Бежал в пустыню

Из-за того, что не каждый

Цветок обратился в плод?

Здесь я творю людей

По своему подобью —

Род, на меня похожий.

Пусть страждут, пусть плачут, Пусть знают радость и наслажденье

И тебя презирают, Как я1

Коринфская невеста

(1797)

Из Афин в Коринф многоколонный Юный гость приходит незнаком; Но когда-то житель благосклонный Хлеб и соль там вел с его отцом, И детей они
В их младые дни Нарекли невестой с женихом.
Но какой для доброго приема От него потребуют цены? Он — дитя языческого дома, А они — недавно крещены.
Где за веру спор, Там, как ветром сор, И любовь и дружба сметены.
Вся семья давно уж отдыхает, Только мать одна еще не спит. Благодушно гостя принимает И покой отвесть ему спешит; Лучшее вино
Ею внесено, Хлебом стол и яствами покрыт.
И, простясь, ночник ему зажженный Ставит мать, но ото всех тревог
Уж усталый он и полусонный, Без еды, не раздеваясь, лег.
Как сквозь двери тьму, Движется к нему Странный гость бесшумно на порог.
Входит дева медленно и скромно; Вся покрыта белой пеленой; Вкруг косы ее густой и темной Блещет венчик черно-золотой.
Юношу узрев, Стала, оробев, С приподнятой бледною рукой.
«Видно, в доме я уже чужая,— Так она со вздохом говорит,— Что вошла, о госте я не зная, И теперь меня объемлет стыд.
Спи ж .спокойным сном

На одре своем: Я уйду опять в мой темный скит!»

«Дева, стой! — воскликнул он,— Подожди до утренней зари! Вот, смотри, Церерой золотою, Вакхом вот посланные дары; А с тобой придет
Молодой Эрот — Им же светлы игры и пиры!»
«Отпусти, о юноша! Я боле Не причастна радости земной; Шаг свершен родительскою волей: На одре болезни роковой
Поклялася мать
Небесам отдать Жизнь мою и юность, и покой.
И богов веселых рой родимый Новой веры сила изгнала, И теперь царит один незримый, Одному распятому хвала!

Агнцы боле тут

Жертвой не падут, Но людские жертвы без числа!»

И ее он взвешивает речи: «Неужель теперь в тиши ночной, С женихом не чаявшая встречи, То стоит невеста предо мной?

О, отдайся ж мне, Будь моей вполне— Нас венчали клятвою двойной!»

«Мне не быть твоею, отрок милый, Ты мечты напрасной не лелей: Скоро взять должна меня могила; Ты ж сестре назначен уж моей.

Но в блаженном сне

Думай обо мне, Обо мне, когда ты будешь с ней!»

«Нет, да светит пламя сей лампады Нам Гимена факелом святым, И тебя для жизни, для отрады Уведу к пенатам я моим!
'

Верь мне, друг, поверь: Мы вдвоем теперь Брачный пир нежданно совершим».

И они меняются дарами, Цепь она спешит златую снять, Чашу он с узорными краями В знак союза хочет ей отдать; Но она к нему: «Чаши не приму, Лишь волос твоих возьму я прядь».

Полночь бьет, и взор, доселе хладный, Заблистал, лицо оживлено, И уста бесцветные пьют жадно С темной кровью схожее вино.

Хлеба ж со стола

Вовсе не взяла, Словно ей вкушать воспрещено.

И фиал она ему подносит; Вместе с ней он сок багровый пьет, Но ее объятий, как ни просит, Все она противится — и вот, Тяжко огорчен,'

Пал на ложе он И в бессильной страсти слезы льет.

И она к нему, ласкаясь, села: «Жалко мучить мне тебя, но! — ах! Моего когда коснешься тела, Неземной тебя охватит страх: Я, как снег, бледна, Я, как лед,хладна, Не согреюсь я в твоих руках».

Но, кипящий жизненною силой, Он ее в объятья заключил: «Ты хотя бы вышла из могилы, Я б согрел тебя и оживил!

О, каким вдвоем

Мы горим огнем, Как тебя мой проникает пыл!»

Все тесней сближает их желанье: Уж она, припав к нему на грудь, Пьет его горячее дыханье

И уж уст не может разомкнуть; Юноши любовь

Ей согрела кровь, Но не бьется сердце в ней ничуть.

Между тем дозором поздним мимо За дверьми еще проходит мать, Слышит шум внутри необъяснимый И его старается понять: То любви недуг, Поцелуев звук, И еще, и снова, и опять.

И недвижно, притаив дыханье, Ждет она — сомнений боле нет — Вздохи, слезы, страсти лепетанье И восторга бешеного бред: «Скоро день, но вновь

Нас сведет любовь!» «Завтра вновь!»—с лобзаньем был ответ.

Доле мать сдержать не может гнева, Ключ она свой тайный достает: «Разве есть такая в доме дева, Что себя пришельцам отдает?»

Так возмущена, Входит в дверь она— И дитя родное узнает.

И, воспрянув, юноша с испугу Хочет скрыть завесою окна, Покрывалом хочет скрыть подругу. Но, отбросив складки полотна, С ложа, вся пряма, Словно не сама, Медленно подъемлется она.

«Мать, о мать! Нарочно ты ужели Отравить мою приходишь ночь? С этой теплой ты меня постели В мрак и холод снова гонишь прочь?

Для тебя ужель

Мало и досель, Что свою ты схоронила дочь?

Но меня из тесноты могильной Некий рок живущим шлет назад; Ваших клиров пение бессильно, И попы напрасно мне кадят: Молодую страсть

Никакая власть, Ни земля, ни гроб не охладят.

Этот отрок именем Венеры Был обещан мне от юных лет, Ты вотще во имя новой веры Изрекла неслыханный обет.

Чтоб его принять В небесах, о мать, В небесах такого бога нет1

Знай, что смерти роковая сила Не могла сковать мою любовь: Я нашла того, кого любила, И его я высосала кровь.

И, покончив с ним, Я пойду к другим — Я должна идти за жизнью вновь!

Милый гость, вдали родного края Осужден ты чахнуть и завять. Цепь мою тебе передала я, Но волос твоих беру я прядь.

Ты их видишь цвет?

Завтра будешь сед: Русым там лишь явишься опять.

Мать, услышь последнее моленье: Прикажи костер воздвигнуть нам, Свободи меня из заточенья, Мир в огне дай любящим сердцам.

Так из дыма тьмы

В пламе, в искрах мы К нашим древним полетим богам».

ПОСЛАНИЕ*

Свое евангелье, мой друг, Я мню и сам не новым; Но так пленительно округ, Что не скупишься словом.

Я утварь взял, я взял вино, Все толком порасставил: Но я не этим полотно В живом тепле расплавил, Роскошных благ горячий дар, Как все, приемлю тоже; Но женской плоти милый жар Вдыхать стократ дороже.

И кто не судит, а живет трудом, Как ты да я живем, Тот наградой и работу мнит; Нет, тому от мира не претит! Тот не станет на тупой зубок Класть жаркого крохотный кусок, Тот не будет барином жевать, Чтоб голодным от обеда встать; За ветчинный окорок рукой Тот возьмется, как мастеровой,

Тот нацедит кружку до верхов, Выпьет и не оботрет усов. Смысл подвижной книги мирозданья Пусть не познан, но открыт познанью. Сердцу ли людскому не мечтать Мировую радость опознать?

Все лучи господни, все деревья, Все пути морские, все кочевья — Все прими, друг к другу приобщая, Как Золандер, Банке, миры взрезая.

И вместивши все земные цели, Не взликует сердце неужели? В своре псов и доброй бабе боле Радости, чем в елисейском поле. Где бредут вослед прозрачной тени, Чуть касаясь радужных видений.

Нет, не Рим, не Magna Graecia,— Всех собою одарит душа! Кто в ладах с природою живет, В винной чаше целый мир найдет.

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЧУВСТВО*

Боги! Вы велики, боги, Там, ввыси, в просторах неба! Если б нам вы уделили Твердый ум и бодрый дух,— Мы оставили б, благие, Вас ввыси в просторах неба!

моя богиня"

Какую бессмертную Я ценю первей всех? Ни с кем не спорю, Все же милей мне

Вечно подвижная, Новая вечно Дивная дочерь Зевса, Чадо любимое, Фантазия ты!

Затем, что ей он Все прихоти, Какие обычно себе Он сохранял, Предоставил, И сам веселится Безумный.

Она в веночке из роз, Со стеблем лилеи По долинам ступает, Летних пташек предводит, Пищу легкую рос Устами пчелок С цветов сбирает.

То вдруг она, Развеяв власы, С суровым взором Свистит с ветрами У стен скалистых, Тысячецветна, , Как утро и вечер, В вечной смене, Как лунные взоры, Появится смертным.

Все, давайте, Отца восхвалим! Старца, владыку, Который такую Неувядающую супругу Соединить с человеком Смертным помыслил!

Ибо нас одних С ней соединил он Небесной тесьмой И повелел ей

В счастье и горе Супругой верной Быть вечно с нами.

Все же другие Бедные твари Чадообильной Живой планеты Пасутся и бродят, Темный восторг И смутные муки Вкушая мгновеннейшей Ограниченной жизни, Пригнуты игом Земной нужды.

Нам же свою он

Самую резвую Дочку-любимицу — Радуйтесь! — дал. Встретьтесь любовно С ней, как с любимой! Как женщину чтите В доме ее!

Да чтоб старуха

Мачеха мудрость

Нежную душеньку

Не обижала!

Но и с сестрой знаком я, С той старшей, со степенницей.

Тихой моей подругой: , О пусть она1 Лишь с жизни сияньем От меня отвратится,— Благородно ведущая, Утешительница, надежда!

БОЖЕСТВЕННОЕ*

Прав будь, человек, Милостив и добр: Тем лишь одним Отличаем он

От всех существ, Нам известных.

Слава неизвестным, Высшим, с нами Сходным существам! Его пример нас Верить им учит.

Безразлична

Природа-мать.

Равно светит солнце

На зло и благо, И для злодея

Блещут, как для лучшего.

Месяц и звезды.

Ветр и потоки, Громы и град, Путь совершая, С собой мимоходом Равно уносят То и другое. , И счастье, так Скитаясь по миру, Осенит то мальчика Невинность кудрявую, То плешивый Преступленья череп.

По вечным, железным, Великим законам, Все бытия мы Должны невольно Круги совершать. Человек один Может невозможное: Он различает, Судит и рядит, Он лишь минуте Сообщает вечность.

Смеет лишь он Добро наградить

И зло покарать, Целить и спасать Все заблудшее, падшее К пользе сводить.

И мы бессмертным

Творим поклоненье, Как будто людям, Как в большом творившим, Что в малом лучший

Творит или может творить.

Будь же прав, человек, Милостив и добр! Создавай без отдыха Нужное, правое! Будь нам прообразом Провидимых нами существ.

МЕТАМОРФОЗ РАСТЕНИЙ*

Ты смущена, подруга, смешеньем тысячекратным

Этих, заполнивших сад, густо растущих цветов; Множеству ты внимала имен; в твой слух беспрестанно

Диким звучаньем они входят — одно за другим. Образы все — и подобны, и каждый от прочего все же

Разнится: в их кругу тайный заложен закон, Скрыта загадка святая. О, если бы мог я любимой

В проникновенных словах тайну немедля открыть! Пусть наблюдает теперь, как исподволь, мало-помалу

Вверх растение шло, цвет образуя и плод. Произрастает оно из семян, лишь тихие недра

Плодотворящей земли в жизнь отпускают его, Чтобы лучам светила, святого в извечном движенье, Вверить нежнейший состав листьев, начавших расти. Скромно сила спала в семенах; и прообраз начальный, Замкнут ;в себе, лежал, под оболочкой согбен. Корень, лист и росток бесцветны и полуразвиты; Так незаметную жизнь холит сухое зерно, Пухнет, кверху стремясь, доверясь благостной влаге, Вот внезапно встает из окружающей тьмы. С виду прост еще появленья первого облик,—

Так означает себя между растений дитя.

Вскоре затем пробившись, дальнейший побег обновляет, Узел к узлу выводя, образ, возникший сперва. Все ж он неодинаков: .родится, разнообразно

Скроен,— видишь ли ты,—каждый дальнейший листок. Шире, либо зубчатей, раздольней в конце или в долях,—

Сросшись, гнездились досель в органе нижнем они. Определенное так выступает впервой совершенство, Коим у многих пород милая изумлена. В частых жилках, в зубцах на тучно упитанной плоти, Кажется, пышный побег волен расти без конца. Здесь-то могучей рукой сложенье сдержит природа, Чтоб к совершенству его нежно направить потом. Меньше соку она по суженным гонит сосудам, Нежность хлопочущих сил формой запечатлена. Медленно ток от краев развитых прочь отступает, Жилка у черенка обрисовалась полней. Но, безлиствен и скор, вздымается стебель нежнейший —

Образ дивный возник, взоры влекущий к себе. Вкруг кольцом один к другому расположился

В большем или меньшем числе листиков сходственных

строй. Плотная, вкруг оси, образуется чашечка тайно, Выпустит венчик цветной, жаждая высшей красы. Так природа цветет в высоком полном явленье, Член за членом творя в строгой чреде степеней. Снова ты в изумленье, когда над постройкой из листьев

Разнообразных встает, зыблясь на стебле, цветок. Роскошь, однако, хранит зарок творенья другого: Да, окрашенный лист чует всевышнего длань. Вот сжимается он проворно; нежнейшие формы

Силятся парно расти, чтоб сочетаться затем. Друг подле друга стоят в обнимку нежные пары, Много строится их перед святым алтарем. Резвый парит Гимен, и дивные благоуханья, Густо и сладко струясь, все оживляют вокруг. Пухнут врозь теперь ростки, несметные счетом, Бережно в чреве сокрыв плод набухающий свой. Здесь замыкает природа кольцо из сил вековечных, Но приобщиться спешит новое тотчас к нему, Так что крепкая цепь до скончания века продлится, В целом все оживит так же, как всякую часть. Взор, любимая, кинь теперь на пестрые сонмы,—

Их мелькание впредь с толку тебя не собьет. Каждое нынче растенье твердит о вечных законах, Внятней и внятней с тобой каждый цветок говорит.

Если ж твой взор искушен в письменах священных богини, Их ты признаешь везде и в измененных чертах. Робко ль ползет червячок, деловито ль бабочка вьется, Сменит ли сам человек образ, каким наделен. О, припомни тогда, как первый зародыш знакомства

Вырос невидимо в нас, милым обычаем став, Как в глубинах душевных окрепшая дружба раскрылась, Как, наконец, Амур создал цветы и плоды. Вспомни, как в разных чертах, раскрывшись тихо, природа

Поочередно дала образы чувствам живым. Радуйся также и дню настоящему! Близко святая

Наша любовь к плоду высшему — общности чувств, Общности взглядов, чтобы в воззренье, согласном и стройном, Связь упрочив, чета мир высочайший нашла.

ПОСТОЯННОЕ В СМЕНАХ*

Только б час над ранним краем Вешний трепет простоял! Но уж белый дождь, сдуваем Теплым ветром, замелькал. Надышаться не успеем Влажной зеленью в бору, Как, глядишь, сметен Бореем, Лист трепещет на ветру.

Пусть рука быстрей срывает На ветвях созревший плод! Этот соком набухает, И уже свалился тот. Мир, очнувшийся от стужи, Обновится—не узнать; И — увы! — в одну и ту же Реку дважды не ступать.

Да и ты! Когда в дороге Прах времен прельщает глаз, Башни видишь, зришь чертоги По-иному каждый раз. Где уста, в былую пору Льнувшие к твоим устам? Ножка, что взбегала в гору, Споря с серной, по тропам?

Где рука, столь умиленно Нас ласкавшая тогда? Образ, внятно расчлененный, Пропадает навсегда. Что теперь, на месте этом, Кличут именем твоим, Набежало зыбким светом И рассеется, как дым.

Пусть кануны и исходы Свяжет крепче жизнь твоя! Обгоняя бег природы, Ты покинешь и себя. Только муз благоволенье Прочной лаской дарит: В сердце — трепет наполненья, В духе — форму сохранит.

ДУША МИРА*

Рассейтесь вы везде под небосклоном, Святой покинув пир, Несите жизнь, прорвавшись к дальним зонам, И наполняйте мир!

Вы божьим сном парите меж звездами, Где без конца простор, И средь пространств, усеянных лучами, Блестит ваш дружный хор.

Несетесь вы, всесильные кометы, Чтоб в высях потонуть, И в лабиринт, где солнце и планеты, Врезается ваш путь.

К бесформенным образованьям льнете, Играя и творя, Все сущее в размеренном полете

Навек животворя.

Вы в воздухе подвижном ткете щедро

Изменчивый убор, И камню вы, в его проникнув недра, Даете твердость форм.

И рвется все в божественной отваге

Себя перерасти; В пылинке — жизнь, и зыбь бесплодной влаги

Готова зацвести. И мчитесь вы, любовью вытесняя

Сырого мрака чад; В красе разнообразной дали рая

Уж рдеют и горят. Чтоб видеть свет, уже снует на воле

Всех тварей пестрота; Вы в восхищенье на счастливом поле,
Как первая чета. И гасит пламя безграничной жажды

Любви взаимной взгляд. Пусть жизнь от целого приемлет каждый

И вновь — к нему назад.

ЭПИЛОГ К ШИЛЛЕРОВУ «КОЛОКОЛУ»*

Радость, лейся в граде оном, Мир, ему будь первым звоном.

Да, было так. Страна кипела славой, Являлось счастье новое в цвету. Приветствовали песнью величавой Мы княжескую юную чету. Народных толп налево и направо Мы видели восторг и тесноту; По-праздничному убраны ступени, И «Поклонение искусств» на сцене.

Но грянул, как на погребальной тризне, В полночный час глухой и скорбный звон. Возможно ль? Он, наш друг, к кому в отчизне Был каждый взор с любовью обращен. Иль смерть зовет достойнейшего жизни? Весь мир потерей этой потрясен. Какой урон друзьям и близким людям! Рыдает мир, и мы ль рыдать не будем?

Да, он был наш. Каким простым, радушным

Высокий муж порой являлся нам!

Как строгий дух с весельем благодушным

То нисходил к обыденным речам, То быстро, словом властвуя послушным, Всей жизни план развертывал друзьям, В советах плодотворно изливаясь; Все это мы узнали, наслаждаясь.

Да, он был наш. Пусть гордость перебьет И заглушит напев тоски сердечной. Он мог средь нас от бурь и непогод Укрыться в мирной гавани беспечно. Но дух его могучий шел вперед, Где красота, добро и правда вечны; За ним обманом призрачным лежало То пошлое, что души нам связало.

Он украшал свой вертоград прекрасный. Где звезд напевы слышались ему, Которые таинственно и ясно Навстречу шли высокому уму. Себе и нам на радость ежечасно Работал он, мешая день и тьму. И радостно встречал, достойным занят, Те сумерки, когда в нас сила вянет.

Пред ним событья, полные отваги, Текли, смывая след добра и зла, Владык земли бушующие стяги, Их в мире отшумевшие дела; И в низости и в высочайшем благе Им сущность их испытана была. Вот месяц канул, горы посветлели, И солнцем выси радостно зардели.

Его ланиты зацвели румяно Той юностью, конца которой нет, Тем мужеством, что поздно или рано, Но победит тупой, враждебный свет, Той верой, что дерзает неустанно Идти вперед, терпеть удары бед, Чтоб, действуя, добро росло свободно, Чтоб день пришел тому, что благородно

Но он любил и сей помост дощатый, Он, опытный, изведавший сердца: Здесь он рисует рок замысловатый, Земную ось вертящий без конца.

Возвысил он, фантазией богатый, Достоинство искусства и певца, Направив цвет высокого стремленья, Жизнь самоё на жизни отраженье.

Вы знали, как шагами великана Он воли круг и действий измерял, Сквозь быт народов, сквозь века и страны Как ясно книгу темную читал. Но как средь нас, в одышке постоянной, Он мучился, болезнь перемогал, Все это в годы счастья и печали — Ведь наш он был—мы вместе с ним узнали.

Его,когда в борьбе с болезнью злою Свой скорбный взор он подымал опять, От гнета современности порою Мы хоть на миг умели избавлять, Искусством и изысканной игрою Воскресший дух свежить и укреплять. Когда к закату дни его склонялись, Мы от него улыбки добивались.

Ведь строгое прочел он рано слово, К страданьям, к смерти был готов он весь.

Он отошел. То, что давно сурово

Пугало нас, оно страшит и днесь.

Преображен, он долу смотрит снова

И видит, как преображен он здесь.

Что современники в нем порицали, И смерть его и время оправдали.

И те, кто знать при жизни не хотели Его заслуг, упорно с ним борясь, Его могучей силой закипели, В его волшебном круге заключась. Он воспарил, вознесся к высшей цели, Со всем, что ценно, тесно породнясь. И коль при жизни не довольно громки Хвалы людей, восполнят все потомки.

Да, с нами он, хоть миновали сроки: Уж десять лет он с нами разлучен. Но за его высокие уроки Благодарят его со всех сторон, И расширяется в людском потоке

То, чем велик, своеобычен он. Он нам блестит, кометой исчезая, Со светом вечности свой свет сливая.

МЕТАМОРФОЗ ЖИВОТНЫХ*

Кто отважился ныне достичь последней ступени Этой вершины,— пусть руку мне даст и вольный направит Взгляд на ширь природы. Повсюду полною горстью Сыплет жизни дары богиня; только не знает Жребия смертных женщин — забот о надежном прокорме Детищ; это ей не пристало; закон утвердила двоякий, Высший закон она — любую жизнь ограничить. Меру она положила потребностям; блага ж безмерно, Всем доступно дарит, равно участье питая К бойким хлопотам чад, чьи нужды многообразны. Уз не ведая, бродят они, подвластны призванью. Каждый зверь есть цель самому себе; совершенным Выйдя из чрева природы, детенышей он производит Точно таких же; растут все члены по вечным законам. Даже в редчайшей из форм под спудом скрыт первооб-

раз Всякий рот, например, устроен к принятию пищи, Нужной телу; и будь беззубой иль немощной челюсть, Или, напротив, зубами богатой,— в случае каждом Свойственный орган несет всем членам другим пропитанье.

Так и нога любая — длинней она иль короче,— Но в согласье всегда с характером, с нуждами зверя. Каждому из детей — здоровья полную чашу Определила мать, ведь все жизненосные члены, Противоречий не зная, равно содействуют жизни. Образом определяем порядок жизни животной, С той же самою силой и образы все направляет Обыкновение жизни. Так строится прочный порядок. Вечно склонный искать перемен во внешних влияньях. В самых недрах мощь породистых тварей таится — Мощь, замкнутая в круге священном развития жизни. Этих границ и бог не преступит, чтит их природа. Только лишь в их пределах возможность была совершенства.

Все же в недрах борьбу могучий дух подымает В жажде прорваться за круг, чтоб формам привить своеволье,

Прихоть внушить свою; но его попытки напрасны! Ибо едва пробьется к одним из членов, к другим ли, Мощно их одарив, как смотришь, страждут, хиреют Члены другие; и груз чрезмерности уничтожает Всю красоту 'их форм и непринужденность движений, Если ты видишь в созданье одном противу другого В чем-то избыток особый, узнай: не терпит ли также В чем-нибудь недостатка; ищи испытующим духом — Тотчас верный ключ найдешь к любому созданью. Ибо ведь всякий зверь, имеющий в челюсти верхней Зубы в полном числе, рогов на лбу не имеет. Точно так же и льву не может вечная матерь Дать рога, даже если б старанья все приложила. Нет у ней матерьяла, чтоб зубы в числе совершенном Рядом поставить и вместе рогами зверя украсить. Эта прекрасная мысль о силе, границах, причуде И о законе — о воле и мере, о гибком порядке, Нуждах, избытке — да будет усладой тебе! То святая Муза стройно тебе преподносит ее в поученье.

Мысли этой не в силах достичь ни мыслитель моральный, Ни человек деловой, ни художник-поэт! Повелитель, Кто достоин им быть, венцом чрез нее усладится?

Радуйся, высшая тварь, природы чувствуя силу, Высшие мысли ее, обретенные в дивном творенье, Вновь повторить! А ныне спокойно стань и, вперяясь

Вспять, исследуй, сравни и прими изустно от музы

Веру сладкую в то, что не грезишь, а въявь ты все видишь.

Раньше чувство, .после знанье *, Раньше ширь, потом — созданье, И из сумрачных тенет Очерк истины встает.

prooemion**

Того во имя, кто зачал себя, В предвечности свой жребий возлюбя; Его во имя, кто в сердца вселил Любовь, доверье, преизбыток сил; Во имя часто зеванного здесь, Но — в существе — неясного и днесь: Докуда слух, докуда глаз достиг, Лишь сходное отображает лик, И пусть твой дух, как пламя, вознесен, Подобьями довольствуется он;

Они влекут, они его дивят, Куда ни ступишь — расцветает сад.

Забыты числа, и утрачен срок, И каждый шаг, как вечности поток.

ОРФИЧЕСКИЕ ПЕРВОГЛАГОЛЫ*

Демон

Как в день, тебя вручивший мирозданью, Восстало солнце на привет планетам, Так началось твое преуспеянье По предначертанным тебе заветам. Себя бежать — напрасное старанье,

Сибилл, пророков глас звучал об этом; Не сломит сила и не смоют годы Запечатленный лик живой природы.

Случайное

Границу строгую легко обходит Изменчивость, податливая с нами. Ты не один, тебя общенье водит; Подобно прочим действуем мы сами, И что легко, что трудно происходит, Все пустяки и будет пустяками, Достигли годы замкнутого ряда, И ждет огня готовая лампада.

Любовь

Огонь приспел! Из древних тех безлюдий Возвеявший, свергается с высот; Воздушны крылья на челе и груди, С весенним днем свершает свой полет. То вдаль, то вблизь он следует причуде, И вот в блаженстве муки сладок гнет. Всеобщее сердца иных развеет, Но избранный — единым пламенеет.

Принуждение

Все снова так, как звезды восхотели: Закон, условья, воль соревнованья — Все лишь воленье к нашей должной цели, Пред волей произвол хранит молчанье.

Сердца всего лишатся, чем горели; Причуда, воля долгу служат данью. Прошли года—и чем «свобода» стала? Стесненней мы, чем были изначала.

Надежда

Таких твердынь, таких железных граней Упорные врата преодолимы; Стояла б лишь твердыня их, как ране.

Вот некто взмыл легко, неукротимо

Из свода туч, сквозь проливень, в тумане; Окрылены мы, ею возносимы, Вам ведома парящая сквозь зоны:.

Удар крыла — и сзади нас эоны!

ЭПИРРЕМА*

Мирозданье постигая, Все познай, не отбирая: Что—внутри, во внешнем сыщешь; Что — во вне, внутри отыщешь. Так примите ж без оглядки Мира внятные загадки.

Нам в правдивой лжи дано Жить в веселье строгом: Все живое — не одно, Все живет — во многом.

АНТЭПИРРЕМА**

Вперяй благоговейный взор В природой ткущийся узор. Один взмах тысячи движет основ, Челнок туда и сюда взлетает, И с нитью встречную нить сплетает, И сразу тысячу вяжет узлов. Все это земля не стяжала мольбами, Извечно она обладает дарами, Чтоб древний ткач мирских начал Свой труд спокойно продолжал.

ПАРАБАЗА*

Довелось в былые годы Духу страстно возмечтать, Зиждящий порыв природы Проследить и опознать. Ведь себя одно и то же По-различному дарит, Малое с великим схоже, Хоть и разнится на вид; В вечных сменах сохраняясь, Было — в прошлом, будет — днесь. Я, и сам, как мир, меняясь, К изумленью призван здесь.

НАОБОРОТ * •• (Физику)

«Тайник природы навсегда (Ах ты, филистер нудный!) Для бренного ума закрыт». Мне и моим собратьям трудно Такую мысль внушить хотя б на миг; У нас другое убежденье: Где в данное находимся мгновенье, Там, полагаем, и тайник.

«Блажен, кто явственно узрел

Хотя бы скорлупу природы».

Я это слышу шесть десятков лет, И у меня терпенья больше нет

То повторять, что сказано раз двести: Природа все дает, к нам царственно щедра: Нет у природы ни ядра, Ни скорлупы; она — все вместе.

В свое вглядись внимательно нутро: Ты скорлупа или ядро?

ОДНО И ВСЕ***

Душой в безбрежном утвердиться. С собой, отторгнутым, проститься В ущерб не будет никому. Не знать страстей, горячей боли, Молитв докучных, строгой воли — Людскому ль не мечтать уму?

Приди! пронзи, душа вселенной! Снабди отвагой дерзновенной Сразиться с духом мировым! Тропой высокой духи ходят, К тому участливо возводят, Кем мир творился и творим!

Вновь переплавить сплав творенья. Ломая слаженные звенья, Заданье вечного труда. Что было силой, станет делом, Огнем, вращающимся телом, Отдохновеньем — никогда.

Пусть длятся древние боренья! Возникновенья, измененья — Лишь нам порой не уследить. Повсюду вечность шевелится, И все к небытию стремится, Чтоб бытию причастным быть.

Стоял я в строгом склепе, созерцая *, Как черепа разложены в порядке, Мне старина припомнилась седая.

Здесь кости тех, кто насмерть бились в схватю Забыв вражду, смирившись поневоле, Лежат крестом. О кости плеч, лопатки

Могучие! Никто не спросит боле, Что вы несли; оторван член от члена, Нет связи жизни, деятельной воли. Вы врозь лежите, руки и колена. Вам мира нет: вы вырваны в сиянье Земного дня из гробового плена.

Нет в скорлупе сухой очарованья, Где благородное зерно скрывалось. Но мной, адептом, прочтено писанье, Чей смысл святой на всем раскрыть случалось. Когда средь мертвого оцепененья Весценное творенье мне досталось, 27 -

Чтоб в холоде и тесном царстве тленья

Я был согрет дыханием свободы

И жизни ключ взыграл из разрушенья. , Как я пленялся формою природы, Где мысли след божественной оставлен!

Я видел моря мчащиеся воды, В чьих струях ряд все высших видов явлен.

Святой сосуд — оракула реченья! —

Я ль заслужил, чтоб ты был мне доставлен?

Сокровище украв из заточенья Могильного, я обращусь, ликуя, Туда, где свет, свобода и движенье.

Того 'из всех счастливым назову я, Пред кем природа-бог разоблачает, Как, плавя прах и в дух преобразуя, Она созданье духа сохраняет.

ИЗ «КРОТКИХ КСЕНИЕВ»*

В любом светиле жизнь мерцает: Среди других оно свершает Самоизбранный чистый путь; А в недрах мерно силы бродят, Что к ночи темной нас приводят И снова дню хотят вернуть.

Когда единство в беспредельном Струится вечной чередой, В тысячегранном своде цельном Смыкая часть одну с другой,— Ликует в жизни все творенье, От звезд малейших до большой, И вся борьба, все напряженье — Лишь вечный в господе покой...

Жизнь — вовне, внутри ли взяться, Не могу принять частями: Весь я должен отдаваться, Чтобы жить с собой и с вами.

Милые, писал всегда я, Что есть в чувствах, что во мненьи Так, себя подразделяя, Я всегда в соединеньи.

ЗАВЕТ*

Кто жил, в ничто не обратится! Повсюду вечность шевелится. Причастный бытию блажен! Оно извечно; и законы Хранят, тверды и благосклонны, Залоги дивных перемен. Издревле правда нам открылась, В сердцах высоких утвердилась; Старинной правды не забудь! Воздай хваленья, земнородный, Тому, кто звездам кругоходный Торжественно наметил путь.

Теперь — всмотрись в родные недра! Откроешь в них источник щедрый, Залог второго бытия. В душевную вчитайся повесть, Поймешь: взыскательная совесть — Светило нравственного дня.

Тогда доверься чувствам: ведай — Обманы сменятся победой, Коль разум бодростью дарит. Пусть свежий мир вкушают взоры, Пусть легкий шаг пройдет просторы. В которых жизнь росой горит.

Но трезво приступайте к чуду! Да указует разум всюду, Где жизнь благотворит живых. В ничто прошедшее не канет, Грядущее досрочно манит, И вечностью заполнен миг.

Когда ж, на гребне дня земного, Дознаньем чувств постигнешь слово:

«Лишь плодотворное цени!»—
Не уставай пытливым оком
Следить за зиждящим потоком,
К земным избранникам примкни.

Как создает, толпе незримый,
Своею волей мир родимый

И созерцатель и поэт,
Так ты, причастный благодатям,
Высокий дар доверишь братьям.

А лучшей доли смертным — нет!

ЛАФАТЕРУ

9 апреля 1781 г.

Ты хорошо говоришь, что человек — бог и сатана, небо и земля, все в одном; что же иное эти понятия, как не концепты. которые имеются у человека относительно его собственной природы?

ЛАФАТЕРУ

29 июля 1782 г.

Так как я, не принадлежа к противникам или отрицателям христианства, тем не менее стою совершенно вне христианства, то твой Пилат произвел на меня отвратительное впечатление: очень уж безжалостен ты к старому богу и его детям. Я начал даже пародировать твоего Пилата, но я слишком люблю тебя, так что это могло забавлять меня не дольше часу. Дай же услышать свой человеческий голос, чтобы нам оставаться связанными с этой стороны, раз уже с той дело никак не идет.

ЛАФАТЕРУ

9 августа 1782 г.

Евангелие, такое, как оно есть, ты считаешь божественной правдой, меня же и внятный голос с неба не убедит, что вода горит, а огонь тушит, что женщина родит без мужчины и что

мертвый встает из гроба. Я считаю это скорее хулой на великого творца и его откровения в природе.

Ты не находишь ничего прекраснее евангелия, я же нахожу тысячи листов, которые в древние и новые времена покрыли письменами богом взысканные люди, не менее прекрасными, полезными и необходимыми человечеству. И так далее.

Пойми, милый брат, что мне так же насущно важна моя вера, как тебе твоя, что я, если б мне довелось говорить публично, с такою же горячностью ратовал бы за, по моему убеждению, богом установленную аристократию, как ты за самодержавие Христа; и разве мне не пришлось бы тогда утверждать много противоположного тому, что содержится в твоем «Пилате» и о чем так безоговорочно и вызывающе твердит твоя книга!

ЛАФАТЕРУ

4 октября 1782 г.

...Великой благодарности заслуживает природа за то, что в жизнь каждого живого существа она вложила столько целебной силы, что если оно и разрывается с того или другого конца, оно может снова заштопать себя; и что все эти тысячи видов религий, как не тысячекратные проявления этой целебной силы? Мой пластырь не помогает тебе, твой — мне, в аптеке нашего Отца есть много рецептов...

ГЕРДЕРУ

Иена, 27 марта 1783 г.

Согласно поучению евангелия, я должен как можно скорее сообщить тебе о счастье, выпавшем мне на долю. Я открыл — не золото и не серебро, но то, что доставляет мне несказанную радость—os intermaxillare у человека!

Я сравнивал вместе с Лодером черепа людей с черепами животных, напал на след, и вот открытие сделано! Только, прошу тебя, притворяйся, что ты ничего не знаешь, потому что все должно пока остаться тайной. Ведь и тебя это очень обрадует; это же последний камень, завершающий человека: ничто больше не отсутствует, все на месте, и как! Я думал об этом в сопоставлении с твоим целым; каким прекрасным оно тогда становится!

...Суббота ночью.

ШТЕЙН

22 августа. 1784 г.

Письмена Природы велики и прекрасны, и я утверждаю, что их можно все прочесть. Но жалкие идейки больше подстать человеку, ибо сам он маленький и не любит сравнивать свое ограниченное существование с безграничными существами.

КНЕБЕЛЮ

// ноября 1784 г.

Я читаю с госпожой ф. Штейн «Этику» Спинозы. Я чувствую, что очень близок к нему, хотя его дух гораздо глубже и чище моего.

КНЕБЕЛЮ

17 ноября 1784 г.

Наконец-то высылаю тебе трактат из области остеологии и прошу тебя сообщить свои мысли о нем. Я покуда воздерживаюсь от высказывания конечного вывода, на который уже намекает Гердер в своих «Идеях», утверждая, что отличие человека от животного ни в чем отдельном установить нельзя. Скорее уж можно утверждать, что человек и животное находятся в теснейшем сродстве друг с другом. Гармония целого делает каждое живое существо тем, что оно есть; и человек является человеком, как в силу формы и характера своей верхней челюсти, так и в силу формы и характера маленького пальца на ноге. Всякое создание—только тон и оттенок единой великой гармонии, которую следует изучать как нечто целое; в противном же случае любая деталь становится мертвой буквой.С этой точки зрения написана моя маленькая работа, и в этом-то и состоит ее интерес.
Если бы мне удалось больше поработать в области сравнительной анатомии и естествознания, она стала бы еще живее.
К сожалению, я могу бросить только беглый взгляд на природу; а без изучения писателей, работавших в этих областях. многого не сделаешь; придется с этим повременить, пока судьба не дарует мне отставки или почетного отдыха.
…Меня радует, что голос человеческий пришел сюда из чужих краев, и я желаю тебе постоянной охоты и любви к познаванию объектов природы.
Если в старые времена, когда люди лепились к земле, было благодеянием указать им небо, направить их внимание на

духовное начало, то теперь—еще большая заслуга привлечь их обратно на землю, слегка преуменьшив эластичность их привязных воздушных шаров.

Ф.-Г. ЯКОБИ

Ильменау, 9 июня 1785 г.

Мы уже давно получили и прочли твою работу. Я упрекаю себя и Гердера за то, что мы так долго медлили с ответом; но ты простишь нам,— я лично очень неохотно рассуждаю о таких материях в письме, более того: это для меня почти невозможно.

В одном мы с ним сошлись с первого же взгляда, а именно, что представление об учении Спинозы, которое ты даешь, гораздо ближе, чем можно было ожидать, соприкасается с тем, которое мы себе о нем составили, судя по твоим устным высказываниям, и я думаю, что в личной беседе мы придем к полному согласию.

Основой спинозовского учения ты признаешь высшую реальность, на которой зиждется все остальное, из чего все остальное вытекает. Он не стремится доказать бытие божие — бытие и есть бог,— и если другие ругают его за это атеистом, то я бы за это же хотел прославлять его, называя богоугоднейшям, даже христианнейшим.

Я начал писать тебе уже две недели назад, копию твоего трактата я взял с собой в Ильменау, где не раз заглядывал в него, но что-то меня останавливало, и я ничего не мог тебе сказать. Теперь твое грозное письмо настигло меня здесь и уже своими печатями и надписью пробудило мою совесть.

Прости меня за то, что я так охотно молчу, когда речь заходит о высшем существе, которое я познаю только вникая a rebus singularibus или исходя от них; а к ближайшему и наиболее глубокому рассмотрению его никто не может побудить больше, чем сам Спиноза, хотя от его взора все частное как будто и ускользает.

Я не могу сказать, что когда-либо читал по порядку произведения этого замечательного человека, что в душе обозреваю все здание его мыслей. Мои представления и мой образ мыслей мне этого не дозволяют. Но когда я вглядываюсь попристальнее, мне кажется, что я понимаю его, т. е. он никогда не стоит в противоречии со мною самим, и я могу почерпнуть из него много полезного для моих идей и образа действий.

Поэтому мне трудно сравнивать то, что ты о нем говоришь, с ним самим. Слово и мысль у него так органически слиты, что когда употребляются не его собственные слова, мне начинает

казаться, что и речь идет о чем-то другом. Как часто тебе случается цитировать его мысль не целиком. Ты преподносишь его учение в других словах и в другом порядке, и мне кажется, что высшая последовательность всех тончайших Оттенков мысли, таким образом, нередко оказывается нарушенной.

Прости меня, никогда не претендовавшего на умение метафизически мыслить, за то, что я, после столь долгого молчания, не могу написать подробнее и лучше. Сегодня я напомню об этом Гердеру и надеюсь, что у него выйдет удачнее.

Я здесь в горах и среди гор отыскиваю божественное начало in herbis et lapidibus.

Ф.-Г. ЯКОБИ

Веймар, 21 октября 1785 г.

Прости меня за то, что я больше ничего не писал тебе о твоей книжке. Я не хочу ни важничать, ни казаться безразличным. Ты знаешь, что я держусь в этом вопросе иного мнения. Для меня спинозизм и атеизм два различных понятия; то, что я, читая Спинозу, могу толковать его, только исходя из собственных представлений, и то, что я не овладел его учением о природе, мне не мешает, когда надо назвать книгу, среди всех мне знакомых, наиболее полно совпадающую с моими убеждениями, назвать его «Этику».

Я также не могу с одобрением отнестись к тому, как ты под конец обходишься со словом «веровать»; тебе, по-моему, не пристала манера, подобающая софистам от богословия, которым в высшей степени важно затемнить всякую определенность знания, затянуть ее туманом их колеблющегося пустого царства, ибо основы правды они все равно потрясти не могут.

Тебе же, которому важна правда, нужно приложить усилия к тому, чтобы выражаться с должной определенностью.

Ф.-Г. ЯКОБИ

Ильменау, 5 мая 1786 г.

Если чувство собственного достоинства проявляется в презрении к другим, нижестоящим, оно внушает отвращение. Легкомысленный человек может высмеивать других людей, унижать их, от них отворачиваться, потому что он без уважения "относит-

ся к себе. Тот же, кто 'имеет основания ценить себя, не вправе недооценивать других. Да и кто мы такие, чтобы сметь возвышаться над прочими людьми?

Г. КАСТЕЛЮ ГАНДОЛЬФО

12 октября 1787 г.

С Гердером мне хотелось бы поговорить о его «Боге». Особенно надо мне отметить один пункт: эту книжку принимают, подобно другим, за кушанье, тогда как она является, собственно, блюдом. Кому нечего класть на него, находит его пустым. Позвольте мне привести еще одну аллегорию; Гердер лучше всего объяснит ее. С помощью рычага и валиков можно передвигать порядочные тяжести; но чтобы сдвинуть части обелиска, употребляют ворот, полиспаст и т. д. Чем больше тяжесть или чем тоньше задача, как, например, в часах, тем сложнее, тем искусственнее будет механизм, и все-таки он будет обладать внутри величайшим единством. Таковы все гипотезы или, лучше сказать, все принципы. Кому не нужно много двигать, тот берется за рычаг и пренебрегает моим полиспастом; на что каменотесу бесконечный винт? Если Лафатер тратит всю свою силу на то, чтобы превратить скачку в правду, если Якоби изводится над задачей обожествить пустое ощущение детского мозга, если Клаудиус хочет стать евангелистом, то очевидно, что они должны отворачиваться от всего, что ближе раскрывает недра природы. Неужели один стал бы безнаказанно говорить: «Все, что живет, живет в силу чего-либо, вне его находящегося», неужели другой не стыдился бы путаницы понятий, смешения слов знание и вера, предание и опыт, неужели третий не был бы вынужден упасть на несколько ступеней ниже, если бы они не силились изо всей мочи расставить кресла вокруг престола агнца, если бы они самым тщательным образом не остерегались вступать на твердую почву природы, где каждый есть то, что он есть, и ничто больше, где все мы имеем равные притязания... Итак, если в чем и есть недостаток, то не в товарах, а в покупателях, дело не за машиной, а за теми, кто умеет ею пользоваться. Я всегда с внутренней усмешкой смотрел, как они считали меня неполноправным в метафизических беседах; но так как я— художник, меня это мало трогает. Пожалуй, мне даже выгоднее, чтобы оставался в тайне принцип, исходя из которого и посредством которого я работаю. Я оставляю каждому его рычаг, а сам давно уже пользуюсь бесконечным винтом, теперь же — еще с большей радостью и большим удобством.

ШТЕЙН

2 февраля 1789 г, Что касается лично меня, то я, правда, более или менее держусь учения Лукреция и замыкаю все свои притязания в круг жизни; однако меня всегда чрезвычайно радует и утешает, когда я вижу, что нежным душам всематеринская природа дает услышать в колебаниях своих гармоний также и чуть слышные более нежные звуки и отзвуки, и столь различными путями дарит конечному человеку чувство вечного и бесконечного.

Ф.-Г. ЯКОБИ

29 декабря 1794 г.

Схватить явления, фиксировать их в эксперименты, упорядочить данные опыта и ознакомиться с воззрениями относительно них; быть в первом возможно внимательнее, во втором — возможно точнее, в третьем достигнуть полноты ив четвертом остаться достаточно многосторонним — для этого нужна такая разработка нашего бедного я, о возможности которой у меня раньше и понятия не было.

Ал. ГУМБОЛЬДТУ

18 июня 1795 г.

Так как ваши наблюдения исходят из элемента, мои же — из формы, то нам нужно только посторониться, чтобы сойтись посередине.

В. ГУМБОЛЬДТУ

3 декабря 1795 г.

Нам, приверженцам здорового человеческого рассудка, очень приятно, когда спекулятивное так близко пододвигают нам, что мы можем сразу пользоваться им для домашнего обихода. Так как в моих физических и естественноисторических работах все сводится к тому, чтобы по возможности очистить и отделить чувственное созерцание от мнения, то я приветствую всякое относящееся сюда указание, тем более, что созерцание, поскольку оно заслуживает этого имени (а его следует тщательно отличать от смотрения), само, в свою очередь, субъективно, и подвержено всяким опасностям.

Ф.-Г. ЯКОБИ

1796 г.

Ты уже не нашел бы меня таким упорным реалистом... мне приносит великую пользу то, что я несколько ближе познакомился с другими способами мышления: хотя они и не могут стать моими собственными, тем не менее я чрезвычайно нуждаюсь в них для практического употребления, как в дополнении к моей- односторонности... Особенно теперь важно развитие субъекта, так чтобы он возможно чаще и глубже схватывал предметы.

ШИЛЛЕРУ

Веймар. 30. июля 1796 г.

Наблюдать над растениями и насекомыми я продолжаю, и весьма удачно. Я считаю, что если правильно схватываешь самый принцип непрерывности и легко умеешь им пользоваться, то ничего больше не требуется ни для открытий, ни для трактования органической природы. Испробую его теперь также на элементарной и газообразной природе, и некоторое время он послужит мне рычагом и рукояткой в трудных моих предприятиях.

ЗЕММЕРИНГУ

28 августа 1796 г.

Конечно, из дружеского чувства к Вам и из благодарности за то превосходное и многостороннее поучение, которое я извлек из Ваших сочинений, мне следовало раньше дать отчет о впечатлении, произведенном Вашей книгой об органе души на меня и в моем кругу; и однако, я даже сейчас, решившись высказаться о ней, не в состоянии дать ничего цельного: время в своем беге так захватывает нас, что нечего и думать сколько-нибудь освободиться; а писание писем и рецензирование никогда не были моей сильной стороной.

Скажу сразу, что своим превосходным наблюдениям и сопоставлению такого количества опытных данных и сведений Вы, на мой взгляд, повредили заглавием и методом, который Вы выбрали; первое приводит в смущение физиолога и философа, второй же, как только он в таких вопросах становится догматичным, возбуждает недоверие, и каждый сейчас же настораживается. Всякая идея относительно предметов опыта является как бы органом, 'которым я пользуюсь, чтобы схватить эти предметы, чтобы присвоить их себе. Идея может быть для меня удобной, я могу показать другим, что и для них она будет такой же:

но на мой взгляд очень трудно, пожалуй, и совсем невозможно доказать, что она действительно согласуется с объектами и должна совпасть с ними. Если бы Вы оставили в покое философов, игнорировали всю их деятельность и твердо держались изображения природы, то никто не мог бы ничего возразить, напротив, каждый отнесся бы с безусловным уважением к Вашим усилиям. Если бы у меня спросили совета, я предложил бы назвать Ваш труд: «О мозговых окончаниях нервов»... Быть может, вопрос; можно ли признать a priori, что влага мозговых полостей содержит общее чувствилище sensorium commune, лучше было бы обойти, так как a priori ни о мозговых полостях, ни об их жидкости ничего нельзя знать... При этом я все же советовал бы приступить к делу как убеждающий, а не как доказывающий, тем более, что в § 27 сами Вы признаетесь, что дальнейшие ваши рассуждения не обладают той логической принудительностью, как изложенное перед этим. Тогда иной, прочитав Ваше сочинение, сказал бы: да, я прекрасно могу представить себе, что общее чувствилище находится во влаге мозговых полостей; другой стал бы уверять, что его мысль отказывается следовать за этой идеей; третий оставил бы этот вопрос под сомнением; и для всех Ваше сочинение обладало бы одинаково значительной и определенной ценностью,— каждый должен был бы поблагодарить за те многообразные сведения, которые он извлек оттуда. Теперь же каждый более или менее начеку по отношению к Вам, и большинство полагает, что обязано полемизировать с Вами. Так, meo voto (на мой взгляд), вам не следовало также говорить о душе: философ о ней ничего не знает, а физиологу не нужно бы и упоминать о ней.

Вообще Вы не выиграли от того, что замешали в дело философов; этот сорт людей понимает, быть может, лучше, чем когда бы то ни было, свое ремесло и с полным правом строго и неумолимо практикует его, резко отмежевавши свою область; почему бы и нам, эмпирикам и реалистам, не знать своего круга и не понимать своей выгоды, не оставаться дома и работать для себя? и разве только изредка заглядывать в школу этих господ, чтобы послушать, как они критикуют те душевные способности, с помощью которых мы вынуждены схватывать предметы.

ШИЛЛЕРУ

15 ноября 1796 г.

Размышления в области природы очень меня радуют. Кажется странным, и однако это естественно, что в конце концов должно получаться некоторого рода субъективное целое.

Возникает, если хотите, собственно мир глаза, который исчерпывается формой 1и цветом. Ибо если внимательнее присмотреться, я очень скудно пользуюсь помощью остальных чувств, и всякое рассуждение превращается в своего рода описание.

КНЕБЕЛЮ

28 марта 1797 г.

...Прибавь к этому, что Фихте начинает издавать в «Философском журнале» новое изложение своего «Наукоучения» и что я при спекулятивной тенденции того круга, в котором живу, по крайней мере в общем должен принимать в этом участие -легко поймешь, что иной раз голова идет кругом...
и ты

МЕЙЕРУ

18 апреля 1797 г.

Для нас, рожденных собственно художниками, как умозрение, так и изучение элементарной физики остаются ложными тенденциями, от которых, правда, нельзя уклониться, так как все окружающее склоняется и властно стремится в эту сторону.

ШИЛЛЕРУ

17 августа 1797 г.
Я напал на мысль, которую — ввиду того, что она может приобрести значение для всего • моего путешествия — я тотчас же сообщаю Вам, чтобы узнать ваше мнение, насколько она верна, и хорошо ли я поступаю, отдаваясь ее руководству. Идя своим спокойным и холодным путем наблюдения, даже просто рассматривания, я вскоре заметил, что мой способ воспринимать и понимать известные предметы отличался своего рода сентиментальностью; это так меня поразило, что я тотчас стал искать причину и нашел следующее: то, что я в общем вижу и испытываю, отлично примыкает ко всему остальному, мне известному, и не является для меня неприятным, так как вносит свою лепту в общую массу моих знаний и помогает увеличивать жизненный капитал. Но в течение всего путешествия, я не мог бы указать ничего, что дало бы мне какое-либо подобие чувства: сейчас я спокойнее и безмятежнее, чем когда бы то ни было, при самых обычных обстоятельствах и случаях. Откуда же эта кажущаяся сентиментальность, которая тем более меня поражает, что я уже давным-давно не ощущал и следа ее а своем существе, .вне по

этического настроения? Уже нет ли и здесь поэтического настроения, вызванного предметом не вполне поэтическим, благодаря чему создается некое промежуточное состояние?

Ввиду этого я стал точно наблюдать предметы, которые оказывают такое действие, и заметил, к своему удивлению, что они собственно символичны, т. е. (что пожалуй излишне прибавлять) это—выдающиеся случаи, которые в характерном многообразии являются представителями многих других, содержат в себе некую цельность, влекут за собою известный ряд, возбуждают в моем уме сходное и чуждое, и таким образом и извне, и изнутри притязают на известное единство и общность. Они являются, стало быть,— подобно счастливой теме для поэт а,— счастливыми предметами для человека, и так как, относя их к самому себе, им нельзя придать поэтической формы, 'им приходится придавать форму идеальную, человеческую в высшем смысле, что обозначали также столь злоупотреблявшимся выражением «сентиментальный»...

До сих пор я нашел только два таких предмета: площадь, на которой я живу. и которая и своим положением и всем, что на ней происходит, каждый момент символична, 'и усадьба моего дедушки — дом, двор и сад,— которая из самых ограниченных патриархальных условий, в каких жил старинный франкфуртский староста, превращена умными, предприимчивыми людьми в полезнейший склад товаров... Вы поймете легко, что он должен выступить, особенно в моих глазах, более чем в одном смысле, как символ многих тысяч других случаев в этом промышленном городе... Выскажите мне в хорошую минуту свои мысли на этот счет, чтобы расширить, укрепить, усилить и порадовать меня. Этот вопрос мне очень важен, так как он сразу устраняет противоречие, которое было между моей натурой и непосредственным опытом и которого я прежде никогда не мог разрешить,—и притом устраняет удачно; ибо, должен признаться вам, я предпочел бы сейчас же вернуться домой, чтобы порождать из своих недр всякого рода фантомы, чем снова, как раньше (раз уж мне не дается перечисление всего единичного), сражаться с миллионноголовой гидрой эмпирии: кто не ищет у нас наслаждения или выгоды, пусть лучше вовремя отстранится от нее...

ШИЛЛЕРУ

12 сентября 1797 г.

Неожиданно странное впечатление произвело на меня здесь маленькое сочинение Канта, с которым Вы, конечно, тоже знакомы: «Возвещение о близком заключении трактата .о вечном мире

в философии». Очень ценное порождение известного его образа мыслей, которое, как и все его произведения, содержит прекраснейшие места, но и по композиции и по стилю оно более кантовское, чем сам Кант. Мне доставляет большое удовольствие, что его так раздражали наши важные философы и проповедники предрассудков и что он всеми силами на них ополчается.

ШИЛЛЕРУ

Стэфа, 14 октября 1797 г.

Тут лишний раз убеждаешься, что полный опыт должен включать в себя и теорию. Мы тем больше можем быть уверены, что встречаемся в центральном пункте, если приходим к нему со столь разных сторон.

ШИЛЛЕРУ

Веймар, 6 января 1798 г.

По поводу книги Шеллинга у меня возникли опять разные мысли, о которых хочется поговорить подробнее. Я охотно допускаю, что природа, познаваемая нами, не есть природа, но что она воспринимается нами лишь сообразно известным формам и способностям нашего духа. От вожделения ребенка к яблоку на дереве до падения этого яблока, породившего в Ньютоне идею его теории, можно, конечно, насчитать очень много последовательных ступеней созерцания, и было бы весьма желательно, чтобы нам их отчетливо указали и вместе с тем разъяснили, где здесь высший предел. Трансцендентальный идеалист, конечно, уверен, что он стоит выше всех; одно только мне не нравится в нем: он оспаривает другие воззрения, тогда как ни с одним видом воззрения спорить нельзя. Кто сможет разубедить некоторых людей в целесообразности организмов по отношению к внешнему миру, если ежедневный опыт подтверждает это учение и не так-то легко отделаться мнимым объяснением этих чрезвычайно сложных явлений? Вы знаете, как я держусь за понятие целесообразности организмов по отношению к внутреннему миру, и все же нельзя отрицать известной обусловленности извне и известного отношения к внешнему миру, через которое мы опять более или менее приближаемся к тому воззрению, так же как не можем обойтись без него при словесном изложении. Равным образом, как бы ни оборонялся идеалист от вещей в себе, он все же наткнется, сам того не ожидая, на

вещи вне его, и, мне кажется, при первой же встрече они станут ему поперек дороги, как китайцу жаровня. Мне всегда хочется думать, что если одна сторона никогда не может извне добраться до духа, другая изнутри едва ли достигнет тела, и потому всегда правильно будет оставаться в философском естественном состоянии и наилучшим образом пользоваться своим нераздельным существованием, покуда философы, наконец, не договорятся, как можно было бы воссоединить то, что они разъединили.

ШИЛЛЕРУ

Веймар, 13 января 1798 г.

...Благодаря неуклонному движению вперед и скромным своим .наблюдениям я настолько отошел от упорного реализма и застывшей объективности, что могу подписаться под Вашим сегодняшним письмом, как под собственным своим символом веры. Посмотрим, буду ли я в состоянии своей работой практически исповедать это мое убеждение.

ШИЛЛЕРУ

Веймар, 20 января 1798 г.

Прилагаю беглый набросок к истории учения о цветах. Он даст Вам возможность сделать прекрасные наблюдения над развитием человеческого духа; он вращается в одном определенном кругу, пока не исчерпает его. Как Вы увидите, все вертится вокруг обычной, лишь выражающей данное явление эмпирии ц вокруг доискивающегося причин Рацио; попыток чистого сопоставления явлений немного. Итак, уже сама история предписывает нам, что мы должны делать. Выполнение этого сулит нам немало интересного. Помогите мне в продолжении этой работы.

ШИЛЛЕРУ

Веймар, 10 февраля 1798 г.

То, что в теории кажется нам столь поразительным, на практике мы видим ежедневно. Как часто бывает принужден человек закрывать глаза на обстоятельства, которые ему противоречат, лишь бы только выдвинуть вперед свою ограниченную, беспомощную личность. С каким упорством стоит он на своем, если не верят его воззрениям!

И все же корни этого упорства уходят в более глубокую, лучшую сторону человеческой природы, ибо практически человек

всегда должен быть активен; всегда должен заботиться не о том, что могло бы произойти, а о том, что должно произойти. Но последнее — идея, человек же конкретен в конкретном своем состоянии; вот и продолжается вечный самообман ради того, чтобы конкретному оказать честь, провозгласив его идеей и т. д.; в одном из предшествующих писем я уже касался этого пункта, который на практике так часто заставляет нас изумляться, но, будучи обнаружен у других, приводит нас в полное отчаяние.

Тем ценнее для меня поэтому философия, ежедневно учащая меня отвлекаться от самого себя, что для меня вполне возможно, ибо моя природа так же легко и быстро воссоединяется, как отделенные друг от друга шарики ртути. Ваш пример оказывает мне при этом прекрасную помощь, и я надеюсь вскоре дать повод для новых наших бесед своей схемой учения о цвете.

ШИЛЛЕРУ

Веймар, 14 февраля 1798 г.

Прямо невероятно, до чего отстала наука из-за того, что ученые всегда исходили только из удовлетворения отдельных практических нужд, в частностях подолгу задерживались на отдельных пунктах, а в обобщениях чрезмерно спешили с гипотезами И теориями. И все же нельзя не восхищаться, как ум человеческий, проходя сквозь все препятствия, добивается своих неотъемлемых прав и стремится к невозможному, казалось бы, согласованию идей и предметов.

ШИЛЛЕРУ

. 5 мая 1798 г.

Моего «Фауста» я значительно продвинул вперед. Старая, почти истлевшая, чрезвычайно спутанная рукопись переписана, ее части обособлены и распространены по номерам подобной схемы; ныне я могу в любой момент воспользоваться настроением для дальнейшей обработки отдельных частей и рано или поздно объединить их в целое.

Удивительная вещь обнаруживается при этом: некоторые трагические сцены, написанные прозой, по своей натуральности и силе совершенно нетерпимы рядом с другими.

Поэтому я стараюсь теперь перекладывать их в стихи, ибо тогда идея просвечивает как бы сквозь дымку и непосредственное действие могучего материала Приглушается.

ШИЛЛЕРУ

Веймар, 30 июня 179S г.

Вы затронули один весьма важный пункт: трудность для практического творчества извлекать какую-либо пользу из теоретического. Я действительно думаю, что между теорией и практикой, как только начинаешь рассматривать их раздельно, нельзя установить никакой связи и что они лишь тогда связаны, когда с самого начала действуют неразрывно, что гению присуще в любой области.

Сейчас я как раз нахожусь в таком положении относительно натурфилософов, которые желают вести свои работы сверху вниз, и относительно естествоиспытателей, которые хотят вести их снизу вверх. Я вижу свое благо только в созерцании, а оно лежит посредине. За последние дни у меня явилось много мыслей по этому поводу, которые я хочу сообщить Вам при первой же нашей встрече. Они, надеюсь, будут полезны, особенно как регулятивные, и дадут нам случай быстро обозреть область физики на свой собственный лад. Мы рассмотрим последовательно главу за главой.

ШИЛЛЕРУ

Веймар, 8 декабря 1798 г.

Астрологическое суеверие основано на смутном чувстве некоего огромного мирового целого. Исследование говорит, что ближайшие светила оказывают определенное влияние на погоду, произрастание и т. д.; стоит только начать восходить постепенно все выше и выше, и тут уж нельзя будет сказать, где прекращается это влияние. Ведь обнаруживает же астроном повсюду нарушения покоя одного светила, вызванные другими; ведь бывает же склонен и даже вынужден философ признать действие на отдаленнейшем расстоянии; так и человек должен в собственном предчувствовании только идти все дальше, и он легко распространит это воздействие и на область нравственного, на счастье и несчастье. Такие и сходные мечтания мне не хотелось бы называть суеверием; они свойственны нашей натуре, допустимы и извинительны, как и любая вера.

МАРКСУ ЯКОБИ

16 августа 1799 г.

...Только масса опытных данных дает суждению повод образоваться, и только эта масса вынуждает нас покинуть односторонность, в которой так охотно и долго удерживают нас

теория, традиция и собственная природа...Я все продолжаю свое наблюдение природы, на том пути, который вы знаете. За последнее время я особенно пытался доработаться до метаморфоза насекомых. И здесь нужно, если не хочешь заблудиться в этом лабиринте, мысленно остановить в возможно большем числе точек простое непрерывное шествие организующей природы и разделить неделимое. Наблюдение не так трудно, хотя оно и требует большой внимательности; но способы представления, с помощью которых можно схватить эти действия природы, лежат, быть может, за пределами обыденного человеческого рассудка; а философы, с своей стороны, еще не подошли достаточно близко к этой области, чтобы дать нам — не философам — такие орудия, с помощью которых мы могли бы захватывать больше 'в наших исследованиях. Не остается, поэтому, 'ничего иного, как делать то, что делали наши предки: не действовать и не наблюдать без мышления и не мыслить без действия и наблюдения; больше того, привыкнуть к тому, чтобы могла проявляться вся наша природа, со всеми ее способностями, взятыми вместе и поодиздочке, как уж там придется.

В. ГУМБОЛЬДТУ
Веймар, 16 сентября 1799 г.

О том, что Фихте оставил Иену, Вы, верно, уже знаете. Сначала они выкинули нелепую штуку, поместив в философском журнале статью, написанную на принятом теперь языке. Так как Фихте был неправ, то он под конец еще нагрубил правительству, а потому и получил отставку. Сейчас он находится в Берлине.

Вообще же мне кажется, что эта школа, во всяком случае для современности, сулит мало радости и пользы. Эти господа постоянно пережевывают свой собственный вздор и суматошатся вокруг своего «я». Им это, может быть, по вкусу, но не нам, остальным.

Кант тоже высказался теперь против Фихте, заявив, что его учение несостоятельно, посему эта школа 'в высшей степени неуважительно отзывается о старике.

Гердер в своей метакритике тоже ополчился против Канта, вследствие чего, как и полагается, возникли всевозможные свары.

Больше мне рассказывать не о чем; вы видите, что' над немцами опокон веков тяготеет проклятие — жить 'в киммерийских ночах умозрения.

Ф.-Г. ЯКОБИ

2 января 1800 г.

С того времени, 'как мы непосредственно не соприкасались, я сделал немало приобретений в духовном развитии. Прежде решительная ненависть к фантазерству, лицемерию и притязательности часто делала меня несправедливым также и к подлинно хорошему в человеке, которое в опыте, правда, не может совсем чисто проявиться. Этому, как и многому другому, учит нас время, и начинаешь понимать, что истинная оценка невозможна без снисхождения. С очень приятным чувством работаю я теперь над учением о цветах... Работа еще велика... Впрочем, она принесла мне большую пользу, так как я был принужден при этом стать лицом к лицу как с опытом, так и с теорией и поэтому должен был стремиться одинаково развиваться в обе стороны. Мне помогло при этом то, что я издавна, при созерцании предметов, лучше всего чувствовал себя на генетическом пути, так что мне не могло быть трудным подняться до динамического способа представления, который так прекрасно двигает нас вперед при наблюдении природы.

ШЕЛЛИНГУ

Иена, 27 сентября 1800 г.

С тех пор как я был принужден оторваться от традиционного естествознания и, предоставленный самому себе, блуждаю, как монада, по духовным областям науки, я редко испытывал влечение к той или иной теории; но к Вашей я несомненно испытал его. Я мечтаю о полном единении с Вами, которого надеюсь добиться изучением Ваших трудов или, что было бы еще приятнее, личным с Вами общением, а также развитием собственных данных, и это единение будет тем совершеннее, чем медленнее я буду вынужден к нему приблизиться, чем тверже я сохраню при этом свои собственные взгляды.

Г-н доктор Нитгаммер любезно взялся облегчить мне уразумение системы трансцендентального идеализма, и таким образом я смогу все лучше усваивать дедукцию динамического процесса. Только тогда я буду вправе высказывать свое одобрение или неодобрение по поводу отдельных его положений.

Ф.-Г. ЯКОБИ

23 февраля 1801 г.

Как я отношусь к философии, ты тоже легко можешь себе представить. Когда она налегает преимущественно на разъединение, я не в состоянии справиться с ней, и могу даже сказать: она подчас вредила мне, мешая мне подвигаться по присущему мне от природы пути; но когда она соединяет, или вернее, когда она повышает и удостоверяет наше изначальное ощущение, по которому мы составляем одно с природой, и превращает его в глубокое, спокойное созерцание, в непрерывном, которого мы чувствуем божественную жизнь, хотя нам и не дано вести 'ее, тогда я приветствую ее; и по этому ты можешь судить о моем участии в твоих работах.
С тех пор как Гимли (офтальмолог) в Иене, я несколько раз был там и видел его. В общем он мне нравится, я читал также некоторые его вещи, где он, по-видимому, стоит на хорошем пути. Только из его речей можно, мне кажется, заключить, что у него некоторое отвращение к философии, что рано или поздно послужит ему во вред.
— В каждом адепте опыта — а такой адепт ведь всегда, раз из него получается что-нибудь дельное, есть philosophe sans Ie savoir (философ, сам того не зная) — я допускаю своего рода опасливость по отношению к философии, в особенности когда она проявляется так, как в настоящее время; но эта опасливость не должна вырождаться в отвращение, а должна разрешаться в спокойную и осторожную склонность. Если этого нет, открывается, не успеешь и оглянуться, путь к филистерству, на котором хорошему уму приходится тем хуже оттого, что он так неловко избегает хорошего общества, тогда как оно и могло бы помочь ему в его стремлении.

ШИЛЛЕРУ

Обврросла, 6 апреля 1801 г.

Что касается вопросов, которых касается Ваше последнее письмо, то я не только одного с Вами мнения, но иду еще дальше. Я думаю: все, что гений делает как гений, происходит бессознательно. Человек, обладающий гением, может поступать и рассудочно, обсудив вопрос, по убеждению; но все это делается лишь между прочим. Ни одно создание гения не может быть исправлено, освобождено от своих недостатков путем размышления и его ближайших результатов; но путем размышления и работы гений может постепенно так поднять себя, что станет, наконец, создавать образцовые вещи. Чем больше гениальности у самого века, тем больше благоприятных данных и у индивида.

ГЕНРИХУ СТЕФФЕНСУ

Иена, 29 мая 1801 г.

Вероятно, все согласны, что наблюдение над природой побуждает нас к мышлению, что ее многообразие заставляет прибегать ко всякого рода методам, чтобы хоть в какой-нибудь мере осмыслить ее; но лишь ограниченный круг людей сходится в том, что при изучении природы пробуждаются мысли, которым мы приписываем такую же или даже большую достоверность, чем самой природе, и которыми мы руководимся как производя изыскания, так и приводя в порядок свои открытия.

В то же время, когда я вступал на единственный признаваемый мною путь исследования природы, я был совсем одинок в обширном мире; и теперь, спустя много лет, я чувствую себя вознагражденным, оказываясь в обществе молодежи, которая быстрыми шагами движется в том же направлении и на единение с которой я вдвойне могу уповать, поскольку она, обогащенная неожиданными сокровищами, приходит из совершенно чуждых сфер и объединяется со мною без всякого предварительного сговора.

ШИЛЛЕРУ

19 февраля 1802 г.
С Шеллингом я провел хороший вечер. Большая ясность при большой глубине всегда радует. Я бы чаще видался с ним, если бы не опасение повредить поэтическому вдохновению; а философия разрушает у меня поэзию, я думаю, потому, что она загоняет меня в объект: я никогда не могу оставаться в области чистого умозрения, а должен тотчас же подыскивать к каждому изложению наглядное представление, и поэтому сейчас же ускользаю в царство природы.

ЦЕЛЬТЕРУ

4 августа 1803 г.
...Примите благосклонно мой генетический ход рассмотрения. Произведения природы и искусства нельзя изучать, когда они готовы; их нужно уловить в их возникновении, чтобы сколько-нибудь понять их.

ЭИХШТЕДТУ

Иена, 15 сентября 1804 г.
При строгом рассмотрении моего собственного пути в жизни и в искусстве, равно как и пути других людей, я часто

замечал, что то, что справедливо можно назвать ложным стремлением, является для индивидуума необходимым кружным путем, ведущим его к цели. Всякий отход от заблуждения мощно формирует человека в частном и в общем. И тут начинаешь понимать, почему для сердцеведа один раскаивающийся грешник милее девяноста девяти праведников. Более того: иногда сознательно стремишься к ложной цели, как лодочник, который борется с течением, хотя в сущности вся его забота сводится к тому, чтобы причалить к противоположному берегу.

Ф.-Г. ЯКОБИ

7 марта 1808 г.

Так как я теперь привожу в порядок и редактирую мои материалы по истории учения о цвете, мне невольно приходится углубляться в историю искусства, науки и мира вообще. И вот мне сдается, что во времена, которые нам кажутся тупыми и безгласными, человечество пело такие громкие гимны, что им охотно внимали бы и боги. Для меня эти темные, глубокие, мощные деяния всегда представляют чудесное зрелище. Как прекрасны кажутся тогда отдельные народы и поколения, которые поддерживают и распространяют священный огонек самосознания. Как чудесны люди, в которых вновь загорелось это пламя! Так я проникся безусловным уважением к Роджеру Бэкону; и, напротив, его однофамилец, канцлер, кажется мне Геркулесом, очистившим конюшню от схоластического навоза лишь для того, чтобы ее заполнить навозом экспериментализма.

ШЛИХТЕГРОЛЛЮ

31 января 1812 г.

Передайте сердечный привет моему другу Якоби. Я прочел его сочинение с большим участием и даже перечел его. Он отстаивает убеждения и интересы той стороны, на которой он стоит, с такой же проницательностью, как и любовью и теплотой, а это должно быть в высшей степени желанным также и тому, кто, стоя на другой стороне, рассматривает свое отражение в таком верном, глубоко и благородно мыслящем друге. Правда, он, как говорится, слишком третирует нашу дорогую природу, но я не вменяю ему этого в вину. Согласно его натуре и тому пути, по которому он с самого начала шел, его бог должен был все больше отделяться от мира, тогда как мой все более сливается с ним. И то и другое совершенно в порядке ве-

щей; именно таким путем и идет развитие человечества: как во многих вещах одно противостоит другому, так существуют антиномии убеждения. Их изучение доставляет мне величайшее удовольствие, с тех пор как я обратился к науке и ее истории.

КНЕБЕЛЮ

8 апреля 1812 г.

Что Якоби так кончит и должен кончить — это я давно предвидел. Я сам достаточно вытерпел от его ограниченного и все-таки всегда подвижного существа. У кого не умещается в голове, что дух и материя, душа и тело, мысль и протяжение, или (как гениально выражается один наш современник француз) воля и движение—были, суть и будут необходимыми парными составными частями вселенной, которые требуют обе равных прав и потому, взятые 'вместе, могут быть рассматриваемы как наместники бога,— кто не может возвыситься до этого представления, тому давно бы уж надо оставить в покое мышление и тратить свои дни на пошлые светские сплетни. Кто, далее, не дошел до понимания того, что мы, люди, поступаем и должны поступать односторонне, но что наша односторонняя деятельность должна быть направлена только на то, чтобы с нашей стороны проникнуть на другую сторону, по возможности, даже пройти ее насквозь до самых антиподов и, вынырнув там, оказаться опять на ногах,— тому не следовало бы задавать такой высокий тон. Но последний и является как раз следствием указанной ограниченности.

Что же касается доброго сердца и, прекрасного характера, то скажу только одно: мы поступаем хорошо собственно лишь постольку, поскольку мы знакомы с самими собою; темнота относительно нас самих едва ли дает нам как следует делать хорошее, а это все равно, как если бы хорошее не было хорошим. Самомнение же несомненно ведет нас к злому, а когда оно безусловно, даже к дурному, причем нельзя прямо сказать, что человек, поступающий дурно, дурен.— Я не хочу вскрывать mysteria iniquitatis, как этот самый друг, .который, при постоянных заверениях в любви и сочувствии игнорировал и тормозил мои искреннейшие стремления, притуплял и даже сводил на нет их действие. Я многие годы сносил это, ибо — бог справедлив! — как сказал персидский посланник; и теперь меня, конечно, мало трогает, если его седая голова так злополучно сойдет в могилу. Ведь и в небожественной книге о божественных вещах есть резкие выпады против моих лучших убеждений, которые я открыто исповедую уже многие годы в моих статьях и сочинениях в области природы и искусства и которые я превратил >в руководя-

щую нить моей жизни и моих стремлений... И после всего этого я получаю экземпляр от имени автора и т. д. и т. д.

— Впрочем, нужно быть благодарным ему за то, что он выманил Шеллинга из стен его замка. Для меня его труд обладает величайшим значением, потому что Шеллинг никогда еще не высказывался так ясно; а мне как раз теперь, в моих настоящих думах и делах, очень важно ясно понять status controversiae между адептами природы и адептами свободы, чтобы — сообразно этому пониманию — продолжать свою деятельность в различных специальностях.

ЯКОБИ

10 мая 1812 г.

Твоя книжка появилась очень кстати, так как, уже по твоему предварительному сообщению, я предполагал узнать из нее твою точку зрения, которая оказывается столь неизменной, и в то Же время определить status controversiae иных философских споров, удивительный ход которых я сам с большей или меньшей внимательностью пережил. Эту выгоду я извлек из нее, за что и приношу тебе подобающую благодарность.

Однако я осквернил бы прежнюю чистоту и искренность наших отношений, если бы утаил от тебя, что сама книжка привела меня в довольно скверное расположение. Я, видишь ли, подобен эфесскому чеканщику, который всю свою жизнь провел в созерцании и почитании древнего 'храма богини, в воссоздании ее таинственных форм, и у которого не может пробудить приятного чувства, ко1да какой-нибудь апостол хочет навязать его согражданам другого, да к тому же еще 'бесформенного бога. И если бы я издал подобное же сочинение .во хвалу великой Артемиды (чего я, однако, не сделаю, так как принадлежу к тем, кто сам предпочитает оставаться в покое, да и народа не желает возбуждать), я выставил бы на оборотной стороне заглавного листа: «Научиться можно только тому, что любишь, и чем глубже и полнее должно быть знание, тем сильнее, могучее и живее должна быть любовь, более того — страсть».
— Ты избавишь меня, конечно, от дальнейших пояснений этого текста: так хорошо зная свою сторону, ты знаешь уже и то, что имеет сказать другая.
— Позволь мне в третьей части моего биографического опыта, говоря о тебе, упоминать только хорошее. Расхождение между нами было заметно уже довольно рано, и мы можем оставаться доброжелательными друг другу, хотя бы и не осуществлялась надежда, даже при возрастающем разномыслии, находить его нейтрализацию в симпатии и любви.

Б.-Г. НИБУРУ

Иена, 23 ноября 1S12 г.

Мой интерес к Вашим трудам все тот же, вернее, он все возрастает. Позвольте же мне вместо частного высказать общее суждение. Прошедшее может наглядно открыться нашему глазу и чувству благодаря сохранившимся рукописным памятникам, летописям, хроникам, документам, мемуарам и т. д. Они передают нечто непосредственное, восхищающее нас таким, как оно есть, и мы, в свою очередь, по множеству различных причин и побуждений стремимся передать его другим. Мы это делаем, •мы перерабатываем однажды данное, но как? —как поэты, как риторы. Так делалось спокон веков, и эти приемы обработки производят большее действие; они захватывают фантазию, чувство, они заполняют душу, укрепляют характер, побуждают нас к действию. Это второй мир, поглотивший первый. Представим же себе ощущение людей, когда этот мир рушится, а тот, другой, еще не вполне открывается нашему созерцанию.

Всякому, кто хочет вернуться к первичному созерцанию, в высшей степени желательна критика, которая разрушает все второстепенное и если и не может восстановить первичного, то все же воссоздает его хотя бы в фрагментах, давая почувствовать их взаимную связь. Но обыватели этого не хотят, и они правы.

Позвольте мне перенестись через пропасть. Если бы мы жили вместе, если бы я имел счастье уже несколько лет тому назад быть осведомленным о Ваших изысканиях, я посоветовал бы Вам назвать Ваш труд по образцу благородного и милого Сен-Круа: «Критика писателей, передавших нам римскую историю».

Но для меня книга есть книга, а заглавие, как Вам известно,— новейшее изобретение. Позвольте поэтому уверить Вас в моей радости, что Вы во всем, касающемся мира и народов, согласны со мною, примите мою благодарность за то, что Вы вновь сделали для меня удобоваримой римскую историю, ибо вменили себе в обязанность полностью осветить наиболее неподвижные, непроясненные ее эпохи. И какой разумный человек станет отрицать, что чувствует себя сбитым с толку в своих представлениях, когда вот такая стократная Илиада, со столь великолепными героями, включая сюда четыре тысячи Фабиев, за четыреста лет достигла только того, что город, государство, после бесконечных усилий справившееся с обывателями Вей, гибнет самым жалким образом под Аллией и все приходится начинать сызнова.

Если же взглянуть на дело ясно и отчетливо с Вашей позиции, то все это служит не к стыду, а к славе. Но перейду к следующему пункту.

Вы всю вину за движение вспять возлагаете на аристократов и становитесь на сторону плебеев: это и правильно, и позволительно бескорыстному исследователю в эпоху, когда уже нет ни тех, ни других.

И еще одно общее замечание, чтобы на этом покончить. Всякое зарождающееся государство—аристократично; оно может расширяться только благодаря массе, которую сдерживают и подавляют, покуда она не добилась равноправия; с этого момента обнаруживается потребность в монархии, которая, конечно, немедленно возникает, и тут все уже катится то вперед, то назад. И все эти три состояния (состояние — глупое слово, потому что ничто не стоит, все подвижно), все эти три формации как раз и страдают подвижностью, которой все хорошее и великое, равно как и все дрянное и негодное, должно идти на потребу, лишь бы предначертанное совершилось.

Ф.-Г.ЯКОБИ

Веймар, 6 января 1813 г.

Помыслы объединяют людей, взгляды разделяют. Первые нечто простое, и в них мы сходимся, последние нечто многообразное, и из-за них мы расходимся. Дружеские связи юности основаны на первых, в разногласиях старости повинны вторые. Поняв это своевременно, усвоив при выработке своего собственного мировоззрения широкие взгляды на чуждое и даже на противоположное, мы были бы гораздо терпимее и стремились бы воссоединить в помышлениях то, что разобщено взглядами.

Что касается меня, то я при многообразных направлениях моего существа не могу удовлетвориться единым мировоззрением; в качестве поэта и художника я политеист, в качестве естествоиспытателя — напротив, пантеист и в первом так же убежден, как и во втором. Если бог потребуется для меня как для нравственной личности, то отыщется и он. Небесные и земные вещи образуют царство столь обширное, что только органы всех существ в совокупности могут объять его.

Так, видишь ли, обстоит дело со мной и так, в тиши, действую я внутри себя и вовне, и мне хотелось бы, чтобы все поступали так же. Только в тех случаях, когда к тому, что представляется мне необходимым для моего бытия и деятельности, другие относятся как к чему-то неполноценному, бесполезному или вредному, я позволяю себе некоторое мимолетное недовольство, которого и не скрываю от моих друзей и близких. Но и оно скоро проходит, и хоть я и продолжаю упорно действовать на свой лад, я все же воздерживался и воздерживаюсь от всякого противодействия.

К. Г. ШЛОССЕРУ

Веймар, (25 ноября) 1814 г.

Однако и в" науке легко натыкаешься на скрытые препоны, так что человеку, занимающемуся ею при помощи тех методов, какими пользуюсь я, не раз приходится искать поддержку только в надежде на будущее. А в то же время склонность все переносить в область трансцендентального и мистического, где уже нельзя отличить пустого от содержательного, начала все больше отделять высшее, идеальное отношение к предмету от действительности, и всякий первичный образ, дарованный господом человеческой душе, стал невольно расплываться в тумане и грезах.

ПИСЬМО КАРУСУ И Д'АЛЬТОНУ

Веймар, 1826 г.

Когда я рассматриваю новейшие успехи естественных наук, я представляюсь самому себе путником, который, выйдя на заре, направился на восток, с радостью глядел на возрастающий свет, страстно ожидал появления великого огненного шара,— и вот, при его появлении все-таки принужден был отвратить глаза, неспособные вынести желанного и ожидаемого блеска.

Я ничуть не преувеличиваю, утверждая, что испытываю такое ощущение, рассматривая труд господина Каруса, прослеживающий зародыши всякого становления от самой простой до самой многообразной жизни и словом и образом раскрывающий великую тайну; что не возникает ничего, что не было бы заранее предвозвещено, и что предвозвещение становится ясным только в возникновении, как пророчество — в осуществлении.

Подобное же чувство пробуждается во мне, когда я рассматриваю работу д'Альтона, который изображает развившееся, и притом после его завершения и гибели, и в то же время в художественной форме ставит перед глазами самое внутреннее и самое наружное — остов и покров, и из смерти творит жизнь. Так и здесь я вижу, насколько подходит приведенная метафора. Я вспоминаю, как в течение полувека я на этом самом поприще неизменно подвигался вперед из мрака к сумеркам, потом к полусвету, пока мне не пришлось, наконец, испытать, как самый чистый свет, благодетельный для всякого познания и понимания, властно пробивается наружу, ослепляя, оживляет меня и, исполняя мои законные желания, вполне оправдывает мои страстные стремления.

ЦЕЛЬТЕРУ

31 декабря 1829 г.

Я заметил, что считаю истиной ту мысль, которая для меня плодотворна, примыкает к моему мышлению в его целом и в то же время толкает меня вперед; но ведь не только возможно, но и естественно, что к мыслям другого такая мысль не примыкает, что она не толкает его вперед, быть может, даже мешает ему, и тогда он будет считать ее ложной. Если основательно убежден в этом, то никогда не будешь вступать в споры!

ЦЕЛЬТЕРУ

9 июня 1831 г.

В Revue de Paris, № 1, 1 мая (третий год издания), есть замечательная статья о Паганини. Написал ее врач, много лет знавший и пользовавший его; этот врач очень умно показывает, как сами формы тела, пропорции членов определяют музыкальный талант этого замечательного человека, способствуют ему и прямо вынуждают осуществлять невероятное, даже невозможное. Нашего брата это возвращает к убеждению, по которому организм в своих детерминациях осуществляет удивительные жизненные откровения. Так как остается еще немного места, я запишу здесь одно из величайших изречений, которое оставили нам наши прапрадеды: «Животных учат их органы». Вспомнив, сколько остается в человеке от животного, вспомнив, что он обладает способностью учить свои органы,— все снова с удовольствием возвращаешься к этим мыслям.

В. ГУМБОЛЬДТУ

Веймар, 17 марта 1832 г.

После долгого невольного перерыва вот как я начинаю — да и то на скорую руку. Животных поучают их органы, говорили древние. Я присовокупляю: людей — тоже; но последним дано преимущество в свою очередь поучать эти органы.

Для всякого деяния, а потому и для всякого таланта необходимо прирожденное, что действует само по себе и бессознательно приносит с собой необходимые основы, а потому действует так непроизвольно, что хотя и подчиняется известному внутреннему закону, в конце концов все же может протечь бесцельно и бесполезно. Чем раньше человек поймет, что существуют навыки, что существует искусство, помогающее ему последо-

вательно совершенствовать свои природные способности, тем он счастливее. То, что он воспринимает извне, не вредит его прирожденной индивидуальности. Высший гений — это тот, кто все впитывает в себя, все умеет усвоить, не нанося притом ни малейшего ущерба своему подлинному, основному назначению, тому, что называют характером, вернее, только таким путем способный возвысить его, по мере возможности развить свое дарование.

И вот здесь-то проявляются многообразные связи между сознательным и бессознательным. Представим себе музыкальный талант, который должен создать большую партитуру. Сознание и бессознательность будут здесь относиться друг к другу, как письмо к конверту,— сравнение, которым я охотно пользуюсь. Органы человека благодаря упражнениям, учению, размышлениям, удаче и неудаче, побуждению и сопротивлению и опять-таки размышлениям бессознательно в свободной деятельности свяжут приобретенное с прирожденным, так что целое повергнет мир в изумление. Эти общие соображения послужат скорым ответом на ваш вопрос и объяснением возвращаемому листку.

Из «Разговоров с Гете» И. П. Эккермана [63]

Пятница, 2 января 1824 г.

«Эпоха «Вертера», про которую так .много говорилось, если всмотреться ближе, принадлежит не стадии развития мировой культуры, а жизненному развитию каждого отдельного человека, который с врожденными его природе свободными наклонностями должен найти себе место и приспособляться к гнетущим формам существования в устарелом мире. Разбитое счастье, разрушенная деятельность, неудовлетворенное желание — это несчастия не какой-либо особой эпохи, но каждого отдельного человека, и было бы плохо, если бы каждому не приходилось хоть раз в своей жизни переживать такую эпоху, когда «Вертер» воспринимается так, как будто он написан специально для него».

Воскресенье, 4 января 1824 г.

«В религиозных вопросах, в научных и политических — везде я испытывал неприятности из-за того, что не лицемерил и имел' мужество высказывать то, что думал.

«Я верил в бога и природу и в победу благородного над злым; но благочестивым душам этого было мало; я должен был еще верить, что три равно одному и одно трем. Но это противоречило стремлению к истине в моей душе. Я не вижу, к тому же, чтобы это могло быть мне хоть чем-нибудь полезным...

«А в вопросах политики! Сколько я здесь имел неприятностей, сколько выстрадал — нельзя и рассказать. Знакомы вы с моими «Возмущенными»?»

— Только вчера,— ответил я,— просматривая новое издание ваших произведений, я прочитал эту вещь и от всего сердца пожалел, что она осталась незаконченной. Но как бы то ни было, всякий благомыслящий человек разделит ваше настроение.

«Я написал ее во время Французской революции,— продолжал Гете,— и до известной степени в ней можно видеть мой политический символ веры того времени. В качестве представительницы знати я выставил графиню, и теми словами, которые я вложил в ее уста, я попытался высказать, как знать по-настоящему должна была бы думать. Графиня только что вернулась из Парижа; там она была свидетельницей революционных событий и извлекла из них для себя не плохие уроки. Она убедилась, что на народ можно давить, но его нельзя подавить, и что революционные восстания низших классов являются результатом несправедливости высших. На будущее время,— говорит она,— я буду тщательно избегать всякого поступка, который покажется мне несправедливым, и буду громко высказывать в обществе и при дворе свое мнение о такого рода поступках других. Ни об одной несправедливости я не стану более молчать, хотя бы меня и ославили демократкою.

«Я полагал,— продолжал Гете,— что такой образ мыслей во всяком случае респектабелен. Я разделял его в то время и разделяю его еще и теперь. В награду за это на меня посыпался град таких эпитетов, которых я не хотел бы повторять».

— Достаточно прочитать «Эгмонта»,— заметил я,— чтобы узнать, что вы думаете. Я не знаю другого немецкого произведения, в котором в защиту свободы народа было бы сказано больше, чем там.

«Предпочитают,— возразил Гете,— видеть меня не таким, каков я на самом деле, и отвращают взоры от всего того, что могло бы нарисовать меня в настоящем свете. Напротив, Шиллер, который, говоря между нами, был более аристократ, чем я, но гораздо тщательнее обдумывал свои слова, имел изумительное счастье прослыть особым другом народа. Я от всего сердца признаю за ним это, а себя утешаю тем, что и другим, жившим раньше меня, приходилось не лучше.

«Это правда, я не мог быть другом Французской революции. так как ее ужасы совершались слишком близко и возмущали меня ежедневно и ежечасно, тогда как ее благодетельных последствий в то время еще нельзя было разглядеть. Не мог я также равнодушно относиться к тому, что в Германии пытались искусственным путем вызвать такие же сцены, какие во Франции явились следствием великой необходимости.

«Но столь же мало был я другом произвола господствующих. Я был также вполне убежден, что во всякой великой революции виновен не народ, а правительство. Революции совершенно невозможны, если правительства всегда справедливы и всегда начеку, если они своевременными улучшениями предупреждают недовольство, а не сопротивляются до тех пор, пока необходимые меры не будут вынуждены давлением снизу.

«Так как я ненавидел революции, меня называли другом существующего; но это весьма двусмысленное наименование, и я хотел бы его от себя отклонить. Если существующее во всех отношениях хорошо и справедливо, то я ничего бы не имел против этого; но так как наряду с хорошим всегда существует много плохого, несправедливого и несовершенного, то друг существующего означает часто почти то же самое, что друг устарелого и негодного.

«Но время находится в вечном движении вперед, и дела человеческие каждые пятьдесят лет имеют новый вид: поэтому то учреждение, которое в 1800 г. было благодетельным, в 1850 г. станет, быть может, преступным.

«И опять-таки: для каждой нации лишь то хорошо, что проистекает из ее собственной внутренней сущности, из ее собственной общей потребности, без всякого обезьянничания со стороны. Ибо то, что для одного народа на известной ступени его роста может служить благодетельной пищей, для другого оказывается, быть может, ядом. Безумны поэтому все попытки ввести какое-нибудь иностранное новшество, потребность в котором не коренится глубоко в недрах собственной нации; и всякий революционный замысел этого рода останется без успеха. Ибо бог против такого рода бунтовщичества. Но если у народа имеется, действительно, потребность в великой реформе, то бог за него и реформа удается. Бог очевидно был на стороне Христа и его приверженцев, так как появление нового учения любви соответствовало потребности народов. Столь же очевидно, что он был с Лютером, так как очистка учения, изуродованного поповщиной, в не меньшей степени отвечала потребности народов. Но обе эти великие фигуры не были друзьями существующего. Наоборот, обе они были живо проникнуты убеждениями, что старая закваска должна быть выброшена и что в дальнейшем нельзя мириться с прежнею ложью, несправедливостью и пороками».

Среда, 25 февраля 1S24 г.

«У меня громадное преимущество,— продолжал он далее,— благодаря тому, что я родился в такую эпоху, когда имели место величайшие мировые события, и они не прекращались в тече-

ние всей моей длинной жизни, так что я живой свидетель Семилетней войны, отпадения Америки от Англии, затем Французской революции и, наконец, всей наполеоновской эпохи, вплоть до гибели героя и последующих событий. Поэтому я пришел к совершенно другим выводам и взглядам, чем это доступно другим, которые сейчас только родились и которые должны усваивать эти великие события из непонятных им книг.

«Трудно предсказать, что принесут нам ближайшие годы, но боюсь, что мы Не скоро придем к миру. Люди не умеют ограничивать свои желания. Великие мира сего не умеют обходиться без злоупотребления властью, а массы не желают, в надежде на постепенные улучшения, мириться с умеренным достатком. Если бы можно было сделать совершенным человечество, то можно было бы также создать совершенный порядок, но так как это невозможно, то предстоят беспрерывные потрясения; одна часть будет страдать в то время, как другая достигнет благосостояния; эгоизм и зависть, как два злых демона, никогда не прекратят своей игры, и борьба партий будет бесконечна.

«Самое благоразумное — каждому заниматься тем делом, для которого он родился и которому он обучился, и не мешать Другим делать свое дело. Пускай сапожник сидит за колодкой, крестьянин идет за плугом и правитель умеет управлять. Потому что это тоже ремесло, которому надо учиться и за которое не должен браться тот, кто не умеет этого делать».

Гете снова заговорил о французских газетах. «Либералы,— сказал он,— пусть ораторствуют, если они говорят разумные вещи, то их охотно слушают, но роялистам, в руках которых власть, речи ни к чему — они должны действовать. Пусть они посылают войска в походы, обезглавливают, вешают,— это правильно; но в открытой прессе оспаривать чужие мнения и оправдывать свои мероприятия — это им не к лицу. Если бы существовала публика, состоящая из королей, пусть они тогда бы говорили.
«Я в своей деятельности,— продолжал Гете,— всегда держал себя, как роялист. Я предоставлял болтать другим, а сам действовал так, как находил правильным. Я ясно видел и знал, чего я хотел. Если я, как одиночка, ошибался, то свою ошибку мог исправить; но если бы эту ошибку вместе со мною делали еще двое, трое или многие, то исправление было бы невозможно. Эти многие имели бы слишком разнообразные мнения».
«...Я ни в коем случае не хотел бы лишиться счастия верить в будущую жизнь. Да, я решился бы даже вместе с Лоренцо Медичи утверждать, что тот, кто не надеется на другую жизнь, мертв для этой жизни; но такие непостигаемые вещи

слишком далеки от нас, чтобы быть предметом ежедневных разговоров и умозрений, уничтожающих всякую мысль. И далее: кто верит в будущую жизнь, тому следует тихо и скромно предаваться своему счастию, и нет никаких причин для того, чтобы быть на этом основании о себе высокого мнения. По поводу Урании Тидге я, однако, сделал наблюдение, что набожные люди, наподобие дворянства, образуют известную аристократию. Я встречал глупых женщин, которые кичились тем, что они вместе с Тидге верят в бессмертие, и случалось, что некоторые из них с величайшим самомнением начинали меня экзаменовать относительно этого пункта. Но мне удавалось разозлить их тем, что я говорил: меня очень радует, что по истечении этой жизни мы будем иметь счастье вновь наслаждаться еще и другою жизнью, но я хотел бы только вымолить себе, чтобы мне на том свете не пришлось встретить никого из здешних верующих, потому что тутто и начались бы мои муки! Верующие окружили бы меня, надоедая своими приставаниями: разве мы не были правы? Разве мы не предсказывали этого? Разве это не случилось? Таким образом и на том свете не предвиделось бы конца скуке.

«Носиться с идеями бессмертия,— продолжал далее Гете,— это занятие для благородных сословий и особенно для женщин, которым нечего делать. Но дельный человек, который уже здесь, на земле, хочет быть хорошим работником и поэтому принужден добиваться, бороться, действовать, оставляет будущую жизнь в покое; он деятелен и полезен в этой жизни. Затем мысли о бессмертии нужны тем, у кого плохо обстоит со счастием на нашей земле, и я готов держать пари: если бы у доброго Тидге была более удачная судьба,—и мысли его были бы удачнее».

Воскресенье, 29 февраля 1824 г.

Гете заговорил о последних французских газетах. «Конституция во Франции,— сказал он,— у народа, который заключает в себе столько испорченных элементов, покоится на совершенно другом фундаменте, чем конституция в Англии. Во Франции всего можно достичь подкупом; да, вся Французская революция приводилась в движение подкупом» *.

Вторник, 18 мая 1824 г.

— Вы как будто хотите сказать,— заметил я,— что человек тем хуже наблюдает, чем больше он знает.

«Если вы имеете в виду унаследованное знание со всеми его заблуждениями, то это безусловно так! — ответил Гете.— Тот, кто принадлежит в науке к известно ограниченному вероучению,

тотчас же теряет верность беспристрастного взгляда. Решительный вулканист всегда будет смотреть только через очки вулкаиииста, точно так же, как нептунист, или сторонник новейшей теории поднятия,— только через свои очки. Миросозерцание всех таких теоретиков, находящихся в плену одного исключительного направления, утратило свою невинность, и объекты уже не являются им более в своей естественной чистоте. Если затем эти ученые начнут излагать свои наблюдения, то, несмотря на самую высокую любовь к истине каждого из них, мы все же не получим истинного изображения объектов. Перед нами будут предметы всегда с очень сильным привкусом субъективных примесей.

«Но я очень далек от того, чтобы утверждать, что беспристрастное истинное знание мешает наблюдению; напротив, сохраняет силу старая истина, что мы имеем в сущности глаза и уши только для того, что мы знаем. Профессиональный музыкант слышит в игре оркестра каждый инструмент и каждый отдельный тон, в то время как профан остается во власти массового действия целого. Точно так же человек, просто наслаждающийся, видит лишь ласкающую поверхность зеленого или покрытого цветами луга, в то время как наблюдающему ботанику бросаются в глаза бесчисленные детали разнообразнейших отдельных растений я трав.

«Но все имеет свою меру и свою цель. И как в моем Геце сынок от великой учености перестал узяавать .своего собственного отца, точно так же случается и с людьми 'науки, которым великая ученость и обилие гипотез не дают видеть и слышать. Такие люди очень быстро перемещают свое внимание на то, что внутри них; они до такой степени поглощены идеями, с которыми носятся, что подобны человеку, который, объятый страстью, бежит по улице, не узнавая своих самых близких друзей. Для наблюдения природы необходима известная спокойная внутренняя ясность, которая ничем не должна нарушаться. От взора ребенка не ускользнет жучок на цветке, так как все его чувства сосредоточены на одном простом интересе и ему не придет в голову отвернуться и посмотреть, не происходит ли в это же время чего-нибудь замечательного с облаками».

Среда, 20 апреля 1825 г.

«Справедливо говорят,— продолжал Гете,— что желательно гармоническое развитие всех человеческих сил,— это было бы/ самое лучшее. Но человек не рожден для этого. Каждый должен развиваться, как нечто обособленное, но при этом стремиться получить понятие о том, что человечество может создать в своей совокупности».

Воскресенье, / мая 1825 г.

«Гм, гм,— сказал Гете,— вы, однако, благодаря своей страсти к лукам, приобрели очень тонкие познания. И это те живые знания, которых можно достигнуть только путем практики. В этом-то и состоит всегдашнее преимущество всякого страстного увлечения, что оно знакомит нас с самой сутью вещей. Поиски ошибки так же хороши, ибо на поисках и ошибках мы учимся. И притом мы узнаем не только ту самую вещь, к которой стремимся, но и все, что ее окружает. Что знал бы я о растении и о цвете, если бы получил свою теорию по традиции в готовом виде и выучил наизусть! Но именно благодаря тому, что я должен был самостоятельно искать и открывать, а иногда также и ошибаться, я и могу сказать, что знаю кое-что об этих вещах и притом кое-что такое, что не написано на бумаге.

Четверг, 12 мая 1825 г.

«Много говорят об оригинальности,— но что это означает? Как только мы рождаемся, мир начинает влиять на нас и так до конца нашей жизни. Что же мы можем назвать своим собственным, кроме энергии, силы, желания? Если бы я мог указать все то, чем я обязан великим предшественникам и современникам, то по исключении всего этого у меня осталось бы очень немного.

«При этом, однако, далеко не безразлично, в какую эпоху нашей жизни имеет место влияние чужой крупной личности.

«То, что Лессинг, Винкельман и Кант были старше меня и что первые двое влияли на меня в юности, а последний в старости, имело для меня большое значение. Далее, огромную важность представляло для меня то, что Шиллер был значительно моложе меня и в расцвете своих стремлений, когда я уже начал уставать от мира, а также то, что братья Гумбольдты и Шлегель начали свою деятельность на моих глазах. Это дало мне огромные преимущества».

Среда, 15 октября 1825 г.

«И что, собственно, мы знаем и чего можем достичь при всем нашем остроумии!
«Человек рожден не для того, чтобы разрешить проблему мира, но для того, чтобы изыскать, где начинается проблема, и держаться затем в границах постигаемого.
«Его способностей недостаточно для того, чтобы измерить явления вселенной, и при его маленьком кругозоре стремиться в мироздание внести разум — напрасное старание. Разум человека и разум божества — это различные вещи.

«Как только мы признаем за человеком свободу, мы этим нарушаем всеведение бога; ибо раз божество знает, что я буду делать, я вынужден делать то, что оно знает.

«Это я привожу только как пример того, как мало мы знаем, и как доказательство того, что нехорошо прикасаться к божественным тайнам.

«Кроме того, высокие принципы следует высказывать лишь в том случае, если они полезны для мира. Некоторые из них следует держать про себя, и все же они будут озарять то, что мы делаем, мягким светом как бы скрытого за облаками солнца».

Воскресенье вечером, 29 января 1826 г.

«...Все эпохи, которые идут назад и охвачены разложением, полны субъективизма, зато все эпохи, которые идут вперед, имеют объективное направление. Наше теперешнее время реакционно, потому что оно субъективно. Вы видите это не только в поэзии, но также в живописи и многом другом. Но каждое здоровое стремление, исходя из внутреннего мира, устремляется к миру объективному, и это характерно для всех великих эпох, которые были полны подлинного стремления и движения вперед и были по природе своей объективны».

Среда, 20 декабря 1826 г.

«Это совершенно то же самое,— сказал Гете.— И без надобности не следует этим заниматься. Я уважаю математику, как самую возвышенную, полезную науку, поскольку ее применяют там, где она уместна, но не могу одобрить, чтобы ею злоупотребляли, t Применяя ее к вещам, которые совсем не входят в ее область и которые превращают благородную науку в бессмыслицу. Как будто все существует только постольку, поскольку оно математически может быть доказано. Разве не глупо было бы, если бы кто-либо усомнился в любви своей возлюбленной, потому что она не могла бы представить математических доказательств своей любви. Размеры своего приданого она может обосновать математически, но не свою любовь. Ведь не математики изобрели метаморфозу растения. Я сделал это без математики, и математики принуждены были признать мое открытие. Чтобы понять явления теории цветов, достаточно одного лишь ясного наблюдения и здоровой головы, но, правда, обе эти вещи встречаются реже, чем можно было бы думать».
— Как относятся современные французы и англичане к учению о цветах? — спросил я.
'«У тех и других,—ответил Гете,—имеются свои преимущества и свои недостатки. Преимущества англичан в том, что

они все осуществляют практически, но они педанты. У французов хорошие головы, но они требуют всегда позитивности. И если ее нет, то они ее выдумывают. Но что касается учения о цвете, то здесь они стоят на правильном пути, и один из лучших умов близко подходит к истине. Он говорит: цвет присущ вещам. Точно так же, как в природе существует нечто окисляющее, существует и нечто окрашивающее; это, правда, еще не объясняет явления, но этим самый факт связывается с природою и освобождается от ограничений математики».

Четверг вечером, 18 января 1827 г.

«Свобода — странная вещь. Каждый может легко обрести ее, если только он умеет ограничиваться и находить самого себя. И на что нам избыток свободы, который мы не в состоянии использовать? Посмотрите эту комнату и соседнее с ней помещение, в котором вы через открытую дверь видите мою кровать. Комнаты эти не велики, кроме того они загромождены разнообразными мелочами, книгами, рукописями и предметами искусства. Но для меня этого достаточно; я прожил в них всю зиму и почти никогда не заходил в передние комнаты. Какую пользу я имел от моего просторного дома и от свободы, ходить из одной комнаты в другую, когда у меня не было потребности использовать эту свободу?

«Если кто-либо имеет достаточно свободы, чтобы вести здоровый образ жизни и заниматься своим ремеслом, то этого достаточно, а столько свободы имеет каждый. И потом все мы свободны только на известных условиях, которые мы должны выполнять. Бюргер так же свободен, как аристократ, если он умеет оставаться в тех границах, которые указаны ему богом и сословием, в котором он родился. Аристократ так же свободен, как правящий князь, потому что, если он при дворе соблюдает немногие придворные церемонии, то может чувствовать себя равным государю. Не то делает нас свободными, что мы ничего не \ признаем над собою, но именно то, что мы умеем уважать стоя-1 щее над нами. Потому что такое уважение возвышает нас самих; нашим признанием мы показываем, что носим внутри себя то, что выше нас, и тем самым достойны быть ему равными. Я во время моих путешествий часто сталкивался с северонемецкими купцами, которые думали, что они становятся равными мне, если бесцеремонно рассаживаются со мною за одним столом; но это не делало нас равными; наоборот, если бы они знали мне цену и должным образом относились ко мне, то это подняло бы их до меня.

«...Я со всем уважением отношусь к категорическому императиву, я знаю, как много добра он может принести, но все же не. следует преувеличивать, потому что иначе идея идеальной свободы не приведет ни к чему хорошему».

Четверг вечером, 1 февраля 1827 г.

С этими словами Гете передал мне раскрытую книгу. Я почувствовал себя осчастливленным его добрым намерением. Я прочитал первые параграфы о физиологических цветах. «Вы видите,— сказал Гете,— вне нас ничего нет такого, что не было бы одновременно и внутри нас, и точно так же, как внешний мир обладает своими красками, точно так же имеет их и наш глаз. Так как эта отрасль науки требует особенно резкого различения объективного от субъективного, то я счел бы нужным начать с цветов, которые свойственны глазу. Таким образом при всех восприятиях мы всегда сумеем распознать, существует ли цвет действительно вне нас или же это лишь кажущийся цвет, порождаемый нашим собственным глазом. Мне кажется, что я изложение этой науки начинаю с надлежащего конца тем, что прежде всего характеризую орган, с помощью которого совершаются все восприятия и наблюдения».

«Вы правы,— сказал Гете,— и стоило бы заняться исследованием, в какой мере греческая трагедия подчиняется общему закону потребности в перемене. Но вы видите, как все связано между собою и как закон в «Учении о цветах» наталкивает на исследование греческой трагедии. Однако не следует злоупотреблять обобщением этого закона и трактовать его как обоснование многих явлений. Надежнее будет, если мы будем применять его лишь как аналогию, как пример».

Из немцев в связи с этим 'Гете с восхищением назвал имена Каруса, Д'Альтона, а также Мейера в Кенигсберге. «Если бы только,— продолжал Гете,— найдя правильный путь, не возвращались снова назад, не затуманивали бы истины. Тогда я был бы доволен. Потому что человечество нуждается в чем-либо положительном, что передается из поколения в поколение, и хорошо было бы, если бы положительное в то же время было правильно и истинно. В этом отношении я был бы рад, если бы людям удалось в области естественных наук достигнуть четких результатов и затем придерживаться добытых истин, не обращаясь к трансцендентным измышлениям, после того, как все постигаемое усвоено. Но люди не могут успокоиться, и не успеешь оглянуться, как все опять запутывается. Так, они сейчас перетряхи-

вают Пятикнижие Моисея; но если уничтожающая критика .где-либо вредна, так это именно в вопросах религии. Потому что здесь все основано на вере, а для того, кто раз потерял ее, к ней нет возврата. В поэзии уничтожающая критика не так вредна. Вольф уничтожил Гомера, но с его стихами он ничего не мог сделать, потому что стихи эти обладают такой же чудодейственной силой, как герои Валгаллы, которые утром разрубают друг друга на куски, а в обед целые и невредимые усаживаются за стол».

Среда, 28 марта 1827 г.

«Если бы вы были так же философски препарированы, как он,— сказал Гете,— дело пошло бы у вас лучше. Но, говоря по совести, мне жаль, что такой, от природы несомненно крепкий человек, как Гинрикс, родившийся на морском берегу Северной Германии, был до такой степени обработан гегелевской философией; ведь она вытравила в нем всякую способность к беспристрастному, естественному созерцанию и мышлению и привила ему настолько искусственный, тяжеловесный способ мыслить и выражаться, что в его книге встречаются места, перед которыми наш рассудок совершенно бессилен, и мы уже не знаем более, что мы читаем».

Воскресенье, 1 апреля 1827 г.

Потом мы заговорили об «Антигоне» Софокла, о высокой морали, пропитывающей эту пьесу и, наконец, о вопросе: откуда пришла в мир мораль?

«От самого бога,— заметил Гете,— как и все хорошее. Она \ .' не есть продукт человеческого размышления, но первично созу данная и прирожденная нам прекрасная природа. В большей или меньшей степени она врождена всякому человеку, но в высшем своем проявлении это удел лишь единичных, совершенно исключительно одаренных натур. Эти последние раскрыли свою божественную сущность в великих делах или учениях, которые затем красотою своего воплощения пробудили в людях любовь и мощно повлекли их на путь преклонения и подражания.

«Однако ценность нравственно прекрасного и доброго может быть осознана при помощи опыта и мудрости, ибо дурное оказывается разрушительным по своим последствиям для счастья отдельного человека и всех людей в целом. Напротив, благородное и справедливое вызывает и укрепляет как личное, так и общее счастье. Таким-то образом нравственно прекрасное могло стать учением и, выраженное в слове, распространилось среди всех народов».

— Я где-то недавно прочитал,— заметил я,— что греческая трагедия имела своим специальным предметом морально прекрасное.

«Не столько моральное,— возразил Гете,— сколько чисто человеческое во всем его объеме; особенно же в тех направлениях, где оно, вступая в конфликт с грубой силой или законами, может приобрести трагическую природу. В этой области, конечно, находится и нравственное, как главная составная часть человеческой природы».

Среда, 11 апреля 1827 г.

«Я хочу вам кое-что сказать и советую вам этого придерживаться. В природе имеется доступное и недоступное — это следует различать, понять и уважать. Если мы это знаем, то мы уже кое-чего достигли, хотя очень трудно усмотреть, где прекращается одно и начинается другое. Тот, кто этого не знает, иногда всю жизнь мучается, стремясь постичь непостигаемое, и при этом нисколько не подвигается к истине. Тот же, кто это знает и достаточно мудр, останется в пределах постигаемого; исследуя эту область во всех направлениях и укрепляясь в ней, он может кое-что отвоевать и у непостигаемого, хотя при этом ему придется в конце концов признать, что здесь многое может быть понято лишь до известной границы и что природа всегда таит в себе нечто проблематическое, не поддающееся разгадке силами человеческого разума». .

«Вы должны были бы,— сказал Гете,— как я, пятьдесят лет изучать историю церкви, чтобы понять, как все это тесно между собою связано. Зато чрезвычайно интересно, какими наставлениями магометане начинают воспитание. Основой религии является укрепление в молодежи убеждения, что с человеком не может случиться ничего такого, что не было бы ему заранее предназначено божеством, руководящим всеми делами мира; таким образом молодые люди вооружены для жизни, успокоены и больше ни в чем не нуждаются.

«Я не хочу анализировать, что в этом учении правильно и что ложно, что полезно и вредно; но, в сущности, что-то от этой веры имеется у всех нас, хотя нас этому не обучали. Пуля, на которой не написано мое имя, в меня не попадет, говорит солдат во время битвы, и как бы он сумел сохранить бодрость и присутствие духа в момент крайней опасности без этой уверенности! Учение христианства—ни один воробей не упадет с кровли помимо воли нашего отца — вытекает из того же источника и тоже указует на провидение, которое печется обо всех

мелочах и без согласия и разрешения которого ничто не может произойти.

«Свое обучение философии магометане начинают следующим /положением: не существует ничего такого, о чем нельзя было бы высказать двух противоположных мнений; таким образом они упражняют ум молодежи, ставя перед нею задачу противопоставить каждому данному утверждению противоположное мнение и уметь его изложить, что должно привести к большой. гибкости мысли и речи.

«Однако если каждое высказанное положение может быть уничтожено противоположным, то тут возникает 'сомнение, которое же из этих обоих мнений является единственно правильным. Но на сомнении нельзя утвердиться — оно толкает наш ум к более тщательному исследованию, к проверке, которая, если она сделана надлежащим образом, порождает уверенность; это та цель, достигнув которой человек находит полное успокоение. Вы видите, что это учение не имеет недостатков, что мы со всеми нашими системами не превзошли его и что вообще никто не может его превзойти».
« Лессинг соответственно своей полемической природе охотнее всего пребывает в стадии возражения и сомнения. Исследование — это его настоящее дели, и при этом его большой ум великолепно служит ему. Что касается меня самого, то я совершенно иначе устроен. Я никогда не носился с противоречиями; со своими сомнениями я стремился справиться внутри себя и делился лишь уже добытыми результатами».

Я спросил Гете, кого из новейших философов он ставит выше всех.
«Кант,— сказал он,— лучший среди них без всякого сомнения. Он — тот, кто создал наиболее действенное по своим результатам учение?, и он глубже всех проник в немецкую культуру. Он влиял также и на вас, хотя вы его и не читали. Он вам сейчас не нужен, потому что то, что он вам мог бы дать, уже стало вашим достоянием. Если вы когда-нибудь позже захотите его почитать, то я рекомендую вам его Критику способности суждения. В этой книге он прекрасно разбирается а риторике, сносно в поэзии и совершенно неудовлетворительно в изобразительном искусстве».
— Вы, ваше превосходительство, имели личные сношения с Кантом? — спросил я.
«Нет,— сказал Гете,— Кант никогда мною не интересовался, хотя я самостоятельно проделал такой же путь, как и он. Мой «Метаморфоз растений» я написал раньше, чем я что-либо знал о Канте, и все же она совершенно в духе его учения. Различение между субъектом и объектом, затем воззрение, что каж-

дое творение существует для самого себя и что пробковое дерево растет совсем не для того, чтобы было чем закупоривать бутылки,— это у меня общее с Кантом, и я очень рад, что на этом мы сошлись. Позже я написал свое учение об эксперименте, которое надо рассматривать как критику субъекта и объекта и согласование их обоих.

«Шиллер обыкновенно мне всегда отсоветовал изучать Канта; он часто говорил, что Кант ничего мне не даст; сам же он изучал его очень ревностно. И я тоже изучал его и не без пользы для себя».

Понедельник вечером, 9 июля 1827 г.

В связи с этими событиями и в особенности в связи с ограничениями, которые ставило новое законодательство о печати, Гете и канцлер обменялись мнениями. Это была очень богатая содержанием тема, причем Гете, как всегда, высказался как умеренный аристократ, а друг его, по-видимому, стоял на стороне народа.

«Я нисколько не боюсь за французов,— сказал Гете,— они стоят на такой высоте всемирно-исторического понимания, что дух их ни в коем случае не может быть подавлен. Ограничительный закон будет иметь только благодетельное последствие, так как ограничения не касаются ничего существенного и направлены лишь против отдельных лиц. Оппозиция, которая не сдерживается в определенных рамках, становится плоской; ограничения принуждают ее быть остроумной, а это большое преимущество. Когда прямо и грубо высказывают свое мнение, то это может быть оправдано и может быть хорошо, если чувствуешь свою абсолютную правоту. Но партия не может быть абсолютно правой именно благодаря своей партийности и поэтому иносказательные обороты, в которых французы издавна были большими мастерами, ей более приличествуют. Моему слуге я прямо говорю: «Ганс, сними с меня сапоги». Это он понимает. Но если я имею дело с другом и хочу, чтобы он оказал мне эту услугу, то я не могу так прямо выразиться; мне нужно подыскать приветливые, любезные выражения, которые побудили бы его оказать мне эту дружескую услугу. Притеснение возбуждает дух, и по этой причине я, как уже сказано, приветствую ограничения свободы печати. Французы до сих пор пользовались славой самой остроумной нации, и они заслуживают того, чтобы эта репутация осталась за ними. Мы, немцы, охотно высказываем прямо свое мнение и очень мало еще продвинулись в иносказательных оборотах.

«Парижские партии,— продолжал Гете,— были бы еще значительнее, если бы они были еще либеральнее и свободнее и шли бы еще на большие уступки по отношению друг к другу. Они стоят на более высокой ступени всемирно-исторического понимания, чем это имеет место в Англии, где партии представляют собою мощные силы, взаимно парализующие друг друга, и где выдающаяся проницательность отдельных лиц лишь с большим трудом может быть проявлена, как об этом свидетельствует пример Каннинга и те многочисленные неприятности, которые причиняются этому крупному государственному деятелю».

Воскресенье, 15 июля 1827 г.

«Много говорят об аристократии и демократии; на самом деле,— все очень просто: в молодости, когда мы еще ничем не обладаем и не умеем ценить спокойного обладания, мы являемся демократами. Но если мы в результате длинной жизни имеем некоторые средства, то мы хотели бы, чтобы они были в сохранности не только для нас, но чтобы наши дети и внуки могли спокойно наслаждаться приобретенным. Поэтому в старости мы все без исключения аристократы, даже если в молодости придерживались других воззрений. Лео с большим остроумием высказывается по этому поводу».

Четверг, 18 октября 1827 г.

Здесь Гегель, которого Гете лично уважает, хотя некоторые, порожденные его философией плоды ему и не совсем по вкусу. Гете устроил в честь Гегеля званый вечер, на котором присутствовал также и Цельтер, который, однако, в ту же ночь намеревался снова уехать.

Много говорили о Гамане, причем особенно обстоятельно высказывался Гегель, который развил относительно этого выдающегося мыслителя такие основательные соображения, какие могли быть только результатом самого серьезного и добросовестного изучения предмета. Затем беседа коснулась сущности диалектики.— Это в основе своей не что иное,— 'сказал Гегель,— как урегулированный и методически разработанный дух противоречия, который присущ каждому человеку,— дар, обнаруживающий всю свою важность в различии истины от лжи.

«Жаль только,— вставил Гете,— что такого рода изысканными приемами мышления часто злоупотребляют и применяют их для того, чтобы истинное представить ложным, а ложное истинным».

— Да, это, конечно, бывает,— возразил Гегель,— но только с людьми, которые духовно больны.

«Поэтому-то я и стою,— сказал Гете,— за изучение природы котооая не позволяет возникнуть такого рода болезни; ибо здесь мы имеем дело с бесконечно и вечно истинным; но истина покидает, как недостойного, всякого, кто при рассмотрении и изучении своего предмета поступает недостаточно чисто и честно. Я вполне уверен, что многие больные диалектикой в изучении природы найдут благодетельное исцеление».

Вторник, 11 марта 1828 г.

«...Как я сказал, не может быть гения без длительно действующей продуктивной силы; и далее, при этом не имеет значения, какому именно делу, искусству или ремеслу посвятил себя человек,— все это безразлично. Обнаружит ли человек свою гениальность в науке, как Окен и Гумбольдт, или в войне и государственном управлении, как Фридрих, Петр Великий и Наполеон, или же в песнях, как Беранже,— это все равно, и вопрос лишь в том, являются ли данные мысли, взгляды или дела живыми и способными длительно жить.

«И еще я должен прибавить: не масса произведений или деяний, исходящих от человека, свидетельствует об его продуктивности; мы 'имели в литературе поэтов, которые считались очень продуктивными, потому что они выпускали в свет один том стихов за другим, но, по моему мнению, этих людей следует назвать безусловно непродуктивными, ибо то, что они сделали лишено жизни и длительности. Наоборот, Гольдсмит написал так мало стихотворений, что их можно перечесть по пальцам; тем не менее, я должен назвать его продуктивным поэтом и именно потому, что немногое, им созданное, озарено внутренней жизнью, которая показала свою долговечность».

Наступила пауза, во время которой Гете продолжал ходить взад и вперед по комнате. Меж тем мне очень хотелось услышать еще кое-что об этом важном вопросе, и я старался вызвать Гете на разговор.
— Как вы думаете,— спросил я,— эта гениальная продуктивность находится только в духе замечательного человека, или же она связана также и с телом?
« Во всяком случае,— ответил Гете,— тело оказывает на нее очень сильное влияние. Было, правда, время, когда в Германии гения обязательно представляли себе маленьким, хилым и даже сгорбленным. Однако я стою за гения с хорошо развитым телом.

«Если о Наполеоне говорят, что он был человеком из гранита, то это прежде всего справедливо в применении к его телу. Чего только он не перенес и как много он способен был перенести! От жгучих песков Сирийской пустыни до снежных полей Москвы, и какое бесчисленное количество тяжелых переходов, сражений, ночных бивуаков! Сколько трудов и физических лишений должен он был при этом выдержать. Недостаток сна, недостаток пищи — и все это при самой повышенной духовной деятельности! В ужасающем напряжении и возбуждении 18 брюмера он целый день до полуночи ничего не ел и, нисколько не думая о подкреплении своего тела, имел еще достаточно силы, чтобы в эту же ночь набросать свою знаменитую прокламацию к французскому народу. Если принять во внимание все, что он выполнил, и все, что он перенес, то можно было бы ожидать, что к сорока годам на его теле не останется живого места; однако в этом возрасте он выглядел еще настоящим героем.

«Но вы совершенно правы, момент наибольшего блеска в его деяниях падает на время его юности.— Уже одно то не мало, что, будучи темного происхождения и в такую эпоху, которая привела в движение столько способных людей, он сумел так выдвинуться, что на двадцать седьмом году своей жизни стал идолом нации в тридцать миллионов человек! Да, да, дорогой мой, надо быть молодым, чтобы совершать великие дела. И Наполеон не единственный».

— Его брат Люсьен,— заметил я,— также очень рано достиг больших успехов. Едва исполнилось ему двадцать пять лет, как мы уже видим его председателем Пятисот и вскоре затем министром внутренних дел.
« Что вы говорите о Люсьене,— заметил Гете.— История дает нам сотни даровитых людей, которые уже в юношеском возрасте как в кабинетной работе, так и на полях сражений совершили значительные дела и пользовались большой славой.
« Если бы я был государем,— продолжал он с живостью,— я никогда не брал бы на первые посты людей, которые выдвинулись в силу рождения или в порядке старшинства и в преклонном возрасте тихо и спокойно 'идут вперед по привычной колее: тут не добьешься большого толку. Я хотел бы иметь вокруг себя молодых людей! Но это должны быть люди с дарованиями, вооруженные ясностью взгляда и энергией, и притом с доброй волей и благородным характером. Какое счастье было бы тогда управлять народом и двигать его вперед. Но где вы найдете государя, который имел бы такую удачу и таких хороших исполнителей!

«...Такие люди и им подобные,— возразил Гете,— гениальные натуры и к ним не применима общая мерка; они переживают

повторную возмужалость, 'в то время как прочие люди лишь один раз бывают молоды.

«Ведь всякая энтелехия причастна вечности, и те немногие годы, которые она остается связанной с земным телом, не делают ее старой.— Если эта энтелехия незначительна, то в течение своего телесного воплощения она будет проявлять мало силы и власти, наоборот, преобладать будет тело, и когда оно начнет стариться, она не будет в состоянии поддержать его и помешать ему в этом. Но если энтелехия обладает достаточной мощностью, как это и бывает у гениальных натур, то, пронизывая тело в течение жизни, она не только будет действовать укрепляюще и облагораживающе на его организацию, но в своей духовной мощи будет стараться непрерывно проявлять на деле свою привилегию вечной юности. От этого-то и происходит, что у людей, исключительно одаренных, мы и в период их старости наблюдаем вновь здоровые эпохи особенной продуктивности; получается впечатление, что порою к ним снова возвращается молодость и вот это-то я и хотел бы назвать повторной возмужалостью. Но молодость есть молодость, и какую бы мощь ни обнаруживала энтелехия, она никогда не может получить полного господства над телом, и потому это далеко не одно и то же, имеет ли она в теле своего союзника или противника».

«Всякая продуктивность высшего порядка, всякая значительная идея, всякое изобретение, всякая крупная мысль, приносящая плоды и имеющая длительный результат,— все это никому не подвластно, 'все это не признает ничьей власти на земле. Такие явления человек должен рассматривать, как неожиданные подарки свыше, как чистых детей божиих, которых ему надлежит принять с радостной благодарностью и чтить. Здесь есть нечто родственное демоническому, которое полновластно овладевает человеком и делает с ним все, что угодно, и которому он отдается бессознательно, воображая, что поступает по собственным побуждениям. В таких случаях в человеке часто приходится видеть орудие высшей силы, управляющей миром, сосуд, признанный достойным для того, чтобы воспринять божественное влияние, Я говорю это, вспоминая, как часто одна-ёдинственная мысль давала иной вид целым векам и как то, что исходило от одного-единственного человека, налагало печать на всю его эпоху и продолжало сохраняться далее, благодетельно воздействуя на последующие поколения.
«Но есть также продуктивность иного рода, которая уже больше подвержена земным влияниям и больше находится во власти человека, хотя и здесь все еще остается кое-что, что дает ему основание склониться перед божественным. К этой области я причисляю все, относящееся к выполнению плана, все проме-

жуточные звенья цепи мыслей, конец которой уже ясно стоит перед вами; я причисляю сюда все то, что составляет видимое тело и плоть художественного произведения.

«...Вообще,—сказал Гете,—вы можете заметить, что в середине человеческой жизни часто наступает поворот и, если в юности все благоприятствовало человеку и все ему удавалось, то теперь сразу все изменяется, неудачи и несчастия следуют одни за другими.

«Знаете, как я об этом думаю? Человек должен быть снова разрушен! Каждый выдающийся человек призван выполнить известную миссию. Раз он ее выполнил, то в этом виде он на земле уже более не нужен, и провидение предназначает его для чего-нибудь другого. Но так как здесь на земле все идет своим естественным путем, то демоны подставляют ему одну подножку за другой, пока он наконец не погибает. Такова судьба Наполеона и многих других. Моцарт умер на тридцать шестом году своей жизни. Рафаэль почти в том же возрасте. Байрон лишь немногим старше. Но все они до конца выполнили свою миссию и пора было им уйти, чтобы осталось что-нибудь на долю также и прочих людей в этом мире, рассчитанном на длительное существование».

Среда, 12 марта 1828 г.

«В человеческой природе таятся чудесные силы,— заметил Гете,— и как раз тогда, когда мы менее всего надеемся, они дарят нам какое-нибудь благо. В моей жизни бывали случаи, когда я засыпал в слезах; но в снах меня обступали прелестные образы, принося мне утешение и счастье, и на другое утро я вскакивал на ноги по-прежнему бодрым и радостным.

« Впрочем, всем нам, старым европейцам, приходится довольно-таки плохо; условия, в которых мы живем, слишком искусственны и сложны, наша пища и наш образ жизни слишком далеки от подлинной природы, и наше общение друг с другом лишено настоящей любви и благожелательности. Каждый изыскан и вежлив, но никто не имеет мужества быть добродушным и правдивым, так что справедливый человек с естественными наклонностями и мыслями оказался бы среди нас в очень тяжелом положении. Часто жалеешь, что не родился на одном из островов Южного океана, среди так называемых «дикарей», потому что только там можно вкусить человеческое существование во всей его чистоте, без фальшивых примесей.

« Когда при подавленном настроении начнешь поглубже размышлять о жалком состоянии нашей эпохи, то зачастую приходишь к выводу, что мир уже созрел для страшного суда. И зло

накопляется от поколения к поколению! Ибо мало того, что мы должны страдать за грехи наших отцов, но мы и сами передаем нашим потомкам по наследству эти унаследованные нами пороки, увеличив их еще своими собственными, благоприобретенными».

...«Наше коренное население,— сказал Гете,— действительно еще продолжает сохранять полноту своих сил и, надо надеяться, еще долго будет в состоянии не только снабжать страну ловкими кавалеристами, но и вообще предохранит нас от окончательного истощения и упадка. Его надо рассматривать как фонд, из которого все снова и снова пополняются и освежаются силы падающего человечества. Но взгляните на наши большие города, и вы почувствуете совсем другое. Порасспросите какого-нибудь врача с обширной практикой, и он расскажет вам такие истории, что вы изумитесь ничтожеству человеческой природы и ужаснетесь тем порокам, которые ее опустошают и заражают общество».

...«Если бы нам, немцам, по примеру англичан, внушали меньше философии и больше энергии, меньше теории и больше практики, то искупление в значительной части уже было бы совершено, и нам не было бы необходимости ожидать явления такой высокой особы, как' второй Христос. Очень многое могло бы быть достигнуто снизу, со стороны народа, при помощи школ и домашнего воспитания, очень многое сверху,— правителями и их сподвижниками.

«Так, например, я не могу одобрить того, что от будущих слуг государства в годы их учения требуют чрезмерного количества теоретических ученых познаний, благодаря чему молодые люди преждевременно разрушаются как духовно, так и телесно. Когда они затем приступают к практической работе, то они обладают» правда, чудовищным запасом всякого рода философских и ученых сведений, но эти последние не могут найти себе никакого применения в ограниченной области их профессиональной работы и потому быстро забываются, как бесполезные. Но как раз того, в чем они больше всего нуждаются, им и не хватает; им не хватает надлежащей духовной и физической энергии, которая совершенно необходима для дельной работы в практической области.

«И далее, разве в жизни слуги государства, в его обращении с людьми не требуются любовь и благожелательность? Да и как можно чувствовать и проявлять благожелательность к Другому, если в самом себе нет этого блага?

«Но все эти люди чувствуют себя очень скверно. Третья часть всех прикованных к письменным столам ученых и чинов-

ников надломлена физически и пожирается демоном ипохондрии. Здесь следовало бы вмешаться сверху, чтобы, по крайней мере, защитить грядущее поколение от подобного же несчастия.

«Будем однако,— прибавил Гете смеясь,— надеяться и ожидать, что через столетие мы, немцы, будем выглядеть иначе и достигнем, наконец, того, чтобы быть не отвлеченными учеными и философами, но прежде всего человеком».

Четверг, 11 сентября 1828 г.

«Но мы, прочие, всегда чувствуем себя зависимыми от каких-нибудь условностей; лица, предметы, нас окружающие, оказывают на нас свое влияние; нам не по себе, если чайная ложечка сделана из золота, вместо того, чтобы быть серебряной, как это ей полагается; таким образом, парализуемые тысячью всяких соображений, мы не в состоянии высвободить то великое, что, быть может, имеется в нашей натуре. Мы рабы внешних предметов и кажемся ничтожными или значительными в зависимости от того, заставляют ли нас эти последние сжаться или же дают достаточно простора для того, чтобы свободно развернуться».

Среда, 1 октября 1828 г.

Между прочим зашла речь о вулканистах и о том, каким образом люди вырабатывают свои взгляды и гипотезы, касающиеся .природы; гари этом коснулись также великих естествоиспытателей, в частности Аристотеля, о котором Гете сказал следующее: «Аристотель лучше видел природу, чем кто-либо из новейших ученых, но он слишком быстро составлял свои мнения. К природе надо подступать медленно и упорно, если желаешь добиться от нее чего-нибудь.

«Если при исследовании природы я приходил к какому-нибудь мнению, я не требовал от нее, чтобы она мне его тотчас же подтвердила; я долго испытывал его при помощи наблюдений и опытов и был доволен, если природа была так добра, что иногда подкрепляла мое мнение. Если же она этого не делала, то она наталкивала меня на какой-нибудь другой взгляд, который я исследовал в надежде, что она охотнее согласится подтвердить его».

Вторник, 7 октября 1828 г.

От «Моисея» разговор перешел к всемирному потопу и под влиянием присутствовавших здесь естествоиспытателей принял естественнонаучное направление.

— Говорят,— сказал господин фон Марциус,— будто на Арарате найден окаменевший кусок Ноева ковчега, и я не удивился бы, если бы нашли окаменелый череп первого человека.— После этого заговорили о различных человеческих расах, черных, красных, желтых, белых, населяющих различные страны земли. В конце концов занялись вопросом, можно ли допустить, что все люди действительно произошли от одной пары, Адама и Евы.

Господин фон Марциус высказывался в пользу библейского предания, которое он, в качестве естествоиспытателя, пытался подкрепить тем соображением, что природа в своем творчестве действует в высшей степени экономно.

«Против этого мнения я должен буду возражать,— сказал Гете.—Я утверждаю, наоборот, что природа всегда бывает щедрой и даже расточительной и что было бы гораздо более в ее духе допустить, что люди произошли не от одной-единственной жалкой пары, но сразу возникли дюжинами и даже сотнями.
«Когда земля достигла известной степени зрелости, когда воды сошли и суша зазеленела, настала эпоха творения человека. И тогда всемогуществом божиим люди возникли везде, где они могли жить; прежде всего, быть может, на горных высотах. Допустить, что это свершилось, я считаю, разумным; но размышлять о том, как это свершилось, я считаю делом бесполезным; это надо предоставить тем, которые охотно возятся с неразрешимыми проблемами за неимением ничего лучшего».
— Если я,— сказал господин фон Марциус, не без некоторого лукавства,— в качестве естествоиспытателя и мог бы согласиться с мнением вашего превосходительства, то в качестве доброго христианина я чувствую себя смущенным, я затрудняюсь принять мнение, которое едва ли можно согласовать с указаниями Библии *.
« Священное писание,— возразил Гете,— действительно говорит лишь об одной человеческой паре, которую бог создал в шестой день. Но вдохновенные люди, записавшие слово божие, переданное нам библией, имели в виду, прежде всего, избранный народ, и мы отнюдь не хотим оспаривать его честь происхождения от Адама, но мы, прочие, негры, лапландцы и стройные, красивые люди, которые лучше нас, наверное, имели других прародителей; уважаемое общество, конечно, согласится со мною, что

мы во многих отношениях отличаемся от подлинных потомков Адама и что эти последние далеко обогнали нас, особенно в денежных делах».

Понедельник, 20 октября 1828 г.

«Кто хочет сделать нечто великое, тот должен настолько развить свои силы, чтобы быть в состоянии, подобно грекам, поднять низшую реальную природу до высоты своего духа и сделать действительным то, что в явлениях природы, в силу внутренней слабости или внешних препятствий, осталось простою возможностью».

Четверг, 23 октября 1828 г.

— Развитие человечества,— заметил я,— рассчитано, по-видимому, на тысячи лет.

« Кто знает,—сказал Гете,—быть может, на миллионы! Но сколько бы ни длилась жизнь человечества, оно всегда будет иметь достаточно препятствий, с которыми приходится бороться, и достаточно всякого рода нужд, развивающих его силы. Умнее и проницательнее оно, конечно, станет, но лучше, счастливее, дееспособнее — нет. Разве только в отдельные периоды. Я вижу наступление времени, когда человечество не будет уже более радовать творца, и он должен будет снова все разрушить, чтобы обновить творение. Я твердо уверен, что все идет к этому и что в отдаленном будущем уже назначены времена и сроки, когда наступит эта эпоха обновления. Но до этого, конечно, пройдет еще достаточно времени, и мы можем еще тысячи и тысячи лет забавляться на этой милой старой земле».

«...Если кто-нибудь думает, что единство Германии состоит в том, чтобы иметь одну огромную столицу для всего огромного государства, и что такая огромная столица будет содействовать благу и развитию отдельных талантов, а также благу народной массы, то это — заблуждение.

« Государство часто сравнивают с живым организмом, обладающим многими членами, и тогда столицу государства приходится сравнивать с сердцем, из которого жизнь и благосостояние приливают ко всем прочим близко и далеко расположенным членам. Но чем дальше члены от сердца, тем слабее будет притекающий к ним поток жизни. Один остроумный француз, если не ошибаюсь, дофин, набросал карту культурного состояния Франции и отметил большую или меньшую просвещенность различных департаментов при помощи более светлой или более темной окраски. И вот оказалось, что далеко от столицы расположенные провинции, особенно отдельные южные департаменты, были совсем закрашены черной краской в знак господствующей

там беспросветной темноты. Было ли бы возможно что-либо подобное, если бы прекрасная Франция вместо того, чтобы иметь один крупный центр, имела десять центров, распространяющих свет и жизнь?

«В чем величие Германии, как не в изумительной народной культуре, равномерно проникающей все части государства? Разве она исходит не из отдельных княжеских резиденций, которые ее насаждают и развивают? Допустим, что мы в течение прошлых столетий имели бы в Германии только две столицы, Вену и Берлин, или только одну; можно вообразить себе, на каком уровне стояла бы тогда немецкая культура! Но это было бы гибельно также и для всеобщего благосостояния, которое повышается рука об руку с культурой.

«Германия обладает более чем двадцатью рассеянными по всему государству университетами и имеет свыше сотни столь же широко распространенных публичных библиотек. Много в ней также художественных музеев и коллекций образцов из всех царств природы; ибо каждый государь заботится о том, чтобы собрать у себя подобного рода прекрасные и полезные вещи. У нас избыток гимназий, а также технических и промышленных школ. Едва ли найдется немецкая деревня, в которой не было бы своей школы. А как обстоит в этом отношении дело во Франции?
«Не надо забывать также о большом числе немецких театров, которых насчитывается более семидесяти и которые имеют отнюдь не маловажное значение в качестве очагов высшего народного просвещения. Вкус к музыке и пению также ни в какой стране не распространен так, как в Германии, и это опять-таки не безделица».

Вторник, 16 декабря 1828 г.

«Замечательные люди,— продолжал он после некоторой паузы,— появляются теперь в естествознании, и я с огромным удовольствием слежу за ними. Некоторые хорошо начинают, но не . выдерживают; преобладающий в них субъективный элемент сбивает их на ложную дорогу. Есть и такие, которые слишком держатся за факты и собирают их в бесчисленном количестве, что само по себе ничего еще не дает. Вообще же говоря, не хватает теоретического гения, который был бы способен проникнуть в первофеномены и овладеть отдельными явлениями».
...Беседа сосредоточилась после этого на Байроне и его отдельных вещах; это дало Гете повод повторить то, что он уже раньше высказывал, признавая этот великий талант и удивляясь ему.— Во всем. что вы, ваше превосходительство, говорите о Байроне, я согласен с вами от всего сердца,— заметил я,— но

как бы значителен и велик ни был талант этого поэта, я все же сомневаюсь в том, чтобы его произведения могли принести большую пользу для совершенствования человечества.

«Против этого я должен возразить,— ответил Гете,— разве байроновская смелость, отвага, грандиозность ничего не дают для совершенства? Отнюдь не надо думать, что совершенствовать может только то, что безупречно чисто и нравственно. Все великое совершенствует, если только мы умеем постичь его как следует».

Среда, 4 февраля 1829 г.

«Я продолжаю читать Шубарта,— сказал Гете,— это бесспорно значительный человек, и он говорит даже порою совсем превосходные вещи, если только сумеешь перевести их на свой язык. Суть его книги сводится к тому, что можно найти точку зрения независимо от всякой философии; а именно, это точка зрения здравого человеческого рассудка; он утверждает, что искусство и наука всегда наилучшим образом процветали, помимо философии, на почве свободного развития естественных человеческих сил. Это несомненно вода на нашу мельницу. Я лично всегда старался охранять свою свободу от философии; точка зрения здравого смысла и рассудка является также и моей точкой зрения, и Шубарт подтверждает таким образом то, что я сам в течение всей моей жизни говорил и делал.

«Единственно, что я не могу у него вполне одобрить, это то, что о некоторых вещах он знает больше, чем высказывает, и что он не всегда вполне честно обращается с мыслью. Как и Гегель, он вовлекает в философию христианскую религию, которая не имеет с ней ничего общего. Христианская религия есть мощная сила, благодаря которой страдающее и опустившееся человечество не раз снова поднималось; и раз ей присуще такое действие, она стоит выше всякой философии и нисколько не нуждается в поддержке последней. Но также и философ не нуждается в религиозных догматах, чтобы доказать известные учения, как, например, учение о вечной жизни. Человек должен верить в бессмертие —• он имеет на это право, это в его натуре, и он может опираться в этом на религию; но если философ хочет заимствовать доказательства бессмертия нашей души из религиозной легенды, то это слабо и ничуть не убедительно. Для меня убеждение в нашем будущем существовании возникает из понятия деятельности; ибо если я неустанно действую до конца моей жизни, то природа обязана дать мне иную форму существования, когда эта теперешняя уже не будет в силах более удерживать мой дух».

Четверг, 12 февраля 1829 г.

«Все великое и мудрое остается в меньшинстве; были министры, которые имели против себя и короля и народ, и в одиночку проводили свои великие планы. Никогда нельзя будет мечтать о том, чтобы разум стал популярным. Страсти и чувства могут быть популярными, но разум всегда будет уделом отдельных выдающихся людей».

Пятница, 13 февраля 1829 г.

«Растение 'идет от узла к узлу и завершается в конце концов цветком и семенем. То же самое видим мы и в животном мире: личинка, солитер идут от узла к узлу и образуют наконец голову; у животных, стоящих выше, и у людей позвонки примыкают один к другому и завершаются головой, в которой сосредоточена вся их сила. То, что наблюдается здесь у отдельных индивидуумов, имеет место и для целых обществ животных. Пчелы также образуют ряд отдельностей, которые смыкаются друг с другом, и вся их совокупность производит своего рода завершение, являющееся, так сказать, головою целого,— это пчелка-матка. Как это происходит — покрыто тайной, это трудно выразить, но я могу сказать, что имею об этом свои идеи.

«Народ производит героев, которые, как полубоги, стоят во главе его, принося ему благо и защиту; так поэтические силы французов сосредоточились в Вольтере. Такие избранники народа велики в том поколении, в котором они действуют; значение некоторых из них простирается и дольше; однако большинство уступает место другим и забывается потомством.

«Без занятий естественными науками я никогда не научился бы. познавать людей такими, каковы они есть. Ни в'каких иных областях нельзя уловить с такою точностью чистое созерцание и мышление, ошибки чувств и рассуждений, слабые и сильные стороны характеров; все прочее более или менее шатко и податливо, и обо всем можно в той или другой мере торговаться; но природа не признает шуток — она всегда правдива, всегда серьезна, всегда строга; она всегда права, ошибки же я заблуждения всегда принадлежат людям. Она пренебрегает неспособными, а способному, правдивому и чистому она отдается и открывает свои тайны.

«Рассудком нельзя постичь природу, человек должен обладать способностью подняться до высшего разума, чтобы коснуться божества, которое открывает себя в первофеноменах, физических и нравственных, которое скрывается за ними и

порождает их. Но божество действует в живом, а не в мертвом, оно в становящемся и меняющемся, а не в ставшем и застывшем. Поэтому и разум в своем стремлении к божественному имеет дело с тем, что созидает себя, что живет, рассудок же обращается к готовым, застывшим вещам, чтобы извлечь из них пользу.

«Поэтому минералогия есть наука для рассудка, для практической жизни, ибо ее предметы представляют собою нечто мертвое, что уже более не возникает и где не может уже быть речи о синтезе. Предметы метеорологии представляют, правда, нечто живое, что на наших глазах ежедневно проявляет созидательную деятельность и предполагает синтез; однако сопутствующие воздействия здесь так сложны и многообразны, что человек не дорос до этого синтеза и бесполезно истощает свои силы в наблюдениях и исследованиях. Мы держим здесь курс на гипотезы, на воображаемые острова, в то время как подлинный синтез, вероятно, навсегда останется неоткрытой землей. И меня это не удивляет, когда я вспоминаю, с каким трудом удалось достигнуть известного синтеза даже в таких простых вещах, как растения и цвета».

Вторник, П февраля 1829 г.

От Кузена мы перешли к индусской философии. «Философия эта,— сказал Гете,— если правильны сведения, сообщаемые англичанами, не содержит в себе ничего нам чуждого, напротив, в ней повторяются те же самые фазы, которые проделываем и мы сами. Все мы сенсуалисты, пока мы дети; идеалисты, когда мы любим и вкладываем в предмет любви то, чего в нем, собственно, вовсе нет. Любовь начинает увядать, мы сомневаемся в верности и превращаемся в скептиков прежде, чем успеваем это заметить. Остаток жизни безразличен, мы доживаем его как придется и заканчиваем квиетизмом, как и индусские философы. Немецкая философия должна была бы выполнить еще два больших дела. Кант написал «Критику чистого разума», что бесконечно важно, но круг этим еще не завершен. Теперь какой-нибудь способный, выдающийся человек должен был бы написать критику чувств и человеческого рассудка, и если бы это вполне удалось, от немецкой философии нечего было бы требовать.

«Гегель,— продолжал Гете,— в «Берлинском ежегоднике» написал рецензию на Гамана, которую я на этих днях читал и перечитывал и должен отозваться о ней с большой похвалой. Суждения Гегеля, как критика, всегда удачны. Вильмен стоит в критике также очень высоко. Французы, правда, никогда уже не будут иметь такого таланта, который мог бы сравняться

с Вольтером. Но о Вильмене можно сказать, что по своей точке зрения в области духа он возвышается над Вольтером и потому может судить о достоинствах и недостатках этого последнего».

Среда, 18 февраля 1829 г.

Мы говорили об учении о цветах и между прочим о стаканах, на которых матовые фигуры кажутся на ярком свету желтыми, а при отсутствии его — голубыми, так что мы имеем здесь первофеномен.

«Высшее, чего человек может достигнуть,— сказал Гете по этому поводу,— есть изумление; и если первофеномен заставляет его изумляться, он должен этим удовольствоваться; ничего более высокого он не в состоянии ему доставить, и ничего Скрывающегося за ним нельзя искать; это граница. Но люди обыкновенно не довольствуются созерцанием первофеномена, они полагают, что нужно идти дальше, и уподобляются детям, которые, заглянув в зеркало, тотчас же переворачивают его, чтобы посмотреть, что находится по другую его сторону».

Четверг, 2 апреля 1829 г.

«Я открою вам политическую тайну,— сказал Гете сегодня за обедом,— тайну, которая рано или поздно должна раскрыться. Каподистрия не может надолго удержаться во главе греческого правительства, ибо ему не хватает одного качества, которое необходимо для такого поста: он не солдат. Мы не знаем примера, чтобы кабинетный человек мог организовать революционное государство и подчинить себе войско и полководцев. С саблей в руке, во главе армии можно повелевать и давать законы; тогда можно быть уверенным в общем повиновении; но без этого неудача неизбежна. Наполеон, не будь он солдатом, никогда не смог бы подняться до высшей власти. Поэтому Каподистрия не в силах будет удержаться на первом месте, но уже очень скоро вынужден будет спуститься до вторых ролей. Я предрекаю это вам, и вы увидите, что так и случится; это в природе вещей, иначе быть не может».

«В ваших словах есть доля истины,— сказал Гете,— и поэтому-то растительный мир данной страны оказывает влияние на настроение ее обитателей. В самом деле, кто всю свою жизнь окружен высокими суровыми дубами, должен стать совсем другим человеком, чем тот, кто живет среди веселых воздушных березок. Надо только принять в расчет, что люди, вообще говоря, не имеют столь чувствительной натуры, как мы с вами, и что они

упрямо отстаивают себя в жизни, не давая над собою такой большой власти внешним впечатлениям. Несомненно, во всяком случае, одно, что, помимо врожденных расовых свойств, почва и климат, пища и занятие оказывают влияние на характер народа. Не надо к тому же забывать, что первобытные племена по большей части захватывали себе те земли, которые им нравились, так что местность уже с самого начала находилась в гармонии с врожденным характером людей».

Пятница, 3 апреля 1829 г.

Заговорили о всемирной истории, и Гете высказал следующее замечание о правителях: «Чтобы стать популярным, выдающийся правитель государства располагает только одним средством, а именно: своим величием. Если его заботы и его деятельность привели к тому, что государство пользуется внутри благоденствием и уважается извне, то правитель будет неизменно пользоваться любовью и уважением Народа, все равно, будет ли он ездить в парадных каретах, увешанный всеми своими орденами, или же в медвежьей шубе с сигарой во рту трястись на скверных дрожках *. Но если государю не хватает личного величия, если он не умеет своими добрыми делами пробудить любовь у своих подданных, то он должен думать о других средствах воздействия, и тогда нет ничего лучше и надежнее, чем религия, чем совместное выполнение религиозных церемоний. Появляться по воскресеньям в церкви среди прихожан и дать им часок поглазеть на себя — прекрасное средство для популярности, которое я рекомендовал бы всякому юному правителю; ведь даже Наполеон, при всем своем величии, им не пренебрегал».

Понедельник, 6 апреля 1829 г.

«Дорогое дитя,— сказал Гете,— имя не безделица; не даром же Наполеон, чтобы получить великое имя, вдребезги расколотил чуть ли не половину мира».

Воскресенье, 12 апреля 1829 г.

«Хуже всего то, что в жизни многое теряешь из-за ложно направленных стремлений и что распознать эти ложные стремления удается лишь тогда, когда уже успеешь от них освободиться».

— Но по каким признакам,— спросил я,— можно увидеть и узнать, что то или другое стремление ложно направлено?

«Ложное стремление,— ответил Гете,— не продуктивно, а если оно и является продуктивным, то плоды его не будут

иметь цены. Заметить это у другого не так-то трудно, но у себя самого очень нелегко и требует большой свободы духа. Но даже и познание здесь не всегда помогает; вы все еще продолжаете сомневаться и колебаться и не можете сделать решительного шага; это так же трудно, как порвать с любимой девушкой, несмотря на то, что вы давно уже имеете неоднократные доказательства ее неверности. Я говорю это, припоминая, сколько лет мне потребовалось для того, чтобы заметить, что мое стремление заниматься изобразительным искусством было ложным, и сколько новых лет потратил я на то, чтобы отделаться от него уже после того, как я это узнал».

— И все же,— сказал я,— это ваше стремление дало вам столько положительного, что едва ли его можно назвать ложным.

«Да,— сказал Гете,— благодаря ему я приобрел более глубокие познания и это дает мне известное удовлетворение. Это та выгода, которую мы извлекаем из всякого ложного стремления. Кто, не имея достаточного таланта, усиленно занимается музыкой, из того, конечно, никогда не выйдет мастера, но он при этом выучится понимать и ценить то, что создано мастерами. Несмотря на все мои усилия, я не сделался живописцем, но, делая попытки во всех областях этого искусства, я научился давать себе отчет в каждом штрихе и различать достойное от неудачного. Это немалое приобретение, и вообще ложное стремление очень часто дает нам возможность извлечь из него пользу. Так, например, крестовые походы для освобождения гроба господня были, очевидно, ложным стремлением; однако они имели ту хорошую сторону, что постоянно ослабляли турок и помешали им подчинить своему господству Европу».

Вторник, 1 сентября 1829 г.

«Период сомнений,— сказал он,— миновал; в настоящее время столь же мало сомневаются в своем собственном бытии, как и в бытии божием; к тому же природа бога, бессмертие, сущность нашей души и связь ее с телом — все это вечные проблемы, в которых философы не сдвинут нас вперед. Один французский философ самоновейшего времени ничтоже сумняшеся начинает свое рассуждение такими словами: «Как известно, человек состоит из двух частей: из тела и души. Мы начнем поэтому с тела, чтобы потом перейти к душе». Уже Фихте шел немножко дальше и принимался за дело несколько умнее, говоря: предметом нашим будет человек, рассматриваемый как тело, и человек, рассматриваемый как душа. Он достаточно хорошо чувствовал, что здесь имеется теснейшим образом связанное целое,

которое нельзя разделять. Кант бесспорно принес наибольшую пользу, указав границы, до которых в состоянии проникать человеческий ум, и тем самым отодвинул в сторону неразрешимые проблемы. Чего только не было сказано философами о бессмертии! И далеко ли мы здесь ушли! —Я не сомневаюсь в продолжении нашего существования, так как природа не может обойтись без энтелехии. Но не все мы бессмертны в одинаковой мере, и кто хочет в грядущем проявить себя, как великую энтелехию. должен уже теперь быть ею.

Среда, 3 февраля 1830 г.

«Все дело в том,— сказал Гете,— что Дюмон — умеренный либерал, каковы все благоразумные люди и каковыми они должны быть, каков и я сам; действовать в этом духе я старался в течение всей своей долгой жизни.

«Истинный либерал,— продолжал он,— старается всеми имеющимися в его распоряжении средствами осуществить максимум добра, но он остерегается недостатки, зачастую неустранимые, тотчас же искоренять огнем и мечом. Он стремится, мудро подвигаясь вперед, мало-помалу устранять общественную порочность, не прибегая к насильственным средствам, которые часто разрушают столько же добра, сколько и создают. В этом всегда несовершенном мире он довольствуется тем количеством добра, которое имеется, пока не наступят обстоятельства, благоприятные для того, чтобы достигнуть лучшего».

Среда, 3 марта 1830 г.

Мы заговорили о разных других вещах и постепенно дошли опять до энтелехии. «То упорство, с которым отстаивает себя индивидуум, и тот факт, что человек стремится сбросить с себя все то, что ему не свойственно, являются для меня доказательством, что нечто подобное существует»,— сказал Гете.
Несколькими минутами раньше у меня возникла та же самая мысль, и я хотел ее высказать; мне было поэтому вдвойне приятно выслушать эти слова Гете. «Лейбниц,— продолжал он,— имел подобные же идеи о самобытности существ, и то, что мы обозначаем термином энтелехия, он называл монадой».
Я дал себе слово подробнее ознакомиться с этим у Лейбница, прочтя соответственные места.

Воскресенье, 14 марта 1830 г.

«Ни при какой революции нельзя предотвратить крайностей. При политической революции обыкновенно люди не хотят

вначале ничего другого, кроме устранения всевозможных злоупотреблений, но не успевают они и обернуться, как оказываются среди потоков крови и всяких ужасов.

«...Вообще,—продолжал Гете,—национальная ненависть—своеобразная вещь; она всегда наиболее сильна и непримирима на низшей ступени культуры. Но имеется и такая ступень, на которой она совершенно исчезает, так что человек стоит некоторым образом над нациями и воспринимает удачи и огорчения соседнего народа так, как если бы они случились с его собственным. Эта ступень культуры отвечает моей натуре, и я крепко стоял на ней еще раньше, чем достиг шестидесятилетнего возраста».

Среда. 17 марта 1830 г.

«Вот умер Земмеринг, прожив всего какие-нибудь ничтожные семьдесят пять лет. Какие жалкие существа люди! Ведь почти никто из них не имеет смелости выдержать более продолжительную жизнь. Вот за то-то я и хвалю моего друга Бентама, этого высокорадикального дурака, что он еще очень хорошо сохранился, хотя на несколько недель старше меня».

— Можно было бы добавить,— сказал я,— что он и в другом отношении похож на вас, а именно: он все еще продолжает работать с энергией юноши.

Пусть так,— сказал Гете,— однако мы находимся с ним на противоположных концах цепи: он хочет разрушать, а я хотел бы сохранять и строить. Быть в его возрасте таким радикалом — это верх сумасбродства».

— Я полагаю,— возразил я,— что следует различать два вида радикализма: один хочет расчистить дорогу и все разрушить, чтобы строить в будущем; другой довольствуется тем, что указывает на недостатки и ошибки государственного управления в надежде достигнуть улучшения без применения насильственных средств. Если бы вы родились в Англии, вы, конечно, были бы радикалом этого второго рода.
« Да за кого вы меня принимаете? — возразил Гете, и в его голосе послышались нотки Мефистофеля.— Я стал бы разыскивать злоупотребления и к тому же открыто изобличать их? Я, который в Англии сам жил бы злоупотреблениями. Если бы я родился в Англии, я был бы богатым герцогом или, скорее, епископом с тридцатью тысячами фунтов стерлингов годового дохода».
— Очень хорошо,— заметил я,— ну, а если бы случайно вам попался не выигрышный билет, а пустой? Ведь пустых билетов гораздо больше.

«Не каждый, конечно, создан для большого выигрыша,— заметил Гете,— но неужели вы, дорогой мой, думаете, что я имел бы глупость вынуть пустой билет? Я прежде всего стал бы ревностным защитником тридцати девяти статей *; я всеми силами и средствами боролся бы за них, в особенности за статью девятую, которая была бы для меня предметом совершенно исключительного внимания и самой нежной преданности. Я льстил бы и лгал бы в стихах и прозе до тех пор, пока мне не были бы обеспечены мои тридцать тысяч фунтов годового дохода. А раз достигнув этой высоты, я всеми силами старался бы на ней удержаться. В особенности позаботился бы я о том, чтобы сгустить, елико возможно, мрак невежества. О, как я сумел бы при случае погладить по головке добрую, простоватую массу, как ловко обрабатывал бы я дорогое учащееся юношество, чтобы никто не мог заметить, чтобы никому даже и в голову не пришло, что мое блестящее существование покоится на фундаменте гнуснейших злоупотреблений».

— Поскольку дело идет о вас,— сказал я,— можно было бы утешаться, по крайней мере, мыслью, что вы достигли такой высоты благодаря своему исключительному таланту. Но в Англии как раз самые глупые и неспособные наслаждаются обладанием высших земных благ, которые они приобрели отнюдь не в награду за свои заслуги, но по протекции, благодаря случаю или по праву рождения.

«В сущности,— заметил Гете,— это все равно, выпадают ли на долю человека блестящие земные блага потому, что он сам их достиг, или же по наследству. Ведь первые обладатели этих благ были во всяком случае Выдающимися людьми и сумели использовать в своих интересах невежество и слабость других. Мир так полон слабоумными и дураками, что совсем не надо отправляться в сумасшедший дом, чтобы их увидеть. Мне припоминается по этому случаю, что покойный великий герцог, зная мое отвращение к сумасшедшим домам, хотел как-то хитростью затащить меня в один из них. Но я скоро почувствовал, чем пахнет, и сказал ему, что не имею ни малейшей охоты видеть тех дураков, которых запирают на ключ, ибо с меня вполне довольно и тех, которые ходят на свободе. Я всегда готов,— сказал я,— сопровождать ваше высочество даже в ад, если бы это оказалось необходимым, но только не в дом сумасшедших.
« О, как забавлялся бы я, трактуя на свой лад тридцать девять статей и приводя в изумление простодушную массу».
— Это удовольствие вы могли бы доставить себе,— сказал я,— даже и не будучи епископом.
« Нет,—возразил Гете,—тогда я не стал бы беспокоиться; надо быть очень хорошо оплаченным, чтобы так лгать. Без

видов на епископскую шапку и тридцать тысяч годового дохода я бы на это не пошел. Впрочем, маленький опыт в этом направлении я раз сделал. Шестнадцатилетним мальчиком я написал дифирамбическое стихотворение о сошествии Христа в ад; оно было даже напечатано, но осталось неизвестным и лишь на днях попалось случайно мне в руки. Стихотворение строго выдержано в духе ортодоксальной ограниченности и может послужить мне прекрасным паспортом на небо. Не правда, ли, Ример? Вы знаете его».

Понедельник, -5 апреля 1830 г.

«...Обыкновенно мы 'видим, что самыми скромными являются как раз те люди, которые хорошо одарены природою как в духовном, так и в телесном отношениях; напротив, люди, страдающие дефектами, особенно в области духа, чаще всего имеют о себе преувеличенное мнение. Как кажется, благодетельная природа всем тем, кого она обидела своими дарами высшего порядка, посылает самомнение как добавочный ресурс, уравновешивающий их недостаток.

«Впрочем, скромность и самомнение — моральные качества чисто духовного порядка, так что они имеют очень мало связи с телом. У людей ограниченных и недалеких часто встречается самомнение; у высокоодаренных и умных — его не бывает, У этих последних мы в крайнем случае можем встретить радостное сознание силы; но так как такая сила существует на самом деле, то и сознание это не имеет ничего общего с самомнением».

Понедельник, 2 августа 1830 г. *

Известия о начавшейся июльской революции достигли сегодня Веймара и привели всех в волнение. После обеда я зашел к Гете. «Ну! — воскликнул он мне навстречу,— что думаете вы об этом великом событии? Дело дошло, наконец, до извержения вулкана; все объято пламенем; это уже вышло из рамок закрытого заседания при закрытых дверях!»

— Ужасное событие,— ответил я.— Но чего же другого можно было ожидать при сложившемся положении вещей и при таком министерстве? Дело должно было окончиться изгнанием царствовавшей до сих пор династии.

«Мы, по-видимому, не понимаем друг друга, дорогой мой,— сказал Гете.— Я говорю вовсе не об этих людях; у меня на уме сейчас совсем другое! Я говорю о чрезвычайно важном для ' науки споре между Кювье и Жоффруа Сент-Илером; наконец-то j вынуждены были вынести его на публичное заседание в Академии».

Это заявление Гете было для меня так неожиданно, что я не нашелся, что сказать. Я был до такой степени растерян, что на несколько минут потерял всякую способность мыслить.

«Вопрос этот имеет огромнейшее значение,— продолжал Гете,— и вы не можете себе представить, что я почувствовал, получив известие о заседании 19 июля. Теперь мы приобрели себе в Жоффруа Сент-Илере могучего соратника на долгое время. Но я убежден вместе с тем, что французский ученый мир относится к этому спору с огромнейшим интересом; ведь несмотря на страшное политическое возбуждение, заседание 19 июля состоялось при переполненном зале. Самое лучшее, однако, то, • что теперь уже нельзя будет приостановить успехи введенного Жоффруа во Франции синтетического метода рассмотрения природы. Благодаря свободному обсуждению в Академии, в присутствии большой публики, вопрос этот приобрел общественный характер, так что теперь уже нельзя будет запрятать его в замкнутые комиссии и разделаться с ним при закрытых дверях. Отныне и во Франции дух будет господствовать при исследовании природы и подчинит себе материю! Постараются уловить великие принципы творения, проникнуть в таинственную мастерскую бога! Чего стоит все общение с природою, если мы, ограничиваясь чисто аналитическим методом, будем иметь дело только с одними материальными частями и не почувствуем веяния духа, который каждой такой части указывает ее место и каждое выходящее из ряда вон отклонение либо сковывает, либо санкционирует силою имманентного закона!

«Я пятьдесят лет тружусь над этой великой проблемой; сначала в одиночестве, потом поддержанный, и в конце концов, к моей великой радости, даже и превзойденный родственными мне умами. Когда я впервые послал Петеру Камперу свои соображения относительно межчелюстной кости, их, к моему величайшему огорчению, совершенно игнорировали. Столь же мало повезло мне и у Блюменбаха, хотя он после личных бесед со мною и перешел на мою сторону. Но затем я приобрел единомышленников в лице Земмеринга, Окена, Дальтона, Каруса и других замечательных людей. А вот теперь и Жоффруа СентИлер решительно становится на нашу сторону, а вместе с ним и все его выдающиеся ученики и приверженцы во Франции. Это событие имеет для меня совершенно исключительное значение. Я имею все основания праздновать, наконец, полную победу того дела, которому я посвятил свою жизнь и которое я могу назвать по преимуществу моим делом».

Среда, 20 октября 1830 г.

...Скоро разговор наш перешел на другие темы, и Гете просил меня высказать свое мнение о сен-симонистах.— Главная мысль их учения,— сказал я,— состоит, по-видимому, в том, что каждый должен работать для счастья целого, так как это необходимая предпосылка для его собственного счастия.

« Я полагал бы,— возразил Гете,— что каждый должен начать с самого себя и сначала устроить свое собственное счастье, из чего, в конце концов, безусловно возникает счастье целого. Впрочем, это учение представляется мне совершенно непрактичным и невыполнимым. Оно противоречит всей природе, всему опыту, всему ходу вещей в течение тысячелетий. Пусть только Каждый выполнит свой долг и будет хорошим и дельным работником в сфере своего ближайшего признания, и тогда счастье целого будет уже обеспечено. В моем призвании писателя я никогда не спрашивал себя: чего хочет широкая масса, и чем я могу быть полезен целому? Я всегда заботился лишь о том, чтобы сделать самого себя более проницательным и совершенным, повысить содержание своей собственной личности и затем высказать всегда лишь то, что я познал как добро и истину. Я не отрицаю, конечно, что таким образом я действовал и приносил пользу в широкой сфере; но это была не. цель, а необходимое последствие, которое всегда имеет место при действии естественных сил. Если бы я в качестве писателя поставил своей целью удовлетворение желаний толпы, я должен был бы угождать ей и рассказывать всякого рода историйки, как покойный Коцебу».

— Против этого ничего нельзя возразить,— заметил я.— Однако существует не только то счастье, которым я наслаждаюсь как отдельный индивидуум, но также и такое, которое я испытываю как гражданин государства и член большого 'объединения. Если достижение возможного счастья всего народа нельзя ставить перед собою как принцип, то что же должно тогда служить исходным базисом для законодательства?

« Если вы так расширяете вопрос,— заметил Гете,— то я, конечно, не стану вам возражать. Но в таком случае лишь очень немногие избранные могли бы сделать употребление из вашего принципа. Ведь это рецепт только для государей и законодателей; однако даже и тут, пожалуй, окажется, что законы должны скорее стремиться к тому, чтобы уменьшить массу лишений, и не должны иметь претензии увеличивать массу счастия».

— То и другое,—возразил я,—сводится, в сущности, почти к одному и тому же. Так, например, плохие дороги кажутся мне большим лишением; и если правитель проведет в своем государстве повсеместно, вплоть до последней деревушки, хорошие

дороги, то он тем самым устранит большое лишение, но, вместе с тем создаст для своего народа и большое счастье. Далее: медленное судопроизводство — великое несчастье. Но если государь учреждает для своего народа публичное и устное судоговорение и тем самым ускоряет судопроизводство, то опять-таки не только устраняется большое лишение, но и создается большое счастье.

«На этот мотив,— сказал Гете,— я мог бы вам пропеть еще много песен, но некоторые лишения вы все же должны оставить нетронутыми, чтобы человечеству было на чем закалять свою силу. Суть же моего учения пока такова: пусть отец семейства заботится о своем доме, ремесленник о своих заказчиках, духовенство о взаимной любви, и пусть полиция не отравляет нам радостей жизни».

Понедельник, 14 февраля 1831 г.

«Талант, конечно, не наследуется от родителей, но он нуждается в крепкой физической основе, и с этой точки зрения далеко не безразлично, рождается ли кто-нибудь первенцем или последним, от сильных и молодых родителей или же от слабых и старых».

Воскресенье, 20 февраля 1831 г.

«Человеку свойственно,— сказал Гете,— рассматривать себя как цель творения, а все прочие вещи лишь в отношении к самому себе и лишь постольку, поскольку они ему полезны или вредны. Он овладевает растительным и животным царством и, поглощая другие создания в качестве полезной для себя пищи, обращается с признательностью к своему богу, прославляет его доброту, его отеческую о себе заботливость. У коровы отнимает он ее молоко, у пчелы мед, у овцы шерсть и, так как он дает вещам полезное для него назначение, он полагает, что для этого они и созданы. Он не может себе и представить, чтобы мельчайшая травка вырастала не для него; если в данный момент он не в состоянии понять, какая от нее польза, то верит, что в будущем ему рано или поздно удастся открыть это. И если таковы мысли человека вообще, то таковы они и в каждом частном случае; он, не обинуясь, переносит этот обычный взгляд и в жизнь, и в науку, и, рассматривая отдельные части органического существа, тотчас же ставит вопрос об их назначении и пользе.

« До поры до времени это годится; до поры до времени этим можно пробавляться даже в науке; однако очень скоро наталкиваешься на явления, для понимания которых такой примитивный взгляд недостаточен, и при отсутствии более высокой точки зрения запутываешься в противоречиях.

«Сторонники такого учения о полезности говорят нам: бык имеет рога для того, чтобы защищаться. Но я спрашиваю: почему их нет у овцы? И если они есть у барана, то почему они j закручены у него около ушей, так что ни к чему непригодны? f

«Совершенно иное будет, если я скажу: бык защищается рогами, потому что они у него есть. Вопрос о назначении, вопрос зачел совершенно не научен. Но значительно дальше продвигает нас вопрос как. Если я ставлю вопрос: как растут рога у быка, то это приводит меня к рассмотрению его организации, и я вместе с тем узнаю, почему у льва нет и не может быть рогов.

«В черепе человека есть две пустых пазухи. Вопрос зачел* не сдвинул бы меня здесь с места, тогда как вопрос как учит меня видеть в этих пазухах остатки животного черепа; у животных при более низкой организации они имели более сильное развитие, но и у человека, несмотря на высоту его организации, еще не совсем исчезли.
« Сторонники учения о полезности считают, что они утратили бы своего бога, если бы не могли поклоняться тому, кто дал быку рога, чтобы защищаться. Но да будет мне позволено почитать того, кто в богатстве своих творений был так велик, что после тысячи разнообразнейших растений создал еще одно, в котором они все заключаются, и после тысячи разнообразнейших животных — существо, которое всех их в себе содержит,— человека.
« Пусть почитают того, кто дает корм скоту и человеку пищу и питье, сколько ему нужно для пропитания. Я же поклоняюсь тому. кто вложил в мир такую производительность, что если даже лишь миллионная часть его созданий вступает в жизнь. мир все же кишит живыми существами, так что ни война, ни чума, ни вода, ни огонь ничего с ними не могут поделать. Вот мой бог!»

Среда, 23 февраля 1831 г.

...Мы заговорили потом о высоком значении первофеномена, за которым, как приходится думать, мы непосредственно соприкасаемся с божеством.
« Я не спрашиваю,— сказал Гете,— имеет ли это высшее существо рассудок и разум, но я чувствую, что оно само есть рассудок, что оно само есть разум. Все творения им проникнуты и человек в такой степени, что может отчасти познавать высшее».
За обедом разговор зашел о стремлении некоторых натуралистов объяснять органический мир, исходя из минерального царства. «Это большая ошибка,— сказал Гете,— в царстве ми-

нералов прекраснейшим является самое простое, в органическом мире — самое сложное. Мы видим, таким образом, что оба эти мира имеют совершенно различные тенденции и что никоим образом нельзя перейти от одного к другому, поднимаясь вверх, как бы по ступенькам».

Воскресенье, 27 марта 1831 г.

Мы заговорили о Фогеле и его административном таланте, а также о ** и его личных качествах. «** человек особого рода,— сказал Гете,— его нельзя сравнить ни с кем другим. Он был единственный, который был согласен со мною относительно безобразных злоупотреблений свободою печати; он крепко стоит на ногах, на него можно положиться, он всегда будет на стороне законности».

Воскресенье, 20 июня 1831 г.

Мы беседовали о различных вопросах естествознания, в особенности же о несовершенстве и недостаточности нашего языка, вследствие чего возникают ошибки и ложные взгляды, с которыми не так-то легко потом бороться.

«Дело здесь очень просто,— сказал Гете.— Все языки возникли в связи с насущными человеческими потребностями, человеческими занятиями и наиболее обычными человеческими ощущениями и взглядами. Поэтому, когда высокоодаренный человек проникает в глубь таинственной сущности и деятельности природы, то унаследованный им язык оказывается недостаточным для того, чтобы выразить такие прозрения, далекие от обыденных человеческих дел. Он должен был бы иметь в своем распоряжении язык духов, чтобы описать свои своеобразные восприятия, но, так как он им не располагает, то он вынужден прибегать к человеческим выражениям при передаче своего познания необычных явлений природы; при этом он, конечно, почти везде наталкивается на отсутствие нужных ему изобразительных средств и поневоле принижает свой предмет или даже совершенно искажает и уродует его».
« До какой степени вы в этом правы,— сказал Гете,— еще совсем недавно показал спор между Кювье и Жоффруа Сентилером. Жоффруа Сент-Илер — человек, который действительно глубоко проникает своим взглядом в деятельность духовных движущих сил природы; но его французский язык, поскольку он, пользуясь им, вынужден применять традиционные выражения, то и дело сажает его на мель и не только при описании таинственных духовных процессов, но и тогда, когда он говорит о совершенно наглядных, чисто телесных предметах и соотноше-

ниях. Так, например, если он хочет обозначить отдельные части органического существа, то у него нет в распоряжении для этого другого слова, как «материалы», которым одинаково обозначаются и кости, образующие однородные части органического целого, например, руки, и — скажем, камни, балки, доски, из коих строят дом.

«Столь же неподходящее выражение употребляют французы и тогда," когда они говорят о произведениях природы, а именно, слово «композиция». Если я собираю вместе части машины, приготовленные каждая в отдельности, то тут я могу, конечно, говорить о «композиции», но отнюдь не тогда, когда я имею в виду отдельные жизнью создаваемые и проникнутые общей душой части органического целого».

Четверг, 15 июля 1831 г.

Зашел на минутку к Гете, чтобы выполнить вчерашнее поручение короля. Я нашел его занятым изучением спиральной тенденции растений; он полагает, что это открытие будет иметь важные последствия и окажет большое влияние на науку.

«Ничто не может быть выше той радости,— прибавил он,— которую доставляет нам изучение природы. Тайяы ее непостижимо глубоки; однако яам, людям, дано все дальше и дальше проникать в них своим .взором. Именно то, что они в конце концов непостижимы, представляет для нас вечное очарование и заставляет нас все снова и снова подступать к ним, приобретая новые познания и делая новые открытия».

Несколько дней спустя (начало марта 1832 г.)

«Я ненавижу всякое дилетантство, как смертный грех, и в особенности дилетантство в государственных делах, от которого страдают тысячи и миллионы.

«Вы знаете, я мало забочусь о том, что обо мне пишут, но все же кое-что до меня доходит, и я знаю очень хорошо, что какие бы я ни употреблял усилия, моя деятельность в глазах некоторых людей ничего не будет стоить именно потому, что я отказываюсь вмешиваться в жизнь политических партий. Чтобы удовлетворить этих людей, я должен был бы стать членом якобинского клуба и проповедовать убийство^и кровопролитие! Но ни слова больше об этом скверном сюжете, чтобы самому не впасть в безрассудство, борясь с неразумием».

Воскресенье, 11 марта 1832 г.

Вечером провел часок у Гете в приятной беседе о разных вещах. Я купил себе английскую библию, в которой, к моему величайшему сожалению, я не нашел апокрифических книг; они не были включены потому, что их не считают подлинными и сомневаются в их божественном происхождении. Благодаря этому я лишился возвышенного и благородного Товита, этого образчика подлинного благочестия, далее, Премудрости Соломона и Премудрости Иисуса, сына Сирахова — все писания такой духовной и нравственной высоты, как немногие другие. Я высказал Гете свое сожаление по поводу чрезвычайной узости взгляда, будто некоторые писания Ветхого завета непосредственно исходят от бога, другие же, не менее совершенные, нет; разве вообще что-либо благородное и великое может возникнуть иначе, как от бога, разве не является оно всегда плодом его воздействия?

«Я всецело разделяю ваше мнение,— заметил Гете.— Имеются, однако, две точки зрения, отправляясь от которых надо рассматривать библейские вопросы. Имеется точка зрения, что существует своего рода перворелигия, что природа и разум в их чистоте имеют божественное происхождение. Эта точка зрения останется вечно неизменной; она .будет существовать и признаваться до тех пор, пока на земле сохранятся одаренные богом существа. Но она предназначена только для избранных; она слишком высока и благородна, чтобы быть всеобщей. Затем имеется точка зрения церкви, которая ближе к обыденно-человеческому. Она немощна, неустойчива и подвержена изменениям; но и она в своих вечных превращениях будет сохраняться до тех пор, пока имеются на земле слабые человеческие существа. Свет незатемненного божественного откровения слишком чист и ослепителен для того, чтобы его могли воспринять и перенести бедные, слабые люди. Вот тут-то и выступает церковь как благодетельная посредница; она затеняет и смягчает свет, желая помочь этим всем и многим действительно принося пользу. Церковь является великой силой, ибо ей присуща вера, что она, как наследница Христа, свободна от тяжести человеческих грехов. Поддерживать эту силу и эту веру и, таким образом, укреплять здание церкви и составляет преимущественную задачу христианского духовенства.

«Для духовенства, поэтому не представляет большого интереса вопрос, в какой степени может просветить дух человека та или иная библейская книга, насколько высокие учения нравственности и благородства она в себе содержит; гораздо важнее в Моисеевых книгах история грехопадения, возникновения по-

требности в искупителе, затем в Пророках повторные указания на него, ожидаемого; и, наконец, евангелие, его действительное появление на земле и крестная смерть во искупление человеческих грехов,— вот что должно быть всегда перед глазами. Вы видите, таким образом, что при таких целях и задачах, взвешенные на таких весах, не будут иметь большого веса ни благородный Товит, ни премудрость Соломонова, ни изречения Иисуса, сына Сирахова.

«Впрочем, вопрос о подлинном и неподлинном в библейских книгах ставят действительно очень странно. Что может быть подлиннее, нежели то прекрасное, что находится в гармонии с чистейшей природой и разумом и еще в наши дни способствует нашему высшему развитию. И что такое «неподлинное», как не абсурдное, бессодержательное и глупое, не приносящее плода, по крайней мере, доброго плода. Если же подлинность библейского писания определялась бы в зависимости от того, насколько близко к истине его содержание, то в некоторых пунктах можно было бы сомневаться даже в подлинности евангелий; ведь Марк и Лука писали не то, что они сами видели и испытали, но лишь довольно поздно на основании устного предания, а последнее евангелие, составленное учеником Иоанном, написано им лишь в глубокой старости. Тем не менее я все четыре евангелия считаю несомненно подлинными, так как на всех них лежит отблеск той духовной высоты, источником которой была личность Христа и которая является божественной более, чем что-нибудь другое на земле. И если меня спросят: соответствует ли моей натуре благоговейное преклонение перед ним? Я отвечу: конечно! Я склоняюсь перед ним, как перед божественным откровением высшего принципа нравственности. И если спросят меня: соответствует ли моей натуре поклоняться солнцу? Я также скажу: конечно! Ибо это тоже откровение высшего начала и притом самое мощное из всего того, что дано воспринимать нам, детям земли. Я поклоняюсь в нем свету и производящей силе божества, благодаря которым мы живем и действуем, а вместе с нами также все растения и животные. Но если меня спросят, склонен ли я преклонить колена перед костью большого пальца апостола Петра или Павла, то я скажу: пощадите меня и избавьте от этих нелепостей.

«Не угашайте духа!» — говорит апостол.

«В постановлениях церкви очень много глупостей. Но она хочет господствовать и должна удерживать в своих руках ограниченную толпу, которая охотно преклоняется и желает, чтобы над ней господствовали. Богато оплачиваемое высшее духовенство ничего так не боится, как просвещения масс. Оно очень долгое время не допускало их даже к библии, настолько долго, насколько

это было вообще возможно. В самом деле: что должен был подумать бедный член христианской общины о царственном великолепии богатого епископа, прочтя в евангелии о бедности и нужде Христа, который со своими учениками скромно ходил пешком, в то время как князь-епископ разъезжает в карете, запряженной шестериком!

«Мы не даем себе отчета,— продолжал Гете,— насколько многим мы обязаны Лютеру и реформации. Мы освободились от оков духовной ограниченности и. благодаря непрерывному подъему нашей культуры получили возможность обратиться к первоисточнику и воспринять христианство во всей его чистоте. Мы снова приобрели мужество прочно стоять на божией земле и уверенно чувствовать себя в нашей одаренной богом человеческой природе. Пусть духовная культура непрерывно идет вперед, пусть естественные науки непрерывно растут вширь и вглубь, пусть дух человеческий охватывает все более и более широкие горизонты,— высот нравственной культуры христианства, озаряющей нас из евангелия, мы никогда не превзойдем!

«И чем решительнее мы, протестанты, пойдем вперед по пути благородного развития, тем скорее последуют за нами католики. Когда они почувствуют себя охваченными великим просветительным движением нашего времени, которое все дальше и дальше раздвигает свои границы, они должны будут уступить, как бы оаи ни сопротивлялись; и наступит, наконец, момент, когда все будет едино.

«Исчезнет также дух жалкого протестантского сектантства, а вместе с ним ненависть и вражда между отцом и сыном, братом и сестрой, ибо, когда человек поймет и усвоит себе чистое учение и любовь Христа, он будет чувствовать себя великим и свободным и не будет придавать особого значения мелким различиям внешнего культа.

« Вместе с тем все мы перейдем мало-помалу от христианства слова и веры к христианству воззрений и дел».

Разговор коснулся затем тех великих людей, которые до Христа жили среди китайцев, индусов, персов, греков; мы говорили о том, что божественная сила проявляла себя в них так же действенно, как и в некоторых великих евреях ветхозаветной эпохи. Мы подошли к вопросу о том, как проявляется божественное воздействие на великих людей теперешнего мира, в котором живем мы сами.

« Когда послушаешь, что говорят люди,— сказал Гете,— те» получаешь впечатление, что, по их мнению, бог по истечении тех древних времен совсем уже почил в покое, так что теперешний человек должен всецело стоять на своих собственных ногах

и справляться со своими повседневными задачами без бога, без его невидимой помощи. В области религии и нравственности еще порою допускают божественное воздействие, что же касается науки и искусства, то в них видят нечто чисто земное, произведение чисто человеческих сил.

«Но пусть попробует кто-нибудь с одной только человеческой волей и человеческими силами создать такие произведения, какие можно было бы поставить рядом с творениями Моцарта, Рафаэля или Шекспира. Я хорошо знаю, что эти три благородные фигуры отнюдь не единственные и что в области искусства имеется очень много превосходных художников, которые создали такие же прекрасные вещи, как и только что названные. Но раз они так же велики, как эти трое, то, значит, они в такой же степени превосходят обычную человеческую природу и в такой же степени боговдохновенны.

«И все кругом, что это и чем должно быть? После известных вымышленных шести дней творения бог отнюдь не почил от дел, но продолжает еще неустанно действовать, как и в первый день. Слепить из простейших элементов эту неуклюжую планету и прокатывать ее затем из года в год под лучами солнца не доставило бы ему никакого удовольствия, если бы он не имел при этом задачи основать на этой материальной почве рассадник для мира великих духом. Он продолжает таким образом действовать в высших натурах, чтобы поднять через них и низшие».

Гете умолк. Я же сохранил в своем сердце эти большие и хорошие слова.

Из Бесед с Гете» канцлера фон Мюллера

Среда, 29 апреля 1818 г.

Мораль — это вечная попытка примирения наших личных потребностей невидимого царства; она стала слабой и порабощенной, когда ее хотели подчинить целям открытой теории наслаждения: Кант вначале воспринял мораль в ее метафизическом значении, и как бы усиленно он ни пытался выразить ее в своем категорическом императиве, все же его бессмертная заслуга в том, что он нас отвратил от той 'изнеженности, в которой мы утонули. Жить по своим собственным законам, желая произвольно нарушать законы других,— жестокость. Поэтому создается объединение — государство с тем, чтобы устранять подобные жестокость 'и произвол, и все право, и все позитивные законы опять же являются вечной попыткой охранять взаимопомощь индивидуумов.

Если посмотреть на поведение и поступки людей за тысячелетия, то можно обнаружить некоторые общие правила, которые всегда обладали чудодейственной силой как над целыми нациями, так и над индивидами; эти правила, постоянно повторяясь, постоянно оставаясь неизменными среди тысячи различных обрамлений, являются в жизни таинственным дополнением высшей власти.

Понедельник, 16 июля 1827 г.

«Я не хочу детально вникать в философию Гегеля, хотя сам Гегель мне импонирует. Во всяком случае столько философии,

сколько мне нужно до моей кончины, у меня еще есть в запасе, собственно говоря, я не нуждаюсь ни в какой философии. Кузену нечего было мне возразить, но он не понимает, что есть, пожалуй, философы-эклектики, но нет эклектической философии. Это дело чрезвычайно сложное, иначе добрые люди не мучили бы себя тысячелетиями. И они никогда не попадут в точку, господь бог не пожелал этого, в противном случае он создал бы их другими. Каждый должен пробиваться, как сумеет.

24 апреля 1830 г.

На мое замечание о том, что он обычно иначе думает о путешествиях и о делах, он возразил: «Для того ли я дожил до восьмидесяти лет, чтобы думать всегда одно и то же? Напротив, я стремлюсь каждый день думать по-другому, п о • н о в ом у, чтобы не стать скучным. Всегда нужно меняться, обновляться, омолаживаться, чтобы не закоснеть. Тут мне прислал из Берлина один сверх-Гегель * свои философские книги, это как гремучая змея: хочешь убежать от проклятой, а все же смотришь с любопытством. Человек крепко берется за дело, вникает в проблемы, о которых я и восемьдесят лет тому назад знал столько же, сколько и сейчас, о которых мы все ничего не знаем и в них не разбираемся. Теперь я опечатал эти книги, чтобы не поддаться искушению опять приняться за чтение».

Май 1830 г.

Жоффруа де Сент-Илер со своими прототипами ** всех организаций и со своей системой аналогий совершенно прав по сравнению с Кювье, который все же является только филистером. Я давно догадывался о существовании этих простых прототипов; ни одно органическое существо полностью не соответствует идее, которая лежит в его основе; за каждым скрывается более высокая идея; это мой бог, это тот бог, которого мы все вечно ищем и надеемся узреть, но о котором мы можем лишь догадываться.

Из Дружеского призыва

В заключение я не могу скрыть все снова охватывающей меня в эти дни радости. Я чувствую себя в счастливом созвучии с близкими и далекими, серьезными, деятельными исследователями. Они признают и утверждают: надо предположить и допустить нечто непостижимое, но затем самому исследователю уже не ставить никакой границы.

Разве не должен я сам допускать и предполагать себя самого, никогда не зная, что я, собственно, из себя представляю; разве я не изучаю себя непрестанно, никогда не постигая самого себя, себя и других, и все же радостно продвигаясь все дальше и дальше?

Так же и с миром! Пусть он лежит перед нами безначальный и бесконечный, пусть безгранична даль, непроницаемо близкое; все это так; однако да не будет никогда ни определено, ни ограничено, как далеко и глубоко способен человеческий дух проникнуть в свои и его тайны.

Комментарии

Стр. 5 *. «В Деянии начало бытия!» „Фауст"

Стр. 37 '. «Die Natur». Появилась в конце 1782 или начале 1783 г. в рукописном придворном журнале («Tiefurter Journal», № 32). Впервые была напечатана в «Nachgelassenen Werke», 1833, т. 10 (W., II, 11, S. 5—9). В настоящем издании печатается в переводе А. И. Герцена, издавшего «Природу» в качестве 'приложения ко второму из «Писем, об изучении природы» в 1845 г.

Текст написан не самим Гете, а близким ему в то время священником Тоблером, изложившим мысли и идеи Гете о природе на основании бесед с ним. Гете справедливо считал это произведение своим и включил его в собрание своих сочинений.

Стр. 40 2. «Eriauterung zu dem aphoristischen Aufsatz «Die Natur». Это пояснение Гете написал в 1828 г. канцлеру Мюллеру. Опубликовано было после смерти Гете (W., II, 11, S. 10—12).

Стр. 41 3. «Ober den Zwischenkiefer des Menschen und der Thiere». Написано в 1784 г., впервые напечатано со значительными добавлениями в 1820 г. в «Вопросах .морфологии», т. I (W., II, 8, S. 91—139). Приводится в отрывках.

Стр. 46 4. «Philosophische Studie». Написано в 1784—1785 гг. Впервые напечатано .в 1891 г. под названием «Из периода изучения Спинозы» (W., II, 11, S. 315—319).

Стр. 49 5. В 1788 г. Гете получил письмо от своего друга Кнебеля. Свой ответ в форме письма он опубликовал в журнале «Deutscher Merkur» в январском номере за 1789 г.

Стр. 52 6. Автобиографическое произведение Гете, оконченное им весной 1825 г.; впервые опубликовано в 1830 г. Перевод А. Поповой.

Стр. 52 *. Нечто вроде «конкурсной работы» (лат.).

Стр. 53 *. Лодер Ю. Х. (1753—1832) —профессор медицины в г. Иене.

Стр. 54 7. В «Анналах» первая встреча с Шиллером^описана в «Паралипоменах» под названием «Первое знакомство с Шиллером». Несколько ранее, в 1817 г., этот текст был опубликован под названием «Счастливое событие» («Gluckliches Ereigniss») в сб. «Вопросы морфологии», т. I. В настоящем издании приводится эта статья в переводе И. Канаевв.

Стр. 56 *. Однажды там оказался Шиллер... Упомянутая встреча Гете с Шиллером состоялась в июне 1794 г. в Иене.

Стр. 57 *. «Оры» — журнал, издававшийся Шиллером.

Стр. 58 * Фихте в своем «Философском журнале»... Имеется в виду его статья .«Об основах нашей веры в .божественное управление миром» опубликованная в первом номере журнала за 1798 г.
Стр 60 *. Цельтер К. Ф. (1758-1822)-с 1800 г. директор школы пения в .Берлине, позже профессор музыки; дружил с Гете.
Стр. 62 *. Книга Якоби «О божественном»... В ноябре 1811 г. Ф. Г. Якоби, старый друг Гете, опубликовал брошюру «О божественных вещах и их откровении», в которой он, отстаивая дуализм божественного и природного, резко выступил против монистов и пантеистов (имея в виду главным образом Шеллинга). Последний ответил в том же году памфлетом «Памятник сочинению Ф. Г. Якоби о божественных вещах и их откровении», где обвинил Якоби в обскурантизме. Об отношении Гете к этой книге см. переписку этих лет в настоящем издании. Гете откликнулся на книгу стихотворением «Велика Диана Эффеская» (см. Собр. соч в 13 томах, т. I. М.—Л., 1932—1949, стр. 325) р . -> о

Стр. 63 *. Точно так же мне доставило удовольствие согласие со мной профессора Гегеля. Свое отношение к гетевской теории Гегель высказал в «Энциклопедии философских наук», а также в письме к Гете от 20 июля 1817 г.

Стр. 64 7а. Условное название для отрывка, который был задуман как начало сочинения «Об образовании земли» («Bildung der Erde»). <W, II 9, S. 268—279).

Стр. 66 8. «Metamorphose der Pflanzen. Zweiter Versuch. Einleitung». Написано около 1790 г. При жизни Гете не было напечатано (W., II, 11,
Стр. 67 *. ...смотри Кантову «Критику телеологической способности суждения,»... Очевидно, имеется в виду вторая часть «Критики способности суждения» Канта. В рукописи Гете номер параграфа не указан.

Стр. 68, 67 9'10. «Das Unternehmen wird entschuldigt». Вместе со следующей за ней статьей «Пояснение намерения» является введением к серии работ «Образование и преобразование органических существ» .(.«Bildung und Umbildung organischer Naturen»). Обе статьи напечатаны в 1817 г. в сб. «Вопросы морфологии», т. I i(W., II, 6, S. 5—7, 8—15).

Стр. 71 n. «Andere Freundlichkeiten». Этот отрывок дает дополнительную характеристику эпохе выхода в свет «Метаморфоза растений».

Стр. 72 12. «Der Verfasser theilt die Geschichte seiner botanischen Studien mit». Напечатано в 1831 г. вместе с «Метаморфозом растений» отдельной книгой (W., II, 6, S. 95—i127). Эпиграф: «Видеть становление вещей—лучший способ их объяснения».—Тюрпен. Приводится в отрывках.
Стр. 72 *. Итак, я, вместе с другими современниками... В первой редакции текста несколько выше была следующая фраза, .вычеркнутая Гете в последней редакции: «...после Шекспира и Спинозы самое сильное влияние оказал на меня Линней, и притом как раз через то противодействие, на которое он меня вызвал. Ибо, пытаясь воспринять его резкие, остроумные разграничения, его меткие, целесообразные, его часто произвольные законы, я чувствовал внутренний разлад: то, что он пытался насильственно разъединять, должно было, по глубокой потребности моего существа, стремиться к соединению». Перевод И. Канаева.
Стр. 73 *. В целом.
Стр. 73 **. «Тирон — самоучка» — секретарь Цицерона, известный изобретением особого рода стенографии.
Стр. 75 13. «Uber die Spiraltendenz der Vegetation». Одна из последних статей Гете по ботанике, написанная им в 1831 г. (W., II, 7, S. 37—42). Перевод А. Поповой.

Стр. 79 14. Эта заметка ценна тем, что в ней, излагая свое понимание закономерности развития растений согласно «закону метаморфоза», Гете отвергает телеологическую концепцию.
Стр. 81 15. «Versuch einer allgemeinen Vergleichungslehre». Написано в 1792 г. (W., II, 7. S. 217—224).
Стр. 85 le. «Vortrage uber die drei ersten Kapitel des EntwwTs einer allgemeinen Einleitung in die vergleichende Anatomic, ausgehend von der Osteologie». Лекция остались незаконченными. Были напечатаны в 1820 г. в «Вопросах морфологии», т. I (W., II, 8, S. 61—89).
Стр. 94 17. «Betrachtung uber Morphologic uberhaupt». Этот отрывок написан, по-видимому, как и два последующих, в 90-е годы (W., II, 6, S. 292 ел.).

Стр. 98 i8-19. «Einleitung in die Morphologie». Этот отрывок редакторы веймарского издания назвали «Введение в морфологию». Вместе с примыкающим к нему наброском «Генетическое толкование» («Genetische Behandlung^) напечатан в W„ II, 6, S. 300—304.

Стр. 101 w. «Der Versuch als Vermittler von Object und Subject». Написано 28 апреля 1792 г. Напечатано в 1823 г. в сб. «Вопросы морфологии», т. II (W., II, 11, S. 21—37).

Стр. 110 21. Это первая часть романа о Вильгельме Мейстере. Написана в 1794—1796 гг. Отрывки из романа даются в переводе С. Займовского.

Стр. 117 22. «Характеристика»—условное название наброска, найденного в бумагах Гете и относящегося к 1797 г. Принято считать это как автопортрет, написанный для Шиллера. Впервые опубликовано в 1895 г. Зуфаном.

Стр 119 2Э «Erfahrung und Wissenschaft». Примыкает к предыдущей статье. Написано в 1798 г. (W., II, 11, S. 38-41).

Стр. 121 24. «Beobachtung und Denken». Набросок, относящийся, по-видимому к 1798 г. или 1799 г. Напечатан был впервые в 1893 г. (W., II, 11, S. 42-44).

Стр. 123 25. «Polaritat». Конспект доклада, прочитанного Гете 20 октября 1805 г. в Веймарском «высшем» обществе. Перевод А. Поповой.

Стр. 125 2е. «Zur Farbenlehre». Это общее название всей совокупности работ Гете о цвете. Мы приводим предисловие (с купюрами), введение и разделы из пятого отдела первой части основного труда «Набросок учения о цвете» («Entwurf einer Farbenlehre»), напечатанного в 1Й10 г. (W., 11, 1-4).

Стр. 126 *. ...и так возникает язык... О языке см. более подробно в пятом отделе первой части «Наброска учения о цвете».

Стр. 129 *. «Если знаешь что-либо правильнее этого, смело^ берись за него- если же нет, то пользуйся этим вместе со мной» (Гораций, «Послания», кн. 1, № 6, стих. 67 ел.). Перевод В. Лихтенштадта.

Стр 130 * «Истинно ли наше дело или-ложно, так или иначе мы будем защищать его всю жизнь. После нашей смерти дети, которые сейчас играют, будут нашими судьями» (Линней). Перевод В. Лихтенштадта.
Стр 131 •* Гете переложил на стихи прозаический текст античного философа Плотина (204—270 гг.) (см. «Эннеады», кн. I).
Будь несолнечен наш глаз, Кто бы солнцем любовался? Не живи дух божий в нас, Кто б божественным пленялся? Перевод В. Жуковского

Стр. 143 w. «Materialien zur Geschichte der Farbenlehre»—третья часть «Наброска учения о цвете», вышедшего в 1810 г. (W., II, 3—4). Излагая историю учения о цвете, Гете дает широкую картину истории культуры разных эпох, глубокие и оригинальные характеристики выдающихся мыслителей прошлого.

Стр. 166 28. «Поэзия и правда»—автобиографическое произведение. Задумано было, по-видимому, в 1800—1808 гг. Первая часть была напечатана в 1811 г., вторая—в 1812 г., третья—в 1814 г. Четвертая, законченная накануне смерти, осенью 1831 г., была опубликована в посмертных томах Собрания сочинений в 1833 г. Произведение заканчивается переездом Гете в Веймар. События последующей жизни отражены в других автобиографических произведениях Гете: «Путешествие в Италию», «Кампания во Франции» и др.
Отрывки из этого произведения даются в переводе Н. Холодковского по Собр. соч., тт. IX—X.

Стр. 169 *. Дарис. (1714—1791)—профессор философии в Иене и Франкфурте-на-Одере, противник рационализма Вольфа.
Стр. 169 **. ...я утверждал... В течение всей своей жизни Гете сохранил неприязнь к отвлеченной школьной философии. Изложенная здесь его точка зрения позже (в период «бури и натиска») нашла свое обоснование в философии интуитивизма Гердера и Гамака (см. «Поэзия и правда», кн. 10).
Стр. 169 ***. Орфей—легендарный древнегреческий певец, песни которого, по преданию, имели магическую силу. Начиная с VI в. и вплоть до поздней античности можно проследить традицию религиозно-мистической поэзии, известной под названием «орфической». В своей философской лирике '(например, «Орфические первоглаголы») 'Гете использовал образы и символы орфической поэзии.
Стр. 169 ****. «Маленький Брукер». И. Брукер (1696—1770)—историк философии XVIII в.; «Маленький Брукер»—извлечение из его пятитомных трудов.
Стр. 170 *. Школьная философия. Гете имеет в виду философию «здравого смысла», рационализм, популярный в эпоху просвещения.
Стр. 176 *. ...святого таинства. Под влиянием романтического католицизма той эпохи Гете делает попытку объяснить и оправдать религиозные таинства католицизма.

Стр. 176 **.Арнольд Г. '(1666—1714)—автор «Истории ересей» 1(1699—1700), рассматривающий христианские ереси как попытку возродить истинный дух христианства; близок к пиэтистам.

Стр. 176 ***. ...элементы герметизма... Герметизм—мистическая и магическая поэзия, истоки которой находятся в литературе поздней античности.

Стр. 180 *. Вскоре после того как между нами возникли близкие отношения... Речь идет о Гердере, который в своей диссертации «О происхождении языка» (1772) выступил против господствовавшей теории (поддерживаемой, в частности, И. Зюсмильхом), согласно которой язык — это божественный дар. Гердер не был согласен и с рационалистической теорией «общественного договора», считая, что язык возник из природных способностей человека; он всячески подчеркивал эмоциональный характер первобытной речи.

Стр. 185 *. «Осада Калэ»—трагедия Пьера Белуа.

Стр. 187 *. Оба графа Штольберги—Христиан и Фридрих Штольберги (1748—1821 и 1750—1849)—ученики Клопштока, поэты «геттингенского кружка»; И. Бюргер (1747—1794)—немецкий поэт, лирик, автор баллад; И. Фосс (1751—1826) и Л. Гельти (1746—1776)—лирические поэты.
Стр. 192 *. Я не мог одобрить его планов... Речь идет о И. Базедове '(1723—1790), педагоге, сторонике естественного воспитания в духе Руссо. В «Элементарном сочинении» .(1774) изложены его идеи.
Стр. 195 *. Мне возразили, что его чистое пелагианство... Пелагиане—древнехристианская секта (V в.), отрицавшая первородный грех.
Стр. 197 *. В нашей библиотеке я нашел книжку, автор которой... Книга о Спинозе, которую имеет в виду Гете, принадлежит лютеранскому пастору Иоганну Колерусу. Напечатана в 1703 г. на голландском языке, на немецкий переведена в 1733 г. Перевод латинской надписи—«носящий знак отвержения на лице».

Стр. 201 *. Бог творит в короткий срок.
Стр. 201 **. Паоли Паскаль (1726—1807) защищал независимость Корсики от генуэзцев и французов.
Стр. 206 *. Refugies — гугеноты, фр. 'протестанты.
Стр. 208 *. Граф Эгмонт был казнен в 1563 г. за сочувствие восставшим нидерландцам.
Стр. 209 *. «Никто против бога, если не сам бог» (лат.).

Стр. 210 29. «Anschauende Urtheilskraft». Напечатано в 1817 г. в сб. «Вопросы морфологии», т. I. (W., II, 11, S. 54—55). Здесь Гете цитирует «Критику способности суждения» Канта. Статья очень важна для понимания различий философских взглядов Гете и Канта.

Стр. 212 30. «Einwirkung der neueren Philosophic». Замысел атносится к 1817 г. Напечатано в 1820 г. в сб. «Вопросы морфологии», т. I (W., II, 11, S. 47—53). О том, как Гете оценивает роль Канта в борьбе с учением о «конечных причинах», см. его письмо Цельтеру от 1830 г. Вопросы о «конечных причинах» и телеологии природы разбираются Гете в статье «Опыт всеобщего сравнительного учения». Об отношении Гете к Канту см. также: Г. З и м м е л ь. Кант и Гете. «Русская мысль», 1908, т. 6, 'стр. 41—67; G. Rabel. Goethe und Kant, Bd. 1. Wien, 1928; E. C a s s i r e r. Rousseau—Kant—Goethe. Princeton, 1945 и др.

Стр. 216 31. «Bedenken und Ergebung». Напечатано в «Вопросах морфологии», 1820, т. I (W., II, 11, S. 56—57).

Стр. 217 *. ...старую песенку... Немного измененный отрывок из монолога Мефистофеля («Фауст»). Перевод И. Верейной.
Стр. 218 32. «Vorschlag zur Gute». Опубликовано в сб. «Вопросы естествознания вообще», 1820, т. 2. Перевод И. Верейной.
Стр. 220 33. Это письмо к веймарской наследной герцогине Марии Павловне от 31 декабря 1816 г. Название «О фантазии» дано В. Лихтенштадтом.
Стр. 222 34. «Meteore des literarischen Himmels». Опубликовано в сб.«Вопросах естествознания вообще», 1820, т. 1. Перевод И. Верейной.
Стр. 227 36. «Errinden und Entdecken». Написано в 1817 г. Перевод И. Верейной.
Стр. 229 36. «EinfluB des Ursptungs wissenschartlicher Entdeckungen». Опубликовано в сб. «Вопросы морфологии», т. 2, под названием «Allgemeine Betrachtung». Перевод И. Верейной.

Стр. 230 37. «Bildungstrieb». Напечатано в «Вопросах естествознания вообще» в 1820 г. (W., II. 7, S. 71—73).

Стр. 232 ж. Впервые напечатано в веймарском издании в. 1829 г. под названием «Verhaltniss zur Wissenschaft uberhaupt...» (W„ II, 9, S. 291—295).
Стр. 234 39. «D'Ambuission de Voissins' Geognosie». Отрывки из рецензии. Перевод А. Поповой.
Стр. 236 4(). «Das Sehen in Subjektiver Hinsicht von Purkinje». Написано около 1819—1821 гг. Пуркинье (1787—1869)—профессор физиологии в Бреслау. Перевод И. Верейной.
Стр. 245 41. В окончательном виде роман вышел в свет в 1829 г. Отрывки из этого романа даются в переводе Г. Рачинского.
Стр. 253 *. С^-ифронисгическцц порядок — порядок по внутреннему смыслу ((рроят|СГ1^—разум).
Стр. 263 *. Йорик—герой «Сентиментального путешествия по Франции и Италии» английского романиста Лауренса Стерна (1713—1768).
Стр. 264 *. ...колесницей Фесписа... Подмостки странствующего театра. Феопи.С '(ок. 540 г. до н. э.), по преданию, положил начало греческому театру, который первое время постоянно передвигался по стране.
Стр. 268 *. ...систему взаимного обучения... Эта система впервые была введена в Лондоне Эндрю Беллом (1753—1832), а затем Джозефом Ланкастером'(1771—1838). По имени последнего она была названа ланкастерской.
Стр. 271 42. «Campagne in Franckreich». Начато 8 января 1820 г., опубликовано весной 1822 г. Это произведение Гете, как и другие его автобиографические произведения, насыщено глубоким философским и Социологическим содержанием. На русский язык не переведено. Здесь приводятся лишь некоторые отрывки, имеющие общефилософский интерес. Перевод А. Поповой.

Стр. 271 *. Молодой школьный учитель... Тогда 25-летний Ввттенбах, позднее — директор гимназии и библиотекарь в Трире.

Стр. 272 *. По, Корнелий '(1739—1799)—католик в Ксантене, писатель-философ. Известен своей статьей «Recherches philosophiques sur les Grecs», упоминаемой Гете также в «Итальянских путешествиях».

Стр. 272 **. Гилозоизм... Гете характеризует здесь свои философские взгляды как «гилозоизм», подчеркивая свое отрицательное отношение к тем теориям, которые рассматривают материю как нечто мертвое и пассивное. В материи он видит активное начало, проистекающее из полярности, присущей всем вещам.

Стр. 273 ***. «.Метаморфоз растений» — работа Гете, появившаяся в 1790 г.
Стр. 273 *. Бонне, Шарль (1720—1793)—естествоиспытатель и ботаник, известный филистерскими статьями; здесь осуждается его телеологическая направленность.
Стр. 275 43. «Jacobi. Biographische Einzelheiten» — один из биографических этюдов, не вошедших в «Поэзию и правду». Здесь приводится отрывок. Перевод А. Поповой.
Стр. 277 44. «Bedeutende Forderniss durch ein einziges geistreiches Wort». Написано и напечатано в 1823 г. в «Вопросах морфологии», т. II (W., II, 11, S. 58—64).
Стр. 277 *. «Учебник антропологии» психиатра Хейнрота был издан в 1822 г. в Лейпциге. Излагая свои взгляды о взаимоотношении идеи и реальности, Хейнрот пишет (даем в переводе И. Канаева): «Если мы намереваемся эту позицию исследователя, которая нам кажется позицией 'самого зрелого мышления, обозначить каким-нибудь названием, то это— предметное мышление: мы обязаны им, как и самим методом, гению, который большинством считался только поэтом, но че мыслителем.

Это Гете. При ближайшем рассмотрении надлежит в нем отличить мыслителя от поэта и признать в нем высокую мыслительную способность, которая, однако, проявляется у него не как философская, абстрактная, а именно Предметно. Этим не говорится, что его мышление занято предметами,— отмечать это особо было бы смешно, ибо всякое мышление имеет свой предмет,— но этим отмечается, что его мышление не оторвано от предметов, что элементы предметов, восприятия (Anschauungen), входят в его мышление и им проникаются интимнейшим образом, так что его созерцание само является мышлением, его мышление — созерцанием; метод, который мы вынуждены признать прямо-таки самым совершенным» .(Chr. A. Heinroth Lehrbuch der Anthropologie. Leipzig, 1822, S. 387—388).

На стр. 389, на которую указывает Гете, говорится: «Дух ассимилирует таким образом предметы познания, которые ему дает наблюдение, и только так видит он их в полной ясности, понимает их, умеет их толковать, тогда как даже при самом детальном расщепляющем анализе наблюдения они остаются непонятными. Это и есть то, что должно называться предметным мышлением, методом, которым автор настоящей книги постоянно пользовался в антропологии...»

Стр. 281 45. «Probleme». Написано в 1823 г. как дополнительный материал к «Метаморфозу растений». Перевод А. Поповой.
Стр. 28346. Напечатано как один из афоризмов в «Вопросах естествознания вообще» в 1823 г. (W., II, 11). Название дано В. Лихтенштадтом.
Стр. 285 47. «Ernst Stiedenroth. Psychologie zur Erklarung der Seelenerscheinungen». Е. Штиденрот — немецкий философ-идеалист из школы Гербарта.
Написано, вероятно, в 1824 г. (W., II, 11, S. 73—77).

Стр. 287 48. «Uber Mathematik und deren Mifibrauch». Написано в 1826 г. (W., II, 11, S. 96—102). Приводится в отрывках.
Стр. 288 *. В переведенном нами месте дАламбер... Гете 'цитирует выше отрывок из д'Аламберова введения в большую французскую энциклопедию.
Стр. 288 **. «Без свободомыслия в литературной работе нет ни литературы, ни наук. ни ума, ни чего бы то ни было» (Плутарх).
Стр. 289 49. Под этим названием собраны афоризмы, относящиеся к математике: семь—из «Размышлений в духе странников»; следующие—из посмертного наследия; два 'последних — из «Архива Макария». Приводятся здесь (а не в разделе «Максимы и размышления»), поскольку тесно примыкают к предыдущей статье.
Стр. 293 50. «Naturphilosophie». Напечатано Гете в журнале «Kunst und Altertum» («Искусство и древность»), 1827, т. VI (W., II, 11, 263—264). Для пояснения термина «философия природы» И. Канаев приводит слова Гете, сказанные им в 90-е годы некоему Паулсу: «Чем больше тщетно трудятся, предаваясь умозрениям над сверхчеловеческим, вопреки всем предостережениям Канта, тем многостороннее со временем обратится философствование в конце концов к человеческому, к познаваемому природы — духовному и телесному,— благодаря этому будет уловлена настоящая, так сказать, философия природы». Даем этот отрывок из книги д'Аламбера в переводе И. Канаева.
Стр. 295 в1. Афоризмы напечатаны в 1828 г. в «Вопросах морфологии». Поводом послужило чтение «Organographie vegetale» Декандоля i(W., II, 6, S. 215—222). Название дано В. Лихтенштадтом.
Стр. 302—303. 52'53. «Dogmatismus und Skepticismus». Эта и следующая за ней статья «Индукция» (Induktion) написаны в 1829 г. как части большой работы, которая должна была объяснить вытеснение нептунианского

учения психологическими теориями, но остались незаконченными. Перевод А. Поповой.
Стр. 304 м. «Analyse und Synthese». Написано в 1829 г., опубликовано в 1833 г. в «Nachgelassene Werke», т. 10. Перевод И. Верейной.
Стр. 307 65. Первая часть этой статьи напечатана в 1830 г., вторая— в 1832 г. в «Berliner Jahrbucker fur wissenschaftliche Kritik» (W., I, 7, S. 167—214). Приводится в отрывках, Стр. 307 *. Ботанический сад в Париже, где Сент-Илер начал работать. с 1792 г., а Кювье—с 1794 г.
Стр. 311 *. Единство плана '(фр.).
Стр. 311 **. Единство типа {фр.).
Стр. 312 Б6. «Blicke ins Reich der Gnade». Перевод А. Поповой.
Стр. 314 67. Здесь приводятся афоризмы, мысли Гете из его произведений, статей, писем, а тайже из посмертного наследия. Афоризмы сгруппированы в основном в соответствии с классификацией, принятой В. Лихтенштадтом в его книге «Гете» (Пг., 1920). Перевод В. Лихтенштадта и И. Канаева.
Стр. 378 58. Время работы над «Фаустом»—с 1774 по 1831 г. Трагедия имеет глубокий философский смысл. Здесь приводятся лишь наиболее важные отрывки. Воспроизводится по Собр. соч., т. V. Перевод Н. Холодковского.
Стр. 394 59. «Prometheus». Предполагается, что ода написана в 1774 г. В образе Прометея Гете передовые люди видели символ освобождения человечества, его борьбу с засильем религии и церкви.

Вот что писал, например, В. Г. Белинский о «Прометее»; «Пробуждено сознание в людях—и падение Зевса уже неизбежно!.. Глубоко знаменательный миф, необъятный как вселенная, вечный как разум! «Прометей» Гете в некотором смысле есть поэтический комментарий на Эсхилова «Прометея». Это та же древняя мысль, но высказанная яснее, определеннее, развитая подробнее, и вместе с тем мысль, получившая новую силу и новое значение вследствие всемирно-исторического развития... Достоверно можно сказать только, что вопрос теперь вполне уяснился, и Прометей нашего времени заранее торжествуют победу и уже не боятся хищного коршуна» (В. Г. Белинский. Поли. собр. соч., т. V. М., Изд-во АН СССР, 1954, стр. 323).
В данном издании воспроизводится по книге: Иоганн-Вольфганг Гете. Избр. произв. М., ГИХЛ, 1950, стр. 78—79. Перевод А. Кочеткова.

Стр. 396 е0. «Die Braut von Korinth». Баллада написана в 1797 г. В этом стихотворении Гете традиционная фабула о девушке-вампире .приобрела характер антиклерикального выступления против ненавистного Гете христианского аскетизма и утверждения полноты жизни как творческого начала.
Баллада воспроизводится по «Избр. произв.» Гете, стр. 64—65. Перевод А. К. Толстого.

Стр. 402 61. В этот раздел включены стихотворения Гете, которые представляются наиболее важными для характеристики его философского мировоззрения. Они, конечно, составляют очень небольшую часть творений великого поэта, вся поэзия которого наполнена глубоким философским содержанием.
Стр. 402 *. «Sondschreiben». Написано в 1774 г.
Воспроизводится по Собр. соч., т. I, стр. 107—108.

Стр. 403 *. «Menschengeriihl». Написано в 1775 г. По своему пафосу стихотворение близко «Прометею».
Воспроизводится по Собр. соч., т. I, стр. 122.

Стр. 403 **. «Meine Gottin». Написано в 1780 г.

Воспроизводится по Собр. соч., т. I, стр. 143—146. Перевод С. Шервинского.

Стр. 405 *. «Das Gottliche». Написано в 1783 г. В этом стихотворении в отличие от «Прометея» и других, произведений, проникнутых идеей богоборчества, ясно выражена мысль о нравственном самоограничении.
Воспроизводится по «Избр. произв.», стр. 109. Перевод А. Григорьева. Стр. 407 *. «Die Metamorphose der Pflanzen». Написано в 1798 г. Гете собирался (но так и не осуществил своего замысла) написать натурфилософскую поэму, фрагментом которой, вероятно, и является это стихотворение. Элегия написана в форме обращения к жене поэта Христиане Вульпиус.
Воспроизводится по «Избр. произв.», стр. 110. Перевод Д. Бродского. Стр. 409 *. «Dauer im Wechsel». Написано в 1801 г. В стихотворении выражена глубокая философская идея, пронизывающая все мировоззрение Гете, о диалектической природе окружающего мира.
Воспроизводится по «Избр. произв.», стр. 111. Перевод Н. Вильмонта. Стр. 410 *. «Weltseele». Написано в 1802 г. Как в названии стихотворения, так и в его содержании заметно влияние натурфилософии Шеллинга. Достоверно известно, что Гете был знаком с его трактатами: «Идеи к философии природы» (1797) и «О мировой душе» (1798), в которых развивались мысли, близкие Гете. В 1800—1802 гг. Гете настолько близко сошелся с Шеллингом, что даже предполагал вместе с ним написать натурфилософскую поэму. «Мировая душа» в философии Шеллинга — творческое начало, синтезирующее противоположности и выступающее в неорганическом мире как свет и в органическом — как любовь.
Воспроизводится по «Избр. произв.», стр. 112. Перевод С. Соловьева.

Стр. 411 *. «Epilog zu Schillers Glocke». После того как в 1805 г. была поставлена на сцене Шиллерова «Песна о колоколе», Гете, стремясь увековечить память друга, пишет в этом же году впилог к этой поэме. Эпиграфом к нему служат последние строки поэмы Шиллера.
Воспроизводится по «Избр. произв.», стр. 112—113. Перевод С. Соловьева.

Стр. 414 *. «Metamorphose der Thiere». Предположительно написано в 1819 г. Впервые было опубликовано в «К морфологии» вместе с зоологическим трактатом «Первый набросок к общему введению в сравнительную анатомию, исходя из остеологии». (1795), основные идеи которого излагаются в этом стихотворении также, как и в «Метаморфозе растений».
Воспроизводится по «Избр. произв.», стр. 113. Перевод Д. Бродского, Стр. 415 *. Erst Empfindung... Написано в 1815 г.
Воспроизводится по Собр. соч., т. I, стр. 472. Перевод М. Кузьмина.
Стр. 415 **. «Prooemion». Написано в 181'6 г. Состоит из трех стихотворений, которые были напечатаны Гете как вступление к группе его философских стихотворений, озаглавленных «Gott und Welt» («Бог и мир»). Отсюда и заголовок «Prooemion» (греч. «вступительное песнопение»). В этом стихотворении пантеизм Гете получил наиболее отчетливое выражение.
Воспроизводится по «Избр. произв.», стр. 109. Перевод Н. Вн^ьмонта
Стр. 416 *. «Urworte Orphisch». Написано в 1817 г. Гете был знаком с так называемой орфической литературой, выражающей идеи религиозных сект античности (начиная с VI в.). Заимствуя ее образы и символы, Гете в этих стихах высказал свои взгляды на проблему личности и ее свободы. Важное место здесь занимает понятие «демонического» (как стихийного, но внутренне устойчивого начала в природе личности), которое часто встречается и в других произведениях Гете. (см. «Разговоры с Эккерманом»).
Воспроизводятся стихи по Собр. соч., т. I, стр. 483—484. Перевод Д. Недовича.

Стр. 417 *. «Epirrhema». Написано в 1819 г. Эпиррема—греческий те'рмин, обозначавший в древнеаттической комедии речитативы, которые произносились после первой строфы хоровой песни. В стихотворении содержится формулировка центральной идеи мировоззрения Гете о единстве внутреннего и внешнего.
Воспроизводится по Собр. соч., т. I, стр. 486—487. Перевод Н. Вильмонта.
Стр. 417 **. «Antepirrhema». Написано в 1819 г. Антэпиррема—греческий термин, обозначавший в древнеаттической комедии речитатив, который произносился после второй строфы хоровой песни.
Воспроизводится по Собр. соч., т. I, стр. 487. Перевод Н. Вильмонта.
Стр. 418 *. Это стихотворение, названное Гете «Parabase», было написано в 1820 г. и опубликовано в «Вопросах морфологии», 1820, т. I. Позже, в сборнике «Бог и мир», было использовано Гете в качестве эпиграфа к «Метаморфозу растений». Парабаза — греческий термин, обозначавший в древнеаттической комедии обращение к публике, которое произносил вожак хора.
Воспроизводится по «Избр. произв.», стр. 118. Перевод Н. Вильмонта.
Стр. 418 **. «Allerdings» (Dem Physiker). Написано в 1820 г. Отталкиваясь 'от стихотворения «Лживость человеческих добродетелей» (отрывки из которого напечатаны в кавычках) известного швейцарского физиолога и поэта Галлера (1708—1777), Гете выступает против дуалистической концепции, согласно которой и в человеке и в природе внутреннее и внешнее метафизически противопоставлены друг другу. Впервые это стихотворение было помещено в конце статьи «Дружеский призыв» (см. стр. 496 настоящего издания).
Воспроизводится по «Избр. произв.», стр. 115. Перевод О. Румера.
Стр. 418 ***. «Eins und Alles». Написано в 1821 г. В этом стихотворении; Гете очень ярко выразил ряд важных идей своего мировоззрения. В сравнении с резким противопоставлением самоутверждения личности, с одной стороны, и ее гибели — с другой (что свойственно было раннему Гете), теперь Гете с ясностью принимает закон вечной смены и вечного становления.
Воспроизводится по «Иэбр. произв.», стр. 115. Перевод Н. Вильмонта.
Стр. 419 *. Посмертное заглавие: «При созерцании Шиллерова черепа». Написано в 1826 г., когда при очистке Веймарского кладбища 'был найден и опознан Гете череп Шиллера. Как и в ряде других стихотворений: «Душа мира», «Постоянное в сменах», «Одно и все», Гете характеризует природу как синтез противоположностей: духа и материи, движения и покоя, жизни и смерти.
Воспроизводится по «Избр. произв.», стр. 115. Перевод С. Соловьева.

Стр. 420 *. «Кроткие ксенин» 1(ксении — греческие застольные дары гостеприимства) — сборники лирических стихов Гете. Приводимые отрывки (относятся к 1827 г.) близки по духу пиитеистическим мотивам к «Prooemion».
Воспроизводится по Собр. соч., т. I, стр. 517—518. Перевод Л. Недовича.

Стр. 421 *. «Vermachthis». Написано в 1829 г. Внешним поводом к написанию этого стихотворения послужило следующее обстоятельство. Берлинское общество естествоиспытателей начертало в зале заседаний золотыми буквами две последние строки из стихотворения Гете «Одно и все» («И все к небытию стремится, чтоб к бытию причастным быть»). Недовольный таким ложным истолкованием — всецело в религиозном духе — своего диалектического мышления, Гете написал «Завет», где высказал совсем другую, глубоко материалистическую мысль: несмотря на все изменения, бытие вечно.

Воспроизводится по «Избр. произв.», стр. 116. Перевод Н. Вильмонтг

Стр. 423 °2. Письма {чаще—отрывки из них) даны по Собр. соч. в 13 томах (тт. 12—13); некоторые—в переводе В. Лихтенштадта.
Стр. 450 м. И. П. Эккерман—секретарь Гете в его последние десять лет жизни. В течение 1823—1832 гг. он систематически записывал беседы Гете. Большое место в «Разговорах» занимают вопросы философии, социологии, истории, этики, религии, естествознания и др. Книга Эккермана— очень ценный документ, хотя в некоторых случаях она несет на себе отпечаток его собственных взглядов и оценок.
Отрывки из етого сочинения приводятся по русскому изданию книги: И. П. Эккерман. Разговоры с Гете. М., 1934. Анализ воззрений Гете этого периода дан В. Ф. Асмусом во вступительной статье указанного издания.

Стр. 454 *. Французская революция приводилась в движение подкупом... По-видимому, Гете имел в виду Мирабо, платного агента королевского двора, «продажного аристократа», по выражению Ф. Энгельса.
Огр. 471 *. ...в качестве доброго христианина... «затрудняюсь принять мнение, которое едва ли можно согласовать с указаниями Библии... Это высказывание Гете по постановлению царской цензуры от 9 ноя-бря 1836 г. было вычеркнуто из немецкого издания книги «Разговоров с Гете», Эккермана, как «клонящееся к поколебанию учения православной церкви, ее преданий и обрядов или вообще истин и догматов христианской веры» '(см. «Литературное наследство», «Гете». 'М., 1932, стр. 930).
Стр. 478 *. ...трястись на скверных дрожках. Намек на великого герцога Карла Августа, известного своим скромным образом жизни и прозванным за это «иенским студентом».
Стр. 482 *. Я прежде всего стал бы ревностным защитником тридцати девяти статей. По традиции Англии вплоть до настоящего времени каждый вновь назначаемый на духовную должность дает письменное обязательство соблюдать 39 статей, в которых сформулирован символ веры англиканской церкви.
Стр. 483 *. Эта запись принадлежит Сорэ (1795—1865)—современнику Гете, находившемуся с ним в последние годы в очень близких отношениях; она вставлена Эккерманом в «Разговоры». Согласно ряду комментариев, в этом разговоре с Сорэ Гете, подчеркивая незначительность Июльской революции по сравнению с научным спором двух французских ученых, дал волю своему настроению, иронизируя над юным «пылким политиком». Этот спор Гете принял очень близко к сердцу, ибо столкновение Кювье с Сент-Илером имело для его собственных воззрений большое принципиальное значение. Гете написал специальную статью по этому вопросу: «Принципы философии зоологии» (см. стр. 307 настоящего издания).
Стр. 494 м. «Kanzler von Muller. Unterhaltungen nait Goethe». Канцлер фон Мюллер (1779—1849) был другом Гете. Начиная с 1808 г., он в дневнике записывает свои беседы с Гете. Наряду с «Разговорами» Эккермана, «Беседы с Гете» Мюллера — важнейшее свидетельство современника о Гете. Перевод отрывков сделан по изд. E. Grumacher'a, Weimar, 1959.
Стр. 495 *. Сверх-Гегель Л. Кто вто, точно не установлено; предположительно—философ Герман Ф. В. Хинрихс (1794—1861).
Стр. 495 **. Жоффруа де Сент-Илер со своими прототипами... В отличие от его учения о прототипах и аналогиях, Кювье различал четыре основных типа, между которыми не может быть никаких аналогий. Как известно, в этом споре Гете разделял позиции Сент-Илера.
Стр. 496 е5. «Freudlicher Zuruf». Напечатано в 1820 г. в сб. «Вопросы морфологии», т. I (W., II, 6, S. 244—245).

*Указатель имен**

Агрикола 157
Альтон 447, 459
Амалия Анна 40, 60
Амос Коменский 192
Анаксагор 75, 351
Ардинелло 55
Аристотель 146, 148, 150, 154, 169, 327, 331, 470
Арнольд 176
Архимед 324

Баздов 193
Байрон 468, 473
Батшу 56
Бентам 481
Бериш 184
Бетман 201
Блуменбах 91, 230, 484
Бодлей 155
Бойль 130, 161
Бонне 273
Бруккер 212
Бургаве 197, 199
Бэйль 197
Бэкон Р. 152—153, 442
Бэкон Ф. 153—157, 337
Бюффон 90, 91
Бюшинг 62

Вашингтон 201
Вернер 302
Вильмен 476, 477
Винкельман 456
Вольтер 184, 271, 475, 477
Вольф 230, 460

Гаген 62
Галилей 157—158, 228
Галлер 197, 230
Гаманн 314, 464, 476
Гандольфо 428
Гарстен 60
Гебель 62
Гегель 63, 215, 464, 465, 474, 476, 494
Гезиод 169
Гельти 187
Гемстергью 272
Генрих Прусский 184
Генц 61
Гердер 180, 181, 184, 213, 424, 425, 426, 427, 428, 438
Гильберт 156, 161
Гимли 440
Гинрикс 460
Гиппократ 196
Голицын 60
Голицына 272
Гольдсмит 465
Гомер 460
Гримальди 161
Гумбольдт 60, 215, 364, 429, 438, 448, 456, 465

Даламбер 288, 293
Дальберг 5
Дальтон 484
Данте 321
Дарис 169
Декандоль 79
Декарт 158—159, 161, 199
Демокрит 144
Детуш 185
Дидро 186, 272

* Указатели составлены М. П. Баскиным.

Добантон 91
Дюверни 91
Дюмон 480

Екатерина II 184

Земмеринг 91, 430, 480, 484
Зенон 145
Зульцер 322
Зюссмильх 180

Изенбург 195
Иозефи 90
Иосиф II 185

Кампер 42, 89, 91, 484
Каннинг 464
Кант 55, 67, 210, 213, 214, 220, 230, 271, 272, 433, 434, 438, 456, 462, 463, 476, 480, 494
Каподистрия 477
Карл Брауншвейгский 184—185
Карл I 161
Карл II 364
Карус 447, 459, 484
Клаудиус 428
Клеттенберг 195
Клопшток 188
Кнебель 425, 432, 443
Коцебу 59
Круммахер 312
Ксантен 272
Кузен 304, 476, 495
Кювье 138, 307, 488, 495

Лагранж 290, 291
Лафатер 191, 193, 206, 423, 424, 428
Лейбниц 199, 224, 480
Ленц 60
Лео 464
Леонардо да Винчи 63
Лессинг 181, 456, 462
Лимбург 205
Линней 66, 72, 73, 85, 318
Лодер 41, 42, 53, 424
Лукреций 144, 429
Лютер 452, 492

Марциус 471
Медичи 453
Мейер 55, 432, 459
Мендельсон 191
Микеланджело 243
Монтан 315, 316
Монтескье 190
Моор 55
Мориц 55, 195, 212

Моцарт 468, 493
Мюллер 494

Наполеон 465, 466, 468, 477, 478
Нибур 445
Нитгаммер 215, 439
Нозе 324
Ньютон 52, 127, 130, 135, 159—165, 224, 304, 305, 434

Окен 465, 484
Орфей 169

Паганини 448
Паллас 228
Паоли 201
Паулюс 59
Петр Великий 465
Пиркгеймер 204
Платон 145, 146, 150, 151, 154, 169 331, 341, 344
По 272
Понятовский 184
Пристли 127
Пуркинье 236, 238, 239, 243

Рабе 60
Рафаэль 243, 468, 493
Ример 60, 483
Ришелье 364
Руссо 185, 186, 272

Сен-Круа 445
Сент-Илер 307, 308, 309, 483, 488, 494
Сократ 169, 331
Софокл 460
Спиноза 62, 193, 194, 197, 198, 199, 200, 334, 425, 426, 427
Стеффенс 441

Тигде 454
Тирон 73
Тихо де Браге 160
Тишбейн 55
Тюрпен 323

Ульрих фон-Гуттен 204
Унцер 91

Феофраст 130
Фернов 60
Фихте 58, 215, 432, 436, 438, 479
Фогель 488
Форстер 85
Фосс 187
Франклин 201

Фрауэнштейн 205—206
Фридрих Великий 184, 465
Фюрстенберг 272

Хантер 227
Хейнзе 54
Хейнрот 277
Хладни 239, 240
Хуфеланд 59

Цельтер 6, 441, 448, 464
Циммерман 206

Чикколини 288, 291

Швергебурт 238
Шекспир 493
Шелвер 60
Шеллинг 59, 215, 434, 439, 441, 444
Шиллер 54, 55, 56, 57, 63, 214, 275, 430, 431, 432, 434, 435, 436, 437, 440, 441, 456, 463
Шлегель 215, 456
Шлоссер 447
Шнейдер 9
Штиденрот 285
Штейн 425
Штольберг 187
Шубарт 474
Шульц 63

Эгмонт 208
Эзенбек 319
Эйхштедт 441
Эккерман 450
Эмпедокл 145
Эпиктет 67, 170
Эпикур 144

Ягеманн 60
Якоби 62, 192, 193, 194, 272, 275, 276, 426, 427, 428, 429, 430, 437, 439, 440, 442, 443, 444, 446
Ярно 115

Предметный указатель

Абстрактное 349
Абстрактность 127
Абстракция 90
— чувственная 237
Авторитет 152, 153
Аксиома 155, 353
Активность и пассивность 126
Аллегория 351
Анализ и синтез 304—306
— одного анализа недостаточно 304
— единство анализа и синтеза составляют жизнь науки 305
— всякий анализ предполагает синтез 305
Аналитический метод 304, 305
Аналогия 148, 303, 325, 333, 354
— ее возможные заблуждения 325
Анархия 151
Анатомия 41, 69, 86, 88, 90, 94, 95
Антропоморфизм 333
Априорное познание 213
Аргумент 107, 108
Армия 315
Астрология 437
Атеизм 427
Атомистический способ представления 297

Белое и черное 146
Бесконечность 46, 47, 68, 70, 201, 322, 337, 345, 496
Бессмертие 480
Библия 171, 176, 313, 490—491
Биография 166
Благодарность и неблагодарность 181
Ближайшее 325
Большая посылка 121
Борьба старого с новым 360
Ботаника 72—74, 82, 299
Бытие 46, 50, 68, 70, 76, 177, 325, 326, 367, 479

Вдыхание и выдыхание 139
Великие люди 475
Великое 472
Величайшее и мельчайшее 335
Вечное и преходящее 348
Вещество 231
Вещь 47, 48, 49, 50, 81, 82, 83, 101, 105, 141, 143, 335
— находится в постоянном движении 141
Вид 90
Видимость 88
Взаимодействие 91, 320, 357
Взаимосвязь 69, 122
Влечение 69, 117, 230—231
Внешнее и внутреннее 57, 88, 144, 145, 360
Возвышенное 47
Воздействие и сопротивление 126
Возможное 179
Возникновение и возникшее 70, 347
Воззрение и предмет 344
Война и мир 188
Воля 158, 163, 359
Воображение 99, 104, 109, 129, 131, 286, 349
Воспитание 114—115, 172, 181
Воспоминание 100
Восприятие 68, 144
— и идея 217
Впечатление 47
Время 339
Всеобщее обозначение 126
Всеобщность 68, 120
Вывод и воззрение 338

Гармоническое единство 51
Гармония 46, 47, 114
Гений 91, 159, 206—207, 368, 374, 440, 449, 465
Генетический метод 334
Генетическое понимание 100
Геогнозия 234—235
Гилозоизм 272
Гипотеза 49, 64—65, 90, 102, 105, 106, 108, 119, 122, 127, 130, 152, 296, 304, 305, 326, 327, 328, 337, 343, 349, 436, 476
— чем больше их, тем лучше 64
— удобные образы, облегчающие представление целого 65
— неправильная гипотеза все же лучше, чем ничего 305
— леса, которые возводят перед зданием и сносят, когда здание готово 342
Город 100
Государство 183, 343, 446, 472, 494

Движение 38, 71, 333, 359, 379
Действие 125, 126, 438
— сущность каждой вещи 125
— и противодействие 106, 132
Действительность 143, 326, 329
Действовать и думать 375
Деление 100
Дело 359, 372
Деятельность 372, 373
Диалектика 160, 273, 289, 291, 361, 464, 465
Дилетантство 363, 489
Динамический способ представления 297
Диета 314
Добродетели и пороки 189
Доброе и злое 322
Догматизм 169, 302, 303
— всякий догматизм в конце концов становится обременительным 302
Доказательство 48, 324
Долговечность 322
Достоверность 105, 327, 328
Дух 40, 46
— без материи не существует 40
Душа 47, 48, 64

Евангелие 423—424, 491
Единичное 68, 70, 90, 137, 147, 283, 297, 369
— и целое 296
— и общее 369
Единое и раздвоенное 139
Единство и двойственность 146
Единство и многообразие 297
Единство природы 90—91
Естественная история 94—95
Естественная религия 167, 168, 171
Естествознание 60, 102, 137, 150, 157—158, 159, 218, 300, 332, 337, 447, 475, 488
Естествоиспытатель 82, 85, 86

Желание 163, 179, 180
Женщина 113—114
Живое 46, 47, 66, 69, 70, 81, 90
— всякое живое есть нечто множественное 297
— живое существо — самый совершенный синтез 306
— живое существо обладает даром приспособления 323
Живопись 148
Животная организация 50
Жизнь 38, 39, 50, 76, 80, 188—189, 231, 349, 359

Заблуждение 115, 127, 165, 235, 325, 334, 368, 371, 372, 373, 442
Задаток 115, 359
Заключение 121
Закон 90, 309, 332
Закономерное и гипотетичное 349
Законосообразность 358
Замысел 128
Земля 322
Знак 141
Знание 64, 69, 98, 130, 150, 191, 192, 239, 283, 329, 331, 337, 369, 372, 380
— недостаточно только знать, надо и применять 374
— и вера 191—192

Идеализм 345, 361, 434
Идеальное 99
— и реальное 344
Идея 57, 70, 71, 100, 143, 148, 216, 292, 308, 339, 345, 349, 350, 351, 352, 367, 371, 372, 436
— и опыт 216, 295—301, 371
— и восприятие 217
— результат опыта 349
Изменчивое и стационарное 301
Изменчивость и однообразие 120
Измеримое и неизмеримое 290
Изобретения и открытия 71, 227—228, 326, 343, 344
Изумление 477
Имя 478

Индивидуум 70, 90
Индукция 156, 302, 303, 333, 354
Инстинкт 100, 118
Ипохондрик 358
Искусство 52, 54, 55, 60, 61, 69, 71, 114, 148, 150, 271, 322, 340, 344, 349, 359, 372, 479
— завершается в единичных созданиях 148
— и наука 148, 149
— и оформление 321
— и целое 322
— и жизнь 340
Исследование 90, 101, 102, 103, 356
— исследованию не должно ставить никаких границ 355
Истина 39, 44, 48, 65, 136, 159, 290, 293, 325, 326, 328, 329, 332, 334, 336, 349, 353, 354, 367, 368, 371, 448
— и практика 328
История 167
История знаний 127
История науки 127
— связана с историей философии 143
История философии 169, 304

Категорический императив 327, 459
— в естествознании 327
Качество и количество 290
Класс 90
Классификация 121, 298
Колорит 341
Композиция 489
Конечная причина 155, 214
Конфликт 360
Косность 104
Кристаллизация 49, 50
Культура 57, 152

Легенда 325
Либерализм 480
Личность 37
Ложное 294, 328
Любовь 39, 189, 292
Любознательность 99
Лютеранство 205

Мажор и минор 142
Малое и многое 345
Манеж 321
Математика 134, 149, 137—139, 153 162, 287—292, 342, 457
Математическая демонстрация 108
Математический метод 107, 193
Материалы 310
Материя 40, 65, 117, 145, 187, 272
— ее непрестанное притяжение и отталкивание 40
— дух без материи не существует 40
— и явление 145
Межчелюстная кость 41—45, 53
Меньшая посылка 121
Метаморфоза 53, 80, 231, 281, 321
— ключ ко всем обнаружениям природы 100
Метаморфоз животных 92—93
Метаморфоз насекомых 100
Метаморфоз растений 41, 52, 54, 56, 66—67, 75, 92—93, 100, 279
Метафизика 187, 296, 324, 348
Метеорология 476
Метод 72, 73, 89, 105, 119, 123, 136, 150, 151, 152, 154, 212, 213, 239, 281, 282, 304, 334
— античный 148
— метод без содержания ведет к пустому умствованию 151
Мечта 38
Минералогия 476
Мировоззрение 62, 446
Мистицизм 51, 369
Мифология 325
Мнение 121, 143
Многообразие 90—91
Многосторонность и односторонность 372
Множественность 70
Множество и единство 297
Мораль 67, 113, 282, 290, 314, 359, 494
Морфология 69, 70, 94—97, 98—100
Мысль 50, 105, 154, 376, 382
— мысль нельзя отделить от предмета мысли 276
Мышление 47, 75, 98, 155, 272, 278, 279, 296, 297, 307, 308, 329, 438, 441

Наблюдение 50, 51, 68, 71, 88, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 119, 121—122, 139, 143, 239, 296, 375, 429, 436, 438, 441
Напряжение 323
Наслаждение 47
Натурфилософия 437
Наука 52, 57, 64, 68, 69, 71, 81, 85, 88, 96, 97, 98, 102, 103, 104 118, 147, 148, 153, 156, 159, 160, 226, 232, 325, 326, 327, 329, 332, 343, 344, 363, 364, 365, 366, 369, 371, 436, 447
— истинное преимущество человека 51

— и опыт 119—120
— ее история 127
— развитие науки невозможно без бесконечного накопления 148
— наука беспредельна 148
— и искусство 148, 149
— истинное преимущество человека 346
Научный феномен 120
Нация 481
Недостаток 48, 181
Недостижимое 57
Необходимость и случайность 110, 200
Неорганические тела 69
Непостижимое постижимо 326
Непостоянство 104
Несчастье 315
Нетерпение 98, 104
Номенклатура 352
Нормальное и ненормальное 318
Нравственность 112, 113, 163, 189, 191, 200, 211

Обобщение 121—122, 436
Образ 100, 351, 352
Общее
— и частное 123, 141, 325, 327
— и особенное 372
Общество 315
Объединенное и раздельное 217
Объективное и субъективное 99
Объект и субъект 57, 357
Окисление и раскисление 140
Опыт 50, 56, 57, 70, 75, 98, 101—109, 126, 127, 152, 153, 156, 221, 330, 332, 336, 337, 340, 348, 352, 355, 366, 370, 375, 429, 439
— полный опыт должен включать в себя и теорию 434
— как посредник между объектом и субъектом 101—109
— имеет величайшее значение на всё 102
— разнообразить каждый отдельный опыт 107
— опыт высокого рода 107, 108
— и наука 119—120
— рассеянный 147
— и понятие 147
— безграничен 155
— и идея 216, 295—301, 352
Организм 70, 96, 448
Органическая материя 230
Органические тела 69, 87, 89, 96, 167
Органическое 70, 487—488
Органическое существо 85, 87, 90, 95
Органы чувств 323, 448
Оригинальность 456
Основание и причина 333
Остеология 41
Осязание 144
Откровение 326
Открытие 103, 326
— и изобретение 227
Отличие 98
— и сходство 336
Отношение 47, 48, 66, 84, 101, 102, 105, 357
Отталкивание и притяжение 126
Оформление 321
Ошибки 334
Ощущение 47, 145, 200, 375

Падение и толчок 333
Пантеизм 40
Парадоксы 176
Педантичные наблюдатели 326
Первофеномен 487
Переживание 359
Перспектива 341
Плагиат 224—225
Плодотворное 339
Плюс и минус 140, 142
Поверхностное 144
Подобие 49
Подобное
— подобное познается подобным 145
Подражание 317
Познание 47, 48, 49, 57, 68, 69, 101, 104, 128, 129, 234, 325, 326, 368
— и применение 339
— человечество может познать природу 355
Полезное 116
Полярность 40, 123—124, 140, 142, 146
Помыслы и взгляды 446
Понимание 75
Понятие 37, 48, 51, 70, 71, 136, 148, 216, 349, 351, 386, 423
Пороки и добродетели 189
Порядок 122, 123, 346
Постепенность 98
Потенцирование 298
Потребность 38
Поэзия 55, 71, 143, 169, 278, 441
Поэт 114, 293
Правда 374
Правдивое 47
Правило 156, 309
Правитель государства 478
Практика 104, 300
— пробный камень того, что воспринято духом 293

— пробный камень для всякой теории 371
— и теория 437
Превращение 320
Предмет 102, 326, 327
— понятие о нем, его частях и отношениях 102
Представление 49, 65, 67, 71, 75, 81, 82, 83, 98, 105, 122, 132, 136, 139, 145, 214, 283, 296
— динамический способ 348, 439
— атомистический способ 348
Прекрасное и безобразное 116, 322, 460
Преформация 231, 273
Преходящее и непреходящее 337
Привычка 182
Признак 49
Принципы 155
Приоритет 222—233
Природа 37, 40, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 62, 63, 66, 68, 69, 73, 74, 75, 79, 80, 82, 83, 84, 87, 91, 99, 119, 123, 124, 125, 126, 129, 134, 143, 145, 149, 150, 151, 187, 196, 198, 208, 218, 234, 272, 276, 277, 284, 287, 298, 321, 322, 323, 324, 326, 331, 334, 339, 340, 341, 355, 424, 429, 441, 461, 480, 489
— ее законы 38
— у природы нет тайн 53
— природа открывается чувству посредством цвета 131
— природа принадлежит сама себе и человеку 218
— природа всегда права 235
— рассмотрение природы бесконечно 281
— и оформление 321
— и спецификация 321
— не делает прыжков 323
— и идея 340
— всегда единство 346
— и эмпирия 348
— и субъект 358
— и идеал 362
— письмена природы можно прочесть 425
Притяжение и отталкивание 126, 146
Причина и действие 147, 155, 214, 328, 330, 332, 334
— всегда мыслятся вместе 332
— и факт 333
— и основание 333
Проблема 335
Проблематическое 366
Прогресс 105
Простое 331
Пространство 328
Протестантизм 171, 172, 174, 183, 492
Противодействие 68, 106
Противоположность 92, 123, 149, 240, 332, 360, 361, 362, 443, 462
— примеры противоположности 123, 140
— Аристотель знал цену и достоинство противоположностей для исследования 146
Противоречие 71, 82
Прототип 495
Протяжение и движение 346
Развитие 46, 52, 57, 298, 311, 322, 346, 475
Раздвоение 139
Разделение и соединение 124, 130, 139, 143, 147, 283, 357, 440
— разделяться, чтобы являться 124
— и противоположение 132
— разделение и соединение — неразрывные жизненные акты 309
Раздельное и связанное 325
Различение 130
Различие и сходство 49, 50, 336—337
Различимое и неразличимое 369
Различное и тождественное 352
Размышление 116, 127, 216
Разум 110, 149, 217, 220, 286, 346, 347, 350
Разумение 46
Разъединение и соединение 320
Раса 91
Рассматривание 127—216
Рассудок 48, 57, 104, 143, 149, 170, 221, 286, 330, 349, 350, 438, 475
Растение 49, 73, 75, 84
Растительная жизнь 50
Расчленение 86, 298
Реализм 56
Революция 480—481
Религия 152, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 176, 183, 209, 461, 490—493
Ремесло 71, 150
Рефлексия 143, 152
Реформаторы 206
Род 90
Род (биологический) 73
Рожденное и рождающее 346
Роман 182
Рядоположность и совместность 348
Самодовольство 104
Сверхчувственное 153
Свет
— и дух 330
— и краски 103, 125
— и тьма 146

Свобода 340, 458
Связь 48, 105
Связывание 121, 127
Север и юг 140
Семья 114
Сжимание и расширение 139
Сила 322
Символика 126, 129, 142, 144, 145, 153, 352, 353
Симметрия 79
Сингуляристы 283
Синкризис и диакризис 341
Синтез 121, 326
— и анализ 304—306
Систола и диастола 139, 341
Скачок 57, 100
Скептицизм 302, 303, 369
Скромность и самомнение 483
Слово 50, 136, 314—315
Случайность 104, 110, 111, 120, 144, 147, 148, 156, 158, 232, 362
Смерть и рождение 379
Смешение и соединение 132
Совершенство 46, 47, 70
Совесть 359
Содержание
— и метод 151
Соединение 124, 130
— и разъединение 40, 139
Сознание 57, 161
Сознательное и бессознательное 449
Созерцание 57, 69, 70, 74, 99, 117, 216, 429
— обыденное 351
— чистое 351
Сохранение и изменение 145
Спецификация 321
Спинозовское учение 426—427
Спиральные тенденции в росте растений 75—78
— спиральная тенденция — основной закон жизнь 77
Способности 102, 114, 179
— общие и особенные 317
Сравнение 66, 74, 86, 89, 90, 91, 99, 141, 325, 336
— его способы 91
Сравнительная анатомия 41, 42, 52, 85—93
Сравнительное учение 81—84
Становление 323
Стиль 150
Стоики 169—170
Стремления 478—479
Субъективизм 457
Субъект и объект 57, 327, 358
Суд 315
Судьба 110
Суеверие 314, 437
Субъективное и объективное 99, 240
Суждение 68, 101, 102, 104, 108, 271, 349, 375
— данные для суждения брать не из себя, а из круга наблюдаемых предметов 101
— созерцающая способность суждения 210—211
— синтетическое 213
Сущее 367
Существо 70
Существование 46, 47
Существующее 100
— все существующее должно обнаруживаться и показываться 100
Сущность 37, 141, 143, 366—367
Сходное 330
Сходство и различие 49, 98, 143
Счастье 111, 114, 188, 227, 285, 318
Счет 351

Талант 207, 244, 318, 448, 479, 486
Теория 64, 71, 105, 108, 126, 152, 164, 326, 337, 343, 350, 352, 386, 435, 439
— учиться теоретизировать сознательно 127
— все фактическое есть уже теория 327
— и практика 437
Терминология 141—142
Техника 372
Тип 90
Тирания 151
Традиция 149, 153
Трансцендентальный идеализм 434, 439
Тропы 325
Тщеславие 314

Убеждение 127
Узурпация 226
Ум 50, 105, 227, 372, 480
Умозаключение 349
Универсалисты 283

Факт 106, 119
Фантазеры-теоретисты 326
Фантазия 116, 128, 220—221, 286, 329, 350
— выросла из природы 345
Фантастическое 99
Феномен 119, 126, 128, 137, 139, 156, 291, 325, 327, 334, 339, 344, 348, 355, 356
Физика 289
Физиология 87, 91, 94, 96, 97

Философ 132, 133, 145, 156, 170, 297, 322, 342, 357, 360, 435, 437, 438, 474
— и физика 136—137
Философия 57, 63, 64, 65, 67, 81, 88, 136—137, 143, 169, 170, 187, 209, 212—215, 302, 348, 350, 369, 436, 440, 441, 460, 462, 474, 476, 480, 494—495
— и объективность мира 57
— от физика можно ожидать философского образования 136
— доводить феномены до философской области 136
— и геометрия 342
— и математика 342
— и энергия 469
Философия природы 293—294
Финансы 315
Флогистон 50
Форма 70, 83, 84, 92, 95, 117, 145, 231, 299, 301, 320
— форма без материи ведет к пустым химерам 151
— учение о форме есть учение о превращении 320
— и материал 347
Формализм мысли 104
Формулы
— метафизические 141
— математические 141
— механические 141
— корпускулярные 141
— моральные 141

Характер 162—163, 164
Химия 69, 86, 95, 306
Христианство 176, 191, 194, 423, 461, 474, 490—493
Художественное произведение 149
Художник 103, 156, 293

Цвет 125—129, 130—135, 136—140, 143—165
— для возникновения цвета необходимы свет и мрак, светлое и темное, свет и несвет 133
Целесообразность 82, 83, 91
Целое и часть 47, 56, 70, 86, 90, 98, 100, 130, 154
Цель 88, 108, 112, 118, 151, 319
Церковь 343, 461, 490, 491

Частное и общее 123, 141, 156, 325, 326, 353
— частное есть общее, обнаруживающееся при различных условиях 327
— частное вечно принадлежит общему 353
Частность 68, 70, 136
Частный случай 90
Часть и целое 57, 70, 86, 89, 91, 92, 281, 311
Человек 38, 42, 48, 54, 81, 82, 87, 89, 90, 91, 111, 113, 115, 121, 150, 167, 180, 181, 201, 218, 236, 323, 330, 337, 338, 376, 425, 436, 486
Чистый феномен 120
Чувства 47, 51, 53, 131, 132, 144, 146, 153, 217, 236, 237, 330, 335, 336
— чувства не обманывают 336
Чувственное познание 13, 144, 145
Чувственность 144, 145, 153, 221, 286, 345

Эзотерическое 349
Эклектика 370
Эклектическая философия 370, 495
Эксперимент 104, 105, 106, 120, 121, 130, 161, 326, 338, 429, 442
— его ценность 104
— не делать из экспериментов слишком поспешных выводов 104
— изолированный 108
— посредник между природой и понятием, природой и идеей 147
— один эксперимент ничего не может доказать 352
Эмпирический закон 119—120
Эмпирический феномен 120
Эмпирия 120, 148, 153, 326, 356, 433
Энтелехия 467, 480
Энтимема 353
Эстетика 215, 226
Этика 54

Явление 37, 39, 49, 63, 103, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 129, 130, 133, 137, 142, 147, 158, 300, 325, 333, 335, 352, 356, 358, 369, 429
— двойственность явления как противоположность 123
— превращение явления 124
— чем обусловливаются все явления 126
— терминология 141—142
— и знаки 142
— и материя 145
— самое простое явление многообразно 297
— независимы друг от друга 326
— не оторвано от наблюдателя 342
Язык 38, 70, 126, 290, 291, 334, 488

Содержание

От редакции 3
О мировоззрении гениального поэта и великого мыслителя. *Г. А. Курсанов* 5
Природа 37
Пояснение к афористической статье «Природа» 40
О межчелюстной кости человека и животных 41
Философский этюд 46
Кристаллизация и произрастание 49
Из «Анналов» 52
Счастливое событие 54
Из «Анналов». (1803) 58
Из «Анналов». (1811) 62
Из «Анналов». (1817) 63
Гипотеза 64
Метаморфоз растений 66
Оправдание замысла 68
Пояснение намерения 69
Другие заметки 71
Автор сообщает историю своих ботанических занятий . . 72
О спиральной тенденции в росте растений 75
Ж. Воше. Физиологическая история европейских растений . 79
Опыт всеобщего сравнительного учения 81
Лекции по первым трем главам наброска общего введения в сравнительную анатомию, исходя из остеологии . . 85
I. О преимуществах сравнительной анатомии и о препятствиях, которые стоят на ее пути . . . 85
II. О типе, который должен быть установлен для облегчения сравнительной анатомии 88
III. О законах организации вообще, поскольку мы должны иметь их перед глазами при конструкции типа 92

Размышление о морфологии вообще 94
Введение в морфологию 98
Опыт как посредник между объектом и субъектом . . . 101
Из романа «Годы учения Вильгельма Мейстера» 110
Характеристика 117
Опыт и наука 119
Наблюдение и обобщение 121
Полярность 123
К учению о цвете 125
Очерк учения о цвете 130
Отношения к смежным областям 136
Отношение к философии 136
Отношение к математике 137
Отношение к общей физике 139
Заключительное замечание относительно языка и терминологии 141
Из «Материалов для истории учения о цветах». 143
Замечания относительно учения о цветах и методах древних 143
Промежуточная эпоха Пробел 150
Роджер Бэкон 152
Бэкон Веруламский 153
Галилео Галилей 157
Декарт 158
Исаак Ньютон 159
Личность Ньютона 161
Из «Поэзии и правды» 166
Созерцающая способность суждения 210
Влияние новой философии 212
Размышление и смирение 216
Предложение к примирению 218
О фантазии 220
Метеоры литературного неба 222
Изобретения и открытия 227
Влияние происхождения научных открытий 229
Оформляющее влечение 230
План естественнонаучной автобиографии 232
Геогнозия Д'Обюисона из Вуасен 234
Ви́дение с субъективной точки зрения Пуркинье 236
Из романа «Годы странствования Вильгельма Мейстера» . 245
Кампания во Франции 271
Якоби. Биографические детали 275
Значительный стимул от одного единственного меткого слова 277
Проблемы 281
Два типа мышления 283
Эрнст Штиденрот. Психология для объяснения душевных явлений 285
О математике и о злоупотреблении ею 287
Математика 289
Философия природы 293
Опыт и идея 295
Догматизм и скептицизм 302
Индукция 303
Анализ и синтез 304

«Príncipes de philosophie zoologique. Discutés en mars 1830 au sein de l'Académie Royale des Sciences» 307
Экскурс в царство милости 312
Максимы и размышления 314
Из «Фауста» 378
Прометей 394
Коринфская невеста 396
Философская лирика 402
Письма 423
Из «Разговоров с Гете» И. П. Эккермана 450
Из «Бесед с Гете» канцлера фон Мюллера 494
Из «Дружеского призыва» 496
Комментарии 497
Указатель имен 508
Предметный указатель 511

Иоганн-Вольфганг Гете

Избранные философские произведения

Утверждено к печати Институтом философии АН СССР

Редактор Издательства | *М. П. Баскин* |

Художник *А. Ф. Серебряков*, Технический редактор *Е. В. Макуни*

Корректоры *В. Г. Вогословский* и *Т. А. Пономарева*

Темплан 1964 г. № 153. Сдано в набор 25/VII 1964 г. Подписано к печати 4/XII 1964 г.

Формат 60 × 90¹/₁₆. Печ. л. 32,5. Уч.-изд. л. 27,5. Тираж 4 200 экз.

Изд. № 4406/64. Тип. зак. № 995

Цена 1 р. 85 к.

Издательство «Наука». Москва, К-62, Подсосенский пер., 21

2-я типография Издательства «Наука». Москва, Г-99, Шубинский пер., 10